

Н О В Ы Й
М И Р

4

Н О В Ы Й М И Р

1968

4

1968

ИЗВЕСТИЯ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIV

№ 4

Апрель, 1968 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
А. ТВАРДОВСКИЙ — Памяти Гагарина, стихотворение	3
Г. КОМРАКОВ — За картошкой, повесть	5
РАСУЛ ГАМЗАТОВ — Пять стихотворений. Перевел с аварского Н. Гребнев	55
АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ — Артист миманса, рассказ	58
МИРДЗА КЕМПЕ — Хлеб насущный, стихотворение. Перевела с латышского Лариса Романенко	72
АНАТОЛИЙ ТКАЧЕНКО — Новоселье, рассказ	73
АНАТОЛИЙ ЖИГУЛИН — Из лирики, стихи	88
ЯНКА БРЫЛЬ — Из записных книжек. Перевел с белорусского Дм. Ковалев	90
МИХАЙ ВАЦИ — Три стихотворения. Перевел с венгерского Дм. Сухарев	110
НАТАЛИ САРРОТ — «Золотые плоды», роман. Авторизованный перевод с французского Р. Райт-Ковалевой. Послесловие В. Лакшина	113
<hr/>	
ПИСЬМА ТРУДЯЩИХСЯ В. И. ЛЕНИНУ (1917—1919). Публикация И. Браинина	174

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Академик И. М. МАЙСКИЙ — Из лондонских воспоминаний (1925—1927)	195
---	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА ЖЕННИ МАРКС. Публикация Полины Виноградской	217
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СИМОН МАРКИШ — Античность и современность (Заметки переводчика)	227
---	-----

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
В. Соколов. Горизонты правды.— Ст. Рассадин. «Своих стихов миндальный торг».— Ю. Манн. Живорожденная мысль.— А. Сидоров. Мастерство штриха.— И. Варламова. В поисках утраченной души.	238
<i>Политика и наука</i>	
Ю. Кирьянов, С. Тютюкин. Рождение новой морали.— Л. Баженов, М. Слуцкий. Философия и современное естествознание.— В. Борнычева. Наш семейный бюджет.— Виктор Афанасьев. Первый шаг.— И. Пешкин. Наблюдения, побуждающие к действию.	255
КОРОТКО О КНИГАХ — И. Ионенко и И. Тагиров. Октябрь в Казани.— А. Гозенпуд. Центральный детский театр. 1936—1961.— И. Соловьева, В. Шитова. Жан Гэбен.— Г. Ренар. В тени Альгамбры Путешествие по Испании.— Р. Беньяш. Пелагея Стрепетова.— М. Гарднер. Этот правый, левый мир.— Герман Занадворов. Ветер мужества. Владислав Занадворов. Ветер мужества.— Лев Гумилевский. Вернадский	271
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ. К. Князев. Изобретения и предприимчивость.— М. Костенко. Повесть моего друга.— О. Михеева. «Аврора стояла у плетня...».— В. Богомазов. Б. Заславский. Необходимые уточнения	276
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

А. ТВАРДОВСКИЙ

★

ПАМЯТИ ГАГАРИНА

Ах, этот день двенадцатый апреля,
Как он пронесся по людским сердцам.
Казалось, мир невольно стал добрее,
Своей победой потрясенный сам.

Какой гремел он музыкой вселенской,
Тот праздник, в пестром пламени знамен,
Когда безвестный сын земли смоленской
Землей-планетой был усыновлен.

Жилец Земли, геройский этот малый
В космической посудине своей
По круговой, вовеки небывалой,
В пучинах неба вымахнул над ней...

В тот день она как будто меньше стала,
Но стала людям, может быть, родней.

Ах, этот день, невольно или вольно
Рождавший мысль, что за чертой такой —
На маленькой Земле — зачем же войны,
Зачем же все, что терпит род людской?

Ты знал ли сам, из той глухой Вселенной
Земных своих достигнув берегов,
Какую весть, какой залог бесценный
Доставил нам из будущих веков?

Почуял ли в том праздничном угаре,
Что, сын Земли, ты у нее в гостях,
Что ты тот самый, но другой Гагарин,
Чье имя у потомков на устах?

Нет, не родня российской громкой знати,
При княжеской фамилии своей,
Родился он в простой крестьянской хате
И, может, не слыхал про тех князей.

Фамилия — ни в честь она, ни в почесть,
И при любой — обычная судьба:
Подрос в семье, отбегал хлеботочец,
А там и время на свои хлеба.

А там и самому ходить в кормильцах,
И не гадали ни отец, ни мать,
Что те князья у них в однофамильцах
За честь почтут хотя бы состоять;

Что сын родной, безгласных зон разведчик,
Там, на переднем космоса краю,
Всемирной славой, первенством навечным
Сам озаглавит молодость свою.

И неизменен жребий величавый,
На нем горит печать грядущих дней.
Что может смерть с такой поделать славой? —
Такая даже неподсудна ей.

Она не блекнет за последней гранью,
Та слава, что на жизненном пути —
Не меньшее, чем подвиг — испытанье,—
Дай бог еще его перенести.

Все так, все так. Но где во мгле забвенной
Вдруг канул ты, нам не подав вестей,
Не тот, венчанный славой нетленной,
А просто человек среди людей;

Тот свойский парень, озорной и милый,
Лихой и дельный, с сердцем не скупым,
Кого еще до всякой славы было
За что любить,— не даром был любим.

Ни полуслова, ни рукопожатья,
Ни глаз его с бедовым огоньком
Под сдвинутым чуть набок козырьком...

Ах, этот день с апрельской благодатью.
Цветет ветла в кустах над речкой Гжатью,
Где он мальчонкой лазал босиком...



Г. КОМРАКОВ

★

ЗА КАРТОШКОЙ

Повесть

1

Есть какая-то прелесть в пробуждении уравновешенного, некурящего и трезво мыслящего человека. Вот он, еще не открывая глаз, провел ладонью по щеке, покрытой суточной щетиной, потом, разбросив руки, сладко потянулся и окончательно стряхнул остатки здорового сна. Голова не болит, неприятный привкус во рту отсутствует, отдохнувшее тело просит гимнастики. Р-раз, два-а...

Ровно в восемь Опенкин делал зарядку, жужжал электрической бритвой, чистил зубы болгарской пастой и принимал умеренно прохладный душ. Затем шел к столу, где, распространяя аромат натурального кофе с цикорием, ждал его старинный медный кофейник, фамильная ценность Опенкиных, оставшаяся от довоенной жизни. А еще ждали его маленькие аккуратные бутерброды с маслом и сыром, которые каждое утро готовила Нинель Александровна, мама Опенкина, интеллигентная женщина. Нинель Александровна обычно говорила:

— Поторопись, ты опоздаешь...

И Опенкин, отлично зная, что опоздать на службу никак не может, потому что до райисполкома совсем близко, все-таки отвечал по заведенному порядку:

— В самом деле, поспешим,— и принимался неторопливо пить кофе, рассеянно помешивая в чашке.

Сегодняшнее утро началось для Опенкина, как всегда, спокойно. Вот только, бреясь, он заметил на виске седой волосок. Волосок был один, и не очень-то он заметен в рыжеватой растительности, покрывающей голову Опенкина, но Опенкин на первых порах огорчился седому волоску. Он долго рассматривал его, оттянув за кончик, и совсем собрался уж выдернуть, но потом, поразмыслив, оставил.

Опенкин, названный Русланом в пылу почти религиозного поклонения Пушкину, был плодом горячей, но неудачной любви молодой педагогички к подававшему некоторые надежды пианисту. Муж Нинель Александровны — Евдоким — ушел из дому перед самой войной. Нинель Александровна очень страдала, потом убедила себя, что так оно и должно быть; она вовсе не пара блистательному музыканту. А поверив в это, она пришла к мысли, что должна благодарить Евдокима даже за тот один год, который он потерял для искусства, отдав его ей. Всю любовь Нинель Александровна перенесла на сына.

Опенкин подрастал человеком тихим, прилежным и болезненным. Болел он много, всеми детскими болезнями. Из-за слабого здоровья

Опенкин не занимался музыкой, хотя мать подозревала в нем бездну таланта, имея в виду богатую наследственность. Школу Опенкин закончил ровно, без видимых срывов, но и не лучше других. И в институте Опенкин занимался нормально, ходил в активе, выступал на собраниях с речами.

Сказать, что Опенкин со временем стал другим,— значило бы погрешить против истины. Службу Опенкин нес исправно, выступал иногда с дельными соображениями. И никто на него не обижался, и он ни на кого не обижался.

Помешивая ложечкой, Опенкин думал, с чего он сегодня начнет рабочий день. Надо позвонить в горком, узнать, как решается вопрос...

— Приходила Мила,— отвлекла его от раздумий Нинель Александровна.— Очень жалела, что не застала тебя...

Опенкин поднял глаза на маму. Он ждал, что последует за этим сообщением.

— Очень жалела, что не застала тебя.— Нинель Александровна вкладывала в свои слова какой-то глубокий смысл.

Опенкин поморщился:

— Она не знала, что я задержусь на совещании. Не понимаю, зачем беспокоить..

— А я понимаю! — внушительно произнесла Нинель Александровна.— Она очень серьезно относится к тебе... Я на твоём месте тоже бы задумалась.

— Ах, оставь, мама! Нельзя все так упрощать. Все это гораздо сложнее. Я не мальчик.

— Вот именно,— наставительно сказала Нинель Александровна.— Именно поэтому тебе следует наконец задуматься.

Не желая продолжать неприятный разговор, Опенкин поспешно допил кофе, вышел в переднюю, оделся, хлопнул дверью. На улице его встретила промозглая морось. Гриппозная погода, дрянь. Обходя лужи, Опенкин направился через площадь к зеленому двухэтажному зданию. В одних окнах уже горел свет, другие смотрели на просыпающуюся улицу темными глазницами.

Опенкин проходил мимо райкома, и встречные люди чаще всего оказывались ответственными работниками, с которыми он вежливо здоровался, притрагиваясь перчаткой к шляпе.

Опенкин не пренебрегал знакомствами. Вот вчера... Ах, нехорошо вышло! Вчера пригласили его играть в преферанс, обещали научить. И он пошел. Хотя Опенкин и не любил карт, научиться преферансу считал для себя необходимым. Многие достойные люди, которых знал Опенкин, играют в преферанс... А Людмиле он сказал, что будет на совещании. Она, конечно, узнала, что никакого совещания нет. Но зачем она пошла к его матери? Нет, нужно решительно поговорить!

В кабинете Опенкин был без пяти девять. Ровно в девять зазвонил телефон. Опенкин снял трубку и держал ее, ничего не говоря. Он знал, кто звонит, хотя на другом конце провода тоже молчали. Наконец в трубку вздохнули.

— Будем молчать? — спросил Опенкин.

— Ты на меня сердишься? — спросила Мила.

— Почему?

— Я тебя не искала. Я просто...

— Хорошо, я не сержусь.

— Ты сегодня придешь? Я скучала.

— Я был занят.

Мила помолчала и снова спросила:

— Ты придешь?

— Постараюсь.

— В семь?

— Наверное.

Положив трубку, Опенкин вздохнул. Решительного разговора не получилось. Конечно, нужно что-то делать, но что? Однако личные дела в сторону. С чего начать? Да, нужно позвонить в гсрком и узнать, как решается вопрос...

Опенкин не успел позвонить. В дверь заглянула секретарша председателя райисполкома и, как всегда, немного испуганно позвала:

— Руслан Евдокимыч, через десять минут к Евсееву. На совещание.

Опенкин безразлично пожал плечами. Если уж на совещание, то бессмысленно куда-либо звонить. Из ящика стола он достал новый журнал и стал просматривать его, делая на полях какие-то пометки. Пометки в журнале — производственная тайна Опенкина. Пусть в кабинет войдет сам Евсеев, пусть хоть сам господь-бог, ни у кого не возникнет мысли, что Опенкин в рабочее время просто-напросто читает журнал. Нет, он работает над текстом! Может, ему для лекции нужно...

Совещание оказалось до испуга коротким. Евсеев окинул собравшихся пронизательным взглядом, снял с переносицы очки, покусал их за дужку, сказал со значением:

— Сегодня райком проводит собрание актива. Предупреждаю, быть всем. Вопрос важный.

Расходились недоумевая.

— Как думаешь, что за тревога? — спросил Опенкина, положив ему руку на плечо, инструктор отдела культуры. — Говорят, высокое начальство нагрянуло!

— Поживем — увидим, — ответил Опенкин, выскользнув из-под руки. Опенкин не мог допустить ни малейшего намека на фамильярность, тем более что людей, подобных этому инструктору — шумных и вольных в обращении, — Опенкин не любил и держался от них в стороне.

Собрание актива огорошило Опенкина. Секретарь райкома товарищ Нитушев сказал немногословную речь:

— Окрестные колхозы и совхозы не смогут покрыть потребность города в картофеле даже наполовину. Положение дрянное. А картошка нам нужна вот так. — Товарищ Нитушев попилил ребром ладони свою красную жилистую шею. — Ежели мы рабочего оставим без картошки, он наши лекции о строительстве коммунизма на данном этапе слушать не будет. Не будет он, товарищи, слушать лекции, а будет нас потихоньку ругать. А может, товарищи, ругать он нас будет во все горло. И мы не можем нашему рабочему вместо картошки давать всякие разъяснения о засухе, о том, что во многих хозяйствах не собрали даже семян... Мы такие разъяснения можем давать только тогда, когда используем все, слышите, товарищи, все до единой возможности по обеспечению наших столовых картофелем. Только тогда мы можем с чистой совестью сказать народу: мы сделали все, что могли.

— Значит, так, — продолжал товарищ Нитушев, — мы тут решили: каждое предприятие заготавливает картошку, не ожидая посторонней помощи. Выделяйте машины, людей, посылайте их в горы. Туда засуха не дошла... Больше того, раз мы считаем заготовку картофеля делом большой политической важности, мы посылаем на передний край работников аппарата райкома, райисполкома, всех учреждений. Смелее, товарищи, нужно действовать, настойчивее... Пустыми не возвращаться, будем проверять. Ну, а об остальном договаривайтесь в рабочем порядке, в отделе... Кому куда ехать, кому сколько заготавливать... Все, товарищи, желаю удачи.

Вот такую речь сказал товарищ Нитушев. И после этой речи Опенкин попал в список командированных на передний край. А зачем ему это нужно? Работал Опенкин спокойно, звонил по телефонам, решал вопросы, разговаривал с людьми. Дальше чем за тридцать километров на отдых по воскресеньям никуда не ездил. В отпуск ездил, так то по железной дороге, в купейном вагоне, как все порядочные люди. А тут на тебе — в горы! Да еще поздней осенью...

Итак, ситуация наметилась. Причем читателю может показаться, что ситуация наметилась облегченная — Опенкин брошен на картошку не в том смысле, какой имеет это понятие для горожан, отправляющихся на уборку урожая: он едет не копать картошку, а всего лишь покупать. Но надо заметить, что в неурожайный год купить две тонны картофеля гораздо труднее, чем собственноручно выкопать ее из земли, когда она уродилась, когда земля благодарит людей за труд, расставаясь по осени с крупными сухими клубнями.

Может возникнуть вопрос: а какую заметную пользу принесут две тонны картофеля степному городку? На это можно ответить так: во-первых, и две тонны — картошка, а во-вторых, одновременно с Опенкиным в разные стороны поехали десятки людей. И если каждый из них проникнется серьезностью положения и не забудет совет товарища Нитушева — пустыми не возвращаться, — то, конечно же, предприятия общественного питания, бережно храня и разумно расходуя картофель, смогут продержаться зиму, не вычеркивая из меню картофельного пюре на гарнир к гуляшу и котлетам.

2

Горе путнику, застигнутому октябрьской непогодью. Душу заледенит проклятая слякоть. Как ни отворачивай лицо — ветер найдет, как ни втягивай голову в плечи — холодные капли доберутся до живого... Опенкин зябко встрепенулся и склонился на спидометр: стрелка дрожит около шестидесяти.

На стекло остервенело бросался упругий поток осеннего мрака, прошитый частыми нитями дождя. «Интересно, — соображал Опенкин, — почему капли ползут вверх по стеклу? Это их ветер гонит, — тут же догадался он, — встречный ветер...»

После собрания актива Опенкин, очень обеспокоившись, попросил товарища Нитушева принять его и долго убеждал товарища Нитушева заменить его в списке командированных кем-нибудь другим. Просьбу свою Опенкин подкрепил жалобой на недомогание.

Вот тогда-то товарищ Нитушев покачал головой и как-то уж очень обидно произнес его фамилию:

— Эх, Опенкин, Опенкин...

А потом товарищ Нитушев вдруг спросил:

— Ты в партии давно?

— Разве это имеет значение при слабом здоровье? — спросил в свою очередь Опенкин, стараясь держаться солиднее.

— Это имеет большое значение, — вразумляюще сказал Нитушев. — Я вас всех пока еще как следует не знаю, поэтому о твоём здоровье ничего сказать не могу. Но я тебе знаю что скажу? Первый мой секретарь ячейки сгорел от чахотки... Кровью кашлял, а работал. Ты продрозверстку по книгам знаешь, а в нас стреляли... Между прочим, секретарь был твоего возраста. И уши у него так же оттопыривались... А насчет партийного стажа я спросил, чтобы узнать: сделал ли ты что-нибудь для партии? Успел ли сделать?

— Я честно работаю,— с достоинством сказал Опенкин.

— Верю, верю! — успокоил товарищ Нитушев.— Верю, что и сейчас ты работаешь честно, и раньше... Ты где раньше работал? Учителем? И учителем работал честно! А теперь от тебя требуется не твоя работа, а дело. Конкретное и очень важное. Дело это чисто партийное, тебе лично от него никаких выгод — сплошные хлопоты и, может быть, неприятности. Но зато, когда ты его выполнишь, ты сможешь сказать всем: для партии я кое-что сделал. Вот так. Поезжай.

И поехал Опенкин. Как не поедешь? И мотало Опенкина в кабине. Вредно ли это для гастрита, не знал Опенкин, но все равно предчувствовал недоброе. Шофер опять же попался плохой. Молчит всю дорогу. Забуксует машина, сквозь зубы процедит: «З-зараз-за» — и опять молчит. Сначала Опенкин пробовал разговор завязать, даже что-то рассказывать принялся, а шофер молчит. Замолчал и Опенкин. Неудобно получается, вроде бы он развлекает водителя. А разве это его обязанность — развлекать?

«Эх, Опенкин, Опенкин...» А что Опенкин? Не в нем беда, в Нитушеве. Шебутной человек. Никак двадцатые годы не забудет. Придумал же: всем активом картофель заготавливать!

Не-ет, Жегоров не так бы действовал. Тот вызвал бы к себе торговых работников: душа винтом, а картофелем обеспечивайте, доставайте, как хотите! А если бы торгаши провалили заготовки, он бы их на бюро — и шапки долой.

Конечно, может, все равно без картошки остались бы рабочие столовые, но зато заготовители получили бы нагоняй... Умел работать товарищ Жегоров, не отнимешь. А вот, поди, не выбрали его! Вроде бы возраст не тот. Не позволяет якобы возраст учитывать новые требования. И товарищ Жегоров как бы сам попросился на спокойную работу... А прислали из другого города Нитушева — этот еще старше! Интересно в жизни получается...

Слава богу, из степи выбрались, взгорья пошли, дорога потверже. Теперь машина вон как летит, авось приедут скоро. Размышлял Опенкин: «Какой он, этот Зимногорск? И где там картофель доставать?» Вспомнил, что в кармане отношение райкома, — спокойнее стало: все-таки с бумагой спокойнее, не отсебятиной, мол, занимаюсь, партия послала. Совет Нитушева вспомнил: жми на секретаря, он должен помочь...

Дорога лучше — и шофер повеселее. За сигаретами полез, угощает.

— Спасибо, противопоказано,— отказывается Опенкин.

— Тогда прижги мне,— попросил шофер.

Опенкин, ломая спички, попытался дать водителю огонька, ничего не вышло.

— Эх, дай-ка! — крикнул шофер, положил коробку на колено, одной рукой спичку — ш-ширк, скосившись прикурил, а другой рукой знай баранку крутит. Рисковый человек. Надежен ли?

Опенкин любил все обстоятельное, аккуратное, спокойное. Ну, за чем нервы попусту тратить? Вот и Людмила... Нервничает. И зря. Опенкин не подлец, не ловелас какой-нибудь. И комната будущей жены ему не нужна, и за положением он не гонится. Ему нужно... А что ему нужно?

Перед отъездом Опенкин слово сдержал, зашел, как и обещался, вечером. Чай пили. Людмила новый альбом показывала. Гоген. Восхищалась. А чего восхищаться? Гоген он и есть Гоген. И женщины у него фиолетовые какие-то. Нет, реальное искусство — это вам не фиолетовые женщины под пальмами.

Из-за этого и поругались. То есть как поругались? По-настоящему Опенкин никогда не ругался, так — обменялись мнениями.

— Если прекрасное уводит нас в сторону от главных задач, то это совсем не прекрасное,— сказал Опенкин.

Он не очень твердо представлял себе, уводит ли в сторону Гоген, но знал: если Людмилу не остановить, то она закатит получасовую лекцию. И откуда это у человека? Ну, развивай свой кругозор, но не до крайностей же! Казалось бы, серьезный специалист — изучай медицинские журналы, держи себя в курсе научных достижений, повышай профессиональный уровень.

— Прости меня, но мне сегодня не до картинок,— сказал Опенкин.— Еду в горы за картошкой.

Переход от живописи к картошке был настолько неожиданным, что Людмила растерялась. И Опенкин, почувствовав ее растерянность, даже немного возгордился.

— Да, дорогая, проза жизни.— Опенкин небрежно откинулся на спинку низенького кресла и подробно рассказал, как его вызвал товарищ Нитушев, как давал установку, не допуская и мысли, что Опенкин может не оправдать высокого доверия.— Положение серьезное, рабочих кормить нужно...

Последние слова Опенкин произнес с нитушевской интонацией и смутился от невольного подражания и совсем другим тоном сказал: — Что ж, начальству виднее.

А Людмила обеспокоилась, уже встревожилась за его судьбу и, как всегда в таких случаях, стала тихой, простой, немного виноватой.

— Хочешь еще чаю?

— Пожалуй.

Брякнула крышка чайника, над стаканом Опенкина повисло блестящее ситечко. Это ситечко Людмила приобрела по просьбе Опенкина. Вернее, не по просьбе, а после того, как он однажды сказал, что не любит, когда в стакане плавают чайники. И готово. На другой вечер носик чайника послушно уткнулся в ситечко. Заметив его, Опенкин улыбнулся. Людмила расцвела. И так им было хорошо!

Им было хорошо и при первой встрече. Опенкин делал доклад о Международном женском дне в городской больнице. Он говорил о равноправии, о том, что женщина трудится вместе с мужчинами за одинаковую зарплату, тогда как в странах капитала за равный труд женщина получает наравне с неграми.

А после доклада был концерт художественной самодеятельности: хор медсестер исполнил песню «Хотят ли русские войны», дантист, у которого незадолго перед тем Опенкин менял коронку, прочел ранние стихи Маяковского. В маленьком зале красного уголка было совсем мало мужчин, и дантист все время смотрел на Опенкина. И когда он спросил: «А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?» — Опенкину захотелось домой. Но он, как представитель, не ушел, досмотрел концерт до конца, решив, что уйти всегда успеет.

Однако уйти оказалось непросто. Дело в том, что пока сестры пели, остальной медперсонал готовил угощение. И Опенкина тоже пригласили. Он хотел было отказаться, но все зашумели, стали обижаться. Вот тут и подошла Людмила (как ее раньше не заметил?) и сказала серьезно:

— Вы так убедительно говорили о равноправии, что я совсем поверила. Можно, на этом вечере я буду вашей дамой?

Опенкин засмутился, начал что-то говорить о времени, которого всегда не хватает, но Людмила так же серьезно прервала его:

— Как врач, уверяю вас — у вас впереди еще много времени, у вас неплохой цвет лица...

Господи, да разве думал Опенкин, что после такого начала у них с Людмилой возникнут какие-то особые отношения! Несмотря на серьезный тон, в каждом слове Людмилы сквозила шутка, и Опенкин, хотя он не очень одобряет всякие там хихоньки-хахоньки, почувствовал это и настроился на шутку.

А все виновато вино. Опенкин выпивает очень редко, по неотложным случаям. Здесь же на вечере Опенкин выпил просто так, без всякой необходимости, и потерял над собой контроль. Он плясал матросский танец «Яблочко», участвовал в литературной викторине и даже подтягивал молодым врачам, которые, собравшись в уголке, вполголоса распевали песни официально не зарегистрированных бардов и менестрелей.

Людмила развлекала Опенкина как могла. Она подарила ему расческу, выигранную в викторине, со смехом перетягивала с другого края стола самые вкусные закуски, кружила Опенкина в танце.

Опенкин провожал Людмилу далеко за полночь. Собственно, неизвестно, кто и кого провожал, потому что Опенкин нуждался в поддержке больше, чем Людмила, но во всяком случае шли они к ней.

Руслан Евдокимович не задумывался ни о чем серьезном, что могло бы нарушить его привычную, содержательную жизнь. И не потому, что он был совершенно равнодушен к прекрасному полу. Просто так получалось. Учение, самоподготовка, общественная деятельность... В общем, когда Опенкин впервые попал в уютную комнату врача городской больницы Людмилы Косаревой, он был далек от каких бы то ни было намерений. Единственное, что он позволил себе — поцеловал Людмиле руку.

— Кто же в наше время целует руки? — спросила Людмила с легкой иронией.

— Рыцари! — воскликнул Опенкин и покачнулся.

— Садитесь, рыцарь! — засмеялась Людмила. — Хотите кофе? Черный кофе облегчит вашу участь.

— Только чай, — непреклонно сказал Опенкин.

У Людмилы нашелся и чай. Она крепко заварила, долго возилась на кухне, разрезая праздничный торт, выскребала из заветной баночки клубничное варенье, которое клялась растянуть до весны, укладывала веером конфеты, так, чтобы они обрамляли единственное уцелевшее яблоко.

Когда Людмила в белом фартучке, оттенявшем матовый блеск ее нарядного платья, вышла из кухни, Опенкин мирно спал, свесив голову и совсем по-детски надув щеки. Людмила постояла, не зная, куда девать вазочку и что вообще делать, но не обиделась, нашла в себе силы уложить Опенкина на диван.

С тех пор прошло более чем полгода. Людмила была представлена Нинели Александровне, очень понравилась ей и вселила в ее материнское сердце некоторые надежды. Не меньшие надежды вселились в сердце и самой Людмилы. Однако Опенкин не спешил. Почему? Трудно сказать. Как-то беспокойно бывало иногда рядом с Людмилой, как-то тревожно и ответственно. И если бы так было всегда, Опенкин давно уже отказался бы поддерживать с Людмилой всяческие отношения. Но в том-то и дело, что иногда ему было с Людмилой удивительно хорошо. И пытаясь разобраться в своих чувствах, Опенкин скрупулезно анализировал, сопоставлял, мотивировал.

Однажды Людмила сорвалась, голосом, полным слез, сказала:

— Ну, чего нам еще нужно? Комната есть, ты работаешь, я работаю... Я больше так не могу. Решай, Руслан.

Легко сказать — решай. А если сомнения? Ведь вон на белом свете что делается! Попросил Опенкин в городском загсе справку о разводах, вроде бы для служебных надобностей, посмотрел — ужас! Не-ет, нельзя так облегченно решать вопросы.

Как-то, летом еще, застиг Опенкина дождь. Двенадцать часов ночи, а дождь не стихает. Людмила в шутку предложила остаться ночевать. Опенкин так строго поглядел на нее, так неприступно поджал губы, что в другой раз Людмила шутить не будет. Есть вещи, которыми не шутят.

Провожала Людмила в горы. «Берегись,— сказала,— ноги не застуди... Ждать буду».

Конечно, будет. Почему не ждать, не на три года уезжал Опенкин, на три дня, согласно командировочному удостоверению.

3

Зимногорск открылся сразу. Только что ничего не было видно, кроме дороги, и вдруг где-то внизу, призывающиеся дождем, засветились огни.

— Ночевать где будем? — спросил шофер.

— Посмотрим,— неопределенно отозвался Опенкин.

— Тогда на заезжем, я знаю...

Въехали в первую улицу. Дорога кончилась, началась невообразимая грязь. Шофер включил передний мост, и вездеход, расталкивая буфером аспидно-черный кисель, натужно заурчал. В свете фар Опенкин успевал рассмотреть прибитые непогодой домишки, деревянные заборы, голые ветви деревьев. Машина сделала один поворот, затем другой. Шофер, ориентируясь неизвестно по каким приметам, вырулил на небольшую площадь, забитую грузовиками.

— Приехали,— сказал он и заглушил мотор.

— А где заезжий? — спросил Опенкин, ничего не разглядев в крошечной темноте.

— Пошли, здесь он, рядом...

Хозяин заезжего двора, мужичонка в потрепанном кителе, с деревяшкой-стукалкой вместо правой ноги, был слегка пьян и неприступно холоден. Ему надоело в тысячу первый раз объяснять, что ночевать негде, что такого наплыва постояльцев городок никогда не знал.

— Поужинать можете в моей комнатенке. Даже стаканы найду... А спать — в машине.

— Я же вам объясняю,— терпеливо долбил в одну точку Опенкин,— мы по важному делу. Вот у меня отношение...

— С этой бумажкой поутру до ветра сбегает,— резал мужичок сплеча.— У меня счетовода нету, некуда документы подшивать. Есть места — ночуй, будь ласка. Нет местов — катись...

— Во-первых, прошу повежливее! — набрал голос Опенкин.— А вторых, мы приехали к вам по заданию Степновского райкома за овощами... За картофелем, вернее... И вы не имеете права...

— За картофелем, значит? — осклабился хозяин.— А я думал, вы за апельсинами, думал, вам сухофрукт нужен.

Хозяин распахнул дверь в коридор и показал на людей, лежащих вповалку вдоль стен.

— Сейчас все за картофелем.

Вышел Опенкин в сени растерянный и даже будто ошеломленный. Как же так? А отношение? А задание? Если так и дальше пойдет, чего доброго, пустым вернешься... «Эх, Опенкин, Опенкин...» Нет, пустым обратно нельзя.

В сенях тоже людей полно. Мужики на лавках сидят, кому места нет — стены подпирают. Разговор ведут усталый, дым глотают, словно век не курили.

— ...Я ему говорю: пустой номер в Михайловке вытянешь. Там до нас все выгребли. Не послушал — поехал киселя хлебать.

— ...А еще говорят, можно в Белоречье пробиться. Будто бы там картошки страсть сколько.

— ...У нас сначала по пять мешков на брага хотели. На пять мешков деньги собирали. А теперь выкуси, хотя бы по мешку привезти...

Слушает Опенкин разговоры и понять не может: да что же это такое? За триста верст приехал — и то никакой уверенности, что заготовит картофель.

Слушает Опенкин, присматривается: нет ли кого своих, степновских. Нет, не видать.

— А вы откуда, товарищ? — спрашивает Опенкина некто в кожаном пальто.

— Из Степновска, — отвечает Опенкин.

— Вам легче, — вздыхает тот. — Соседи... А главное — ремонтные мастерские у вас...

— А при чем здесь мастерские? — удивляется Опенкин.

— Ха! Бросьте ваньку валять! Святая простота! Пообещаешь запчасти — никто не устоит, из земли выкопают, свою отдадут. Дефицит.

— Если не секрет, вы откуда сами-то? — интересуется в свою очередь Опенкин.

— Мое дело швах, — жалуется кожанка. — Я только мясокомбинатом беру.

— Мясом?

— Комбинатом. Ежели какой председатель колхоза клюет насчет картошки, я ему бумажку выдаю, вроде рекомендательного письма. Скот сдавать погонит, без очереди примут с нормальной упитанностью...

— И что, все так заготавливают картофель? — поразился Опенкин.

— Как?

— Ну, обещаниями...

— Это уж как сумеешь. Пытай счастье по-другому — может, выгорит.

— У меня отношение, — схватился за соломинку Опенкин, — официальный документ.

— Ха! — снова сказал собеседник Опенкина и распахнул кожаное пальто. — Вот бумага от научно-исследовательского института. Вот крик души драматического театра! А это... В общем, все картошку лопают. Да не всем здесь подают.

— Так если я попытаюсь без всяких там...

— Попытайся, попытайся, — согласился заготовитель. — Только, наверное, ни хрена не выйдет... Вон видал, куркуль тот, в бушлате который? Набрал где-то машину бульбы, а милиция отобрала. Отобрала, и все. Ссыпали во дворе пицеторга и брезентиком прикрыли. Власть на местах, хе-хе... Поди теперь, жалуйся. Они ему завтра заплатят по государственной цене, а он как платил?

Лихой заготовитель затоптал папироску, вошел в дом. Шофер в машину подался спать, Опенкин остался один. Опять слушал разговоры и думал: что-то предпринимать нужно, что-то нужно делать.

На скамье у двери сидел бородач в железобетонном дождевике поверх телогрейки. Курил самосад, вел степенную речь:

— В Белоречье-то наверняка можно закупить... Места глухие, горы. Картошки там много сажают, а везти ее оттуда несподручно — далеко. Или вот опять же, в Рассыпуху кто пробьется... Тоже верное дело.

— Про Рассыпуху и не думайте, не пускают туда! — подал голос кто-то с улицы из-за дверей. — Дорога на Рассыпуху через Плач-гору, опасная дорога. Закрыли ее. Милиция никаких машин не пускает, кроме геологов...

— Про Рассыпуху и я слышал, — сказал длинный, худой и черный железнодорожник. — Я сейчас из райкома, хотел к самому пробиться, чтобы разрешение взять. Не пустили.

— В Рассыпуху?

— Да куда там! — Железнодорожник махнул длинной рукой. — К секретарю не пустили. Занят он чем-то, говорят: время позднее, завтра приходите...

-- Все они заняты! — закричал куркуль в бушлате. — Где такие законы, чужую собственность отнимать? Я за нее свои деньги платил! А они, у-у-у.

— Перестань егозить... Нахватал выше глаз, на чужой беде нажиться норовишь, — брезгливо поморщился железнодорожник.

— А ты видал сколько? — взвился обиженный. — Ты видал, сколько я нахватал, ты меня за руки держал? Самого пусти, в три руки хватал бы!

— Брысь отседа! — крикнул железнодорожник и поднял свою руку-семафор. — Мне ничего не нужно, меня послали, я справляю наказ... Брысь, пока я тебя в тупик не загнал!

Обиженный еще огрызнулся, однако на всякий случай попятился-попятился и выскочил на улицу под промозглость невидимого неба.

Шофер еще не спал. Он сидел в темной кабине и курил. Опенкин устроился рядом, примостился бочком и глаза прикрыл. Уснуть бы. А мысль покоя не дает: что же делать?

— Тебя как зовут-то? — спросил он шофера, решив, что дальше, не зная имен друг друга, им будет трудно.

— Шлыкин.

— А меня — Опенкин.

Помолчали.

— А что, Шлыкин, как ты думаешь, достанем мы картошки?

— Неужто порожняком в такую даль гнать? — буркнул Шлыкин. «Вот какой решительный, — неприязненно подумал Опенкин, — все для него ясно, примитив... Такому товарищ Нитушев не сказал бы...»

В ушах снова, как наяву, послышалось: «Эх, Опенкин, Опенкин...»

А что Опенкин! Вот возьмет сейчас Опенкин, да и заявится к здешнему секретарю райкома: давайте картошки, и баста! А что в самом деле?

— Ты знаешь, Шлыкин, где здесь райком? — спросил Опенкин, сам себе не веря, что принял какое-то решение.

— Знаю, да что толку — поздно.

— Давай, Шлыкин, давай к райкому! — засуетился вдруг Опенкин, почувствовав необычайный прилив энергии.

Приемная секретаря была пуста. Дверь в кабинет приоткрыта. Опенкин осторожно протиснулся в щель. Лихорадочное возбуждение улеглось, пока он поднимался на второй этаж, и сейчас Опенкин немного оробел.

Кабинет большой. На столе горит лампа под зеленым колпаком, над столом склонился человек, от бумаг лица не поднимает.

— Разрешите? — попросился Опенкин, окончательно потеряв присутствие духа. — Можно? — спросил он еще раз, и мысль мелькнула испуганная: «Выгонит сейчас, мало ли чего бывает, когда под горячую руку...»

Секретарь поднял голову, один глаз совсем прикрыл, другой прищурил: норовит разглядеть Опенкина. Не разглядел, головой затряс: подходи, дескать, поближе.

— Из Степновска я.— Опенкин почтительно приблизился.— С письмом горкома...

— От Нитушева? — Секретарь оживился.— Ну, как он там, на новом месте, воюет?

— Воюет,— неопределенно ответил Опенкин, не уловив, осудительный или одобрительный смысл вкладывает зимногорский секретарь в это «воюет». И правильно сделал Опенкин, потому что секретарь мечтательно сказал, разрывая конверт:

— Старый друг... Похлебали из одного котелка в сибирской дивизии...

Пока секретарь читал письмо, по-старчески шевеля губами, Опенкин гадал: даст картошки или пустым отправит? Такой все может: шея бычьей поверх пиджака складкой наплывает. Лицо широкоскулое, волосы — седым ежиком. В одной руке письмо держит, а другой — красным карандашиком играет. А ручища-то, боже мой, что за ручища! Пропустит карандашик между пальцев, повернет его и снова пропустит.

Даст картошки или не даст?

Прочел письмо секретарь, глаза к потолку поднял, а карандашик все так и кувиркается между пальцев — думает, значит. Потом в упор на Опенкина смотрит, а глаза кровью налиты. Не нужно доктором быть, чтобы догадаться: давно не спавши человек.

— Тебя как зовут? — спрашивает секретарь.

— Опенкин.

— Так и зовут — Опенкин? — смеется.

— Так и зовут.— Опенкин обиженно нахмурился.

— А полный титул?

— Руслан Евдокимович.

— Что ж, Руслан Евдокимыч, тебя надо агитировать или как?

— Мне картофель нужен. Товарищ Нитушев сказал...

— Да знаю, что он тебе сказал,— отмахнулся секретарь.— Нет у меня картошки! Нет. Понял? По нарядам отгрузить надо? Надо. Военская часть просит, надо дать? Тоже надо. А детские учреждения своего района я должен обеспечить? Должен! Хреновый я буду хозяин, если не обеспечу. А вы катите сюда, думаете, у нас картошки не меряно, не считано...

— Мне товарищ Нитушев говорил...

— Николаю я завтра позвоню, скажу, чтобы не гонял людей понапрасну.

— Так ведь мне всего одну машину! — отчаянно воскликнул Опенкин, чувствуя, что разговор подходит к концу.— Одну машину для столовой швейной фабрики!

— Нельзя, нельзя.— Секретарь сморщился, будто что-то нехорошее проглотил.— Сегодня вынесли решение, чтобы милиция без разговоров отбирала картошку у тех, кто диким методом заготавливает, у кого документов нет. Крутая мера, а что поделаешь? От нас картошку в степь везут, на базарах по три шкуры с людей дерут... Сегодня тут бушевал один делега, пришлось насильно из кабинета выпроваживать...

— Но ведь я не диким методом,— растерянно проговорил Опенкин.— У меня есть отношение горкома... Вот. Это же документ!

— Отношение? — улыбнулся секретарь, и в голосе его Опенкину почудилась интонация лихого заготовителя в кожаном пальто, который доставал из кармана пачку различных бумажек. И когда эта интонация

почудилась ему, Опенкин понял, что картошки не видать. Однако секретарь далее сказал:

— Ну, если отношение, тогда конечно... Смешной ты парень. Ладно. Я тебе пару слов напишу в колхоз «Ракета», к Генералову. Не упущение, не просьбу даже, а просто так, чтобы он с тобой по-человечески разговаривал.

4

Поспрашивая встречных, Опенкин нашел колхозную контору в низком, слегка покосившемся пятистеннике. Внешний вид конторы не вязался с представлением о космической технике. Но артель назвали «Ракетой» не потому, что она славилась успехами, а потому, что правление решило: так надежнее, космические завоевания будут жить в веках и вывеску всякий раз менять не придется.

— Ты меня здесь подожди,— сказал Опенкин шоферу,— я думаю, вопрос решу быстро...

На крыльце Опенкин задержался, аккуратно счистил с сапог липкую грязь, снял шляпу, дунул на нее и снова надел, не заметив существенного беспорядка. Подготовившись таким образом к встрече с Генераловым, которого Опенкин представлял огромным мужчиной с громкоподобным басом, он деликатно потянул на себя скрипучую дверь.

Из густого табачного дыма робко выглядывала надпись: «Не курить». Надпись висела на серой стене низкой комнаты, полной народу. Опенкин хотел было попятиться, полагая, что идет собрание и ему не следует мешать, но при появлении в комнате нового человека все немножко зашевелились, расступились и кто-то уже крикнул:

— Сюда проходите, сюда!

Опенкин, плохо понимая, что происходит, протиснулся вперед, и ему пододвинули табуретку, предлагая сесть. А какой-то маленький человек с забавным вихром на макушке протянул Опенкину узкую ладошку и сказал:

— Генералов.

Опенкин представился, и ему кивнул еще один человек, который сидел у окна, зажав в зубах длинную папироску:

— Воробьев.

Генералов пояснил:

— Товарищ из района...

И тут же все забыли про Опенкина. Председатель, верткий, сухощавый, поднял глаза на какого-то верзилу, стоявшего перед столом.

— Не-ет, Лопатин! Раз уж начал говорить, говори до конца! Когда волянить перестанем?

Лопатин стоял багровый от смущения, большой и неловкий, и, не зная, куда девать руки, ухватился за широкий ремень поверх полушубка.

— Зря коришь, Богданыч, зря. Я с кошары всего на денек отлучился. Я бабы собственной с ребятами полмесяца не видел...

— Ты зубов-то нам не заговаривай! — ершился Генералов.— Я тебя не про бабу спрашиваю! Ты мне прямо ответь: почему отару бросил?

Лопатин недоуменно смотрел на председателя, сказал уговаривающе:

— Чего ты городишь? Кто бросил? Мишка там остался, напарник мой. Завтра я чуть свет на кшаре буду, глядишь — и он домой наведается.

— Вот-вот, видите! — возмущенно воскликнул Генералов.— Он туда. Мишка сюда...

— А ты думаешь, мы безвылазно за двадцать верст от деревни сидеть будем? Сам-то когда к нам приезжал? По теплу еще? Когда

травка-муравка, калинка-малинка? А нам, стало быть, носа в деревню не кажи с займки? Не пойдет так! На-кася!

Лопатин неожиданно для всех согнул свои задубевшие пальцы в какое-то подобие обидной комбинации и показал Генералову. В горле председателя что-то булькнуло и заклокотало от нахлынувшего гнева. Белесая бровь товарища из района полезла вверх, лобсобрался складками. Воробьев недобро посмотрел на Лопатина, сказал:

— Это не метод вести спор. Безобразий не нужно.

— Вот с кем работать приходится! — кипятился Генералов. — Ты что мне кукиш суешь? Ты лучше скажи, как зимовать думаешь?

— А ты как? — в свою очередь спросил Лопатин.

— У нас мероприятия составлены, все расписано, до всех доведено!

— Мне твои... приятия ни к чему, — запнувшись, сказал Лопатин. — Ты мне овса дай, а я колхозу шерсть дам. А на силосе овцу не удержишь, это не корова...

— Во-на куда ты гнешь! Может, тебе еще травы посеять?

— И траву нужно... И овец сдавать нужно...

— Ага, до главного договорился! — востроился Генералов. — Значит, по-твоему, нужно сокращать поголовье? — Генералов окинул всех строгим взглядом и сделал решительный жест: — Запомни, план поголовья для нас — святыня! И мы будем пресекать разговорчики!

— Ты не ори на меня, не ори! — Лопатин уже не смущался. — А то я тебя самого пресеку!

Товарищ из района, сделав губы трубочкой, пустил колечко пахучего дымка, черкнул в блокнотик. А Лопатин дал волю скопившейся горечи:

— Я не пророк и то знаю, сколько у меня овец за зиму падет. Полсотни голов надобно под нож пускать. Старые они, понял? Старые! А тебе лишь бы бумажку послать: поголовье растет. А овцы зимой подохнут. Обидно подохнут...

— С падежом бороться нужно, товарищ Лопатин, — убежденно сказал Воробьев. — Нужно всеми силами бороться...

— Не нужно бороться, — помотал головой Лопатин. — Нужно старые выбраковывать, а хороших овец нужно кормить хорошо. Без овса овцу...

— Вы, безусловно, переоцениваете роль овса, — сказала молодая женщина, сидевшая поодаль. — Я как агроном заверяю вас: по сравнению с другими культурами овес дает меньше кормовых единиц...

— Про единицы я, конечно, не знаю, — отбивался Лопатин, — но газеты, извините, читаю. И смекаю, что не всех ругают. Вон Беккер, бригадир из Романовки, по тридцать центнеров овса взял... Так его даже хвалят! Ты у нас человек новый, а я своими глазами вижу: около кошары пятый год овес по овсу сеют. А потом ахают: пошто урожай плевый? За такой овес не ругать — судить надоть!

— Это уже не твоя функция, Лопатин! — Генералов бросился на выручку агрономше. — Много на себя берешь!

— Это точно, беру, — подтвердил чабан. — Потому как моя функция от твоей зависит и от ее тоже. — Он кивнул в сторону агрономши. — Ша-рахаетесь вы от стенки к стенке, никакой серединой не ходите. А сами понимаете, что не по уму дело в колхозе идет... Это и обидно...

Опенкин сидел затаившись и с интересом слушал перепалку. И хотя он не понимал, чувствовал, что в словах чабана есть какая-то правда. И еще видел Опенкин, что мужики, собравшиеся в конторе, полны молчаливого согласия с Лопатиным. И не понятно, почему они не берут слова, не вносят предложений, не делятся соображениями...

— Ну, вот что, Лопатин, — подвел черту Генералов, — будет собра-

ние — там будем говорить. А пока хватит. У меня вот товарищи сидят, по важным вопросам приехали...

— А мне что, я не собирался говорить.— Лопатин потускнел.— Сам ты меня растравил, сам вызвал.

— Ладно, ладно,— поспешно согласился председатель.— Заканчиваем посиделки... У кого еще вопросы?

Заскрипели скамейки, зашевелился народ. Одни направились к выходу, другие, поплевав на дымящиеся сигарки, потянулись к столу Генералова с бумажками и просто так, что-то сказать, что-то выяснить, утрясти. Опенкин попал не на колхозное собрание, которые проводятся честь по чести, с водой в графине, с красным сатином на столе президиума и с записью выступающих. Опенкин попал на случайное многолюдье. На улице осень, глубокая, неприятная. Летние дела закончены, зимние не начаты. Вот и тянет народ на огонек.

Постепенно контора опустела. А пока люди выходили, председателем завладел товарищ из района. Генералов отвечал на его вопросы, сверяясь с пухлой записной книжкой. Когда этого оказывалось мало, он звал на помощь агронома, бухгалтера. Товарищ из района записывал себе цифры, заставлял подсчитывать, проверять. Наконец Воробьев встал из-за стола:

— Имей в виду, на бюро пойдешь. Чтобы все было, как договорились.

Опенкину это было уже понятно. Нормальный деловой разговор. Воспитательный, нацеливающий. Поддерживающий ответственность.

— Постараемся, конечно,— сказал Генералов, и вихор у него на макушке вдруг опустился.— Только ведь сами понимаете...

— Понимаем. Все понимаем,— многозначительно подчеркнул товарищ из района.— Поэтому и предупреждаю: смотри... А с демагогией кончай! Кончай с демагогами. Нечего трепологию разводить. Есть колхозная демократия — пускай на собраниях высказываются.

— Так и я то же самое говорю.— Генералов развел руками.— Вы же слышали, как я с ними... Сладу нет, все говорить научились! А словами сейф не набьешь.— И Генералов кивнул в сторону большого, явно не по колхозным деньгам, железного ящика.

Воробьев ушел. Генералов почувствовал себя увереннее, сел за стол, погладил себя по голове, и, странное дело, на макушке сейчас же волосики поднялись дыбом, сообщив председателю воинственный и решительный вид. Генералов посмотрел на Опенкина долгим, немигающим взглядом и улыбнулся:

— Вы с лекцией?

— Я — нет... Я, видите ли,— забормотал Опенкин, вынимая из бумажника записку секретаря райкома,— по очень важному делу...

Генералов прочел записку, вздохнул, сказал с сожалением:

— А я думал — лекция. Людей на лекцию собрать — это еще можно. Картошки дать — нельзя. И зря Хлипак пишет... Сам знает, что я все отдал.

Генералов говорил настолько безнадежным тоном, что Опенкин ничего больше не просил, поднялся и вышел.

Шлыкин в кабине задремал. Опенкин хлопнул дверцей, Шлыкин открыл глаза.

— Договорился?

— Давай, Шлыкин, в Зимногорск,— тихо ответил Опенкин и отвернулся.

Секретарь райкома Хлипак встретил Опенкина без радости.

— Не дал?

— Не дал, — подтвердил Опенкин.

— Значит, не сумел уговорить. По нашим данным, у него кое-что есть. Что ж, ничем больше не могу помочь, до свидания.

Опенкин решил испытать последнее средство.

— Выгоды вы своей не понимаете?

— То есть?

— Как же, вы — нам, мы — вам... Как говорится... У нас ведь ремонтные мастерские, у вас картошка...

Опенкин еще до конца не высказался, а уже понял, что погиб. Бровь секретаря съехала вниз, и вторая туда же поспела, и создали они у переносицы такую дремучую нахмуренность, что, кажется, до утра просвета не дождаются.

— Сам додумался или научил кто? — спросил секретарь глухо, да как вдруг заорет: — Ты куда пришел? Тебе здесь что, черная биржа? Ты с кем торговаться надумал? Кто тебя учил ловчить: комсомол, партия? Может, Нитушев?

Сидел Опенкин ни жив ни мертв, красный, как бурак обваренный. Это что же делается? Какая нелегкая заставила его язык повернуть? Встретился бы ему сейчас тот, в кожане, набросился бы на него Опенкин с кулаками, несмотря на слабое здоровье!

— Все, — сказал секретарь уже спокойнее. — Разговор окончен. Заруби себе на носу: в партии не ловчат. Иди.

Опенкин встал, но к двери не пошел, а стоял перед столом секретаря, переминаясь.

— Что еще? — сурово спросил Хлипак. — Что-нибудь не ясно?

— Мне не ясно, где можно купить картофель, — тихо ответил Опенкин. — Я не могу приехать пустым... Простите меня за мастерские, но как я могу...

Хлипак заметил дрожащие губы Опенкина, вышел из-за стола, усадил его в кресло. Сам сел напротив. Недоумевающе уставился на Опенкина, покачал головой:

— Откуда ты на меня свалился такой?

— Из Степновска я, — едва слышно прошептал Опенкин, а громче сказал: — Я на все готов...

— Нельзя быть готовым на все, — разъяснил секретарь райкома. — Это противоестественно... Мне некогда читать проповеди, но я скажу: нельзя быть готовым на все. Вы сделали мне унизительное предложение. Я не обижаюсь на вас только потому, что верю — это не ваше, наносное.

Хлипак говорил с Опенкиным почти ласково, перешел на «вы» и думал, что на этом все дело кончится. Но Опенкин сказал:

— Спасибо. А как же картофель?

— Да-а, — протянул теряющий терпение секретарь. — Ничего не понял.

— Разрешите мне в Рассыпуху проехать, — попросил Опенкин, вспомнив вчерашний разговор на заезде двора. — В Рассыпухе, говорят, можно купить...

— В Рассыпуху нельзя, — вздохнул Хлипак. — Сейчас туда геологи с трудом добираются. Мы своего инструктора кое-как отправили... И потом, вы не представляете, что такое Рассыпуха. Это поселок, затерянный в горах, где даже колхоза нет. Кто вам продаст картошку?

— Вы разрешите проехать. Достанем... Только разрешите!

Хлипак чертыхнулся, почти с ненавистью посмотрел на занудливого посетителя и спросил:

— Машина какая?

— Вездеход.

— Шофер надежный?

Опенкин мысленно представил хмурого Шлыкина, который не вызывал у него особых симпатий, но ответил так:

— Ручаюсь, как за себя.

И чуточку потеплел взгляд секретаря райкома, и он, хотя иронически скривил губы, согласился:

— Геро-ой... Коли так, на себя потом и пеняй.

5

Преодолев множество горных ручьев, говорливых, суматошных, карабаясь на склоны и почти юзом съезжая с них, в полдень машина остановилась у подножия Плач-горы. Шлыкин, заглушив мотор, вылез из кабины в противную сырость моросливого дождя. Опенкин вылез за ним. Согревшиеся и даже подсохшие сапоги погрузились в рыжую, жидкую на дороге грязь. Большими прыжками Опенкин поспешил выбраться на обочину. Прямо около него оказался куст рябины с опавшими листьями. Крупные гроздья пламенели даже в тумане. Отщипнув одну ягоду, Опенкин заранее сморщился, положил ее в рот, разжевал.

— Витамин,— сказал он, сохраняя на лице гримасу.

— Чего? — не понял Шлыкин.

— Витамины, говорю, на дороге растут...

— Век бы их не видать,— по обыкновению сумрачно откликнулся шофер, изо всех сил пиная облепленный грязью скат.— Вот зазимую здесь — вдоволь этих витаминов наглотаетесь...

— Зачем же зимовать? — бодренько спросил Опенкин.— Остынет мотор, дальше поедем. Еще далеко ехать...

— Как же, взлетим на эту горку! Жалко, что не видать, куда падать будем...

Туманная пелена прочно и надолго окутала вершину Плач-горы. Опенкин впервые попал в горы и полностью не представлял риска, который крылся в раскисшей дороге и крутом подъеме. Как и все люди, не связанные с техникой, Опенкин наивно полагал, что машина, если она к тому же называется вездеход, должна осилить любой подъем.

Получив от секретаря райкома разрешение на проезд, Опенкин думал, что основные трудности остались позади, что теперь он наверняка придет с картошкой. Немного гордясь своей проницательностью, думал Опенкин и о том, что на вопрос Хлипака о надежности шофера дал правильный ответ. Шлыкин вел машину в горах, как будто всегда ездил здесь. И хотя он оставался по-прежнему неразговорчивым, Опенкину нравился все больше и больше.

Но Шлыкин, гонявший во время войны «студебеккер» по карпатским серпантинам, видел и понимал, что склон был слишком крутым, дорога слишком плохой, чтобы надеяться на благополучный исход. И все-таки он не стал пугать Опенкина. Не обращая внимания на грязь, Шлыкин несколько раз обошел машину, заглянул под мотор и сказал:

— Садись, будем судьбу испытывать.

Мотор ревел на самых высоких нотах. Опенкин вдруг физически почувствовал, как тяжело автомобилю без прочного сцепления с землей преодолевать подъем. Шлыкин сжал баранку так, что побелели пальцы. Он смотрел на дорогу, закусив губу, и казалось, для него не существует ничего в мире, кроме натужного воя машины и рыжей полосы грязи, уходящей вверх.

Опенкин поймал себя на том, что он привстал с сиденья, желая облегчить ношу машины.

В конце первого подъема стояла кривая береза. Ветер, все время дующий по распадку, согнул ее, вытянул ей ветви в сторону путников,

поднимающихся к вершине Плач-горы. Опенкин хорошо видел березу. Вот она уже совсем близко, вот осталась позади.

Шлыкин резко переключил скорость, пытаясь набрать разгон. С ровной площадки вода не стекала, машина устремилась к новому подъему, разбрасывая по сторонам тяжелую жижу.

Опенкин почувствовал, что ему жарко. Бросил взгляд на Шлыкина, с удивлением заметил, как и тот быстрым движением смахнул со лба крупные капли пота.

Проскочив площадку и с разгона отвоевав несколько метров крутого пути, Шлыкин снова включил пониженную передачу. Опять жестоко завыл мотор, опять, отчаянно скользя, вместе с ошметками грязи отбрасывали назад сантиметры пути. Второй подъем был длиннее и круче предыдущего. Отступивший туман открыл вершину горы, поросшую пихтами.

Опенкин не сумел бы сказать, когда это случилось: на середине подъема или ближе к вершине, но он сразу догадался — что-то случилось. Еще мотор продолжал работать, еще двигался навстречу серый камень, напомилавший скифскую бабу, но Опенкин понял: беда. И словно в подтверждение догадки, машина как-то странно задержалась, не двигаясь с места.

Колеса прокрутились, отказываясь штурмовать скользкий склон. Шлыкин прибавил газу, но мотор, не приняв нагрузки, заглох. Машина медленно поползла вниз. Шлыкин передернул рычаг, включил задний ход. Мотор заработал. Шлыкин попытался приостановить спуск, посылая машину вперед, но уже ничто не могло удержать автомобиль на горе.

Опенкин ощутил что-то противное во рту. Это был страх. К каждому он приходит по-разному. Опенкина тошнило.

Шлыкин снова запустил мотор, стараясь задним ходом притормозить скольжение, но безуспешно. Скорость нарастала. Опенкин открыл дверцу, намереваясь выскочить из кабины, но резкий окрик Шлыкина осадил его.

— Назад! — крикнул Шлыкин, быстро-быстро поворачивая руль.

У них оставался один выход, и Шлыкин отлично это понимал. Когда машина, разогнавшись, спустилась на площадку, Шлыкин крутым поворотом руля заставил ее выскочить из колес и встать поперек дороги.

Инерция была слишком велика, чтобы машина устояла. Она повалилась на бок, как игрушечная.

А все-таки повезло им. Живы остались и машину почти не покалечили. Так, самую малость покалечили: кабину помяли да фару с того бока, на который валились, разбили. И больше ничего.

А если бы не удержал Шлыкин Опенкина, страшно подумать, не было бы его в живых. В тот момент, как он дверцу захлопнул, вездеход и завалился. Придавило бы Опенкина, вклеило бы его в грязь, на том и делу конец...

И так Опенкин страху натерпелся, когда шофер боднул его головой в губы, а потом навалился на него всей тяжестью. В глазах потемнело у Опенкина, не уловил момента, когда все кончилось, когда с сиденья сполз и застонал тихонько.

Из кабины выбрались они взъерошенные, будто вороны в дождь. Эх, дела! Уж отвел душу молчаливый Шлыкин! Опенкин сроду такого не слышал. Потом, осмотрев машину, Шлыкин немного успокоился, что-то обдумывать стал. Ходил кругом, присматривался, на Опенкина внимания не обращал.

Опенкин потоптался: зябко. Это в кабине тепло, а на дворе холодно.

Хорошо бы согреться. Сошел Опенкин с обочины к пихтачу, наломал веток, в кучу сложил — и начал спички портить. Наверное, отсырели спички, не хотят гореть. Сера вспыхнет, ударит в нос вонючим дымком и потухнет. Бьется Опенкин, спички ломает. Нет, не получается.

— Дайте, пожалуйста, бензинчику, — попросил шофера.

Подошел Шлыкин — с лица темнее ночи. Молча с нижних веток мха надрал, под сучья подложил, чиркнул своей спичкой — дымок пошел. Прямял Шлыкин мох, сквозь дымок огонек пробился. А на огонек положил он тонюсеньких веточек. Побежал огонек, побежал. Веточки затрещали, жаром занялись.

Молчит Опенкин. Что скажешь? Может, у Шлыкина спички другие? А у Опенкина спички обыкновенные, с картинкой: «Берегите пресноводных рыб». Дали бы сейчас Опенкину пресноводную рыбу, не стал бы он ее беречь! Костра не стал бы разжигать, сырем бы сжевал.

Шлыкин около костра с наветренной стороны устроился. Раскорячился над огоньком, пальцами шевелит. Молчит Шлыкин. Ну, чего он молчит? Ведь меры принимать нужно! Нужно активно действовать! А не сидеть около костра. Есть же какой-то выход из положения! Не может быть, чтобы не было выхода. Всю жизнь Опенкина учили, что выход есть всегда. Главное, чтобы руководитель вовремя принял правильное решение... А сейчас он, Опенкин, руководитель. И ему, Опенкину, решение принимать.

— Ну-с, что вы предлагаете? — спрашивает Опенкин водителя, отворачиваясь от едкого дыма.

Это тоже правильно. Настоять на своем решении никогда не поздно, сначала нужно узнать, что народ думает, потом свое решение принимать.

Шлыкин недобро усмехнулся и сказал:

— Предлагаем зимовье строить. Весной найдут нас — на вертолете вывезут...

— А если серьезно? — по-деловому нахмурился Опенкин.

— А если серьезно, нужно нам, браток, только на себя надежду иметь, понял? — Шлыкин встал от костра. — И одному из нас нужно в Зимногорск топать за подмогой... Трактор нужен. Без трактора машину не поднять. Так что собирайся...

Расстроился Опенкин. Чего он командует? Кто из них руководитель? Опенкин еще и слова не сказал, а у него все уже распланировано. Хоть бы посоветовался для приличия. Опенкин и сам понимает, что нужно в Зимногорск за помощью идти, но он хотел Шлыкина послать, а сам хотел здесь остаться, в кюстер веток подбрасывать.

— Собственно, почему должен топать я? — спросил Опенкин строго.

— Потому что мне машину бросать несподручно. Машине присмотр нужен.

— Я присмотрю, не беспокойтесь, — успокоил шофера Опенкин.

— А я и не беспокоюсь, — усмехнулся Шлыкин, — но пойдешь ты, понятно? Ты пойдешь...

Рассердился Опенкин: анархия какая-то! Ошибается Шлыкин, есть у него руководитель. И не просто руководитель, но — согласно последним требованиям — руководитель-воспитатель! Принялся Опенкин воспитывать.

— Вот что, товарищ Шлыкин, — сказал он солидно. — Я внимательно все выслушал. Теперь слушайте вы: пока я ответствен за исход дела, решения принимаю я, это — раз... Потом, в Зимногорск пойдете вы... И, наконец, оставьте, пожалуйста, этот тон, он не годится для разговора с...

— Все, — ощерился Шлыкин.

— Все,— с достоинством подтвердил Опенкин.

— Слушай, сморчок,— процедил сквозь зубы Шлыкин, и лицо у него сделалось нехорошее, страшное, злое лицо,— я гонял на работу таких сачков, что все диву давались. Зубами скрипели, а шли. По моему слову шли! Не ждали другого разговора... И ты пойдешь. Встанешь и пойдешь.

«Господи, уголовник! — испугался Опенкин.— Пристукнет...» И не забываясь больше о том, чтобы выглядеть солидно, как подобает настоящему руководителю, он послушно сказал:

— Пойду. Я пойду...

У Шлыкина, когда он Опенкина в Зимногорск погнал, расчет был точный: Шлыкин ничего с кондачка не делал. Подумает, прикинет со всех сторон, а уж потом наметит линию. Пока он над костром пальцами шевелил, вышла у него такая линия: Опенкина отправить. На Рассыпуху ходили только машины геологической партии. Они эту дорогу и натопорили, машины у них — звери, с тремя ведущими осями, с лебедками. Раньше-то, узнал Шлыкин, до Рассыпухи тропа вьючная тянулась.

Так вот, хотя надежда малая, но все же была такая надежда, что Опенкину геологи встретятся. Тогда он вернется с подмогой. А если машины подойдут со стороны Рассыпухи, тут их сам Шлыкин встретит, поставит свой грузовик на ноги и поедет догонять Опенкина, чтобы дать тревоге отбой. Ну, а если вообще помощь не подоспеет, тогда совсем правильно, что Шлыкин на Плач-горе остался, тогда нужно машину своими силами поднимать.

Прежде всего, как Опенкин ушел, Шлыкин топор наладил. Валялся у него под сиденьем ржавый топор на усохшем топорнице. Зажав топор между колен, Шлыкин крупным напильником наострил его. Потом клин вытесал, в топорнице камнем загнал, подбросил топор в руке: поидет. Рядом лужа, грязью наполненная. Шлыкин топор в лужу сунул, чтобы топорнице замкнуло, а сам еще раз машину обошел.

Вездеход лежал поперек дороги, кабиной к вершине Плач-горы. Стало быть, ежели его поднимать, гора сама поможет. Домкратом приподнять — бревно подсунуть. Еще приподнять — еще бревно. Клеть надобно городить, чтобы машина от земли оторвалась и на колеса встала. Хорошо, что неплотно лежит, кузов на камень попал.

Примерившись, Шлыкин облюбовал себе первое дерево, ядреную пихту, но не очень толстую, чтобы сподручнее тащить. Шлыкин сбросил телогрейку, поплевал, как водится, на ладони и ахнул. Звук пошел по распадку глухой, туманом притушенный.

Эх, и порубал же Шлыкин на своем веку мачтового леса! В иркутской тайге просеки гнали. Вся механизация: пила поперечная да другой топор. А лес-то какой! Один хлыст на десяток кубиков потянет. Намахаешься за день, из глаз пот закаплет... Было, э-э, многое было, чего вспоминать. Порубал Шлыкин лесу, на всю жизнь сноровка осталась.

6

А Опенкин шел. Как не пойдешь — жить надо. Плохо было идти. Сеево мокрое с небес посыпалось, опять Опенкину беда. Плащишко на рыбьем меху, без поддева — по городу только бегать. Шляпа с ленточкой, поля набухли, к плечам гнутся. Очки снять — в трех шагах ничего не видит Опенкин. И в очках плохо, не успевает стекла протирать.

Одно хорошо — сапоги. Знатные сапоги, яловые, с подковками, дал ему на время сосед по квартире, заядлый охотник. Сам предложил, когда узнал, что Опенкину в горы ехать. Берн, сказал, не пожалеешь... А не

сосед — поехал бы Опенкин в туфлях с дырочками. Были у него такие, для разных случаев надевать.

Пока Опенкина в кабине мотало, знал он, что дорога плохая, но ехать можно. Теперь же, вытаскивая сапоги из цепкой грязи, удивлялся: как проехать могли?

Опенкин сошел с дороги — трава по колено. Крепкая в горах трава, зеленой под снег уходит. Мокрая трава. Так и хлещет по голенищам. И выше голенищ тоже хлещет. Пришлось в гору по траве идти, за кусты цепляться, а под гору — опять выходить на дорогу и скользить. Мокрый уже выше пояса, а жарко Опенкину, воздух ртом начал хватать, будто мало в горах воздуха. Потом совсем вымок. Дождик незаметный, а свое дело справляет: мочит потихоньку.

Сколько прошел Опенкин, не знал. Верстовых столбов на той дороге не ставили. Но как начало темнеть, он напугался, что никуда не дойдет, пропадет в этих проклятых горах. Очень напугался Опенкин, ноги сами собой подкосились, опустился он на мокрую траву и заплакал. А может, не плакал. Может, капли дождевые по щекам катились.

Дождь перестал, ветерок потянул. Опенкина пока не обдувает — верховой ветерок. Пихтач зашептался. Между вершинами звезды зажглись: маленькие, холодные. Мало их. Осенью звезда за тучей сидит: теплее. Тихо. Слышно, как, не удерживаясь на крутых лапах пихты, скатываются на землю капли. Шорох какой-то слышен. Может, зврек в норку спешит, может, сама земля шуршит, укладываясь поудобнее на зиму.

Опенкин один в тайге. Некому тряхнуть его, некому заставить подняться, некому мобилизовать на выполнение важного поручения. Сгоряча посидел на земле, вроде бы и не холодно. А потом озноб прошелся по Опенкину. Встать бы, пойти...

«Какой нехороший человек этот Шлыкин, — лениво думается Опенкину. — Сам у машины остался... И зачем послушался его, зачем пошел? Ведь мог бы и не идти. А теперь... Теперь шагать нужно. Вот сейчас... Встать и шагать. Цепляться за кусты, скользить под гору. Ради чего? Неужели ради картошки? Какая глупость... При чем картошка? Там... Там человек около машины. А почему он остался? Пускай бы сам шагал в кромешной тьме! Он шофер, он машину опрокинул... На нем ответственность... Он помощи ждет...»

«Только не останавливайся, — вспомнился совет Шлыкина. — Иди, иди, пока не придешь...»

Ха, пока не придешь! Куда придешь? Хорошо, что темно. Хорошо, что никто не видит Опенкина. Нельзя с него в ту минуту брать примера. Поднялся вдруг с земли, руки к небу воздел, как самый несознательный элемент. «Сволочи! — кричит. — Я все равно дойду, — кричит, — не останусь здесь!»

А кто сволочи? На небе нет никого. На земле, конечно, сволочей предостаточно еще, но Опенкина не они за картошкой посылали, и даже в самых расстроенных чувствах никак Опенкин не может назвать товарища Нитушева плохим словом.

Говорят, у людей есть второе дыхание. Кончились силы, хоть падай. А ты не падай, карабкайся, и дальше вроде бы легче будет. Конечно, теоретически оно, наверное, так. Но Опенкин на второе дыхание при рождении не был рассчитан. В нем и первое-то дыхание держалось так себе, серединка на половинку. И почему он пошел дальше — неизвестно. И даже не пошел — побежал. Побежал, падая, сдирая ногти о корневища, обнаженные на дороге. Побежал, с каким-то неизъяснимым упорством, с прерывистым дыханием выкрикивая разные непечатные слова. И не осознавая, что он их выкрикивает, чувствовал, что так легче, что так он дойдет, куда ему нужно.

Геологи его увидели, когда машины совсем близко подошли. И свет у «ЗИЛов» мощный, и гудят они, перегруженные, как танки, а человек на дороге их не замечал. Шел человек с непокрытой головой, падал, на четвереньках карабкался. Снова поднимался и снова падал.

Первую машину вел бедовый парень; в Зимногорске на ночь глядя, несмотря на запрет, отважился рассыпухинскую Клашку Зубову с собой в кабину взять. Ехал парень, услаждал Клашку такими байками, что та даже смеяться устала, аж за ушами у нее закололо и челюсть занула. И так между делом, похохатывая, локтем ее в твердый бок поталкивая, договорился водитель переночевать в Рассыпухе. Путь до разведочной партии длинный, в дороге остановка на пользу пойдет...

Опенкина заметил шофер.

— Глянь, как бы человек... Чегой-то он корячится?

Клашка сквозь стекло всмотрелась, сказала с сомнением:

— Медведь, поди... Человеком в эту пору здесь до самой Рассыпухи не пахнет.— И сама, наконец разглядев, воскликнула: — Ой, и впрямь человек! А ну, стой! Никак беда с кем приключилась!

Затормозил шофер на горке, сигнал дал. Но человек не слышит. Упал — и головой в землю.

До машины десятков шагов осталось, а человек головы не поднимает. Клашка из кабины выскочила, навстречу бросилась, шофера за собой зовет. Подбежала — слышит, а этот, который ползет, ругается по-матерному и еще что-то такое говорит. Оробела Клашка, но виду не показывает, спрашивает:

— Ты чего? Что с тобой? — а сама Опенкина за руки норовит ухватить, потому что он ее не видит и все руками по земле царапает.

А земля-то уже морозцем сверху прихвачена, тоненьким слоем. Надавить — грязь наружу вылезет, но пока давишь — руки собьешь. И потому руки Опенкина покрыты грязью и кровью. И течет по лицу пот, а может, слезы дорожки оставляют. Волосы у Опенкина от рожденья реденькие, смешались с грязью, сосульками торчат. И похож Опенкин, боже мой, на кого он похож, но только не на культурного человека! И даже на бескультурного человека непохож он. А на работника райисполкома — и подавно...

— Да что с тобой? — спрашивает Клашка, а сама-то уж от земли его поднимает, голову на колени кладет, пачкая праздничную юбку.— Ну-ка, ты! — командует Клашка шоферу.— Помоги до машины донести. Кажись, не в себе человек...

Тут из другой машины водитель подоспел, подхватили Опенкина — и в кабину. Клашка с него перепачканный плащ стащила, пиджак сдернула.

— Водки давайте! — требует.

— Нету водки, — пожал плечами водитель.

— Ладно, — догадалась Клашка, — спирт еще лучше. Давай!

Вдохнул шофер — жалко спирта, — полез за бутылкой. Клашка Опенкину грудь спиртом натирает, вкусно запахло, даже бензин перебивает, шофер головой покачивает: жалко спирта. Опенкин лежит на сиденье, глаза закрыты и бормотать перестал. Зубы стиснуты, стонет потихоньку. Потерла Клашка грудь, зубы Опенкину разжала и влила в него глоток спирта. А Опенкин сроду ничего крепче вермута не пил, задохнулся, заперхал и глаза открыл.

— Чего ж ты так, миленький? — прошептала Клашка.— Откуда ж ты такой?

Плохо видит Опенкин, соображает плохо.

— Машина... там... Плач-гора...

— Слыхали, мужики? — забеспокоилась Клашка. — У Плач-горы, говорит, машина... Давайте поспешим!

Остатки спирта шоферы допили, в кузова заглянули, как там груз, не разболтало ли по такой дороге? Где веревку подтянули, где край брезента под веревку заправили. Когда спешишь — торопиться не следует.

Клашка Опенкина к себе прижала, поддерживает его. А он, как дитя малое, голову обессиленную на плечо к ней приткнул, и глаза закрыты.

— Ты бы, между прочим, не жалась к нему, — сказал шофер. — У меня, между прочим, тоже нервы есть...

— Мозгов у тебя нет, — огрызнулась Клашка. — Человек умаялся до точки, а тебе...

Очнулся Опенкин, почувствовав чью-то прохладную ладонь на своем лбу. Глаза приоткрыл — Клашка к нему наклонилась: поверх сорочки шаль накинута, волосы распущены, глаза припухшие со сна.

— Лежи, лежи, — сказала, — я тебе сейчас дам малины пареной...

Смотрит Опенкин на Клашку и не поймет, что с ним приключилось, вроде бы через кисею видит ее, вроде бы через прищур, когда все расплывчатым кажется. От слабости, что ли...

Клашка к печке отошла, около окна встала. Нагнулась над плитой. Шаль сползла с плеча, под тонкой рубашкой против света обозначилась грудь. Зашевелился Опенкин слабо. Клашка тут как тут:

— Чего тебе? Лежи.

— Выйти нужно...

А потом Опенкин пил узвар малиновый, запашистый, как вино, крепкий. Пил с блюдечка, губы вытянув, осторожно тянул, чтобы не обжечься. Клашка рядом сидела, руку под подушку подсунула и придерживала вместе с подушкой голову Опенкину, а другой рукой узвару подливала.

— Малина для хворого — первая статья, — приговаривала Клашка. — Кого хошь на ноги поставит...

На спину Опенкин отвалился мокрый и совсем обессиленный, но какой-то просветленный, словно только что проснулся окончательно.

— Спасибо, Клаша.

— Вот и хорошо. Теперь лежи. Есть захочешь — киселью устрою.

— Шлыккин где? — тихо спросил Опенкин.

— К свекру я его определила, отдыхает... Вот двужилый мужик! Зверюга! Ко мне просился на постой. Только мне его не нужно.

Поморщился Опенкин: ну что за разговоры такие? И кто говорит — женщина! К чему все это... Уйти, что ли...

Остался Опенкин. Ослаб вконец. Давеча завтракал, голова кругом пошла, до того ослаб. И лежал Опенкин в светлой горнице на мягкой постели, то дремал, будто в забытии, то опять к жизни возвращался. И все думал, как ему повезло.

Клашка вернулась к вечеру. Измученная, по колено в грязи, но веселая и хлопотливая. Сапоги у порога сбросила, шубейку швырнула на остывшую печь — и к Опенкину:

— Не помер ты тут у меня? Поди, голодный? Я тебя мигом накормлю...

— Да нет, Клаша, спасибо, — вяло отбивался Опенкин, — мне уже совсем хорошо, встать буду...

— А что? И вставай! — зачастила Клаша. — Болезнь лежачих любит. А ты вставай, ей тогда не справиться, отступит...

— Шлыккина ты не видала? — спросил Опенкин, чтобы как-то переменить разговор.

Его почему-то тяготило участие Клаши. Опенкин никак не мог понять причину Клашиной заботливости. Ну, как это ни с того ни с сего человек вдруг начинает ухаживать за совершенно чужим человеком, как за близким родственником? С чего бы это? Другое дело — помочь... Это правильно, помогать надо, ежели кто в беду попал. Правда, самому Опенкину никому помогать не приходилось, случая не выдавалось. Но случись что — помог бы. Поговорил бы по душам... Может, денег дал бы. В общем, помог бы... А ведь Клаша... Это же черт его знает что такое! Ведь она же его голым видала, а? Опенкин смутно помнит, как затащили его в избу. Клаша расстегивала на нем пуговицы, снимала рубашку.

— Шлыкина-то, говорю, не видала?

— Шлыкин твой нынче в деревне первый человек, — ответила Клаша, отходя от печи. — Сено вывозил... В очередь за ним бегали.

— Какое сено? — не понял Опенкин.

— Обыкновенное. Сухое, — засмеялась Клаша. — Зима на носу, убирают хозяева...

Клашка растопила печь, загремела чугушками, полезла в подпол за картошкой. Спорилось дело у Клашки, и она знала, почему ей весело, почему на душе хорошо. Мужик в доме. Слабенький, а все мужик... Слабенький — это и лучше, ухаживать можно. А Клашка всю жизнь ухаживала за кем-то. Ухаживала за утками, за гусями, за коровой, за пчелами. Ухаживала за больным отцом, пока он, старый казак, бравший когда-то ножом медведя, нехотя отдавал богу свою душу.

Перед смертью повелел папаша выйти за Митьку Зубова, только за него («Смотри, Кланька!»), потому как Зубовы — хозяева домовитые, добро по ветру не пустят. А добра старый Ерофей собрал немало. И до войны ездил он со своим медом на равнину, и во время войны тоже ездил. А после войны сумел Ерофей развернуться по-настоящему. Где-то люди задыхались от бесклубья, где-то пахали на себе, а Ерофей без пашни и семян не знал о хлебе заботы. На Ерофея пчела работала. Пока не оскудели горы разнотравьем, пока цвела верба, дягиль, акация, репейник, качал Ерофей медок десятками пудов.

Когда Ерофей скончался, все по его воле получилось. Митька Зубов примаком к Клашке пришел. Так оно спокойнее: отцово хозяйство делить не нужно. Митька после армии долго в Рассыпуху не возвращался, вербовался к черту на кулички, норовил деньгу крупную сорвать. Ничего не вышло: фонды везде урезанные, экономика везде. Вот тогда, помотавшись по земле из конца в конец, и вернулся Митька домой, получив известие о кончине старого Ерофея. Хоть и не хотелось ему в Рассыпухе оседать навечно, да и Клашка не очень нравилась, но оставлять хозяйство Ерофея без своего присмотра было нельзя.

Через полгода Митька в тюрьму попал. Закуролесил по пьяному делу на праздник, схватился с кузнецом Храмовым, чуть до смертоубийства не дошел. Оно, конечно, Храмов больше виноват, первым оглоблю схватил, намереваясь решить Митьку. А Митька оглоблю отнял и по голове кузнеца, по голове...

Храмов по больницам отлежался, глуховатым стал, но живет. Митьку же, на горе отцу, засадили.

Растопив печку и наладив варево, Клашка стала Опенкина в баню собирать. Подала какие-то брюки, заплатанные, но чистые и отутюженные даже, достала теплую женскую жакетку:

— Пока твою одежонку способлю, одень-ка вот... Не стыдись, баня во дворе, никто не увидит.

Крохотная банька приютилась на задах. Огород кончается, вот тут и банька под самой горой. Бревна черные, в обхват: на две жизни Ерофей баню делал. Предбанник маленький, скамейка стоит, бочка с водой, полы свежей соломой застланы. Опенкин озирается, не видал такого. А Клашка, как дома, хозяйка полная.

— Иди сюда,— зовет,— я тебе все покажу. Вот каменка, сюда воды плеснешь — тепло будет. В деревянной кадке горячая вода, холодную в снях возьмешь.

Опенкин голову в баню просунул: страшно. Духота сухая, ничего не видно — оконце закопченное, света почти не пропускает.

— Ты не пугайся, иди,— снова зовет Клашка,— такой бани в городе у вас не найдешь... Попариться хорошенько тебе нужно, иди...

Ушла Клашка. Опенкин разделся и сразу пупырышками покрылся. Холодно в предбаннике. Юркнул Опенкин в удушливый зной, рванувшись из двери, постоял, пригляделся, все разглядел. Почерпнул воды — горяча. Опять в предбанник нужно за холодной. Черт знает что такое! Так и будешь бегать. Хуже еще простудишься... А куда воду плескать? Ага, вот камни кучкой лежат. Опенкин присмотрелся, мать честная, а камни-то светятся малиновым светом, раскаленные. Черпнул ковшиком, на камни — плесь! — и присел сразу. Сухой пар рванулся на Опенкина, обжег ему уши, глаза, горло. Так пар рванул, что дверь в предбанник распахнулась.

Посидел Опенкин на корточках, отдышался. Закрыв дверь, полез на полок. Полочка невысокий, выскоблен чисто, мятой пахнет. Лег на живот, голову руками обхватил, чтобы уши не жгло, и лежит греется. Вдруг дверь снова распахнулась, и в клубах пара смутно-смутно Опенкин увидел Клашку. Она держала в руке широкий березовый веник.

— Ты чего? — забеспокоился Опенкин.

— Лежи, лежи,— успокаивает его Клашка,— я тебя сейчас попарю, всю хворь выгоню...

— Выйдите,— попросил Опенкин,— я оденусь.

Клашка покачала головой — ну и ну! — хохотнула тихонько, вышла. Опенкин снял исподнюю рубаху с чужого плеча, переделся в свое. И галстук, старательно отутюженный, завязал на чистой сорочке. И стал опять культурным товарищем, городским человеком.

А завтрак был отменным. Постаралась Клашка. Яичница с салом, молоко, в тарелках насыпана брусника, нарезаны помидоры, горкой наложены соленые грибы. И тут же мед сотовый, и графинчик с водкой — все как полагается. Постаралась Клашка, а Опенкин ел мало, скучно и все тяготился думами.

— Выпейте немного,— посоветовала Клашка,— после болезни полезно.

— Нет, нет, что вы,— отмахнулся Опенкин.— Я вообще-то не пью, а сейчас...

— А что сейчас? — игриво повела плечом хозяйка.— Сейчас давайте за наше счастье!

Опенкин вздрогнул, испуганно взглянул на нее: о каком счастье речь? Неужели на него виды имеет?

— У нас с вами не может быть счастья,— сказал он немножко трагически.

— Это почему же? — напевно произнесла Клашка.— Что мы с вами, хуже всех? А невеста ваша — это не счастье? А может, амнистия моему мужу выйдет? Выпейте немножечко, прошу...

Успокоенный, однако, Опенкин поддался уговору, страдальчески сморщился, проглотил обжигающую дрянь. С трудом подцепил на вилку

скользкий рыжик. Еще не успел прожевать закуску, не стучавшись, вошел Шлыкин. Ах, как нехорошо: догадается Шлыкин, что Опенкин водку закусывает!

Оставляя за собой следы, Шлыкин взял табурет, волоком подтащил его к столу, уселся. Налил в стопку молока, залпом выпил. И все молча, не ожидая приглашения. И Клаша принимает это за должное, вилку ему подала, сковородку поближе подвинула.

— Спасибо, я уже,— сказал Шлыкин.— Это я с вами за компанию выпил.

— Невеселая у нас компания,— сказала Клашка, глядя на Опенкина чуть запотевшими глазами.— Не нравится городским наше угощение...

— Не того кормишь,— хмыкнул Шлыкин.

— Товарищ Шлыкин! — строго сказал Опенкин.

— Чего тебе? Обиделся? Ну, не надо, я шутейно... Хороша девка, завидно...

— Товарищ Шлыкин! — сказал Опенкин еще строже.— Не забывайте!

— Да будет вам, чего схватились,— устало сказала Клашка и поднялась из-за стола.

— Сколько у нас денег на картошку? — спросил Шлыкин деловым тоном, будто и не было маленькой стычки. Опенкин, возмущенный развязностью шофера, не сразу смог ответить, ему нужно было овладеть собой, успокоиться.— Сколько денег у нас, спрашиваю? Чего молчишь?

— Двести. Как раз на машину,— ответил наконец Опенкин.

— По десять рублей не отдадут,— покачал головой Шлыкин.— Никто цену не говорит, продешевить бояться, но по десятке центнер — не пойдет.

— Как же это не пойдет? — заволновался Опенкин.— У нас же больше нет, мы же не спекулянты какие-нибудь!

— Ну-ну, иди объясни, может, разжалобишь,— ухмыльнулся Шлыкин.

— А как же! Пойду и объясню — и поймут! В конце концов сельсовет поможет...

— Да? — сказал Шлыкин.— А сельсовет-то кто? Хозяин мой, Зубов, в сельсовете сидит. Этого и по роже видно, он так поможет, что среди хлеба с голодухи ноги протянешь.

— Перестаньте вы, Шлыкин! — как от хины, страдальчески сморщился Опенкин.— И что это у вас за натура такая, в каждом гнильце искать? И что вы по физиономии определить можете? Это, знаете, очень опасная штука, по внешности судить о человеке...

— Да? — снова ощерился Шлыкин.— Ну-ну, давай. А я пошел, левак хороший накатился, грех упустить.

И Шлыкин ушел. Плохо стало Опенкину от этих разговоров. Утро какое-то сумасшедшее. И вообще все наискосок идет. Теперь уже Опенкину мало того, что он живым остался. Раз живым остался — нужно задание выполнять. И Шлыкина нужно приструнить — совсем разболтался водитель. А что это он такое говорил? Левак? Это значит побочный заработок! Да как же это, а? Что скажут люди? Это же черт знает что такое!

Засобирался Опенкин, зашпешил. Плащишко свой заскорузлый натягивает, без очков не видя, на ощупь рукой ищет на вешалке шляпу. Вспомнил, что нет теперь шляпы, растерянно руки опустил.

Клашка стоит у печки, молча на Опенкина смотрит. Грустно смотрит, ласково.

— Как же я, Клаша? — спрашивает Опенкин, беспомощно озираясь. — Без шляпы как? Холодно...

Клашка, ничего не говоря, в сундук полезла. Достала мужнину шапку, Опенкину подает. Примерил Опенкин: велика, на глаза сползает шапка.

— Ничего, в деревне сойдет, — успокаивает Клашка. — Да и в город поедешь, беды не случится...

— В город? — недоумевает Опенкин. — А-а, вон что... Нет, Клаша, я не смогу купить эту шапку, у меня нет собственных денег...

— Нужны мне твои деньги! — фыркнула Клашка. — Думаешь, как вы там, за копейку трясетесь... Носи, коли надо...

Зубов сидел за столом, как под образом. Волосинки у Зубова беленькие и редкие, по одному друг к другу прибранные, чтобы порядок на голове не нарушался, маслицем коровьим сдобренные. Брови у Зубова тоже белые, а из-под бровей глаза нетронутой голубизной светятся. Чистые глаза, умные и внимательные. Сохранил их Зубов, не опалил жизнью. Смотрит Зубов на людей ласково. Не крикнет, упаси бог, на человека, ни слова плохого не скажет. Справочку заверить — пожалуйста, достанет из внутреннего кармана печать в бархатном мешочке, бережно подышит на нее и на бумажку опустит. Не давит печатью, не тискает, хранит Зубов печать с гербом. В печати той власть большая. Кто глупый, не понимает: чего, дескать, сельсовет? А Зубов понимает, дорожит печатью и втайне гордится, что вот уже восемь лет, как он советскую власть представляет в Рассыпухе.

Зубов почтительно привстал навстречу Опенкину, опершись пальцами на край стола, ждал, пока гость приблизится, первый протянул руку:

— Здравствуйте, товарищ хороший, здравствуйте! — нараспев сказал он Опенкину. — Садитесь, будьте добрыми, беседуйте, пожалуйста...

— Чего беседуйте? — оторопел Опенкин.

— А это у нас, горских казаков, такая присказка старинная, товарищ хороший, — потихоньку засмеялся Зубов. — От дедов наших, от отцов идет... И дома у себя дорогого гостя так привечаем... А здесь, — Зубов развел руки, — для прихожалых все одно дом, все сюда идут, всем рады.

— Откуда же казаки у вас? — поинтересовался Опенкин. — От Дона вроде бы далеко...

— А мы свои, здешние казаки, — запел Зубов. — Вдоль границы шла наша казачья линия, справные деревни, крепкие... Так на границе и служили наши деды батюшке государю. Мы сибирские... Да что вспоминать, былшем поросло. С чем пожаловали к нам, товарищ хороший?

— Да-да, ближе к делу, — встрепенулся Опенкин. — Мы из степного города, за помощью. Плохой урожай у нас, картошка нужна...

— Как не нужна, без картошки зарез. — Зубов сострадательно вздохнул. — Да-а хотелось бы мне порадовать вас, от души пособить, но, думаю, понапрасну вы приехали в наши края. — Зубов пел ласково, и улыбка не сходила с его лица. — В колхозах надобно картошку брать, в колхозах... Там и расценка твердая, тверже, чем у нас. У нас ведь что: захотелось — две цены за пуд заломит. А у меня нет такой власти, чтобы образумить. Скотине скормит свою картошку, а я ничего поделатъ не могу...

— Я, товарищ, очень рассчитываю на вашу помощь, — сказал Опенкин как можно серьезнее. — Я очень рассчитываю...

— Рассчитывайте, рассчитывайте,— согласился Зубов, — чем можем — поможем...— И без всякой связи с предыдущим спросил: — Про амнистию ничего не слышать? Не говорят у вас в городе? Сын у меня в неволе. Ох-хо-хо... Одно чадо и то засадили... Сельчане наши сход собирали, просили помиловать... Не помиловали.

— Я про амнистию не знаю.— Опенкин пожал плечами.— Когда будет, в газетах сообщат.

— Сообщат,— понурился Зубов.

— И какую же вы можете нам оказать помощь? — нетерпеливо спросил Опенкин.

Зубов сидел тихий, будто прислушиваясь к чему-то. Ничего не услышав, вздохнул:

— Советом поможем: быстрее уезжать. Застигнет непогода — до весны не выберетесь. Не обессудь, товарищ хороший, над чужой картошкой нет у меня власти.

— Но как же так? — воскликнул расстроенный Опенкин.— Помогите нам закупить две тонны!

— Не продадут, не в цене она сейчас... Весной погреба откроют, свою цену возьмут. Понапрасну ехали сюда, товарищ хороший, понапрасну.

Зубов петь перестал, поднялся со своего места, подошел к двери, с почетом провожая Опенкина.

— Мы не можем так,— Опенкин говорил твердо и зло.— Мы по дворам пойдем, по мешку, но купим...

— Идите, идите,— пропел Зубов напоследок,— купите когда, за справкой приходите. Без справки не увезете картох, изымут...

8

Рассыпуха — деревня странная, сколько проехали — нигде таких Опенкин не встречал. Оно, можно сказать, и деревни-то вовсе нет. Один дом от другого на полверсты, один пониже приютился, у самой речки, другой на склоне горы, будто гнездо птичье. И так бывает, что к дому тропинки не найдешь, как народ ходит — непонятно.

Потоптался Опенкин на крыльце сельсовета, повертел головой: куда пойдешь? Выбрал ближний дом, высокий, с полуэтажом, с могучим забором из толстых бревен. Двинулся к дому напрямик, не выбирая дороги. Подергал за кованое кольцо на воротах — закрыто. Постучался слабым кулачком в тесаные плахи — ответа не слышно. Поднял камень, камнем постучался. Вроде бы громче, а все одно никто не отвечает. Пошел Опенкин вдоль изгороди, к реке спустился и здесь нашел маленькую калитку.

Во двор проник и лицом к лицу с хозяином столкнулся.

Перед Опенкиным стоял кривоногий человек в кожаном фартуке, всклокоченный, перепачканный углем, с длинными, жилистыми руками. Он стоял сбывчившись, голову наклонил, будто броситься хотел на непрошеного гостя. Навстречу Опенкину левое ухо выставил.

— Можно с вами поговорить? — спросил Опенкин.

Хозяин молчал, только смотрел недобро.

— Я к вам по делу... Нам картошки бы купить надо для рабочей столовой... Надеюсь, поможете?

— Ты, паря, громче чирикай — тугой я на уши,— хозяин говорил хрипло, жестко, словно железо у него в горле перетиралось.

— Я из города, за картошкой к вам приехал! — выкрикнул Опенкин.

— А ты не ори, паря, я не глухой,— хозяин потряс головой,— гром-

че говори, а не ори... Приехал, проходи — гостем будешь. Меня Храмовым зовут, кузнец здешний... А ты кто будешь?

— Я из райисполкома.

Опенкин уклонился от уточнений. Когда просто из райисполкома — это солиднее. Расчет Опенкина оказался правильным. Храмов подтвердил:

— Уполномочен, значит? Та-ак... Когда же вы наш сельсовет разгоните? Гнездо скорпионов здесь... Дыхнуть не дадут... А ты проходи, проходи. Садись, беседуй.

Храмов усадил Опенкина на толстый чурбан у входа в кузницу, сам пристроился рядом на колоде, устроил себе самокрутку, захлебнувшись дымом, долго кашлял.

— Ить что за моду взял Зубов — со свету сживать! Его сынок Митька меня чуть жизни не лишил, думаешь, проста? Не-ет, это у них уговор был: лишить меня жизни, и точка. Он, Зубов, что выдумал — сельский сход собрать, чтобы за Митьку, значит, вступиться! Я как раз из больницы вернулся, не дал. Два ведра медовухи мужикам выпоил, разъяснение вел... Так он, Зубов, теперь мне житья не дает. Вот ты уполномоченный — скажи, есть такие права у него?

Опенкин сидел на чурбане, терпеливо слушал и все выжидал момент, когда о картошке спросить. Но Храмов останавливаться не собирался:

— Я свое дело не прячу, у всех на виду работаю! А Зубов? У него полсотни ульев неучтенных — это я точно знаю. Поезжай на пасеку к Палову — там и найдешь их... К Миронову поезжай — и там найдешь! Житья не дают...

— Вы меня простите, — перебил наконец Опенкин, — я никакими расследованиями не занимаюсь. Мне картошка нужна...

— Какой же ты уполномоченный, ежели тебе про скорпионов говорят, а ты про картошку? — Храмов на минуту умолк. — Ты будешь к Зубову меры принимать?

— Вы меня не поняли, — сдал назад Опенкин. — Я уполномочен заготовливать картофель. И все.

— И все? — разочарованно переспросил Храмов.

— И все.

— Вон, значит, какое дело, — сплюнул Храмов.

Опенкин решил, что нужно наступать, нужно обязательно договориться о картошке.

— Я надеюсь, что мы с вами поладим? — спросил он заискивающе. — Вы не откажетесь мне помочь?

— Откажусь, — тоном, не допускающим сомнений, ответил Храмов. — Мне картохи продавать несподручно, скотину кормить нужно...

— Но ведь речь идет о людях! — отчаянно воскликнул Опенкин.

— А я — не человек? — выверился Храмов. — Мне помочь некому, а я помогаю? А меня Зубов со свету сживает — и управы на него не найдешь!

— Там рабочие, товарищ Храмов, рабочие! — Опенкин поднял руку и указал куда-то вдаль, на восток.

— Чихать мне, паря, — спокойно сказал Храмов, бросил окурочек и затоптал его. — Моя кузня меня прокормит... Прощевай.

У Опенкина было еще много невысказанных слов. Он их в уме загодя приготовил, думал дойти до каждого человека, до души дойти, сознательность пробудить.

Но Храмову он больше ничего не сказал. Долго смотрел Опенкин на растоптанный окурочек, морщил лоб. И, не поднимая головы, повернулся, вышел в калитку. Храмов проводил его спокойным, без злобы,

взглядом. Когда тяжелая калитка захлопнулась за пришельцем, Храмов задрал толстый фартук, выудил из кармана добрую щепоть самосада и скрутил еще одну сигарку, думая что-то свое, Опенкину постороннее.

В следующем доме с Опенкиным приключилось происшествие, которое, по нормальным понятиям городской жизни, произойти никак не могло. Едва он вошел во двор и, не успев сделать шага, топтался у ворот, высматривая, нет ли собаки, как ему навстречу сбежал с крыльца хозяин, раздетый, в калошах на босу ногу, крепко выпивший. Он улыбался приветливо, обнял Опенкина с радостным криком:

— Гостюшка! Гостюшка драгоценный, пойдем в избу!

— Вы извините, я по делу,— сказал Опенкин, пытаюсь выскользнуть из объятий. Но хозяин держал его крепко, приговаривая:

— Все дела — за столом, все образуем... Радость у нас, Егор приехал!

— Я, конечно, рад бы... Я в другой раз зайду,— говорил Опенкин, упираясь, но все-таки переставляя ноги, чтобы не упасть.

— Не-ет, непременно за стол! — говорил хозяин, подтаскивая Опенкина к двери.— Ты нас не обижай, Егора не обижай...

— Да отпустите вы меня! Отпустите сейчас же! — отчаявшись, воскликнул Опенкин. Он схватился за стоек на крыльце, напряжился, пытаюсь вырваться. Шапка закрыла ему глаза, плащ расстегнулся.— Немедленно отпустите!

Опенкин бросился к воротам, но хозяин забежал вперед, раскинув руки, загородил дорогу, жалобно и пронзительно закричал:

— Его-ор! Его-ор, гостюшка уходит, на подмо-огу!

Все это было настолько нелепым, что Опенкин даже не знал, сердиться ему или принять за неумелую деревенскую шутку. Скрипнула дверь, Опенкин обернулся. На крыльце появился Егор. Он оказался мужчиной двухметрового роста, необъятную грудь Егора обтягивал пушистый свитер.

— Не ори, братка,— сумрачно сказал Егор и плюнул в грязь.— Кого бог послал?

— Вы извините, я случайно,— с неосознанной тоской пролепетал Опенкин, глядя на слоноподобного Егора.— Вы не отвлекайтесь, пожалуйста.

— Наплевать,— все так же сумрачно отмахнулся Егор.— Идите сюда, потолкуем... Я знаю, кто вы... Вы на Плач-горе кувыркнулись. За картошкой? Они за картошкой, братка!

Хозяин ухватил Опенкина за рукав и снова потащил в дом, захлебываясь от какой-то ему одному известной радости:

— Ходите в избу, гостюшка! Нужна картошка — дадим картошки!

Егор шевельнулся на тесном крыльце, протянул Опенкину огромную ладонь:

— Кузанов из Зимногорска. В командировке на родных палестинах...

— Егорка! — завизжал хозяин.— Кончай умные разговоры, проси гостя к столу!

— Правильно братка высказывается.

Егор Кузанов распахнул узкую дверь, пригнулся, чтобы не удариться о притолоку, нырнул в сумрак комнаты. Хозяин подтолкнул потерявшего способность сопротивляться Опенкина, лягнул какими-то задвижками, крючками.

На скобленном столе, сбитом из толстых плах, стоял трехведерный лагун с медным краником внизу. На столе виднелась миска с медом и крупные ломти ноздреватого серого хлеба. И еще виднелись окурки. А больше ничего.

— Мы без женщин,— пояснил Егор.— Мы самостоятельно...

— Выгнал я бабу! — радостно поделился хозяин с Опенкиным.— Хвост подняла, вот я ее и выгнал... Пока все не выпьем, не пушу! Садись, гостюшка!

— Значит, за картошкой? — спросил Егор.

— За картошкой,— вздохнул Опенкин.

— Будет картошка,— сказал хозяин и налил Опенкину большую кружку.

— Спасибо, я не пью,— поморщился Опенкин.

Хозяин затряс головой и назидательно сказал:

— Средство от ста болячек.

— Наплевать,— сказал Егор.— В наших краях быть и медовухи не пить — засмеют.

— Не пью я,— страдальчески протянул Опенкин.

— Ты нас уважаешь? Уважаешь? — лихорадочно залопотал хозяин.— Тебе картошка нужна? Нужна? А пить с нами брезгуешь?

— Я вам как интеллигент интеллигенту,— начал было Егор, но Опенкин не стал его слушать. Опенкин вдруг с холодной отчаянностью поднял кружку и, сдерживая дыхание, сделал большой глоток.

К его удивлению, питье оказалось приятным на вкус: кислогато, пахнет медом. Опенкин, удивившись, сделал еще один глоток, потом выпил до половины.

— Молодцом, гостюшка! — опять обрадовался хозяин.

— Так держать,— резюмировал Егор и выпил сам.

Через час Опенкина развезло. Он хватал Егора за свитер, тянул к себе и грозно вопрошал:

— Так разве можно жить? Кто дал право?

— Берлога,— согласился Егор.

— Ты нас уважаешь? — не отставал хозяин.

— Уважаю.

— Как се беспартийные пьют! — хохотал Егор, поглядывая на Опенкина.

— Нет, вы скажите мне: можно так жить или нельзя? — Опенкину хотелось дойти до корня.— Я ведь для людей стараюсь! Для людей! А они мне палки в колеса...

— Ты нас уважаешь?

— Сволочи вы все,— заплакал Опенкин.

— Кто сволочь? — нахмурившись, спросил Егор.— Я тебе сейчас...

— Сволочи! — убежденно сказал Опенкин и поднялся из-за стола с превеликим трудом. Голова у него, как это ни странно, оставалась вроде бы ясной. Во всяком случае самому Опенкину казалось, что он абсолютно трезв. А вот ноги не слушались и язык ворочался плохо.— Отпустите меня,— попросил Опенкин.— Отпустите!

— Братка, выведи эту гниду,— посоветовал Егор.— Выведи и уведи... А то я ему как интеллигент интеллигенту...

Хозяин сидел пригорюнившись, мутно и непонятливо глядя на трехведерный лагун.

— Выведи его, братка! — грозно потребовал Егор.

Над Рассыпухой уже навис холодный вечер, когда Опенкин оказался на улице. Расстроенный хозяин закрыл на засов калитку и, удаляясь к дому, громко сказал:

— Тебе не картошку, а по роже надоть... Испоганил интерес мужчинского застолья...

— Алкоголики! — выкрикнул Опенкин и, испугавшись, что хозяин вернется, пошел-пошел подалее в темноту.

Опенкин шел, качаясь, размахивая руками, часто спотыкался и

останавливался, не понимая, куда он идет. Где-то далеко впереди светилося окно — это был единственный ориентир, способный упорядочить бессистемное движение Опенкина. И Опенкин, сам того не соображая, шел на свет, как бездумный мотылек летит навстречу своей гибели, к пламени зажженной свечи. Окно светилося в доме Клашки.

Клашка управилась по хозяйству, помыла полы, сбегала к свекру в надежде увидеть Опенкина. Но Шлыкин, которого она встретила во дворе Зубова у большой кучи только что наколотых дров, сказал, что Опенкина он не видал с самого утра и где он есть, не знает. Встревожненная Клашка набросилась на Шлыкина:

— Как же ты его бросил одного? Куда же он девался?

— А я не приставлен его стеречь, — огрызнулся Шлыкин и, надсадно ухнув, расколот толстый березовый сутунок. — Мне этот малахольный надоел хуже грязи на дороге...

— Сам ты малахольный! — взъярилась Клашка. — Чего плетешь на человека! Он, может, как дитя...

— То-то ухватила ты за дитю, — усмехнулся Шлыкин, отирая пот с лица. — Нужен тебе — стереги. А мне свекру твоему, паскуде, работы не переделать.

Клашка обругала Шлыкина, поспешила домой. Зашемило бабье сердце, чуяло в беде Опенкин. Куда делся? Оставалось походить по дворам, поспрашивать. Клашка бежала домой за фонарем и уже прикидывала, где его искать.

Руслан Евдокимович все-таки добрался до огонька. Придерживаясь руками за стены, он обогнул дом, не найдя дверей, вернулся к освещенному окну. Влез на завалинку, деликатно и жалобно поскребся в стекло. Тут его и застигла Клашка.

— Ой, никак нашелся? — удивилась она, наткнувшись на него неожиданно, выйдя из-за угла.

Опенкин посмотрел на нее смутно, качнулся, чуть было не свалившись с завалинки, сказал утвердительно:

— Это я.

— Да куда же ты запропастился? — Клашка пока ничего не заметила, спрашивала смущенно.

— Ну и что? — бессмысленно сказал Опенкин и наконец упал Клашке под ноги.

— Боженьки, да он нализался до чертиков! — Клашка всплеснула руками, смущения как не бывало, она засмеялась, запрокинув голову.

— Клаша, я вас люблю, — сказал Опенкин, не делая попытки подняться.

Он лежал и спокойно смотрел в черный провал неба, и на душе у него все было аккуратно. Клашка подняла Опенкина, не переставая смеяться, повела в дом. Раздела, приговаривая:

— Вот это праведник! Я его ищу, с ног сбилась, а он уже с рассыпухинцами гуляет!

— Я вас люблю, Клаша! — торжественно сказал Опенкин и неприлично икнул от переполнявших его чувств и медовухи. — Я завтра телеграмму дам: я вас люблю...

— Любишь, любишь, — подтвердила Клашка, стягивая с Опенкина сырые сапоги. — Вот простынешь снова, будет тебе любовь...

— Вы обопретесь на меня... Мы пойдем вместе.... Далеко-о-о...

Опенкин сладко зевнул, смежил свои рыжеватые ресницы и тотчас заснул. Клашка уложила его поудобнее, сложила ладони на выпуклом животе, долго стояла так, склонив голову к плечу.

— Рухнешь, коши обопрусь, — сказала потом Клашка спящему Опенкину, погасила керосиновую лампу, полезла на печь.

Рано утром пришел Егор Кузанов.

— У тебя квартирует заготовитель-то? — обратился он с порога к заспанной Клашке.

— У меня, Егор Ильич, а что — нужен?

— Повздорили вчера маленько, неудобно. — Кузанов поскреб в затылке. — Обидели человека...

— У ваших пили-то?

— У брата, черт его побери... Опять неприятности. Мария затемно прибежала, всыпала нам...

— Кому ж понравится — мужик из дому согнал. Не следовало гнать.

— Понятно, не следовало, да уж люта очень... Перехватили. Буди постояльца, похмелимся.

Но Опенкин проснулся сам. Не открывая глаз, он прислушивался к себе. Сокрушительно болела голова, царапало душу, мутило. Услышав про похмелье, Опенкин сморщился, подавляя тошноту, сел на кровати. Кузанов улыбнулся:

— Не сердитесь за вчерашнее, не со зла...

Опенкин попытался вспомнить, что было вчера, ничего не припомнил, на всякий случай сказал слабо:

— Нет, нет, что вы, я сам виноват...

— Наплевать! — хохотнул Кузанов. — Не будем виниться, будем мириться! Сейчас Клаша нас вылечит... А у меня к вам разговор есть...

За стол Опенкин сел без сопротивления, ему было трудно разговаривать, тяжело переставлять ноги, неприятно смотреть на белый свет. Поэтому он совершенно безучастно отнесся к эмалированному чайнику с мутноватой медовухой. И только когда поднес ко рту наполненный стакан, с глубоко спрятанной тоской подумал: «Ну вот, спиваюсь окончательно».

Потом Опенкин попросил крепкого чаю, насыпал полстакана брусники и, раздавливая ягоды на стенке стакана, с огромным удовольствием прихлебывал кисловатое питье. Пока Клашка хлопотала во дворе, Кузанов все старался сгладить вину за вчерашнее, пытался наладить отношения с Опенкиным.

— Сами понимаете, работа, работа... Вздохнуть некогда иной раз. Не то чтобы выпить... Ну, а в родную деревню приедешь, сорвешься... Вы издалека к нам?

Опенкин рассказал. Кузанов обрадовался:

— Почти коллеги! Я инструктор, в Зимногорске. Приехал подработать предложение по созданию пчеловодческого совхоза. Нужно все пасеки обследовать. Пора кончать с медвежьими углами!

Опенкин слушал плохо. Какое ему дело до пасек, предложений и медвежьих углов? Его другие думы одолевали: немедленно выбираться из Рассыпухи. Эти же мысли Опенкина подтвердил и Шлыкин.

Удивительный человек этот Шлыкин! Везде, как дома, бесцеремонный, ничем его не смущишь, к порядку не призовешь. Вошел Шлыкин, разделся, к столу подсел:

— Нашелся? А Клашка на тебя облаву хотела делать. Мужиков по деревне собрать и загоном пройти...

— Не надо, — сказал Опенкин, сморщился и приложил ладонь к щеке, будто зубы у него болели.

— Можно и не надо, — согласился Шлыкин. — Давай о деле... Нашел что-нибудь? Убегать давай отсюда! Зазимуюем.

— Ничего я не нашел, — виновато сказал Опенкин. — Не продают картошку...

— Кому не продают, а кому не отказывают,— загадочно усмехнулся Шлыкин.— Восемь центнеров можно грузить, раздобыл...

— Сколько? — Опенкин переспросил недоверчиво, подозревая подвох.

— Сколько есть — все мои! Восемьсот килограммчиков, на полкузова, считай, есть!

— Нет, правда? Seriously говорите? — Опенкин слегка воспрянул духом.

— Точно,— подтвердил Шлыкин.

— А где же она, где картошка?

— У хозяев в погребах, где и положено...

— Нет, нет, нужно ее немедленно забирать! — засуетился Опенкин.— Немедленно! Вдруг передумают?

— У меня не передумают,— сказал Шлыкин и выпил стакан медавухи.— Заработанная картошка, не купленная...

— Как это — заработанная?

— А так: кому сено привез, кому дровишки... Зубову вчера допоздна швырок колол... За два мешка.

Опенкин потерянно смотрел на шофера и никак не мог взять в толк: одобрить ему инициативу подчиненного или же высказаться против? С одной стороны, машина использовалась не по прямому назначению, с другой стороны — для пользы дела. Пока Опенкин размышлял, вмешался Кузанов:

— Я, собственно, и зашел поговорить по этому поводу... Взаимовыручка, так сказать... Вы мне с транспортом поможете, а я вам — картошку...

Опенкин еще не успел осмыслить предложение, а Шлыкин уже загорелся:

— Сено перевезти? Дрова? Ульи?

— Нет, по пасекам поездить... На лошаденке придется два дня кочевать...

— Гарантируешь? — деловито осведомился Шлыкин.

— Договоримся,— подтвердил Кузанов.— Пять центнеров у брата возьмем, остальное наскребем. На пасеках с мужиками договоримся...

— Давай, поехали,— согласился Шлыкин и только тогда спросил у Опенкина: — Поедем с ним?

Опенкин о душевной депрессии знал лишь по литературе. А вот теперь он на себе узнал, что такое депрессия: сидел безучастный, равнодушный ко всему. Решался важный вопрос, но Опенкин никакого предложения встречного внести не мог, сопротивляться не мог.

— Я, право, не знаю,— замялся Опенкин.

— Я знаю,— сказал Шлыкин, но поставил условие: — Куда можно — поедем, там где круто — пешком пойдешь. Мне кувыряться еще раз настроения нету...

— Спокойно будем, спокойно,— заверил Кузанов.— Я все дороги знаю, проведу. И Зубова прихватим...

— А этого зачем? — нахмурился Шлыкин.

— Акты подписывать. Значит, так: ты давай машину готовь, я к брату за портфелем... Собираемся здесь и в сельсовет едем...

Опенкин решил: будь что будет. Вчерашнее событие выбило его из седла, ужаснуло крушением привычных устоев и представлений о порядочности, об интеллигентности, об ответственности в конце концов. Опенкин не представлял, как ему теперь выбраться из той пропасти, в которую он свалился окончательно.

— Что зажурился? — спросила вернувшаяся Клашка и ласково

взъерошила реденький чуб Опенкина.— Помнишь хоть, как в любви признавался?

— Мне тяжело. Клаша,— пожаловался Опенкин.

— А ты еще выпей, полегчает,— простодушно посоветовала Клашка.

— Не понимаешь ты меня, Клаша,— вздохнул Опенкин.

— Чего Кузанову нужно? — мимоходом поинтересовалась Клашка.

— Машину, по пасекам ездить.

— По пасекам? — Клашка сразу насторожилась.— И зачем?

— Не знаю, Клаша. Какие-то акты составлять...

Клашка метнулась к окну, потом к двери, к Опенкину.

— Не давай машину, слышь? До вечера не давай! Ну, прошу тебя!

Слышь, скажи, что не дашь!

Опенкин смотрел на нее непонимающе, улыбнулся:

— Ты чего? Что ты, Клаша?

Клашка вдруг бухнулась на колени и, с мольбой глядя на Опенкина, как заклинанье, твердила:

— Не давай! Не давай!

— Встань, Клаша! — попросил Опенкин.— Встань! Нельзя так, что ты? Я обещал, я не могу... Мы к Зубову поедем, его возьмем...

— К свекру? — Клашку как ветром сдуло с пола.— Я побегу к нему, упредить нужно! Ты не торопись, ты удержишь немного!

Клашка выбежала на улицу, Опенкин успел заметить, как она мелькнула мимо окна и тяжело, по-бабьи разбрасывая ноги, побежала к сельсовету. Опенкин не мог понять ничего, пожав плечами, он оделся, вышел во двор. И вовремя: подъехал Шлыкин, а снизу от реки торопился Кузанов.

— Поедем? — спросил он и полез в кузов.

— Погодите, мне нужно спросить... — Опенкин замялся, он не знал, как передать только разыгравшуюся сцену с Клашей.— В чем цель нашей поездки?

— Я же говорил: проверить состояние пасек, составить акты о количестве пчелосемей... Поставить все на учет.— Кузанов говорил деловито, сухо.

— А почему хозяйка, узнав про нашу поездку, чуть ли не истерику закатила?

— Клашка-то? Наверное, рыльце в пуху... Держат незаконно пчел, хитрят, ловчат... Поля видом государственных держат...

— Она к Зубову побежала,— сказал Опенкин.— Нужно, говорит, предупредить.

— Теперь не успеют,— хмуро сказал Кузанов.— Поехали.

Зубов встретил их на крыльце сельсовета. Поигрывая ключом от сейфа, подождал, пока приблизятся, дверь распахнул:

— Пожалуйте, пожалуйста... С приездиком, Егор Ильич, слышал о вашем приезде. Ну, а вы, товарищ хороший, нашли картошечки?

— Нет еще,— отозвался Опенкин.

— А я, признаться, вчера устыдился, кое-какие меры предпринял. Нашел вам картошечки, нашел... Можете сейчас же грузиться и в путь. в дорожку дальнюю. Торопитесь, товарищ хороший, торопитесь... Зима вот-вот ляжет...

Зубов провел посетителей в свой кабинет, уселся во главе стола, улыбался и посматривал на Опенкина ласково, преданно.

— Прямо сейчас и поезжайте. Вот списочек: у Клепиковых два центнера возьмете, квартирная хозяйка ваша, а моя сноха дорогая Клашка вам тоже поможет... Потом к Злобиным поезжайте, они дадут... Ну, и еще кое-кто, ежели не хватит...

Опенкин взял списочек, сверил цифры, получалось даже больше, чем нужно. Опенкин многозначительно посмотрел на Шлыкина: что, дескать, я говорил!

— Вы, Егор Ильич, помешкайте, пока я товарищей провожу... Издалека товарищи, торопиться им нужно. А потом мы с вами вопросы решим...

— Я не спешу, товарищ Зубов,— нехорошо ухмыльнулся Кузанов.— Это вы, как я погляжу, шибко спешите... Сплавить хотите гостей? Ай-яй-яй, товарищ Зубов! Ты, Опенкин, чего думаешь — это он для тебя старается? Это он для меня старается. Чтобы меня без машины оставить... Понял?

Опенкин растерянно кивнул и оглянулся на Шлыкина. Шофер, как будто дело его никаким боком не касалось, смотрел в окно. Опенкин робко попросил:

— Может, мы вечерком за картошкой поедем? Вот вернемся с товарищем Кузановым, тогда нагрузимся?

Зубов отрицательно помотал головой:

— До вечера нельзя ждать. Сейчас нужно. А вечером не продадут. Раздумают. Это как пить дать — раздумают...

— Вот что, Зубов,— повысил голос Кузанов.— Ты не крутись!

— Охо-хо-хо,— вздохнул Зубов.— Тебе, Егорка, свое дело справлять, так зачем же чужих людей втравляешь? Не слушайте вы его, товарищ хороший, поезжайте по дворам, а с Егоркой Кузановым мы сами разберемся. Мы свои люди...

В руках у Опенкина — две тонны картошки. Можно сказать, партийное задание выполнено бесповоротно и окончательно. Но что же мешает Опенкину повернуться и уйти с драгоценной бумажкой? «Эх, Опенкин, Опенкин...» А что Опенкин! Потоптался Опенкин и положил бумажку на край стола. А Шлыкин в это время голос подал:

— Мы, папаша, сейчас все своими считаемся...

— Молчал бы, варнак,— одернул его Зубов.— Не твоего разбойного ума дело...

— Ты сам молчи; мухомор,— сказал Шлыкин.

— Товарищ Шлыкин! — прикрикнул Опенкин и сам удивился, откуда в голосе такая твердость.— Ведите себя в рамках, товарищ Шлыкин! А вы, Зубов, меня не покупайте своим списком, вот так...

— Глупый вы еще, товарищ хороший,— пригорюнился Зубов.— Егорка дров наломает и вас втянет...

— Кончаем разговоры! — отрезал Кузанов.— Поехали! А дров не наломасм — аккуратненько обойдемся.

— Зря народ разобидим, зря взбудоражим... Ох-хо-хо, жалобы пойдут, не отпишетесь.

— Отпишемся! — настаивал Кузанов.— Куда для начала поедем?

— Не знаю, товарищи, не знаю.— Председатель сельсовета осуждающе покачал белой головой.

— Тогда я знаю — к Палову! — приказал Кузанов.

— А зачем обязательно к Палову? — поинтересовался Зубов.— Давайте в таком разе к Фролычу, какая разница?

Кузанов долго молчал, в упор разглядывая Зубова. Так долго молчал и так он его рассматривал, что Зубов не выдержал и отвел свои ясные, не замутненные грехом глаза. А когда он потупился, Кузанов еще раз повторил:

— Едем к Палову!

Через речку Чернушку Шлыкин переезжал по перекату, вспугивая стаю мальков, пригревшихся на мели. За речкой дорога пошла круто вверх. Опенкин теперь боялся гор, он сидел, ухватившись за скобу пе-

ред собой, и, скосившись, поглядывал на обрыв, уходящий куда-то далеко, к поблескивающему на солнце ручью.

Взобравшись на гору, стало безопасней. Шлыкин прибавил газу, и машина затряслась на каменистой дороге, едва обозначенной тележной колеей. Проехали немного, начался спуск. Здесь догнали Клашку. Она ехала верхом, понукая упирающуюся лошадь, заслышав сигнал, свернула и остановилась, прижавшись к скале.

По кабине постучали. Шлыкин притормозил.

— Ты куда, Кланька? — грозно спросил Кузанов.

— Тебя, бугая, не спросилась! — огрызнулась Клашка. — Дорог много, выберу!

— Имей в виду, плохо будет! — пообещал Кузанов. — Повертай обратно, не мути мужиков!

— Иди ты, знаешь куда? — Клашка раскраснелась, растрепались волосы от скачки. В руке у Клашки был кнут, не плетка, а длинный кнут. И она взмахнула им, намереваясь достать Кузанова. Кнут громко щелкнул впустую. Тоненько завизжал Зубов:

— Кланюшка, не замай! За Митькой пойдешь!

Клашка дернула поводья, вплотную подъехала к машине, ухватилась за дверцу.

— А ты, что же ты? — выдохнула она в лицо Опенкину. — Я же просила.

— Клаша... — урезонивающе произнес Опенкин.

— Что — Клаша! Паскудина!

Клашка протянула руку, схватила Опенкина за ворот плаща, резким движением прижала его к дверце.

— Шлыкин, поехали, — придушенно попросил Опенкин.

— А ну, пусти! — заорал сверху Кузанов, нагнул, оттащил Клашку.

— Кланя, не замай! Донюшко, не лезь на рожон! — верещал Зубов, размахивая руками.

Шлыкин включил скорость, машина рванулась. Кузанов напоследок погрозил Клашке огромным кулачищем. Но она ничего не видела.

10

Пасека Палова открылась неожиданно. Перевалили крутую сопку, и вот она: на ровнехонькой поляне, укрытой со всех сторон прогонистым березняком и осинником, словно грибы из высокой пожухлой травы, виднелись ульи. Поодаль сторожка, да что там сторожка — добротная изба из пихтового накатника с шиферной кровлей, резными паличниками и высокой кирпичной трубой. Такая сторожка любую улицу в деревне украсит.

От сторожки разбегались тропки. Одна, прямая, вела к пасеке и там около ульев терялась в траве, другая тянулась к омшанику, большому крепкому амбару, а третья кончалась у колодца. Колодец тоже отличался добротностью. Это была не копанка — наспех вырытая ямка с затхловатой водой. — а настоящий сруб, и скрипучий журавель склонился над ним, как над деревенским колодцем. По всему было видно: устраивались здесь прочно, на долгие годы. Работали, не щадя живота своего, тратились, не из последней копейки выбиваясь.

Палов оказался быстроречивым, вертким старикашкой.

— Батюшки! Гостей бог дал! Вот не ждал, вот не ждал! И Егорка приехал, и власть наша сельская...

— Здравствуй, Палов. — сказал Кузанов, но руки пасечнику не подал. — Мы к тебе не в гости, с проверкой...

— А чего у меня проверять, Егорушка? Все на виду!

Только Шлыкин заметил быстрый взгляд, который бросил пасечник на Зубова: жесткий взгляд. И Зубов от этого взгляда попятился, спрятавшись за спину Опенкина.

— Вот и посмотрим, что у тебя на виду, пойдем,— пригласил Кузанов.

— В избу не заходя? — удивился Палов.— За что обижаешь, Егор Ильич? Я еще твоего батьку знал, он бы тебя не одобрил, не одобрил за обиду старому человеку...

— Ты батьку не трогай,— насупился Кузанов.— Веди, показывай хозяйство!

— А ты чего тут командуешь? — замахал руками Палов.— Ты кто таков, чтобы командовать? Ко мне прокурор районный, Николай Степаныч, приезжает и то не командует! Начальник милиции Силантьев бывает у меня! Да я сейчас Лохмача с цепи спущу, попытайся проверить! Проверьщик!

Кузанов ждал, пока пасечник перестанет размахивать руками, достал папиросу, закурил. Опенкин стоял у машины, слышал, как у него за спиной, волнуясь, переминается с ноги на ногу притихший Зубов.

— А ты что спрятался, советская власть? — Палов подбежал, ухватил Зубова за рукав, потащил на видное место.— Ты что слово не скажешь? Пошто Егорка обижат старого человека?

— Не надо, Михалыч... Не надо,— смиренно сказал Зубов.— Не горячись...

— Не горячись?! — взвился Палов.— А кто будет горячиться? Ты, рыба кровь? Ты? Скажи Егорке, чтобы проваливал подобру и здорову! Собаку спущу! С ружьем встану!

— Ну, вот что, Палов,— сказал Кузанов строго.— Пошумели — хватит... Ты меня не пугай. А то пугану, не посмотрю на седую голову! И дурака не валяй. Давай улы считать.

Палов вдруг обмяк, всхлипнул и пошел прочь:

— Пропадите вы пропадом, сучье семя... Забирайте все...

Только теперь Опенкин стал понимать, что происходит вокруг него.

Только теперь ему стало понятно поведение Клашки. Но почему Клашка? При чем здесь она?

— Товарищ Опенкин, помогите мне,— попросил Кузанов.— Зубов, не отставайте!

Кузанов шел между ульями и громко считал вслух. Опенкин тоже считал, но потихоньку, чтобы не спутаться. За Опенкиным двигался Шлыкин.

— Сто шестьдесят семь! — громко произнес Кузанов, остановившись в конце пасеки.— А вы сколько насчитали?

— Сто шестьдесят семь,— подтвердил Опенкин.

— Точно,— сказал Шлыкин.

— А сколько числится по вашим записям? — спросил Кузанов председателя сельсовета.

Зубов заглянул в книгу, которую привез с собой и носил, не выпуская из рук, пошевелил губами, едва слышно сказал:

— По нашим записям учтено девяносто семь.

Вернулись в сторожку. Палов сидел за пустым столом, положив лохматую голову на темные, натруженные руки. Кузанов достал лист бумаги, принялся за акт.

— Семьдесят колод лишних у тебя,— сказал он Палову.— Чьи пчелы?

— Ты мне не следователь и не допрашивай,— огрызнулся Палов.

— Так и запишем: семьдесят ульев неизвестно чьих... Оставляются под расписку на сохранение пасечнику Палову.

— Я ничего хранить не буду! И отвечать за них не буду! Пускай хозяева отвечают! — закричал Палов.

— Тогда скажи, кому они принадлежат? — спокойно настаивал Кузанов.

— Не знаю, не знаю! Отстань от меня! Ничего я не знаю!

— А я знаю, чьи это ульи, — недоуменно и как бы не веря самому себе, сказал Опенкин. Он все время думал о Клашке: зачем она помчалась на пасеку, почему просила не пускать Кузанова? И вдруг перед глазами Опенкина встал кряжистый, кривоногий человек в кожаном фартуке и прозвучал его хриплый, жесткий голос: «Скорпионы, гнездо скорпионов... На пасеку к Палову поезжай!»... — Я знаю, чьи это ульи! — теперь уже уверенно воскликнул Опенкин. — Они принадлежат Зубову! Здесь — Зубову, и у Миронова на пасеке — тоже.

— Ты, ты... Эх ты, товарищ хороший, — медленно, с расстановкой произнес Зубов. — Зачем же на меня-то напраслину несешь? С Клашкой не поладил, а меня охаживаешь? А ведь насильно мил не будешь — значит, слабой ты против моего Митьки, нет в тебе мужчинской силы... Он Клашку-то нашу изнасиловать пытался, — объяснил Зубов пасечнику. — А она не поддалась. Так при чем же я?

— Вот гад, вот гад! Нашел чем укусить! — не удержался Шлыкин.

— Да как вы смеете! — поразился Опенкин. — Зачем вмешиваете Клашку?

— А ты меня зачем? — поинтересовался Зубов.

— Погодите же вы! — с досадой воскликнул Кузанов. — Положите! Ну-ка, товарищ Опенкин, выкладывай все по порядку!

— Нечего мне выкладывать, — развел руками Опенкин. — Картошку я искал, к Храмову зашел, кузнецу в деревне... Он мне и сказал про ульи...

— Ясно! Заканчиваем разговор! Пишем: принадлежащих председателю сельсовета Зубову...

— Зачем Зубову? — вскричал председатель. — Не все мои! Моих двадцать штук! Подтверди, Михалыч, подтверди!

— Струсил? — оскалился Палов. — Нашкодил, а теперь в штаны наложил! Зачем Храмова трогал? Пошто мужику житья не давал? Из-за тебя ой всех продал! Эх, пропади оно все пропадом! Пиши, Егорка, пиши, медаль заработаешь...

Палов вскочил из-за стола, как зверек метался по избе. Казалось, сейчас он наберет разгон и, цепляясь коготками, пробежится по стенке, по потолку. Но Палов остановился перед Кузановым, склонился к нему, зашипел яростно:

— Брось, пока не поздно, Егорка... Больших людей испачкаешь, не простят тебе...

— Опять пугаешь? — скривился Кузанов.

— Кому надо, знают про наших пчел, понял? Берегись!

— Михалыч, чего плетешь? — испуганно сказал Зубов. — Не впутывай никого! Никого мы не знаем!

— Дрожишь, рыба кровь? Дрожишь? А мне плевать! Я из-за вас в тюрьму не пойду!

— Михалыч, — етрадающе простонал Зубов, — опомнись...

Кузанов удивленно смотрел на сцепившихся стариков, присвистнул:

— Тут и впрямь следователь нужен... Ну, вот что, господа станичники, казачки сибирские, хватит воду мутить! Мое дело — ульи пере считать и вам на сохранение оставить. Все, что есть лишнего, все, что не учтено, государству, в совхоз, перейдет. И чтобы ни единой колоды

не пропало, ясно? А чтобы без ругани обойтись, надо спокойно во всем разобраться. Это я вам обещаю, пришлют следователя...

Совсем уже стемнело, долину реки накрыло туманом, когда машина остановилась у домика на пасеке Фрола Мясникова. Далеко забрался Опенкин. Не представлял он себе, что может существовать такая глушь и что в этой глуши могут жить люди.

К пасеке Мясникова никакой дороги не было. Ехали прямо по речке, мелкой, говорливой, петляющей из стороны в сторону по дну ущелья. Опенкин принялся считать, сколько раз они эту речку переезжали, на сорок восьмом разе сбился и считать перестал.

Шлыкин даже забеспокоился: не заблудились ли? Но Кузанов уверенно командовал: налево, направо, стоп! Шлыкин выключил зажигание. Несколько секунд сидели оглохшие от внезапно нахлынувшей тишины. Потом возникли какие-то смутные звуки: в радиаторе булькнула вода, где-то твякнула собака, кто-то протяжно свистнул.

— Приехали, — сказал Кузанов, — сейчас хозяин появится.

И точно, в полосу света вошел человек. Кузанов вылез из кабины:

— Свои, Фрол Ильич. Егор Кузанов!

— Здравствуйте, коли свои, — степенно сказал Мясников. — Ходите в хату!

— Я к тебе с проверкой, — предупредил Кузанов, — не обидишься?

— Можно и с проверкой, — согласился Мясников. — У меня все чисто. Ходите, товарищи, в хату... А наших, рассыпухинских, никого не привезли?

— Зубов с нами был, — засмеялся Кузанов. — На трех пасеках помогал нам, акты подписывал... Потом домой запросился, сердчишко, говорит, сдало...

— У Зубова ничего понапрасну не случается, — ухмыльнулся Фрол. — Значит, так ему надо было, чтобы сдало... Вовремя вы приехали, барсучатиной жареной угощу. Барсука добыл нынче...

Хата Мясникова оказалась похожей на охотничью избушку: почерневшие бревна оставляли впечатление временности жилья. Слабо освещенная керосиновой лампой, комната казалась больше, чем была на самом деле, потому что темные углы не имели очерченных границ.

Опенкин разулся, сидел у стола, поджав босые ноги, и думал только, как бы скорее поесть. В этой поездке Опенкин совершенно нарушил режим нормального питания, но сейчас он как-то не думал о последствиях.

Вскоре в печи запылал огонь. Мясо жарилось на противне, источая головокружительный запах. Фрол искрошил несколько больших луковиц, потрусил над противнем какой-то травкой, а сверху, после того как в последний раз помешал мясо ножом, накрыл его листьями смородины.

— Вот как отмякнет да вберет в себя лесной дух, помирать будете, а мою стряпню не забудете... Мне все одно: барсучатина ли. баранина ли... Да что там баранина! Разве лесное мясо поставишь в ряд с домашней скотиной? — Фрол говорил медленно и дело свое делал вроде бы не спеша, но аккуратно и быстро. — Ну, а пока жарится, не томитесь, наливайте кваску, наливайте... Хороший квас!

Кузанов оживился:

— Для сугрева можно и пивка дернуть. Как, товарищи?

— Я не пью, — на всякий случай сказал Опенкин, но сказал он это без прежней убежденности, а скорее как-то обреченно. — Я не могу вашу медовуху пить...

— Квас это,— поправил Фрол.— Медовуху не делаем: хлопотно и нельзя — власти не разрешают. А квас — ничего, можно.

— Знаем мы этот квас,— захохотал Кузанов.— Три стакана — и в голове шумит...

— Смотря у кого,— хитро улыбнулся Фрол.— У непривычного и со стакана зашумит... Наливайте, попробуйте!

Медовуха понравилась Опенкину: почти не сладкая, с едва уловимым запахом. Опенкин осторожно выпил, посмотрел на Кузанова, на Шлыкина. Кузанов с многозначительным видом знатока цедил по глотку, Шлыкин опорожнил свой стакан залпом.

— Сколько же у вас меда идет на это зелье? — поинтересовался Опенкин.

— Так кто ж его знает... Не мерян — свой.— Фрол развел руками.— Я-то до нее не охотник, совсем не пью.

— Для кого же стараешься? — спросил Кузанов.

— Для людей... Для людей добрых. Кто приедет — пожалуйста!

— И много приезжает? — удивился Опенкин.— В такую-то даль!

— Много не много, а бывают,— уклончиво ответил Фрол.— Хозяева приезжают, требуют... Хозяева, лопни они поперек. Надоело все до тошноты... Приезжает раз хозяин мой, заместитель начальника: качай мед! «Нельзя, говорю, погода не позволяет, подождать надо». — «Качай, кричит, машина простаивает!» Пришлось в сырой день беспокойть пчелу. Чуть не съели меня, насилиу отлежался потом... Хозяева...

— Ничего, Фрол Митрич, скоро новые хозяева будут: совхоз будет!

— Да уж скорее бы,— вздохнул Фрол.— Я про совхоз давно писал. И в район писал, и в область...

Кузанов рассказал Опенкину:

— Тут, понимаешь, такое дело: все пасеки принадлежат подсобным хозяйствам ведомств и предприятий. У Фрола, к примеру, хозяева — металлосты. Ударцев подчиняется шахтерам, Миронов железнодорожному орсу мед сдает. Дело вроде бы хорошее — подсобное хозяйство. Но ведь пасеки в горах, за полтыщи верст от любой конторы! Контроля никакого! Фрола Митрича мы знаем, честнейший человек. А такие, как Палов, около государственной пасеки руки греют. Ты думаешь, откуда у него лишние ульи? Он каждый год получает пяток роев, количество пчелосемей увеличивается фактически, а по документам все остается, как было. Для ловкачей простор!

— Они давно мухлюют,— вставил слово Фрол.— Я сколько раз писал: прикрыть нужно эту лавочку...

— Для того я и приехал, Фрол Митрич,— заверил Кузанов.— Мы, конечно, и раньше догадывались, что здесь нечисто, но такого никто не предполагал... Мы сегодня такую картину увидели, что только ахнуть остается! Я немедленно в райкоме доложу...

— А какое отношение ко всему имеет Зубов? — спросил Опенкин.

— А Зубов — первый враг! — зло сказал Фрол.— Он всех и покрывает... Он и мне хотел подсолнечный десяток ульев, будто бы они казенные... Я его крепко шуганул. Боюсь теперь — свинью подложит.

— Не подложит,— заверил Кузанов.— Пресекем.

— Пора, пора,— сказал Фрол и спохватился.— Чего это мы разговорились попусту? Мясо-то пришло!

Опенкин, несмотря на усталость, долго не мог уснуть. Вспоминались ему детали прожитого дня, полного странными, непривычными событиями. У Опенкина с трудом укладывалось в голове, что ласковый старик Зубов творил зло, найдя лазейку, через которую до поры обползал закон, а он, Опенкин, помог восстановить справедливость.

Опенкин ворочался, вздыхал, думал...

Разбудили Опенкина затемно. Кузанов потряс за плечо, разгоняя сладкий сон:

— Пора, поехали...

Опенкин поднялся, больно стукнувшись коленом об угол скамьи, добрался до печки и наугад нащупал теплые портянки, заботливо разостланные Фролом.

Неумело намотав портянки, Опенкин вышел на улицу. Было холодно и сыро. Машина уже прогревалась, работая на малых оборотах. Около машины мелькали огоньки папирос, слышались приглушенные голоса.

Фрол притворил дверь сторожки, подпер черенком лопаты:

— Пушай стоит, некому ходить...

— Не бойшься лихого глазу? — спросил Кузанов.

— Плевать, — отмахнулся Фрол. — Мы вот что, мы давайте на Чесноковую гору взведем, косачишек попугаем... Там на стерне должны быть косачи.

— Ружье есть?

— Мелкашка имеется. Малопулька... Я же белок зимой беру. Соболя иной раз настигну...

— А что, давайте попытаемся, — согласился Кузанов. — На Чесноковую так на Чесноковую...

Опенкин про себя отметил, что Кузанов сказал это не сомневаясь, что он, Опенкин, может воспротивиться. Как будто хозяин он, Кузанов, будто не ему делает одолжение Опенкин, мотаясь на машине по горам и лесам. Но подумав об этом, Опенкин ничего не сказал, согласился, вздохнув.

В последний раз Чернушку переехали, когда вершины занялись розовьем. Но внизу все еще гнездилась ночь и над землей стлался туман, серый, промозглый. Фрол показал Шлыкину поворот на Чесноковую, попросил:

— Сторожко едь... Чесноковая...

В его голосе послышалось почтение.

Взбирались на гору долго и трудно. Подъем оказался настолько длинным, что машина задыхалась от натуги, и казалось, вот-вот остановится и посылется назад, разваливаясь на мелкие запчасти. Опенкин с тревогой ждал конца, ерзал на сиденье. Он злился на себя: не мог запретить. Не мог сказать: никаких косачей! А что будет? Катастрофа будет! Вспомнилась Плач-гора, плохо стало. Боялся Опенкин.

Но он опять ошибался. Шлыкин вел машину спокойно. Едва заметная дорога вилась по неглубокому ущелью, промытому дождями и вешними водами, машина шла тяжело, но шла по каменистому пуги, надежно цепляясь колесами за крутой склон.

На вершине Чесноковой ярко светило солнце. Машина, выбравшись из мрачного ущелья, легко покатила вдоль сжатого пшеничного поля. В кабину постучали, Шлыкин тормознул.

— Никуда больше не надо ехать, — сказал Фрол. — Здесь обождем...

— Чего ждать-то? — недоверчиво спросил Шлыкин.

— Косачей... Как прилетят на стерню, так мы их и добудем.

— Сами прилетят? Прямо в котел?

— В котел не в котел, а прилетят, — уклончиво ответил Фрол. — Ждите.

— Неужели здесь хлеб сеют? — удивился Опенкин.

— А как же, сеют, — подтвердил Фрол. — И пашут, и сеют, и убирают... Это не в степи, здесь каждый клочок пашут.

— Да как же комбайны с горы не падают?

— А их не пуцают, — охотно пояснил Фрол. — На каждый комбайн

по два трактора. Один вперед тащит, а другой поверху идет, тросом поддерживает... Не падают.

— За прицепные комбайны они здесь, как за молитву, держатся,— подал голос Кузанов.— От самоходных открещиваются — не идут они в горах...

— А чьи поля-то? — спросил Шлыкин.

— Совхоза... Граница тут с другой республикой... Совхоз пчеловодческий, богатющий... Миллионщики. Лет десять пчелами живут. А поля — это так, для скотины зерно.

Фрол закурил, продолжал с сожалением:

— Я у них бывал, эх, и живут люди... Телевизоры смотрят. Звали меня работать. Только что же я, со своей земли поеду? Ведь и мы так же можем у себя. Только взяться некому.

— Возьмемся, возьмемся,— опять пообещал Кузанов. И нетерпеливо спросил: — Где же твои косачи?

— Косачи? — Фрол плюнул на окурок, огляделся окрест, показал рукой. — Во-она, видал?

И тут все заметили черные точки, рассыпанные по обмолоченным копнам и прямо на стерне. Птиц было много.

— Мать честная! — воскликнул Кузанов взволнованно.— Да как же мы просмотрели!

— Ничего не просмотрели,— успокоил Фрол.— Косач завсегда — только что не было, а посмотришь — уже сидит... Значит, так: поезжай потихоньку, будто ты их не замечаешь, будто бы мимо едешь... Как я тебе тюкну по кабинке, ты мотор глуши. И тихо чтобы было!

К табуну тетеревов подъехали близко. Опенкин нервничал, хватал Шлыкина за рукав, шипел:

— Хватит... Стой... Улетят...

Но Шлыкин, ожидая сигнала, отдергивал руку и все ехал и ехал, пока пригнувшийся за бортом Фрол не постучал.

Это было удивительно. Крупные птицы с раздвоенными хвостами, не обращая на машину ни малейшего внимания, ходили по стерне, помогая себе взмахами черно-белых крыльев, взбирались на копны.

— Как куры,— едва слышно выдохнул Шлыкин.

— Тише,— вздрогнул Опенкин.

Раздался негромкий, будто щелчок пастушьего кнута, выстрел винтовки. Один тетерев подпрыгнул, захлопал крыльями, пошел кругом и затих. Второй щелчок — и еще одна птица тяжело свалилась с копны. В кузове зашевелились, после недолгой паузы снова раздался выстрел. еще и еще.

Опенкина охватило какое-то лихорадочное состояние. Его трясло мелкой дрожью, он сидел напружинившись, сжав кулаки, охваченный азартом. Несмотря на плохое зрение, он хотел попросить винтовку, чтобы самому, непременно самому убить великолепного черного тетерева, но в это время Шлыкин дал громкий протяжный сигнал. Секунда растерянности — и табун косачей с шумом сорвался, стремительно полетел под гору, в березняк.

— Ты что, сдурел? — заорал из кузова Фрол.

— Шлыкин! — вскричал Опенкин и — о боже! — замахнулся на шофера.

— Раззява! — гремел Кузанов.— Охоту испортил!

Они кричали, а Шлыкин молчал. А когда они перестали кричать. Шлыкин сказал потихоньку:

— Какая же это охота? Убийство... Они же, как куры. Ходят, зерно ищут. Они же машину подпускают, думают, что это зверь безобидный! Они же не знают, что в машине люди...

— Эка тебя занесло,— немного смутившись, сказал Кузанов и прыгнул на землю. А Фрол подтвердил:

— Конечно, знали бы, что человек,— на версту не подпустили бы... А с машины всех можно перешелкать.

Двенадцать мертвых птиц лежало у ног Опенкина в волглой от росы соломе. Красавцы косачи с красными бровями, с хвостами, похожими на лиры, скромно наряженные тетерки, рябенькие, как куры.

Охотничий азарт ушел, осталась жалость.

Опенкин присел на корточки, раскрыл тетереву клюв. В птице, видимо, держался последний вздох. Он вышел на волю кровавым пузырем. Опенкин отдернул пальцы, вытер их о солому.

— Эх вы, охотники,— сплюнул Шлыкин и пошел к машине.

II

Рассыпуха была похожа на растревоженный улей. Зашевелились рассыпухинцы, заходили из дома в дом, обсуждая непонятную новость. Много чего пронеслось над головами домовитых рассыпухинских мужиков, и все миновало. Спасала отдаленность, малолюдье. После войны хотели в Рассыпухе организовать кустарную артель: дуги гнуть, кошевки плести, клепку тесать. Ничего не вышло. Топоров не было в достатке, никакого плотницкого инструмента. Потом задумали по урочищам скот откармливать, собирая его с предгорных колхозов. Рассыпухинцев стали в пастухи определять. А теперь копали под самый корень, замахнувшись на пчел. Будет совхоз — подсобным хозяйствам конец.

Не успели остановиться у Фроловой избы, пришел прокопченный Храмов, руки всем пожал.

— Взялись за гадов? Правильно! Я же говорил: сволочи. Никакой пользы для жизни!

— Ладно,— перебил его Кузанов.— Что в деревне слышно?

— Как осы, гудят. Зубов в район послал защиту искать... Найдет, а? — Храмов спросил настороженно, выставляя вперед одно ухо.

— Ничего не найдет,— отозвался Кузанов.— Решение состоялось... Будет совхоз.

— Ну и хорошо,— проскрипел Храмов. Потом он взглянул на Опенкина, улыбнулся.— Нашел картошки-то, уполномоченный?

— Не совсем,— пожал плечами Опенкин.

— Дадим, не боись... Раз такое дело учинили с Зубовым, я тебе полтонны дам, хватит?

Опенкин оживился, заинтересованно потер ладонь о ладонь и победоносно взглянул на Шлыкина.

— Это хорошо, это очень хорошо, товарищ Храмов.

— Чего там, надо — значит надо... Заезжайте на подворье...

Договорились, что Кузанов пойдет в сельсовет, а Опенкин в конце концов вплотную займется выполнением ответственного поручения, загрузит машину, и, может быть, сегодня же тронутся в обратный путь. Фрол крикнул вдогонку:

— Обедать! Обедать приходите! Косачей жарим!

Зубов встретил Кузанова тихо, без обычной улыбки, без приговорок. Посидели молча, Фомич спросил:

— Печать отдавать придется?

— Депутаты решат.

— Печать отдам,— согласился Зубов,— а пчел моих не получите.

— Не твои пчелы-то,— усмехнулся Кузанов.— Пчелы-то ворованные, в этом все и дело...

— Мои-и,— пропел Зубов,— мое-е добро, Егорка...

Великая злоба душила благообразного старика.

Клашка в Зимногорск поехала, к своим людям. Серьезные есть люди в районе, не один раз спасали. Почему же на этот раз не предупредили? Открестились? Эх, дела! Что же придумать? Перво-наперво — Егора в Рассыпухе денька на два удержать. Чтобы Кланька нужных людей нашла, обсказала все...

— Я сам своим добром распоряжусь, понятно? Ты акты писал, а что они стоят? Бумажки это, Егор... Пугаешь ты меня понапрасну. Ну, пришлешь ты милицию, а что она найдет? Ничего. Тайга наша большая. Все укроет. Приедет милиция али кто еще, а у нас на пасаках казенных полный порядок. Понятно?

— Куда уж понятней,— ответил Кузанов.— Мне рассказывал брат, вы года три назад таким манером ревизоров за нос водили. Было?

— Было,— с деланным простодушием полтвердил Зубов.— Не стану от тебя таить — было. И еще будет, Егорушка...

— Не будет.— Кузанов покачал головой.

Опенкин суетился свыше всякой меры. Мешок поднять ему, конечно, не под силу, с мешками возиться Шлыкину способнее, зато Руслан Евдокимович осуществлял общее руководство. Деньги отсчитывал, те семки на мешках завязывал. Где гнилую картошку заметит — выбросит и на хозяина с укоризной посмотрит: кого обманываешь?

События последних дней ворвались в размеренную жизнь Опенкина, как снежный обвал. Закрутило его, завертело, дождичком намочило и высушило. И стал он какой-то не такой, что был раньше. С виду посмотреть — ничего не изменилось. Но вот людей уже стороной не обходит, не опасается, как бы его хрупкое телосложение не нарушилось от нечаянного столкновения. Появилась в Опенкине несвойственная ему ранее лихость. Не то чтобы бесшабашность какая или неприятная настырность, но аккуратная смелость. Вот ведь и суетится Опенкин все от этой смелости, не согласен он больше в тени оставаться, мобилизовался окончательно, решительность проявляет.

— Быстрее, быстрее.— торопит Опенкин,— сегодня все заготовки нужно кончить...

— Быстрее нужно — бери мешок,— огрызается Шлыкин.

— Вы же знаете, Шлыкин, мне не поднять,— смутился Опенкин. Вот всегда так: только наберешь разгон, а тебе ножку подставят. Однако он сразу же нашел выход: — Товарищ Храмов, почему бы вам не помочь? Помогите водителю...

Храмов потоптался недоуменно, хотел было пугнуть матюгом, но передумал, взвалил мешок. Позавчера этот уполномоченный приходил к нему робким, никакого вида, словно кутенок в колени носом тыкался. А нынче покрикивает. Начальник. Начальство Храмов уважал. Лучше подчиниться.

Машину загрузили так, что рессоры просели. После Храмова заехали во двор Кузановых, там подбавили отборной, розовой, как новорожденные поросята, картошки. После того Шлыкин метнулся по деревне свое заработанное получить. Даже у Зубова отвоёвал два мешка.

Потом Опенкин отправился к Фролу. На столе уже красовалась вместительная чугунная жаровня. Кузанов глодал тетеревиные косточки. «Опять пьют»,— неприязненно подумал Опенкин.

— Дичину без выпивки нельзя,— успокоил Кузанов, будто бы подслушал недовольство Опенкина.

— Я пить не буду.

Опенкин отрезал категорически, настолько, что ни у кого не возникло желания упрощать его. Шлыкин сосредоточенно жевал грудинку тетерева. Опенкин не удержался, съехидничал:

— А на охоте я думал, что вы вегетарианец...

— Чего? — переспросил Шлыкин, проглатывая кусок.

— Думал, мясо не употребляете... Ругали стрелков.

— Мясо ем, — сказал Шлыкин, вонзая зубы в мягкую ткань. — Убийства не люблю. Там они живые были.

«Психология крестьянина, — подумалось Опенкину. — Пока птица живая — жалко было. А от жаровни не оттянешь...» Опенкину показалось, что мысли у него получились весомыми, глубокими и оригинальными. Он пришел в хорошее расположение духа, потянул к себе целиком зажаренного косача, распространявшего вкусный запах.

— Ну, смотрите, коли так, — пожал плечами Фрол, наливая себе и Кузанову. — Не пьете — не пейте... Нам больше останется.

Опенкину понравилось выдумывать оригинальные и глубокие мысли, и он снова подумал: «Это ужасно, как много пьют везде... Слабо боремся с пережитками, нет радикальных средств борьбы. А между прочим, социальные корни ликвидированы».

— Я вот что попрошу, — сказал Кузанов, переводя дух. — Ты в Зимогорске зайди в райком к Хлипаку. Обскажи положение, пускай помощь посылает. Пока не растащили добро...

Кузанов долго инструктировал Опенкина, что сказать и как сказать, Опенкин уже в кабину влез, мотор давно работал, и Шлыкин держал машину на выжатом сцеплении, а Кузанов все говорил:

— Передай ему: все будет в ажуре. Сберегу! Случай чего — расшибу всех! Но достояние сберегу...

И поехали они обратно. Хорошо было на душе у Опенкина: задание выполнил, много трудностей преодолел, кое-чего познал. Ошибок, правда, тоже много совершил, но про ошибки никто знать не будет. А сам Опенкин будет молчать: зачем себя в неприглядном свете на общественное мнение выставлять? К Хлипаку надо обязательно зайти... Это должно быть интересно. Опенкин скажет: вы позвоните товарищу Нитушеву, объясните, как я помогал Кузанову, какие трудности принципиально преодолел.

Заждалась его Людмила. На три дня обещал уехать, а сегодня уже неделя кончается... Ах, Людмила, Людмила!

На площадь перед гостиницей въехали с шиком. Дав длинный сигнал, Шлыкин лихо развернулся, тормознул у коновязи. Здесь все было по-прежнему. Только машин поменьше стало да за последние два дня, что случились без дождей, грязи поубавилось.

— Я в райком пешком схожу, — степенно сказал Опенкин. — Нечего грузеную машину гонять... Вы меня здесь ожидайте.

Хорошо давать указания, которые охотно выполняются. Опенкин в поездке понял одну великую в своей простоте истину: чтобы Шлыкин слушался, ему нужно давать такие указания, какие соответствуют его собственным устремлениям. Это же ясно, что Шлыкину не хочется кружить по тесным улочкам, — значит, нужно приказать, чтобы стоял на месте.

— Вы меня здесь ожидайте, — повторил Опенкин с твердой уверенностью, что так оно и будет.

Опенкин деловито направился за угол гостиницы. Шаг его был чеканным, самому себе он казался молодцом, и даже шапка, сползающая на нос, не убавляла великолепной решимости Опенкина свершить все грандиозные дела, оставшиеся на его долю от неразворотливых пред-

ков. Он и до райкома дошел бы неумолимым гвардейским шагом, но сразу же за углом неожиданно столкнулся с Клашкой.

— Клаша,— сказал Опенкин, запнувшись,— а мы уже приехали...

— Не слепая,— усмехнулась невесело Клашка.

— Я тоже не слепой,— потупился Опенкин,— но вижу неважно... Но я о другом хотел... Клаша.

Клашка стояла перед ним, женщина, которая шлепала его широким березовым веником, приговаривая: «Горюшко мое, в чем душа держится».

— Клаша,— посуровел Опенкин,— у каждого человека есть свой долг. Я иду в райком...

— За пайком? — полуутвердительно сказала Клашка.— Спешу, спасибо скажут...

— Клаша, нельзя так! — с небольшим душевным надрывом воскликнул Опенкин.— Есть вещи в мире... Они сильнее нас! Мы должны быть сильнее! Я обязательно хотел сказать вам...

— Заткнись,— отрезала Клашка и прошла мимо Опенкина, как мимо пустого места.

— Клаша! — позвал Опенкин ей в спину.— Послушайте!

Клашка не остановилась, повернула за угол, бросив Опенкина в растерянности. Руслан Евдокимович хотел даже догнать ее и сделал назад некоторое движение сапогами, свидетельствующее, что владелец сапог стоит на распутии, но чувство долга победило. Опенкин поправил шапку и пошел, навсегда отдаляясь от Клашки.

12

Из Зимногорска выехали по дождю. В гостинице наслушались тревожных разговоров о прогнозах: два дня дожди, а потом мороз. Хозяин гостиницы, ненадолго отрезвевший инвалид, посоветовал ехать окружающей дорогой через речку Тарыш.

— В том степу вам дожди нипочем... Проскочите, перебей вам котмку...— Хозяин удивленно тарашил глаза.— Уж коли в Рассыпуху добрались, то в степу ужмете...

Шлыкн насыпал за ночлег ведро картошки, отдал хозяину. Инвалид ковырнул клубень:

— Скороспелка. Повезло... Сколько люду попусту проездило! Сколько у меня перебивало неудачников! Повезло вам...

— Везение— это случай,— обстоятельно объяснил Опенкин.— А мы на случай не надеялись, боролись с обстоятельствами... Так, говорите, через Тарыш?

— Непременно,— убеждал инвалид.— Хучь и подальше дорога, но вернее.

А в общем, не понятно, чем лучше дорога через Тарыш? Буксовали напропалую, через три районных центра путь лежал, и в каждом центре придирчиво проверяли документы в надежде картошку отобрать, в каждом центре Опенкин бежал по властям, показывал письма и отношения, справки и квитанции. Спасало одно: картошка вошла в заготовительный план зимногорской кооперации. Разрешил Хлипак вроде бы оприходовать ее, а на самом деле в Степновск увезти.

На обратном пути Опенкин немного духом поокреп. Одного торгового деятеля так напугал, что тот и не рад был встрече. Деятель пытался Опенкина на противозаконную сделку подбить:

— Ну что тебе стоит? Поезжай на весы, получи накладную. А я эту накладную к делу пришью. Ты своей дорогой поленься, а у меня две тонны картошки прибавится. Поладим?

— А вы знаете, как это называется? — спросил Опенкин сурово. — Это называется обман народа и очковтирательство! Как ваша фамилия? Кто ваш руководитель?

— Ну, ну, ты полегче, — неуверенно попросил деятель торговли.

— Что значит полегче? — закричал рассерженный Опенкин. — Пойдите и заявите, что вы не достойны заниматься важным делом торговли и заготовок продуктов питания! Я вас сейчас же доставлю по назначению!..

Да, много разных неприятных встреч было из-за картошки. Из последнего райцентра выбрались, свободнее вздохнули.

— Дорога открыта! — воскликнул Опенкин. — Никаких больше преград не существует!

— Погоди радоваться, — буркнул Шлыкин.

Еще издали, миновав поворот в начале спуска к переправе через Тарыш, Шлыкин почуял недоброе. Раскисшая дорога была свободна, но перед самым мостом, сползши в кювет, стояло несколько машин. Почему они там стояли, Шлыкин не знал, но догадался: неспроста.

— Проснись, кажись, приехали!..

Опенкин, клевавший носом, поднял голову.

— Кажись, приехали, — повторил Шлыкин.

— А что ты думаешь, Тарыш мируем — считай, дома. Последний рубеж берем.

— Я говорю, переправы нет. Видал, стоят?

— Чепуха! — воскликнул Опенкин, кое-как разглядев вереницу машин. — Тебе уже везде страхи мерещатся. Стоят... Мало ли что? Может, ожидают кого!..

Шлыкин не ответил. Подавшись вперед, он внимательно следил за дорогой и выруливал по самому гребню спуска, не давая машине сползти к обочине. Они были совсем близко к въезду на переправу, когда из маленького дощатого домика, который ни Шлыкин, ни Опенкин не заметили сразу, выкатилась сгорбленная фигурка, сказочный гномик в островерхом дождевике. Фигурка предостерегающе подняла руки. Шлыкин чертыхнулся и осторожно затормозил. Гномик, с трудом вытаскивая ноги из грязи, приблизился, и Опенкин смог рассмотреть его. У гномика росла борода, реденькая мочальная борода, как на дешевеньких ширпотребовских игрушках. А за спиной гномика висело ружье центрального боя. Длинноствольное, ростом чуть меньше своего хозяина. Гномик подошел к машине не вплотную, так, чтобы сохранить дистанцию для официального разговора.

— Ну, что тебе, дед? — крикнул Шлыкин, приоткрыв дверцу.

— А ты вылазь, вылазь! — неожиданно густым басом отозвался гномик. — Вылазь с документом, здесь говорить будем!..

— Вот так, — вроде бы даже с удовлетворением сказал Шлыкин, потому что ничего хорошего он и не ожидал. — Иди, объясняйся!..

— Нет, это черт знает что такое! — возмутился Опенкин. — Что я должен объяснять?

Однако Опенкин вылез из кабины, предъявил гномику бумаги и терпеливо ждал, пока тот, шевеля губами, читал их, возвращая по одной. Наконец изучение документов кончилось, гномик поднял на Опенкина мутные, слезящиеся глазки:

— С картохами проезду нет.

— То есть как это нет? — переспросил Опенкин, не в силах сдержаться от улыбки. Уж очень неожиданным и совсем ненужным казался бас в этой тшедушной фигурке с нелепо торчащим ружьем.

— Желтяков не велел пушать.

— А кто такой Желтяков?

— Желтякова не знаешь? — удивился гномик. — Ну-ну... Повертай обратно в Усть-Хаманку, там узнаешь...

— А вы, папаша, случайно не хватили сегодня лишнего? — поинтересовался Опенкин, все еще улыбаясь, все еще не веря в серьезность происходящего.

— А ты мне наливал? — в свою очередь спросил гномик обиженно. — Ты мне не наливал — и молчи. Проезда с картохами нету.

— Но почему? — теряя терпение, воскликнул Опенкин.

— Желтяков не велел. Карантин у нас... — Басовитый гномик повернулся к Опенкину спиной и двинулся прочь, придерживая ружье, чтобы оно не волочилось по грязи.

— Товарищ! Товарищ! — окликнул Опенкин встревоженно. — При чем же карантин?

— А при том, что картохи — продукт животных... Желтяков говорил...

— Да пойдите же вы, товарищ! — опять закричал Опенкин, догнав гномика. — Какой продукт? Каких животных? Мы купили картофель! Везем для рабочих! Вы, товарищ...

— Я таких товарищей в гробу видал, в белых тапочках, — ощерился гномик, резко обернувшись. — Сказано: повертай обратно!

Опенкин остолбенело смотрел, как гномик боком-боком, выбирая грязь пожиже, чтобы легче одолеть, добрался до своего сказочного домика и исчез. Опенкин беспомощно оглянулся: Шлыкин копался в моторе, уткнув голову под раскрытый капот. У Шлыкина свои заботы. Для него главное — чтобы машина шла, чтобы гудел мотор и крутились колеса. Но чтобы они крутились, нужно прорваться через неожиданный кордон. А уж это — забота Опенкина.

Опенкин решительно подошел к сторожке и открыл дверь. Навстречу рванул запах теплой сырости, смешанный с густым настоем табачного дыма. Навстречу Опенкину рванулись голоса:

— Вредители, и больше ничего...

— Его бы самого, суку, повозить в кузове суток пять!

— Кто что хочет, то и делает...

Домик оказался набитым людьми. Вокруг крохотной чугунной печки, на лавках и просто вдоль стен стояли и сидели измученные долгой отвратительной дорогой шоферы. Слово по команде, повернувшись на свет открытой двери, люди смолкли. Опенкин ненужно улыбнулся и сказал:

— Здравствуйтесь, товарищи.

Никто не ответил. Опенкин поискал взглядом гномика, заметил его сгорбленную фигурку у самой печки и попросил:

— Может, вы все-таки объясните, что все это значит?

И сразу зашевелились люди, узнав в Опенкине своего брата, страдальца. И сразу заговорили:

— Он тебе объяснит...

— С утра сидим колонной, не пускают...

— Картошку, говорит, навозом удобряют. А навоз из-под коров. А коровы больные...

— Но позвольте, — пытался добраться до истины ошеломленный Опенкин, — мы закупали картофель не в этом районе!

— Через этот район везли — значит, попались...

— Но это же бессмыслица!

— Это вредительство! — закричал вдруг стоявший у стены рыжий парень в замасленном бушлате. — Это вредитель! Ночью мороз прихватит — пропала картошка! Как людям в глаза будем смотреть?

Гномик суетливо закопошился на своем месте, стал снимать с плеча ружье.

— Я тебе сейчас покажу вредительство! — заорал он. — Идите отсюда все, мать вашу...

Шоферы загалдели, повскакали с мест. Сжались кулаки, обозначились на лицах скулы, сверкали глаза.

— Тише! — закричал Опенкин, стараясь, чтобы его услышали. — Тише! Дайте сказать! Нельзя всем сразу, пойдемте на улицу!

Опенкин вышел из домика, увлекая за собой шоферов. Обеспокоенный гномик выкатился за ними.

— Нужно ехать, товарищи, несмотря ни на что, — сказал Опенкин, удивляясь собственной смелости. — Мы поедем напролом!

— Кто это напролом? — протиснулся вперед гномик. — У меня карандаш есть, моментом номер запишу... Желтяков узнает — хлопотами доймают, не отсудитесь!

Опенкин сделал шаг к гномику, немного склонился и негромко, но внятно произнес:

— Я не знаю, кто такой Желтяков, но вы передайте ему, что он дурак. Запишите номер машины и скажите: человек с этой машины назвал вас дураком. Ясно? А мы сейчас поедем.

— А вот его видел? — похлопал гномик ладошкой по стволу ружья. — Я на путях стану. Мне и пальнуть недолго.

— Вредитель! Настоящий вредитель! — опять закричал рыжий шофер.

— Спокойно, товарищи, спокойно! — Опенкин почувствовал в себе какую-то злость, такого чувства он никогда не испытывал раньше. Может, впервые в жизни он не думал о последствиях. — Это обыкновенная глупость, которой дали в руки ружье, но не рассказали, в какую сторону стрелять. Я предлагаю обезоружить сторожа. Беру на себя всю ответственность!

Гномик догадался, что дело не шуточное, подался назад, пытаясь выскользнуть из круга. Но шоферы не пустили его. Шоферы еще плотнее окружили гномика, кто-то протянул руку к ружью.

— Ты чего? Чего? — гулко забормотал гномик. — Вы кого слушаете? Стрекулиста? Да вас посодюют всех за меня. Расступи-ись! — заорал он, чувствуя, как из рук у него вырывают ружье.

Но было уже поздно. Рыжий парень схватил ружье за длинный ствол, приметил камень, размахнулся.

— Сто-ой! — не своим, высоким голосом выкрикнул гномик. — Ребятки, казенная ружье! Не обижайте старика! Ну что вы, шутки не понимаете?

Гномик бился в руках молчащих шоферов, он пытался вырваться, он вдруг заплакал, сморщив свое игрушечное личико. Рыжий парень так и стоял, подняв ружье, смотрел на Опенкина.

— Не надо, — сказал Опенкин, — разрядите его...

Парень вынул из ствола патрон, размахнулся, кинул в воду. Гномика отпустили. Он вытирал слезы сморщенным кулачком, всхлипывал:

— Желтяков голову снимет... Он велел все машины к нему направлять...

— Да кто же в конце концов ваш Желтяков? — спросил Опенкин.

— Председатель кооперации... Велел к нему направлять, забирать велел картошку для плана...

— Вона-а чего! — присвистнул один шофер. — Не мытьем, так катаньем!

— Ладно, товарищи, оставим это на совести Желтякова, — посоветовал Опенкин. — Давайте ехать...

— А документ? — снова забасил гномик. — Мне документ нужен.

— Какой еще документ?

— А такой, что вы прорвались без спросу, насильно через меня прошли. Напишите, а то Желтяков голову снимет.

Пока шоферы расходились по машинам, Опенкин накорябал карандашом в тетрадку гномику: «Сторож был разоружен, как не имеющий права задерживать машины с картофелем. Р. Опенкин».

— Печати нет, — сказал Опенкин, — но он и без печати поверит.

— Ох-хо-хо, — вздохнул гномик. — До пензии два месяца осталось...

Выгонит Желтяков.

— А ты ему ничего не говори, — посоветовал Опенкин.

— Как, совсем? — Гномик несказанно удивился этой возможности.

— Совсем! — бросил Опенкин, удаляясь.

— Ну вот, теперь, считай, дома... Как думаешь, к вечеру доедем?

— Не загадывай.

Шлыкин осторожно спустился на переправу. Деревянный настил прогнулся, заскрипел, но выдержал.

— Не загадывай, — повторил Шлыкин, — пока города не увидим.

— Нет, — убежденно сказал Опенкин, — теперь мы дома.

Но ни в этот день, ни на другой они еще не доехали. Беспрестанно шел дождь, и машина часто съезжала в кюветы. И Опенкин копал холодную тяжелую землю, и Шлыкин копал. И Опенкин, упираясь слабым плечиком, толкал машину, цепenea от натуги.

А кругом была неуютная, мокрая степь. Почерневшая стерня стлалась до горизонта. Растрепанные галки торопились куда-то от дождя. По степи рыскал ветер, тяжелые, набрякшие перекасти-поле колобками катились и от дедушки и от бабушки, сбивались в кучи по лесополосам. Теряли последний лист березы, гнулись тонконогие, давно уже голые тополя.

Ночевали в кабине. У Опенкина зябли ноги. Разувшись, взбирался на сиденье, как кочет на шестке коротал холодное время. Вспоминал тепло. Загадывал: если в город въедут ночью, он постучится к Людмиле. И останется у нее.

Дома Опенкина ждала мама, Нинель Александровна.

Барнаул — Томск.

1966 г.



Ты склонишься в молитвенном поклоне,
Хоть ты и не молился никогда!

Увидишь ты, как пожилые люди
Сидят, свои седины теребя,
Как женщина ребенка кормит грудью,
И в сотый раз все потрясет тебя,
И все, что на земле, что в небе синем,
Захочешь ты постичь... И вот тогда
Замолкнешь, и молитва горлом хлынет,
Хоть ты молитв не слышал никогда!

* * *

Гри раза падал и ломал я ноги,
Сперва ненастье подвело меня,
Потом — бугры и ямы на дороге,
А в третий раз — горячий нрав коня.

Сперва был дождь и град, а после иней,
Потом был путь размыт, как на беду,
Потом бог весть уж по какой причине
Ты не пришла, а я все жду и жду!

И так всю жизнь надеюсь, жду напрасно.
И вот теперь, уже на склоне лет,
Дорога хороша, и небо ясно,
И конь мой смирен, а тебя все нет.

* * *

Жил певец в ущельях знаменитый,
Сочинил он и оставил нам
Песню, где он сравнивал джигита
С туром, что кочует по горам.

И с тех пор охотник — горец ловкий —
Песню эту пел средь отчих скал
И свою послушную кремневку,
Видя тура, долу опускал.

И другой мой предок был поэтом,
Он сравнил любимую в стихах
С чудной птицей радужного цвета,
Что витает в синих облаках.

С той поры стрелок весь век свой долгий
Стих певучий говорил и пел
И своей тяжелой гладкостволки,
Видя птицу, вскидывать не смел.

Почему ж святой обычай горцев
Так непочитаем и забыт?
И сегодня слово стихотворцев
Гибели ничьей не отвратит?

С чем должны сравнить мы в песнях лучших
Человека, чтоб спасти от зла?
Чтоб, как ни была бы неминуча,
Смерть людей невинных обошла?

Снова гром грохочет, даль дымится,
И поэта вопиющий глас
Не спасет ни тура, и ни птицу,
И, наверно, никого из нас.

ЖУРАВЛИ

Мне кажется порою, что джигиты,
С кровавых не пришедшие полей,
В могилах братских не были зарыты,
А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса.

Сейчас я вижу — над землей чужою
В тумане предвечернем журавли
Летят своим определенным строем,
Как по полям людьми они брели.

Они летят, свершают путь свой длинный
И выкликают чьи-то имена.
Не потому ли с кличем журавлиным
От века речь аварская сходна?

Летит, летит по небу клин усталый —
Мои друзья былые и родня.
И в их строю есть промежуток малый —
Быть может, это место для меня!

Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
По-птичьи из-под неба окликаю
Всех вас, кого оставил на земле.

Перевел Н. Гребнев.



АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ

★

АРТИСТ МИМАНСА

Рассказ

1

Илью Ильича обидели. Это случилось вечером, в третьем акте. Будучи одет в малиновую ливрею с галунами, белые чулки и туфли с пряжками, Илья Ильич обязан был выйти на сцену и раздать балеринам кубки из позолоченного папье-маше; только и всего.

Он мирно стоял с подносом в кулисе № 2, ожидая, когда в оркестре свистнет флейта — тогда пора идти. Кулиса была его; он всегда здесь стоял.

Партию принца исполнял талантливый премьер балета Валентин Борзых. Совершая свои прекрасные коронные прыжки, несколько увлекшись и опьяненный аплодисментами, он в последнем прыжке ошибочно влетел во вторую кулису, прямо на Илью Ильича.

Принц был в белоснежном камзоле и белом трико, в белокуром паричке, с сильно напудренным и нарумяненным лицом, воздушный и женоподобный, но ударил он Илью Ильича, как чугунная пушка.

Старик был сбит с ног, кубки взлетели золотым фонтаном и рассыпались, как горох, по сцене. По зрительному залу прошелся смех.

— С-стоит, с-волочь... — ругнулся принц, добавив кое-что покрепче, потому что и сам ушибся; но он тут же засиял ослепительной сценической улыбкой и мягким балетным шагом пошел на поклоны.

На Илью же Ильича тем временем накинута помреж. Затем прибежал ведущий спектакля с воплем: «Сколько говорено, чтоб посторонние не торчали в кулисах! Как твоя фамилия?» — и записал на бумажк.

Илья Ильич не был посторонним: предстоял ведь его выход. Ведущий мог бы не обращаться к нему на «ты»: он был моложе на двадцать пять лет. Премьер Валентин Борзых не должен был запрыгивать в тесную кулису № 2; он всегда уходил в кулису № 5, сейчас просто туда не допрыгал.

Но Илье Ильичу некогда было размышлять об этих пустяках, он проворно запóлзал среди крахмальных пачек балерин на четвереньках, и пока помреж с ведущим пререкались, ловко все подобрал — и спрятался, вызвав в зале новый взрыв смеха.

Ведущий схватился за волосы: именно сегодня была получена накатка от дирекции, чтобы не было накладок, ибо в зале присутствовал высокий иностранный гость.

Но тут в оркестре пискнул, наконец, сигнал флейты, загремело

«форте», пошли с подносами все лакеи, и ведущему ничего не оставалось, как вытолкнуть Илью Ильича снова на сцену.

На ролях лакеев, кроме штатных единиц, подрабатывали приходящие студенты. Один из нештатных юркнул вдоль законного ряда Ильи Ильича и подал балеринам свои кубки, так что, когда подоспел Илья Ильич, кубки никому не понадобились.

Здесь он совершил вторую и роковую накладку. Он не мог уйти обратно с полным подносом. Это было неестественно и с лакейской точки зрения абсурдно. Поэтому он пересек по диагонали всю сцену, и когда кордебалет жестами античных богов вскинул это позолоченное папье-маше за здоровье принца с принцессой, вспотевший и несчастный Илья Ильич все еще путался перед рядами, предлагая никому не нужные кубки.

Наконец он догадался ретироваться. Расстроенный, с полным подносом, он ушел за кулисы — и увидел, что там уже зреет скандал.

Сам главный балетмейстер, этот бог в человеческом облике, распинал начальника цеха миманса; все прочие начальники стояли вокруг и подсказывали балетмейстеру нужные выражения. Начальник цеха миманса виновато кивал: «Признаю... сегодня же приказ... на общем собрании... обсудим...» Он ястребом взглянул на Илью Ильича, и тот, появив, немедленно исчез, как дым.

2

Балет со стороны кулис выглядел не так, как из зрительного зала. Это была тяжелая, довольно нервическая суматошная работа людей многих цехов.

В полутьме, среди пыльных холстин и сваленных грудками декораций, озабоченно сновали бутафоры, костюмеры, статисты. Балерины топтались в ящике с канифолью, нервничая и ссорясь. Ведущий пробегал в панике со словами: «Королева на выход! Где королева, черт возьми?» Осветители флегматично тянули кабели, о которые все спотыкались. Солисты, «друзья принца», готовили у люка, рассказывая последние анекдоты. Прима-балерина истерически ругалась с костюмершей из-за лопнувшего шва. Машинисты озабоченно включали рубильники на щитах. Гудели моторы и скрипели блоки. С танцоров, являвшихся со сцены, лил градом пот, они промокали усталые лица туалетной бумагой и обмахивались полотенцами. Скучали, кажется, одни лишь нелюдские пожарники.

На освещенном пятачке сцены сходились, как в фокусе, все усилия, там происходило удивительное чудо искусства. А по ту сторону рампы пульсировал и вздыхал, как одно тысячеликое мохнатое существо, пятиярусный зрительный зал, который пришел смотреть именно на это чудо. Он волновался, переживая хорошо отрепетированные ситуации, взрывался восторгом при каскаде ослепительных фуэтэ примы-балерины, и ему совсем не нужно было видеть пот, который в это время веером слетал с нее.

Благополучно одолев переплетения стоек и кабелей, Илья Ильич понес в бутафорскую свой поднос со злополучными кубками. Все его выходы и стояния на освещенном пятачке кончены, по крайней мере сегодня.

Там, в оркестре, глухо зарокотала трагическая тема, пятачок погас, злой колдун поволол принцессу, и еще целый акт предстояла борьба добра и зла, но в ней статисты не участвовали.

Сдав бутафорию, Илья Ильич зашел в крохотный душный туалет с серым от старости унитазом, заперся на задвижку, поднял рубашку и

ощупал ребра. Шупал он долго и обстоятельно: ему казалось, что при ударе у него что-то сломалось. Но ребра были целы, и он успокоился.

Ему очень не хотелось сразу подниматься на пятый этаж в уборную миманса. Он знал, что на лестнице в эту минуту караулили театральные парикмахеры, отбирая у миманса парики. Дело в том, что кто-то когда-то унес парик, и вот парикмахерскому цеху приказом было вменено в обязанность выдавать парики по списку, забирая тотчас по выступлении. Эта процедура казалась обидной Илье Ильичу, вся жизнь которого прошла в театре, он всячески хитрил, стараясь ее избежать.

Кроме того, наверху его ждал, без сомнения, обозленный начальник цеха миманса; благоразумнее было дать ему время поостыть. И Илья Ильич, выгадывая время, отправился в буфет.

Буфет для актеров помещался в полутемном подвале без окон. Почему-то за сценой все подсобные помещения, коридоры, переходы плохо освещались, никого это не удивляло. Так в этом театре было испокон веков: для зрителей — бронза, свет, блеск, а за кулисами — черт-те что.

Начался антракт, и в буфете столпилось много народу. Стойку осаждала очередь: балерины в трескучих пачках, придворные дамы в кринолинах, пажы, оркестранты, а в хвосте очереди стояла сама вдовствующая королева — злостная сплетница Марья Поликарповна Шпак. По штатному расписанию она числилась в том же цехе миманса, к которому принадлежал и Илья Ильич. Но ей платили с надбавкой, потому что она была солисткой миманса, обычно изображая величественно выступающих царственных особ. Из всех статистов она лишь одна присутствовала на главных репетициях, ее имя даже печаталось в афишах, хотя собственно ее работа заключалась всего лишь в сидении на троне и кивании головой, то есть была не сложнее, чем роль лакея или какого-нибудь мавра с опахалом.

Илья Ильич стал в очередь за королевой и стоял очень долго, потому что со стороны подходили то гримерша от примы-балерины, то администратор, то секретарша, и все они совали деньги поверх голов. Опытная буфетчица хорошо разбиралась, у кого надо брать деньги через головы, а кто может подождать.

Чувствуя нестерпимую жажду, не отойдя еще от давешней обиды, Илья Ильич вдруг словно проснулся и впервые с горечью увидел эту несправедливость. Он, медленно, но верно вскипая, смотрел, молчал, но когда подошел танцующей походкой, поверчивая задом, премьер Валентин Борзых и подал рубль перед носом королевы, Илья Ильич, весь задрожав, громко сказал:

— Не отпускайте без очереди!

— Мне сейчас выходить, — объяснил премьер.

— Другим тоже выходить, вот Марье Поликарповне, например, — возразил Илья Ильич. — Вам должно бы быть стыдно, вы же мальчишка и суете рукавами женщине в нос.

Премьер Борзых удивился, очень он удивился, так удивился, что даже не сказал ни слова, только посмотрел на Илью Ильича таким изумленным взглядом — сверху вниз, — будто какая-то муха, ползавшая по его рукаву, вдруг произнесла цитату из Гегеля.

— Может, вам позволено сшибать людей в кулисах, — сказал Илья Ильич, близкий к истерике, — но люди все равны; здесь есть очередь, это в конце концов возмутительно и... и...

Но очередь молчала, а буфетчица взяла у премьера рубль, не замечая отчаянно протянутой руки Ильи Ильича. Премьер получил виноградный сок, бутерброд, не взял сдачи и ушел, забыв об Илье Ильиче.

Все, кто стоял в очереди, продолжали молчать. Илья Ильич по этому молчанию понял, что его выходка не поддержана, но скорее осуждена. Если до сих пор никто об этом не заикался, может, так нужно, так должно и естественно? А тот, кто заикается, прикасается к тому, к чему не следует, так же нелеп, как если бы публично развесил по стульям исподнее.

Получив кружку пива, он с горя затиснулся в самый темный угол. Там за колченогим столиком допивал черный кофе такой же старый, как он, неудачник — гобоист Паша Платонов из оркестра.

Илью Ильича уже не мучила жажда, ему не хотелось пива — ему захотелось поскорее умереть. Жизнь показалась ему совершенно безразличной. Он почувствовал, как, наконец, от нее устал.

— Валторна в третьем акте такую киксу дала, — сказал Платонов, с омерзением сплевывая попавшую в рот гущу. — Шеф аж закачался. Слышал?

— Нет, — сказал Илья Ильич.

— Да что ты, я думал, на улице было слышно! Этот тунеядец Чертков. Шеф его шуганет, готов пари держать... Плюнь, не переживай. И какого лешего ты с ним, сопляком, беседовал? Пушай! Они — премьеры. Они живут в высоких сферах искусства, и указанное искусство зависит от их левой ноги, так до того ли им, чтобы толкаться в очередях, сам посуди.

— У нас все равны! — возмущенно сказал Илья Ильич.

— Равны-то равны. Но скажи на милость, сколько ты получаешь и сколько получает он?

— Какое это имеет значение?

— Такое. Ты поедешь домой в трамвае — он в собственной машине. Потому что он делает шестнадцать антраша — и зал рыдает. Ты же этого не делаешь. Ты разнес свои бокалы на подносе — и до свидания. Чего же ты лезешь в амбицию?

— Он сегодня сбил меня с ног, — сообщил Илья Ильич.

— А!.. Тем хуже для тебя, — философски заметил Платонов. — А ты не стой на пути премьеры.

Он старательно почистил свой черный музыкантский костюм и пошел в оркестровую яму. Илья Ильич попробовал пиво. Было оно бесспорно жидкое. В душе упрямо и горько сосало.

К столику подсади три балеринки в костюмах и, не обращая внимания на старика, зачирикали о скандале, который прима Васильева учинила в дирекции, узнав, что роль Авроры отдадут молодой Гребневой.

Молодые балеринки были за молодую Гребневу, справедливо рассуждая, что прима выстарилась, и они были тысячу раз правы, только не помнили, что выстарятся сами тоже. А Илья Ильич служил так давно, что помнил еще приму Егоркину, которую публика носила на руках. Молодая Васильева пришла тогда из балетного училища и получила роль Одетты... Неизвестно даже, куда делась Егоркина — может, преподает где-нибудь в хореографическом кружке при клубе железнодорожников, а может, мирно старится замужем. В балете, как нигде, быстро сходят со сцены. Особенно примы и премьеры: они ведь не остаются на второстепенных ролях и тем более не опускаются до миманса, а слетают сразу — и навсегда.

Здесь он не отказал себе в удовольствии заранее злорадно вообразить, как будет сходить со сцены премьер Борзых.

В буфете висел репродуктор, транслировавший сцену. Начиналось вступление к четвертому акту. Собравшийся было уйти Илья Ильич задержался и послушал короткое соло гобоя — это отличался его друг

Платонов. Гобой хорошо сыграл, проникновенно. А дальше Илья Ильич не стал слушать. Он давным-давно знал всю партитуру наизусть.

По пути наверх, на узкой лестнице, он шарахался и притискивался к стене, пропуская несущихся сверху, пахнувших гримом и пудрой танцов и балерин; они на ходу тоже склоняли имя Васильевой.

Зато парикмахеров на лестнице уже не было, и Илья Ильич, торжествуя, пошел на пятый этаж, не снимая парика.

3

Существуя с незапамятных времен, театр Оперы и Балета имел свои четкие устои, правила, историю, традиции, то есть устройство сложное, многоярусное не только в архитектурном отношении.

Собственно, это было целое небольшое царство со своими премьерами и уборщиками, военизированной охраной и финансовой частью, билетерами, рабочими, парикмахерами и так далее, и все это были весьма различные коллективы со своим бытом, цеховыми интересами, спецификой. Далеко не всем даже удавалось видеть то, что они делали.

Так, оркестранты сроду не видели спектакля толком, но всегда — снизу, из своей ямы, и то лишь та половина, которая сидела ближе к зрителям. Буфетчица слушала только по радио. Парикмахеры видели сцену с колосников. Нотные библиотекари встречались с билетными кассирами лишь на общих собраниях. А какой-нибудь столяр мог проработать в декоративном цеху пятнадцать лет, так и не познакомившись ни с одним актером. Более того, между самими актерами были свои границы.

У главных, ведущих артистов уборные были персональные — у самого выхода на сцену, святая святых, куда Илье Ильичу и заглянуть не полагалось. Там стояли вазы под цветы и сифоны с газированной водой.

На втором этаже помещались уборные для обычных солистов. Туда подавались два сифона на всех, а в вазах не было надобности.

Кордебалет (или хор, если шла опера) занимал третий этаж, по восемь и более человек в комнате, причем у них стояли просто бачки с кипяченой водой.

Четвертый этаж занимал закулисный технический персонал с аристократическим, однако полутворческим оттенком: здесь были гримерные, костюмерные, сапожнички.

И уж под самой крышей, на пятом этаже, находилась одна общая уборная для статистов — длинный зал с низким потолком, узкими окошками-бойницами, насквозь пропахший смесью потной обуви, вазелина и пудры. Непритязательный цех миманса галдел, переодевался, гримировался, пил воду из-под крана.

Впрочем, не всегда. Для скромно-камерной «Мадам Баттерфляй» нужен был только один статист, изображавший слугу с зонтиком. Илья Ильич гримировался под японца в грустном одиночестве. Зато монументальной «Царской невесте» требовалась целая банда свирепых опричников с пищалями и секирами, и тогда цех миманса походил на разбойничий стан.

Нет, Илья Ильич ел свой хлеб не даром. За иной спектакль ему приходилось перевоплощаться много раз. В «Кармен», допустим, он изображал прохожих, не менее десятка разных прохожих, затем устраивал с другими статистами панику при побеге Кармен; во втором акте служил в кабачке и почтительно выслушивал хвастливую арию тореадора, но тут же сломя голову мчался наверх, чтобы перевоплотиться в контрабандиста. Но больше всего ему нравилось последнее действие, где он был темпераментным не то пикадором, не то матадором — он так и не постиг премудрость корриды, но, в общем, ему давали две стрелки с красными

перьями, и другому мимансу тоже давали, и они несли их через сцену в вытянутых руках. Потом под крики своего начальника галопом бежали вокруг задника — и снова несли, так несколько раз, чем достигался эффект массовой сцены.

Итак, благополучно избежав парикмахеров, Илья Ильич поднялся в уборную миманса и увидел, что и тут он рассчитал правильно: начальника цеха уже не было. Костюмерши уносили вороха камзолов. Студенты разбежались, лишь трое сидели в трусах на скамьях и говорили о футболе. В помещении стоял тяжкий банный дух.

Вдоль стен тянулись ряды позеленевших зеркал со столиками, усыпанными коробками из-под грима, бумагой, тряпицами, яблочными огрызками. Давным-давно Илья Ильич, вырвавшись из общей неразберихи, самовольно присвоил ящик углового стола. Маленьким ключом он открыл замочек и достал собственную пачку бумажных салфеток. Уж два месяца не выдавали бумагу, начальник клялся, что перерасходованы нормы, а вытираться обрывками газет Илья Ильич ни при каких условиях не стал бы. Он аккуратно снял грим, думая о чем-то своем, не глядя в зеркало. Свое лицо он знал наизусть и никогда не пугал остатками грима кондукторов последних ночных трамваев.

Ящичек его был в идеальном порядке: аккуратно застлан чистой бумагой, слева лежали салфетки, коробка с гримом, разные пузырьки, кисточки и карандаши, посередине — немного подсохший бутерброд с кабачковой икрой, а справа — книга писателя П. И. Мельникова (Печерского) «На горах», том второй, которую он уж полгода читал, если бывал свободен в каком-нибудь акте.

Надобность в личнособственническом замочке объяснялась еще тем, что не одни салфетки, но и грим выдавался по жестким нормам. Эти беззаботные лоботрясы приносили его в кармане, мазались неэкономично, к концу квартала начинали кланчить и воровать друг у друга, а Илья Ильич этого не выносил.

Старательно развесив на плечиках свой костюм с галунами, он облачился в повседневные штаны и пиджак, увидел в зеркале свою усталую физиономию с мешками под глазами и отвернулся. Взял было бутерброд, подержал в руке и тихо положил обратно.

— Калиновский как левый крайний — вот был бог, — сказал кто-то из лоботрясов; остальные задумчиво кивали головами.

— Бога не было, — сказал Илья Ильич в каком-то странном трансе, и все удивленно на него посмотрели.

Он запер ящичек и, не прощаясь, вышел. Спустился этажом ниже, к парикмахерам — они беседовали о международной политике, дымя сигаретами у окна. Стены были увешаны косами, локонами, бородами всех мастей, горы скальпов громоздились в корзинах и на столах.

— Паричок мой, пожалуйста... отметьте, — вежливо сказал Илья Ильич.

Один из парикмахеров поставил птичку в списке, взял парик и, метко прицельясь, попал точно в корзину.

Илья Ильич, пошатываясь, поплелся вниз Балет, видимо, кончился, так как со сцены валили уставшие танцоры. Илья Ильич тоже устал, так смертельно устал, как этого с ним не было никогда в жизни.

Домой он явился позже обычного. Осторожно отпирая дверь и крадись на цыпочках, он старался не производить звуков, чтобы не разбудить внука и дочь.

На кухне ему была оставлена, как всегда, застывшая картошка на сковородке, котлеты из домашней кухни и малиновое желе. На веревке гириландой висели влажные рубашонки, чулочки, штанишки, на крайних красовалась дыра. Илья Ильич сам покупал эти штаны на прошлой неделе в детском универмаге, их стоимость была равна его трехдневному заработку, поэтому он потрогал края дыры и вздохнул.

Жена Ильи Ильича умерла десять лет назад от рака легких. Она никогда в жизни не курила. На попечении Ильи Ильича осталась семнадцатилетняя дочь Люба.

Вечерами Илья Ильич бывал в театре, а днем почти не видел дочку, потому что она работала на трикотажной фабрике. Она бегала на танцы в парк, в Дом офицеров, знакомилась с курсантами, искала себе мужа, но не нашла, а лишь забеременела и родила мальчика. Так стало их трое.

Крышка, покрывавшая сковороду, с грохотом полетела на пол. Почему всякий раз, когда ты вот так тихо хочешь повернуться на кухне, обязательно что-нибудь с грохотом летит? Поднимая крышку, Илья Ильич свалил нож. От досады он махнул рукой и принялся есть картошку, не разогревая. У него вздрагивал подбородок, вилка мелко постукивала о сковороду, он не чувствовал ни вкуса, ни запаха, лишь машинально жевал, проглатывал и думал.

Жену тогда положили в онкологический институт, шестнадцатая палата, первая койка слева. Он приходил, приносил мед, апельсины, садился на белый металлический стул. Жена беспокоилась: «Ни к чему не прикасайся!» Он посмеивался, а она упрямо твердила, что рак заразен. Наперекор врачам почему-то все, абсолютно все больные в этом огромном здании считали, что рак заразен.

Вот они с женой беседовали об операции, метастазах, стадиях, сроках, по-деловому, серьезно беседовали, потом он приходит, а ему говорят, что тело жены в мертвецкой. И тоже по-деловому, понятно объяснили, как забрать, какие нужны формальности, подсказали насчет машины.

Долго потом, просыпаясь по утрам, ему приходилось внушать себе: «Надо жить ради Любочки», — это помогло, он стал позволять себе кружку пива, а все остальное отдавал ей. Потому что невысказанно сколько нужно нынче молодой женщине, чтобы быть привлекательной.

В годы юности Ильи Ильича девушки бегали в домотканых сарафанах — и нравились. Теперь нужны чулки за четыре пятьдесят, которые цепляются за все, что ни попади, туфли за тридцать, у которых через неделю ломается каблук — и вот слезы, и вот горе. Раньше заплетали косу, и было очень красиво. Теперь — прически, лондатоны, «гаммы», лаки, перекиси... Девчонке с трикотажной фабрики как найти мужа без всего этого?

Когда-то они с покойной женой мечтали, что из Любы выйдет prima-балерина. Но выяснилось, что у нее, как и у матери, нет никакого слуха, чувства ритма, вообще никаких особых способностей.

Выдающиеся способности — но это же ведь у редких людей! Статистически мир складывается из просто людей, не из премьеров, а из большой массы кордебалета. Миманса.

Когда жену называли еще «ходячей больной», она обычно выходила к Илье Ильичу в коридор, где женщины вязали, играли в подкидного да обсуждали, кому и сколько жить. Одна, игравшая в карты, сказала: «Мне, девки, недельки три еще — и до свидания». Действительно, через три недельки — померла. «Ну, надо же, — подумал Илья Ильич, — так просто сказала, ходя с восьмерок: «Мне, девки, недельки три еще — и до свидания».

Он обнаружил, что давно сидит, подперев голову, над пустой сковородкой.

Чтобы вскипятить чай — для этого он слишком устал, да и не хотелось ему ничего. Тихо прошаркал в комнату — кровать была приготовлена, одеяло отвернуто аккуратным уголком. Вот в чем нельзя было упрекнуть дочь — в неряшливости. Она всегда заботилась, чтобы в квартире было чисто и уютно. Не роскошно жили, но не хуже, чем люди. У них был и радиоприемник «Москвич», старенький, но берет отлично; и телевизор «Рекорд», приобрели в рассрочку; картина «Рожь» Шишкина; стулья недавно сменили; повсюду вышитые думочки; тюль на окнах.

По привычке Илья Ильич проверил внука — тот, конечно, лежал ничком поверх одеяла, раскидав руки и ноги, как парашютист в свободном полете (недавно была такая картина в «Работнице»).

Наведя порядок, старик разделся в темноте и лег в холодную постель, но едва он закрыл глаза, как почувствовал такой удар, что чуть не вылетел с постели. Он задохнулся от боли в ребре, посыпались облупленные бокалы из папье-маше, а ведущий закричал: «Как твоя фамилия?»

Дивясь такой чертовщине, Илья Ильич пощупал ребра: в одном месте при нажиме чуть-чуть болело, но — не стоящий внимания пустяк. Закрыл опять глаза, пытался принять удобную позу, но едва начинал засыпать, как на него налетал премьер Борзых, и под конец он уже не знал, куда деваться, где ему стать, как на всех угодить: если он подбирал бокалы, на него вопили, если не трогал — еще больше вопили: дескать, специально рассыпал. Кругом он был виноват, кругом виноват.

Он перевернулся на другой бок, но оказался в пугающе длинной очереди, она почти не двигалась, потому что разные принцы с накрашенными лицами подавали и подавали через головы рубли, а очередь не протестовала, лишь задние нажимали и нажимали друг на друга; это было единственное, что умела очередь: давиться, протягивая руки, которых буфетчица не хотела замечать...

От такого кошмара у Ильи Ильича выступила испарина на голове. Он пересиливал себя, вставал и ходил по комнате, засовывал под одеяло безмятежно спящего своего парашютиста, ложился, но несчастья опять преследовали его: ему запрещалось иметь личный ящик как противопоставление себя коллективу; затем он отдавался под следствие за хищение парика; Платонов в оркестре делал невыносимую киксу. И все это было так ясно, просто конец света.

5

Придя на работу, Илья Ильич обнаружил театр на месте, целый и невредимый. Но сон все же оказался в руку.

На доске приказов, там, где висят расписания репетиций и объявления о занятиях политкружков, был приколот кнопкой лист, один из параграфов которого касался лично Ильи Ильича. За вчерашнее халатное отношение к своим обязанностям ему (фамилия, имя, отчество прописными буквами) объявлялся строгий выговор.

Илья Ильич оторопел и дважды перечитал бумажку.

— Вот так-то у нас, — сказала невесть как очутившаяся рядом Марья Поликарповна Шпак. — Как сами, так делают что хотят, а порядочному человеку — выговор.

— Право, я сам очень удивлен... — сказал Илья Ильич дрожащим от обиды голосом.

— Чему удивляться, милый, чему удивляться? В этой жизни я перестала удивляться. Ждешь беду отсюда, а не из-за угла тебя мешком. Но я бы на вашем месте так не оставила, я бы уж им показала.

— Да, я пойду и объясню,— сказал Илья Ильич.— Как же это делается? Не разобравшись... Они не имеют права!

— Иметь-то имеют,— сказала Марья Поликарповна.— Но неприятно. Я вам сочувствую.

— Я стоял во второй кулисе,— сказал Илья Ильич.— А принц уходит в пятую. И вот...

— Да, да,— сказала Марья Поликарповна.— Вы пойдите и расскажите, без крика, спокойненько. Правда, у вас ничего не получится, но вы почувствуете моральное удовлетворение.

Начальник цеха миманса приспособил себе под кабинет крохотную кладовку на пятом этаже, у входа на чердак. Он был там, сидел, как паук в своем закутке, составляя ведомость на зарплату.

Фамилия его была забавная — Чижик. Чем-то он соответствовал фамилии, потому что вечно летал по театру, кричал, там помогал, там мешал, многоцелевой и суматошный, и порядок в мимансе достигался ценой великой суеты с криком, бранью, о которой, впрочем, Чижик ментально забывал. Возможно, только такой человек и мог справиться с анархичной оравой всех этих студентов и лоботрясов, и одному богу ведомо, как он все-таки ухитрялся вовремя выпихивать их на сцену.

Безгранично почитая дирекцию, ловя на лету каждое указание, сгибаясь, подхалимничая и юля, Чижик, однако, с теми, кто был ему подчинен, превращался в льва рыкающего.

— Почему мне, не разобравшись, вынесли выговор? — волнуясь, но держа себя в руках, спросил Илья Ильич.— Ведь я всегда стою во второй кулисе. Борзых, вместо того чтобы уходить в пятую...

— Какое мне дело? — закричал Чижик, вдруг привычно расщипывая, так как имел дело с подчиненным.— Ведущий потребовал докладную, я подал. Вас много, я один. Так каждый придет, наговорит, а я должен верить?

— Вы меня знаете,— убедительно сказал Илья Ильич.— Я столько лет работаю в театре... без... пятнышка.

Чижик с интересом посмотрел на него, склонив голову.

— Право, я здесь ни при чем, помочь ничем не могу. Там был ведущий, идите к нему и объяснитесь. Ох ты, событие, выговор!.. На мне их сто.

Илья Ильич подумал, молча повернулся и вышел. Будь он хоть самую микроскопическую малость виноват, он бы проглотил выговор. Но здесь была нарушена элементарная справедливость. И он пошел ее искать.

После долгих блужданий по лабиринтам театра ему удалось обнаружить ведущего в нотной библиотеке. Там он просматривал партитуру сегодняшнего вечернего спектакля «Корневильские колокола».

Ведущий был человек еще молодой, из недавних певцов. Он долго и нудно околачивался сперва в музучилище, потом в оперном хоре, но имел успех больше по общественной, чем по вокальной части. А так как, бегая по общественным делам, он постоянно мозолил глаза дирекциям, заседал с ними, привык запросто входить в кабинет, то ему и диплом дали, и в театр приняли, несмотря на несостоятельность вокальную.

Такой тип людей непременно присутствует в любом искусстве. Они деятельно заседают, организуют секции, комиссии, что-то возглавляют

и представляют так убедительно и авторитетно, что никому уже и в голову не приходит вспоминать об их творческой бездарности.

В данном случае искусству, однако, повезло. Должность ведущего — чисто административная, умения петь не требует, и, уйдя из хора на повышение, он оказался в своей тарелке: здесь он мог сколько угодно критиковать, указывать, поправлять и требовать от других того, чего сам не умел.

Но, как это бывает с людьми, добившимися положения исключительно благодаря свирепому комплексу неполноценности и потому дрожащими за свой авторитет, он никогда не признавал своих промахов. Он готов был скорее взорвать театр вместе с земным шаром, чем сознаться, что где-то он был не прав.

Вот почему он выслушал сбивчивое объяснение Ильи Ильича с таким же вниманием, как если бы тот просил квартиру для тещи.

— Дорогой товарищ, — сказал он, — я понимаю, что вчера вам было неприятно, когда на вас накричали. Вы знаете, что такое спектакль. С меня ведь тоже требуют, так? Давайте смотреть объективно: в спектакле случился «ляп». Был «ляп»? Был! Вы, да, да, вы ползали за этими кубками, потешали зал, потом еще что-то... И отменять приказ никто не будет. Это было бы смешно. Да, я писал рапорт и не собираюсь отказываться. А вам будет наука в другой раз.

— Но я не виноват!

— А это — как сказать. Товарищ, извините. До свидания!

— Тогда я буду жаловаться, — сказал Илья Ильич.

— Пожалуйста.

— Скажите мне, кому я могу подать официальную жалобу?

— Можно балетмейстеру, директору, министру культуры, в райисполком, господу богу Иисусу Христу, — не без юмора сказал ведущий и углубился в партитуру, показывая, что он уже выкинул из головы это дело.

Главный балетмейстер проводил репетицию в большом балетном зале. Танцоры в черных рабочих трико гроздьями сидели по подоконникам, в центре зала солисты в поте лица бились над па-де-труа, и балетмейстер возмущенно кричал:

— Стоп! Бред! Это тихий лепет на лужайке. У вас не руки, а протезный завод, ноги в сотой позиции! Куда вас занесло, кр-ретины?!

Когда он бывал в творческом ударе, таков обычно становился стиль его работы. Он был талантливым балетмейстером, ставил недурные балеты, поэтому негласно считалось, что ему, как одаренной личности, прощительно всякое. И главное, он сам так считал.

Работал он широко, с размахом, делая упор на самое главное, не тратя талант по мелочам. Главным в балете были па-де-де и па-де-труа. Их исполняли примы и солисты, ну, еще немного кордебалет, как фон, а насчет миманса — там он просто тыкал Чижика пальцем в грудь:

— Ваших олухов выставьте слева и справа штук по пять.

Чижик моментально запоминал, сколько, где и каких «олухов» надо выставить, и больше балетмейстер о мимансе не помнил. Напрасно, конечно. Настоящие балетмейстеры о мимансе как раз помнили. Он этого не знал. А может, знал, да забыл.

Илья Ильич пробрался к подоконнику и стал терпеливо ждать, когда балетмейстер окончательно замордует танцоров, замордуется сам и объявит перерыв. Но балетмейстер был вынослив. Он сыпал «паралитиками», «недоумками» до тех пор, пока не стал вырисовываться его сложно-новаторский план, и он бы еще гонял, но у примы оторвалась на пунтах лента, перерыв наступил сам собой.

Пока бегали в костюмерную за иглой, Илья Ильич робко приступился со своим делом.

Сперва главный балетмейстер не понял. Он смотрел, силился вспомнить и не мог сообразить, чего от него, собственно, хотят.

— Валентин Борзых толкнул? За ним это бывает. Но это же балет! Не стойте, где не надо. А что вы хотите от меня, от меня? Какой приказ? Ах, я должен отменять? Ну, знаете ли, мне сейчас не до того, простите. Эй, вы там, филиал желтого дома! Сколько раз я говорил, чтобы запирали дверь! Не пускать посторонних! Повторяем кусок! Заняли места! Начали!

Не успел Илья Ильич рта раскрыть, как мускулистые мальчишки из стажеров мягко вытолкнули его за дверь, и щелкнул замок. Он еще ошарашенно постоял, слушая глухой топот вперемежку с вдохновенными криками маэстро, затем поплелся в дирекцию.

Дирекция была особым миром, Олимпом, в который Илья Ильич если когда-либо и входил, то не иначе, как непроизвольно стушевываясь и теряясь. Казалось бы, с чего тушеваться, а все же...

В отличие от других помещений тут лежали красивые ковры, стояла министерская мебель, машинистки выглядели кинозвездами. Ибо тут решались вопросы кардинальные: хозрасчет, очередность спектаклей, гастроли, оформление десяти кубометров сороковки для декораций, количество лампочек для праздничной иллюминации. Естественно, как тут не растеряться скромному артисту миманса, пришедшему со своим личным пустячным вопросом?

Директор, к счастью, был у себя. Но у него находились люди, и секретарша предложила Илье Ильичу стул, чтобы присесть и подождать. Люди в кабинетах директоров имеют обыкновение долго разговаривать, шутить, но когда они все-таки стали по одному уходить, в кабинет вошел главный бухгалтер с кипой бумаг. Он, конечно, имел право входить в любое время без очереди, как и администратор и другие лица, которые запросто открывали дверь, входили, выходили, а Илья Ильич, тоскуя, мучительно вел счет: вот двое вошли, значит, там всего пять. Один вышел, осталось четыре. Еще двое вышли, но один вошел...

Уж совсем было освободился директор — и тут нагрянули иностранцы, холеные, в костюмах с иголки, с золотыми кольцами, и все пришло в движение, заметались секретарши, пронося в кабинет минеральную воду, кофе, печенье в раскрытых коробках...

Гости ушли через час, когда приемная уже ломилась от ожидавшего народа. Директор показался в дверях, натягивая макинтош, его обступили — каждый со своим неотложным делом, и Илья Ильич тоже храбро стал толкаться. Директор говорил:

— Нет, нет, нам это не утвердят! Сами разберитесь! Я в министерство, да, да. Вы что, товарищ?

— Видите ли, — торопливо сказал Илья Ильич, — я артист миманса. Я стоял во второй кулисе, и вот в третьем акте...

— Дорогой, по вопросам миманса — обратитесь к Чижикю, — сказал директор, дружески взяв его за локоть и сделав умоляющее лицо. — Извините, разрываюсь, спешу на совещание! Чижик ваш непосредственный начальник, он решает все... Я сказал: эти сметы пока отложите, да, да! Все, все!

Он, отмахиваясь, побежал быстрым шагом, а Илья Ильич еще постоял и только потом ушел. Круг замкнулся, но он никак не мог понять, принесло ли это ему моральное удовлетворение.

Гобоист Паша Платонов, не имея дома условий, репетировал обычно днем в театре. Илья Ильич нашел его в оркестрантской, одного. Отложив гобой, Платонов резал ножом большой огурец и макал его в соль на газете. Он обрадовался Илье Ильичу и предложил поделиться огурцом. От угощения Илья Ильич отказался, но рассказал про все свои мытарства.

Платонов отнесся к делу серьезно.

— С одной стороны, обидно, конечно,— сказал он.— С другой стороны, ты и сам какой-то... как ребенок, честное слово.

— Но ты сам говоришь, что обидно! — воскликнул Илья Ильич.— Они же все...

— Что они? Ну что? Не следует тебе думать, что кто-то желает лично тебе зла. Нет! Тебе никто не хамил, никто на тебя не цыкал, и вообще все отнеслись к тебе с должным вниманием. Чижик, ведущий, директор, ты, я — все мы члены налаженного организма, мы все хорошие, мы все хотим добра. Но каждый занят своей задачей, и никому не охота этак стопорить ход, что-то пересматривать, а то, гляди, сдавать назад — это же беспокойство!..

— Но справедливость...— начал было опять свое Илья Ильич.

— О справедливости Чижик запоет, когда коснется лично его самого! Но он победит — и с ним будет то же, что с тобой. Наш век многому научился, но не научился внимательности. Пока над нами не каплет — мы равнодушны. А в общем, мы хорошие, да. Скажи, однако, пожалуйста, мало ли ты на своем веку видел несправедливостей? А часто ли ты в это дело встревал, если тебя не касалось? Так и другой, и третий, и ваш Чижик такой, все такие. Мы заняты. Когда речь идет о чужой обиде, мы очень заняты.

— Значит, я сам дурак? — уныло спросил Илья Ильич.

— Не исключается,— засмеялся Платонов.

6

Серьезный оперный театр поставил легкомысленную оперетку «Корневильские колокола» единственно по той причине, что она была кассовым спектаклем. Привыкшие к оперному пафосу артисты плохо вживались в опереточную глуповатость, и спектакль получился и не умный, и не глупый, а какой-то придурковатый. «Колокола» сильно всем надоели, но публика шла, спектакль держался, хотя играли его уже почти автоматически.

В этот день работалось особенно скверно. Певцы отбарабанивали кое-как. В местах, где сам бог велел смеяться, публика подло молчала. Это в свою очередь угнетающе действовало на сцену, и начиналась та муть, которая для театра хуже всего: все видят, что не ладится, но никто не ведает, как спасти, и каждый думает уже лишь о том, как бы скорее это кончилось...

Илья Ильич изображал слугу, поселянина, носильщика портшеза и уличную толпу. Артисты миманса, поддавшись общему гипнозу, ходили плохо, стояли неправильно, ошибались, и Илья Ильич вместе со всеми думал: хоть бы скорее домой.

В интермедии, пока менялись декорации, миманс изображал проход разных людей на ярмарку. Стипендию выдали, и студенты не явились, миманса было мало. Чижик экономно выпускал одну за другой нужные группки, зал скрипел креслами, кашлял, сморкался.

Илья Ильич уже успел нарядиться под бродячего музыканта, Чижик навьючил на него огромный бутафорский барабан и вытолкнул на авансцену:

— Не спеша, не спеша!

То ли у Ильи Ильича голова устала от долгого ожидания у директора, то ли Чижик слишком подтолкнул, но Илья Ильич не удержал равновесия под тяжелым барабаном и споткнулся на ровном месте, едва не растянувшись на сцене.

Вероятно, это получилось комично, потому что в зале наконец кто-то засмеялся. Пытаясь удержать съезжающий проклятый барабан, Илья Ильич волчком закрутился на месте, кое-как справился, посмотрел тоскливо на противоположный край сцены, куда еще нужно было пойти,— и тут зал буквально взорвался в хохоте. Зал полагал, что это не настоящий старик, а загримированный актер, что все так и надо.

И случилось чудо.

Илья Ильич проковылял и ушел, но все последующие за ним тоже встречались хохотом, а они это почувствовали и стали выжимать смех даже там, где сроду его не слышали.

Потом последовала красочная сцена ярмарки, сорвавшая бурю аплодисментов. Артисты перестали ощущать глухую стену, вдруг явились блеск, сверкающее остроумие. Зал все смеялся, аплодировал, и спектакль закончился бурным успехом.

В конце последнего акта Илья Ильич оттащил в уголок портшез и только собрался было идти наверх, как на него ястребом налетел Чижик.

— Директор с иностранцами в ложе сидел! Приказал узнать: кто такой? Я побежал сам, даю полную характеристику, работает, говорю, тридцать лет. «Отметить!» Да ты понимаешь ли, наш миманс спас спектакль! Премий, дорогуша, нет, перерасход, но уж путевку по линии месткома...

Илья Ильич вытер платком лоб.

— Помилуй бог, как это?..— пробормотал он.— Я ничего не хочу... Вы мне снимите, пожалуйста, выговор. Честное слово, не я виноват. Я ведь стоял во второй кулисе, а Борзых...

— Опять двадцать пять! — с досадой сказал Чижик.— Этого я не могу. Это такая механика: раз нажата кнопка, сработал рычажок — все, обратного хода нет. А сегодня, дорогуша, поощрение.

— Я не старался.

— Тем более! Значит — талант. Не надо думать про выговор, а о путевке я хлопочу. Выше нос, выше нос!

Илья Ильич пошел к лестнице и услышал, как за его спиной кто-то из солистов сказал:

— Вон тот, что с барабаном падал.

Нельзя сказать, что Илье Ильичу было неприятно слышать это. Размышляя над происшедшим, он стал подниматься на пятый.

Диво дивное! Парикмахер не стал выхватывать парик, а попросил зайти на минутку, любезно усадил перед зеркалом и стал вертеть его, размышляя вслух:

— В следующий раз я вам сделаю другой парик. Этаким пепельно-серый, растрепанный и в сосульках, как? Сегодня только и говорят, как вы перевернули спектакль. Поздравляю.

Это был уже фурор.

Потом были еще разговоры. Вспоминали аналогичные случаи, знаменитого актера МХАТа, который, играя в «Ревизоре» крохотную роль жандарма, потрясал зал. Илья Ильич, смятенный, поскорее переделался, чтобы уйти от внимания и славы.

Внизу, уже в дверях, он столкнулся с Платоновым, который уходил с гобоем под мышкой.

— Я видел,— сказал Платонов первый.— Все в зале как заржут, думаю, что за черт? Гляжу, это ты. Здорово, брат! Я сам заржал.

— Сам не знаю, как получилось,— сказал Илья Ильич.— Ей богу, не знаю... Выговор не сняли, путевку пообещали, но убей меня на этом месте, я не виноват!

Они вышли на улицу из актерского подъезда. Было еще не поздно, улица бурлила, Платонов глубокомысленно сказал:

— В том комедия, едри его в корень, что сам не знаешь, что на тебя свалится. Но заметь, в жизни никогда не бывают одни несчастья. Неудачи, неудачи, потом — трах! — удача. Верно, это сделано так специально, чтоб сравнивать. Вот и тебе долго не везло, ан, оказывается, ты талант... Может, дюбнем по этому поводу?

Они пошли в ресторан, сели в углу, заказали коньяку и дюбнули. Закусили семгой. Гулять так гулять.

— А про выговор забыть? — спрашивал Илья Ильич.

— Конечно! Надо делом доказывать,— сказал Платонов.— Ходить, канючить — ну его к черту, только себе и другим нервы мотать. Ты делом докажи, каков ты есть! Дюбнем за это.

После третьей рюмки жизнь показалась Илье Ильичу вполне приемлемой. Он даже ужаснулся, как это он мог считать вчера ее постылой. Мысль его напряженно работала.

— По-слушай! — воскликнул он, озаренный внезапным открытием.— В следующий раз я надену парик пепельно-серый, растрепанный, в сосульках, а перед выходом положу косяк, чтобы естественно спотыкаться. Я все запомнил! Я споткнусь так, что едва не упаду, но все же не упаду, лишь барабан перекатится на голову. Ничего?

— Ничего,— сказал Платонов,— и при этом смотри таким недорезанным: чего, мол, скалитесь, думаете, легко такой барабан всю жизнь ташить?

— Да, да! Если это отрепетировать...

— Получится! — поддержал Платонов.— У тебя все получится. И япощка у тебя в Чио-Сан хороший, один грим чего стоит, а походка!.. Да если разобраться, ты, может, не хуже иных премьеров.

Тут Илья Ильич некстати вспомнил, как его сбил с ног Валентин Борзых, и на миг негодование окатило его, даже заныло ребро.

— Ладно. Пусть он делает антраша, молодой козел,— возмущенно сказал он.— Пусть рыдает зал. Но ведь и мы кое-что можем?

— Можешь, душа любезный, можешь,— закричал Платонов.— Погоди, ты еще королей будешь играть!

Илья Ильич посмотрел на него потрясенно:

— Королей?

— Да! А чего бы и нет? Сиди себе на троне, кивай.

— А что? — храбро сказал Илья Ильич.— И королей могу! Я в театре всю жизнь. Я актер миманса. Скажи, пожалуйста, ты видел театр без миманса? Вот ты гобой, я мим. Убери нас — что останется? Одни премьеры на проволочках, так я говорю?

— Так, старый дурак, правда,— сказал Платонов, прослезясь.— Похвалим сами себя. Давай за нас с тобой. За миманс, старик!



МИРДЗА КЕМПЕ

★

ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ

С латышского

То уйдешь, то снова рядом...
И не надо жизни лучшей,
Если вдруг одаришь взглядом.
Этот взгляд — мой хлеб насущный.

Сладость ломтика скупого
Сердцу так необходима!
Верю, у стола пустого
Не оставишь, мой любимый.

И да будет всемогуща
Власть застенчивого взгляда!
Есть у сердца хлеб насущный,
И оно трудиться радо.

Пусть мечта лишит покоя,
Только пусть не оставляет.
Под глубоким снегом в поле
Всходы от мечты пылают.

То уйдешь, то снова рядом...
И не надо жизни лучшей,
Если вдруг одаришь взглядом.
Этот взгляд — мой хлеб насущный.

Перевела Лариса Романенко.



АНАТОЛИЙ ТКАЧЕНКО

★

НОВОСЕЛЬЕ

Рассказ

Первым приехал из Спас-Предгорья уже подвыпивший, отчаянно растрепанный Егор Климов. По необтертым бетонным лестницам он топал во всю мощь своих сапог, слушал пещерный гул еще не загруженного полностью мебелью и людьми дома, а на площадке третьего этажа расхохотался — от запахов краски, цемента, железа, от предчувствия выпивки и веселья. Но в дверь квартиры номер 23 постучал несильно, хотя и уверенно. Никто не отозвался, и тогда Егор заметил сбоку, как бы на косяке, голубую пластинку с белой полоской бумаги под стеклышком — на полоске было четко выведено: «Симаков И. В.» — выше чернела кнопка. «Вот дела! — подумал о Симакове Егор. — Как в учреждении, аж мороз по хребту». И три раза длительно нажал кнопку: он доводился хозяину квартиры троюродным братом.

Еще постоял минутку, и дверь открыла Анна, посторонилась, слегка нахмурилась и после, будто признав Егора, сказала:

— Проходите, Егор Ефимович, милости просим.

Она глянула на его сапоги, и Егор, споткнувшись, большим шагом перемахнул через какой-то яркий, очень чистый коврик. Подумал, что, наверное, коврик положен для ног, но ступить на него уже не хватало смелости, да и под сапогами на крашеном полу отпечатались следы с пылью всего Спас-Предгорья.

— Это поролон, — сказала Анна, потрогав коврик носком блестящей черной туфли. — Вытирайте ноги, Егор Ефимович, он для этого существует. — Анна кашлянула в ладошку. — Почему без супруги, Егор Ефимович? Одиноких мы не принимаем.

— Маруська-то? Заболела Маруська: грыжей мучается. А подарок она тебе, Анька, спроворила. Вот, смотри!

Топча сапогами скрипучий поролон (казалось, он пищит, жалуется хозяйке), Егор принялся развязывать мешок, перетянутый пучком скрученной в жгут травы.

— Что вы, Егор Ефимович! Это потом, когда все. — Анна взмахнула рукавами платья у самого лица Егора и ушла куда-то влево, в узкий, крашенный голубой краской проход.

Егор сунул мешок в угол под вешалку, снял пиджак. Нагнувшись, прислушался и краем поролона обтер головки сапог. Все это время он с некоторым беспокойством думал: «Что это — «Егор Ефимович», «вы», «супруга»? Неужто в городе всем так полагается? Как же Анькиного отца-то звали? Не вспомнить. Погиб на войне, когда ему, Егору, и Аньке лет по семи было...»

Застекленная дверь была полуоткрыта, за ней виднелся полированный стол, сервант стеклянный, стулья — словом, большая комната вроде горницы, и Егор пошел в нее.

Бабка Степанида из Шемякина довольно быстро отыскала дом Иннокентия Симакова. «Очень красивый», — восхитилась она вслух, глядя на ярко размалеванные балконы, но на этажах заблудилась — лестницы одинаковые, двери одна на другую похожи, а номера 23 и вовсе не разобрать: цифры маленькие, на площадках сумеречно. Бабка дважды поднималась до четвертого этажа, запыхалась, присела на ступеньку отдохнуть, рассердилась на себя и постучалась в самую ближнюю дверь. Вышла девочка лет десяти, терпеливо выслушала длинную речь Степаниды, отвела ее на третий этаж к номеру 23 и показала на кнопку. Бабка прижала кнопку шепотью, будто поймала какое-то злое насекомое, да так и не отпустила, пока из двери не высунулась перепуганная Анна.

— Бабушка Степанида, да вы что это как на пожар гремите?

— Техника! — захихикала Степанида. — Нажал — и нужный человек является. Еще нажал — спрячется, как в телевизери. А у меня, Анька, все Трезорка за технику: кто идет — оповещает. Ну, давай я тебя по-нашему, по-шемякински.

Степанида положила на плечи Анне длинные сухие руки, сильно притянула ее голову, впилась жесткими губами в пухлые губы Анны, чмокнула звучно и оттолкнулась, будто ей стало противно. Анна спешно принялась поправлять волосы, одергивать платье, оглаживать лицо, а бабка, не заметив поролона, сияющих белым и голубым стен, зашаркала к стеклянной двери. Навстречу ей вышел нарядный Витька, сын Симаковых; Степанида положила одну руку ему на голову, другой порылась в широких, сборчатых юбках, отыскала мятлый лоснящийся пряник, сунула Витьке и деловито двинулась дальше. Она не видела, как Анна вырвала у Витьки пряник, унесла на кухню.

Степанида вошла в горницу, удивилась, что еще нет народу, оглядела «очень красивую» мебель и с удовольствием уселась на середину широкого, с красными подушками дивана.

— Да ты, кажись, не признала меня, бабка? — сказал из угла за сервантом Егор.

Степанида подхватилась, обрадованно пошла на голос, еще не видя Егора, протянула руки:

— А, это ты, Егорка!

Степанида положила ему на плечи костлявые руки, пригнула к себе его голову.

Из Спас-Предгорья на моторной лодке приехали Молчановы — муж и жена. Тихо вошли, тихо поздоровались, будто по воздуху переместились в комнату и совсем замолчали.

— Ну, как? — спросил Егор.

Молчанов лишь слегка повел головой. Молчанова проговорила:

— Ноне хлебы пекла на капустах — погорели, наверно, листы молодые.

— А ты на железных пеки, — сказал Егор.

— И то, — согласилась Молчанова и легко, мгновенно перекрестилась, будто испрашивая себе прощение «за хлебы».

Во всей деревне не было более молчаливой пары. Не многие могли похвалиться, что слышали от Петра больше двух слов «в один заход». И говорил-то он лишь о своей моторной лодке, возле которой возился все свободное время, называя ее «умный зверь».

Жена ему досталась, рассказывают, чуть ли не первая хохотушка в деревне. Как бы в награду за его молчание. Однако незаметно, по-немногу притихла, навдвинула на глаза платок, молиться научилась. Хватились люди — а говоруныи нет. От Петра заразилась или сама отсмеялась — срок вышел, кто знает. Но совсем не затерялась — что-то от природы сильное в душе ее было: поет теперь в хоре Спас-Предгорской церкви. И не как-нибудь — первым голосом.

Потому, наверное, и пригласил ее Иннокентий Симаков.

Прибыла пара из Дашкина. Видно, дальние родственники: никто их не знал. Он пожилой, с чистым конторским лицом, в модном пиджаке и с орденом Отечественной войны. Она — лет двадцати пяти, рябая, курносая, беременная. Смотрела только на мужа, и когда он, закуривая, откашливался — тоненько кашляла в платочек.

Шемякинская тетка Кочкина на третий этаж поднялась с одышкой, с приговором: «Ой, батюшки светы!..» — и в дверь заколотила ногой: у нее и у дочки руки были заняты узлами, ведрами, корзинами. Через порог едва перевалилась, а перевалившись, бросила все на пол и, будто падая, повисла на шее у Анны:

— Родненькая!.. Да сколько ж я тебя не видела! Да на пороге новой жизни пожелаю тебе всего, чего только твоя душенька захочет. Да какая ж ты стала белая да красивая!.. А вот доченька моя, Нюра. Клянйся, Нюра, сестрице Анне Кузьминичне.

Нюра, длинная худая девка с могучими белесыми косами, перепуганно лупала глазами и, забыв о ведре и корзине, держала их в отвисших плетями руках. Наконец она сказала неожиданно детским писклявым голоском:

— Желаем счастья в новой жизни!

Все вместе двинулись в кухню. Там голоса приглохли, трудно было расслышать, что наговаривает, захлебываясь словами, Кочкина, что отвечает ей Анна, но возня затеялась шумная: хлопали крышками, звякали дужки, переставлялись табуретки. Видимо, развязывались и осматривались шемякинские дары.

Бабка Степанида сказала:

— Беда: дочку в городе пристроить хочет.

Отец Симакова уже несколько дней жил у сына в ожидании новоселья, отдыхал, ходил в городское кино и каждый день выпивал по кружке бочкового пива: этой роскоши пока еще нет в Спас-Предгорье. Сейчас Влас Парфентьевич вернулся из магазина, где по заданию снoхи прикупил «шуры-муры», как он выразился: кило конфет, два кило медовых пряников, кило халвы — девкам, бабам и ребятишкам на угощение.

Сдал все на кухне, отчитался (утаив при этом тридцать копеек на кружку пива) и очень бодренько, хозяйски вошел в горницу. Нарочито громко удивился множеству народа, каждого признал, целуясь и здороваясь, называя по родственной принадлежности: сестрица, зятек, кум, внучатая племянница.

Усевшись посреди комнаты у стола, он начал рассказывать, какую интересную картину видел сегодня про колхозную жизнь.

— А Кеша скоро придет, — вдруг забыв свой рассказ, проговорил Влас Парфентьевич. — Он кого-то позвать пошел.

Старик обнес всех папиросами «беломорканал», сам закурил табак, сказал, подмигнув, Егору:

— Можя, пропустим пока по махонькой?..

Гости зашевелились, мужики откашлялись, Егор хохотнул, не веря Власу Парфентьевичу, бабка Степанида серьезно вымолвила:

— И то.

Но было ясно, что старик шутит, что он не позволит в такой редкий, выдающийся день для их семьи прежде времени распорядиться и граммом единым спиртного, хотя и может: он здесь в силе и уважении, после сына — вторая власть. Все знают, какое крепкое у них хозяйство в Спас-Предгорье, как он удачно вышел на пенсию (может еще за двоих сработать), всем известно: он занял сыну большую сумму, чтобы тот вступил в кооператив и построил себе эту прекрасную квартиру. И на новоселье старик внес — это уж точно.

Просто немножко куражится Влас Парфентьевич. Кто ж ему этого не позволит?

Подходили еще гости, несмело раздевались, негромко здоровались — это были уже совсем отдаленные родственники. Их встречала Кочкина, принимала подношения: фрукты, сумки с помидорами и огурцами, пироги для стола. Раздевала старух, на молодых покрикивала и всех вталкивала в комнату-горницу. Отдаленные родственники отчаянно переживали свое стеснение, садились на краешки стульев.

Они умышленно припоздали, чтобы прийти сразу к столу, к шуму и веселью, быть незаметно принятыми, стать незаметно равноправными. А тут такое дело — хозяйина еще нет. «Кабы знатьё...»

Иннокентий Симаков явился, когда за окном густо засинел вечер и гости, смиренно усевшись в затылок друг другу, смотрели телевизор. Показывали фильм «Весна в Заречье». Влас Парфентьевич вертелся, вздыхал, возмущался: жаль было тридцати копеек, которые он отнес днем в кинотеатр, — толкал локтем Егора, шипел: «Это обман людей, за такие дела привлекать надо...» Услышав голос сына, Влас Парфентьевич пророчно протиснулся к телевизору, выключил.

— Теперь поважней программа! — крикнул он, сдернул со стола скатерть, попросил: — Раздвинем, мужички, — тут силенка нужна.

Со всех сторон подступили к столу, изобразили на лицах старательность, и стол, стена, раздвинул от стены до стены свою обширную полированную площадь. Поспешно отступили к своим стульям, отодвинулись к стенам, в углы (не дай бог, ближе других оказаться к столу!), а из прихожей слышалось:

— Григорий Григорич, прошу сюда, вот сюда вешайте. Позвольте, я сам.

— А у меня что, руки отвалятся?

— Людмила Александровна, разрешит-те поухаживать. Хоть я в гардеробщиках не служил, но...

— Кха! — засмеялся грубоватый мужской голос. — Но хватка, говоришь, есть?

— Один — ноль в вашу пользу.

Григорий Григорич появился в дверях комнаты-горницы. На минуту приостановился, повел глазами в одну, другую сторону, широченно улыбнулся, будто увидел очень дорогих ему людей. Улыбнулась Людмила Александровна, его жена, она стояла чуть позади, но была выше Григория Григорича и смотрела на всех из-за его плеча, как бы чуть свысока. Дальше топтался очень красный, очень смущенный и красивый Иннокентий Симаков, за ним угадывалась пестрым платьем маленькая, толстая Анна.

— Можно к вам?.. — спросил, по-бычьему потупляясь, Григорий Григорич.

Гости молчали: шутит этот тяжеленный, лысый, во все дорогое одес-тый человек или вполне серьезно спрашивает у них разрешения? Бабка Степанида качнулась на стуле, махнула белым платочком, оказавшимся у нее в руках:

— Входи уж, раз вперся!

Григорий Григорич охнул, будто его осадили колуном по голове, и расхохотался, перехватив руками живот и перегнувшись к полу. Засмеялась Людмила Александровна, а Симаков, пробившись вперед, зыркнув в сторону Степаниды, сказал:

— Ох, шутница ты, бабка Степанида!

— Да-да,— сквозь бульканье в горле выдавил Григорий Григорич и залился в новом приступе смеха.— Один—ноль, один—ноль...

Выждав затишья, Симаков обратился к Людмиле Александровне:

— Прошу вас осмотреть комнаты.

Явно утомившись, Григорий Григорич опустился на стул, попросил у Егора Климова закурить «чего-нибудь покрепче», а Людмила Александровна под ручку с Анной прошла в комнату справа. Симаков, от-крыв дверь, объяснял, как на экскурсии, чтобы слышали все:

— Детская... Кровати московские. Стол пока общий. Шифоньер от гарнитура «жилая комната», от того, что в зале. Картина художника Шишкина «Утро в сосновом бору». Коврик «Олени».

Перешли в другую комнату.

— Спальный гарнитур. Польский. Две пружинных кровати, трюмо, пуфик...

Все это время из кухни поступали закуски на блюдах, в чашках, тарелках. Их устанавливали по центру стола, между ними красиво размещали бутылки коньяка и водки. Руководил сервировкой Влас Парфентьевич — суетной, разговорчивый и сердитый. Ему помогали еще более крикливая Кочкина и совсем неслышная Молчанова. Иногда быстро вбегала, ставила что-нибудь на стол и исчезала худая, неуклюжая Нюра. Влас Парфентьевич запарился, смахивал пот со лба краем полотенца, перекинутого через плечо, отчаянно сердился, чтобы не выдать своего до слез прекраснейшего состояния души.

— Вроде ничего себе,— кивнул с усмешкой на стол Григорий Григорич.

— Они умеют,— ответил Егор Климов.— В деревне тоже по этой части не в последних числились.

— Поди ж ты...— удивился,— неужто и там горькую употребляют? Вы как насчет этого?

— Могу.

— Садитесь рядом со мной. Люблю крепких ребят. Сам-то — никуда, только видимость. Выручите?

— Могу.

— Кха! — засмеялся Григорий Григорич, хлопнув по плечу Егора. «Веселый мужик,— подумал о нем Егор,— но чего-то темнит. Как бы не выкинул неожиданного чего-нибудь. Начальник какой-то».

Иннокентий Симаков, Анна, Людмила Александровна вышли из спальни, разговаривая о заграничной мебели. Симаков глянул на стол, развел руки, будто удивившись красоте и обилию блюд. Стол и в самом деле был нагружен до предела, казалось, провисал в середине, где особенно тесно столпились бутылки. Вбежал Влас Парфентьевич, стал боком к боку Иннокентия, искоса заглядывая ему в глаза — доволен ли сынок? — сказал громко:

— Критикуй!

— Не имею права,— ответил Симаков.— Сегодня критики — вот они.— Он вновь развел руки, как бы обнимая всех разом, прижимая к

своей груди.— Прощу, товарищи, к столу! Прощу, Григорий Григорич, Людмила Александровна. Вот сюда, сюда!.. Здесь будет удобнее. Нет, прощу, прощу...

— Егор! — скомандовал Григорий Григорич.— Идите ко мне. Я тут занял!

На несколько минут возникла суэта, неразбериха: каждому хотелось сесть поближе к своим, не под самым ярким светом и, конечно, не в соседстве с городскими. Задвигали, притискивая к столу, стулья, тихо, стыдливо переговариваясь, споря, усаживаясь и для начала переживая и краснея, без этого не бывает ожидания хорошей гулянки.

Взяли вилки, положили закуски — той, которая оказалась поближе. Посмотрели, как ухаживают друг за другом в голове стола Симаковы и их городские гости, позавидовали культурности и притихли, услышав голос Иннокентия.

— Товарищи,— сказал он,— предоставим произнести первый тост нашему дорогому гостю Григорию Григоричу.

Григорий Григорич уже что-то жевал, кхекнул, поперхнувшись, взмахнул руками, ткнул пальцем в Егора — пусть, мол, он, на то и рядом посадил! — но тут же грузно вырос над столом, посерьезнел, как на трибуне (все замерли, даже бабка Степанида чуть приоткрыла рот), и вдруг расхохотался:

— Да ну вас!.. Не хочу речь произносить. Что я вам — репродуктор? И потом я вовсе не гость, а начальник.

Он хотел сесть, но Людмила Александровна, поднявшись и взяв его за локоть, заговорила что-то на ухо.

— Ладно,— сказал Григорий Григорич,— массы настаиваюг. Значит, так... Кешка Симаков построил кооператив. Пусть живет у нас. Вы особенно не жалейте, все равно от него пользы в деревне не было... Ну, по этому поводу давайте осушим.

Иннокентий Симаков опьянел быстро, выпив подряд несколько рюмок. Почти не закусывал, чтобы не мешать водке притупить душевную боль. И все из-за тоста Григория Григорича. Понятно, в шутку человек сказал, но ведь публика неподготовленная, университетов не кончала, юмор какой у нее: «Эй, Дунька, приходи на сеновал, любить буду!» — а тут тонкости преподнесли. Даже Егор, самый образованный из родни, не улыбнулся, больше того — согласно кивнул Григорию Григоричу: мол, все как есть правильно, и мы так думаем.

Обидно — аж горячо в груди делается, хочется рвануть ворот рубахи, чтобы галстук в клочья и пуговицы посыпались. Встать, зверски повести глазами: «Вот вы угощаетесь, дорогие родственнички, и ты, Григорий Григорич, со своей красивой супругой. А кто это вас убажует, случаем не забыли? Не подумайте чего-нибудь, не жалко, на то и пригласил — скормить и выпить определенное количество. У меня другая к вам претензия — уважения требую. Имею право. Пришли на симаковское — уважайте Симакова. И насчет юмора осторожнее, для дома, для семьи поберегите». Понятно, в шутку начальник выразился, но ведь надо знать-ать где. В узком кругу — сколько угодно! Опять же квартира — он что, дал мне ее? Это ж как дом мой собственный! Помог вступить в кооператив — так и то без шуточек своих не обошелся: «Ты, Симаков, частник урожденный, тебе без кровного нельзя...»

Иннокентий смотрит через бутылки и тарелки на Григория Григорича, будто говорит ему все это, тот оборачивается на его взгляд, спрашивает:

— Ты чего, Кеша? Утомленный какой-то. Анна, налей мужу, мы с ним с глазу на глаз...

Григорий Григорич тянется рюмкой к Иннокентию, улыбается широко, и Иннокентий пугается — как бы чего еще не нашутил! — быстро заглатывает водку, хочет перебить Григория Григорича, но язык тяжел, будто ожирел во рту; догадывается — надо молчать, приветливо взмахивает рукой.

А про себя говорит Григорию Григоричу, всхлипывая и жалуясь: «Ну чего ты привязался ко мне с этой деревней? Сам помог устроиться, определил в свою стройконтору экспедитором. Понял, значит: тянется человек, новой жизни хочет. В кооператив продвинул. Опять спасибо. Не пью пока лишнего, работаю по совести — сам отмечал не раз. Радуйся как начальник новому кадру, оправдывает доверие! А деревня — что она мне, на роду записана? Да я по натуре, может, не хуже других городской, хоть и в крестьянстве родился. У меня душа особенная, тесно ей там, простору мало. Для развития — никакого стимула. А здесь я пойду, через год выдвинешь меня, точно, Григорий Григорич. Даю слово. И дальше пошагаю, имею возможности. Года так через три, глядишь, в заместителях у тебя буду. К этому ты готовься, хошь не хошь, а подвинешься... На более отдаленное время пока загадывать не намерен, там посмотрим...»

Симаков ласково смотрит на Григория Григорича (тот рассказывает Егору Климову о футболе, передвигает по очищенному краю стола яблоко, пиная его полусогнутым пальцем), воображает себя в должности замначконторы: как они вдвоем обсуждают вопросы в кабинете, обедают в ресторане, сидят на футболе, а рассыльный конторы Пашка держит в сумке под скамейкой холодное «жигулевское». Все это кажется ему таким близким, реальным, что Симаков не выдерживает горячего приступа любви к Григорию Григоричу, встает и с рюмкой в руке решительно пробирается к нему.

Бабка Степанида выпила стопку красенького, закусила паюсной икрой («Поди ж ты, не очень вкусная, а дорогая!»), разогрелась, подобрела душой и принялась обстоятельно разглядывать гостей. Перебрала близких и дальних родственников, обо всех подумала, припомнила, где и с кем из них встречалась, кто помер за это время, кто женился, у кого народились дети. Обменялась новостями, посочувствовала, посмеялась к месту и так дошла по противоположному ряду до Людмилы Александровны. Улыбнулась и ей, закивала, будто поддерживая ее слова, но слов она никаких разобрать не могла на таком отдалении — просто ей нравилась эта городская, «очень красивая» женщина.

Степанида сразу, как только вошла в горницу Людмила Александровна, ахнула про себя: «Давненько что-то не видела таких!» И после поглядывала на нее, ловила разговор, оценивала наряд. Когда сели к столу и Людмила Александровна выпила полную рюмку вина, Степанида решила: «Совсем хороша баба».

Теперь она улыбалась и улыбалась ей, кивала, мысленно посылая самые ласковые слова. Людмила Александровна отвечала, тоже улыбалась и кивала, смущенно, как девушка, но Степанида не отставала, еще больше подобрела, и Людмила Александровна поднялась, обошла вокруг стола, присела рядом. И между ними произошел такой разговор.

Л ю д м и л а А л е к с а н д р о в н а: Вы что-то мне говорите, бабушка, а я не слышу...

С т е п а н и д а: Да я то и говорю, что хорошая ты бабенка. Мало таких приводится видеть, в деревне у нас чего-то и не припомню. Сама-то я в молодости ничего была, очень даже ничего, сказывают.

Людмила Александровна: Верю вам, бабушка. Вы и сейчас... Ну, как сказать... старость у вас какая-то очень свежая. А я что, мне до вас и во сне не добраться. Вот только наряженная...

Степанида: Ты послушай меня. Не в том дело, про что ты говоришь. Кровь у тебя чистая — вот что главное. Для человека важнее ничего нет. Кровь чистая досталась, разными болезнями не порченная — и лицом выйдешь, и статью, и ума занимать не понадобится. Запомни, в этом дело. А наряд что — теперь каждый наряжается, матерьяла хватает.

Людмила Александровна: Интересно вы говорите, бабушка.

Степанида: То-то что интересно. Я ведь все обдумала, каждому делу в жизни место определила. Вот послушай, расскажу тебе, к примеру, про Аньку Симакову. Я ее со дня рождения на свет помню. Гнусава, крикливая, вреднушая была девчушка. До снега босиком бегала, а в дом если зайдет, хоть смотри, хоть не смотри — все равно чего-нибудь украдет. Прямо талант у нее на это был. Понятно, война в то время шла. Отец погиб, мать с пятерыми крутилась. После и сама зачахла — в одно лето кончилась. Детишек родня поразобрала, мне Анька досталась. Я ей двоюродной бабкой довожусь. Не так чтобы близкая родственница, а надо было сочувствие проявить. Пожила это она у меня, подкормилась, подправилась. Вроде ничего сделала, правда, воровала, где что попадется, но это от привычки больше. Не великая беда. Другое я в ней подметила: очень безжалостная она какая-то. Уже большая была, в шестой класс ходила, смотрю раз из окошка — поймала воробьяныша, взяла за ножки и разорвала на две половинки. Еще такой случай был: вижу, как-то дерется Анька с соседской девчонкой, ну та посильнее, повалила ее, держит, чтобы Анька успокоилась. «Помирятся», — подумала это я, пошла к печке и слышу крик, будто кого режут. Выбегаю — Анька впилась зубами в ухо девчонки, намертво держит. Едва я ей зубы расцепила, так она и еще меня за пальцы цапнула... Бывало, куда ни упрячу пайку хлеба — весь дом перевернет, разыщет, слопают. Яйца сырьем в курятнике выпивала. Ты вот слушаешь и думаешь: к чему все плетет старая? А я к месту, к делу. Что ни говори — одна живу, со всех сторон одинокая. А ну-ка занемому. Куда мне, к кому? В эту зиму, на крещение было, три дня не могла встать-подняться. Пионеры, как их, тимуровсы, над бабкой шефство взяли: лекарства носили, печь топили, в доме прибирали. Вот тогда я и подумала: а что, ежли к Аньке придется идти жить? Повспоминала и весь день проплакала: не могу я к Аньке, казнить она меня будет, как того воробья... Да если хочешь узнать, я боюсь с ней одна в квартире остаться. Всю жизнь никого не боялась, одних мужиков у меня перебыло больше пяти, по команде ходили, чуть запыет — в шею выпроваживаю. Вот какое дело. А ты говоришь — наряды; кто теперь наряжаться не умеет. У нас в деревне дурочка Фенька есть, так и та на день два раза платья меняет.

Людмила Александровна: При чем же кровь, бабушка?

Степанида: Вот при том...

На них давно уже поглядывала Анна, горела от любопытства, но никак не могла оставить Иннокентия наедине с бутылкой. Когда, наконец, пробившись через препятствие, Иннокентий ринулся в сторону Григория Григорича, Анна поднялась и как бы мимоходом подвернула к ним. Сказала, смеясь, одергивая и поправляя платье, слегка помятое в борьбе с Иннокентием:

— Не слушайте, Люда, бабушку Степаниду. Она наговорит вам... Она ужасно не любит меня. Не пойму прямо, за что бы это...

Степанида (будто не слыша Анну): Вот при том и кровь. Кому порченная досталась, так ее никакой хорошей жизнью не очистишь.

На краю стола возник шум, Иннокентий размахивал руками, наступал на Григория Григорича. Анна бросилась туда. Над столом вырос Влас Парфентьевич, перекрывая шумы и голоса, прокричал:

— Граждане родственники, уважаемые гости! Хочу от души предложить выпить!

Кочкина оставила вялую, разомлевшую от впечатлений Нюру в детской комнате — дочь и сын Симаковых организовали здесь свой стол, выпили немножко вина и крутили пластинки, — но постоянно бегала к ней, все больше возбуждаясь, говорила:

— Смотри, Нюра, как люди живут!

— Ладно вам, мам, — медленно отвечала Нюра, — вижу, не слепая...

— А ты смотри, смотри! Запоминай, учись! Чтобы и самой захотелось так жить. Главное — твое желание, а я не пожалею средств-денег, выведу в люди. Оправдай мою мечту...

— Ладно вам, мам...

Кочкина возвращалась к столу, радостно обегала глазами гостей, останавливала нежный взор на Симакове и Анне: их она любила больше всех — и за то, что пригласили (не бог весть какая она им родня, а уважение оказали!), и за то, что будет просить их устроить в городе Нюру. Правда, грамотой дочка не отличалась, семь классов едва закончила, но телом крепкая, выносливая, поначалу может в столовую подсобницей пойти или в бытовой комбинат кем-нибудь. Главное — прописку получить. После Кочкина сама все устроит — кооператив, а может, и по закону квартиру добьется: они семья погибшего фронтовика. В общем, там видно будет... Кочкина не отводит нежного взора от Симаковых, хочет, чтобы они помнили о ней, сами позвали чокнуться. И вдруг она понимает — сегодня ей не удастся поговорить о Нюре: Иннокентий быстро захмелел, больше чем полагается для такого дела, Анна теперь будет оберегать его от водки и людей.

Однако это не очень огорчило Кочкину: «Успею, обговорю, в случае чего — останусь на денек». Она перевела взгляд в другую сторону стола, и у нее потеплело в груди: точно, она не ошиблась — на нее все время смотрит седоватый, представительный мужчина, тот, что из Дашкина, с орденом, родственник по линии Иннокентия. «Будет ухаживать!» — загоревшись лицом, сказала себе Кочкина. За долгие годы одинокой жизни она привыкла к ухажерам на гулянках, ее всегда замечали. Женатые все, правда, да и где их, холостых, возьмешь, если ей, Кочкиной, уже под пятьдесят. Ну и, как водится, неприятности разные случаются, ревности... Поэтому Кочкина с повышенным интересом принялась рассматривать жену седоватого.

«Ох, и страшна, хоть и молодая», — решила она после подробного изучения и хоть и весело посмотрела на седоватого, но по-особенному — жалея его и сочувствуя. Он улыбнулся ей горестно: вот, мол, какое дело — несчастный, и все тут!

И стеснительно Кочкиной, и приятно до щекота под сердцем, и хочется ей немедленно обратить на себя внимание всех присутствующих: она особенная, хоть и одинокая, и пусть счастливые супружницы не думают, что мужья только им принадлежат, будто купленные. Сейчас Кочкина с удовольствием докажет вам это, можете понаблюдать. Как в театре все разыграет: встанет, выйдет в прихожую, следом выйдет седоватый, там встретятся, будто случайно, разговор, шутки...

Жена седоватого угадала, кажется, в муже перемену, принялась накладывать ему на тарелку винегрета, холодца, достала с другого кон-

ца стола шпроты, налила самостоятельно полную рюмку коньяка. «Скажи ты! — удивилась Кочкина. — Молодая, а знает, как напомнить о себе, устыдить мужа. Ну, держись, рябая!»

Кочкина медленно поднялась, огладила себя по бокам, вскинула руки к прическе, показывая, какие они у нее круглые и белые, очень медленно, как бы прогуливаясь, пошла в прихожую. Здесь курили, негромко переговариваясь, два очень дальних родственника, старые, замученные домашним хозяйством, и обсуждали что-то касательно перемены яловых коров на породистых телок. Кочкина попросила папиросу, вынула зеркальце, будто смотреться в него, но больше для наблюдения сквозь стеклянную дверь — что происходит в горнице?

А там действительно происходило... Седоватый, выпив залпом рюмку, поспешно поедая закуски, щедро отпущенные ему женой. Отправив в рот последний кусок холодца, он выпрямился, запустил руки в карманы, нашаривая папиросы и показывая этим, что хочет выйти покурить. И хотел уже подняться, как супруга, придерживая его за плечо, налила еще одну полную рюмку, пододвинула блюдо с остатками жареной рыбы. Седоватый что-то сказал, возмущенно покраснел, придерживаясь за стол обеими руками, встал. Поднялась и жена, заговорила. Седоватый, хмурясь, сильно раскачиваясь, попробовал отодвинуть ее, но та, изо всей силы толкнув его на стул, повернулась и быстро пошла к прихожей.

Кочкина отодвинулась от двери, приблизила к самому носу зеркальце, тихонько запела: «... и на Марсе будут яблони цвести». Она слышала, как громко хлопнула дверью жена седоватого (ничего себе, тихоня!), как подступила к ней сбоку. Кочкина чуть отшагнула, будто удивленно сощурила глаза.

— Тетенька! — заговорила рябая, морщась от слез, всхлиывая. — Зачем вы так? Он же пьяный, а вы соблазняетесь... Люди смотрят... Так стыдно, так стыдно! — И она спрятала лицо в ладони.

Кочкина почувствовала какую-то малознакомую слабость, ноги заныли, сердце тоненько заголосило. Это, наверно, от жалости к рябой: оказывается, она совсем девчонка, острые плечики, худые руки. Кочкиной захотелось обнять, приласкать эту глупышку, по-бабьи посочувствовать, кое-чему научить, а мужу дать хороший «от ворот поворот», но... Но курившие в прихожей дальние родственники расслышали рябую, любопытствуя, придвинулись ближе; и Кочкина, миг подобравшись, ощутив необыкновенную силу и горячность во всем теле, заорала высоко, напевно:

— Нужен он мне, твой дед с палкой. И что это такое — своих не нужных никому мужей прилепляют к честным одиноким женщинам!

Поднялся шум, треск отодвигаемых стульев, все бросились в прихожую, разом заговорили. Кочкина, раздвинув толпу, всхлиывая и прижимая к глазам платок, стремительно прошагала в детскую комнату, и оттуда послышался такой же высокий и напевный ее голос:

— Слышь, Нюра, как обижают твою маму! Будто я виноватая, что наш папа погиб в борьбе с фашистами. Стремись, доченька, к хорошей жизни, докажи, что мы тоже люди!..

Татьяна Молчанова, молчавшая весь вечер, внимательно слушала людей (первый раз попала на городскую гулянку!), по капле пригубляла сладкое красное вино — и сразу не поняла, отчего все вскочили, загалдели, побежали в прихожую. Петр тоже поднялся, но снова сел, без слов махнул рукой: он хорошо выпил, закусил и то расслабленно дремал, то прислушивался к разговору между Егором Климовым и Гри-

горием Григоричем, издали кивая и поддакивая им. Когда Кочкина закричала, он сонно сказал:

— Опять эта... бесится.

Татьяна вздрогнула, вдруг догадавшись обо всем, застыдилась: на таком вечере и такое!.. Легче провалиться сквозь эти этажи, чем пережить такой срам. Татьяна несколько раз быстро перекрестилась, прошептала: «Господи, спаси и помилуй!» И, спасаясь от шума, плача в прихожей, запела сильно, с надрывом:

Ой, мороз, мороз,
Не морозь меня,
Не морозь меня,
Моего коня...

И пока она медлительно, будто кладя на музыку и прослушивая каждое слово, выпевала начало песни, гости вернулись на свои места, угомонились, а пара из Дашкино поспешно собралась и, не прощаясь, отправилась домой: еще можно было успеть на электричку. Два пустых стула вытолкнули из общего ряда, раздвинулись — было тесновато — и позабыли о скандале, как об очередном съеденном блюде.

Слушали Татьяну очень мирно, боясь помешать скрипом мебели, разговором. Одни улыбались смущенно: вот, мол, неожиданность какая! Другие впали в глубокую, крайнюю серьезность, будто вникая в скрытый смысл Татьяниного пения; были и такие, которые, не удержав головы, приткнулись к спинкам стульев — казалось, убаюкались. Только Симаков двигался, суетился возле Григория Григорича, что-то старательно объяснял, указывая на Татьяну. Анна ловила его руки, отгораживала от Григория Григорича, а вот прикрыла ему рот широкой белой ладонью. Симаков, мотнув головой, все-таки выкрикнул:

— Танька! Брось эту, давай веселую!..

Молчанова не услышала его слов, она бы не услышала сейчас — разразись над нею гром; пожалуй, и себя она едва ли слышала, оглохла, как поющая птица. Ее лицо в ярком свете выцвело до желтизны, истончилось по-птичьи, на длинной худой шее натянулись, выпукло обозначились жилы, будто по ним текли беспрерывные звуки.

Я вернусь в село
На закате дня,
Обниму жену,
Накормлю коня...

Это была любимая песня Петра Молчанова, он слушал и думал, что запела ее Татьяна больше для него: чтобы успокоился, не говорил плохие слова, чтобы не так одиноко ему было на городском вечере. Эту песню она пела, когда они ехали из Спас-Предгорья на моторной лодке, и Петр даже подпевал потихоньку. Вода, деревья, луга... Петр глянул на своего соседа, захмелевшего мужичка по имени Кузьмич, огорчился: несколько раз он пробовал рассказать ему о моторной лодке — какая она «умный зверь», как без нее не жизнь в Спас-Предгорье: ни сена подвезти, ни порыбачить толком, ни в город съездить за батонами, колбасой и другим товаром. Кузьмич радостно морщился, залиvisto хохотал, и невозможно было с ним серьезно поговорить. Теперь и он притих, слушал, подперев маленькую костлявую голову здоровенными кулаками, — видно стало, что веселился он исключительно от водочки, — и Петр, сжалившись, простил ему невнимание к интересному разговору.

Татьяна допела песню:

...Ой, мороз, мороз,
Не морозь меня.

Помолчали немного — вдруг Татьяна продолжит пение? — и все сразу заговорили, будто спуская с привязи языки:

- Под церковный хор у нее получается.
 - Да, поет, как богу молится.
 - Вот тебе молчунья, всех заговорила.
 - Тише, товарищи, попросим еще!
 - При чем тут...
 - При том, искусства не понимаешь.
 - Постой, постой, ты откуда такой, где состоишь?..
 - Тише, товарищи!
- Поднялся Симаков, заглушая всеобщий спор, scomандовал:
- Танька, веселую, говорю!

Григорий Григорич рассказывал Егору Климову о «Динамо», «Спартаке», «ЦСКА», он, оказывается, и в Лужниках бывал на самых значительных играх, и здесь, в городе, лично знаком с лучшими футболистами. Григорий Григорич передвигал по очищенному краю стола яблоко, очень понятно объяснял, что такое «аут», «пенальти», «офсайд» и почему «Спартак» проиграл в этом сезоне: оказывается, команда была не в форме и кто-то кому-то ногу подковал. Интересно, в общем. Потом спросил:

— Вы болеете?

Егор чуть было не пожаловался на желудок, но спохватился.

— Нет, не страдаю, да и некогда что-то.

— Надо, надо,— сказал огорченно Григорий Григорич,— после работы часик-другой уделяйте.

— После работы еще работа... домашняя.

— Домашняя? Частную собственность развиваете?

— Нет, хозяйство. Огород, корова...

— И как успехи?

— Жизнь, что ли? Если за жизнь спрашиваете — обеспеченная.

Хлеб, молоко, сладости ребятишкам всегда имеем.

— Ну, а колхоз?

— Ничего. Рабочей силы не хватает.

— Вот-вот.— Григорий Григорич придвинулся, предложил папироску.— Вы слышали, тот седой, с орденом, у которого жена беременная, мысль развивал. Говорит о нашем городе: «Построили посреди сел и деревень культурный центр, смущают простых людей. Бегут мужики к легкой жизни, пищу городскую едят — зачем это мужику». Я вот никогда не жил в деревне, а как-то беспокоят меня такие разговоры... Симакова принял на работу. Как считаете, правильно сделал?

— Это вы мне трудный вопрос загадали.

Егор закрутил головой, оттягивая время и соображая, откровенно говорить с начальником (для чего это он выпытывает?) или дурачка свалить, по-газетному представить обстановку? Однако Григорий Григорич очень озабоченно, даже тоскливо ловил суетливые глаза Егора, и он решил говорить напрямую.

— Что город построили посреди крестьянства, я думаю, это, с одной стороны, хорошо. В город я, скажем, с удовольствием ездю: в магазины, ребятишкам другую жизнь показать, пивка попить — без этой культуры тоже человеку нельзя. Мы перенимаем, возрастают наши запросы. Это хорошая сторона. Другая сторона — действительно, бегут мужики. Производство привлекает, современная обстановка. И что обидно — некоторые в дворники, завхозы, таксисты пошли: какое тут производство? Соблазн один, да и только. Касательно Кешки Симакова — тут, я вам скажу, другое дело...

— Простите, а вот вы же не собираетесь из Спас-Предгорья?

— Не собираюсь. Я механизатор. Хозяйство опять имею. У вас столько иметь не буду.

— Понятно.

— Касательно Симакова теперь. Мы, значит, родственники, даже обрадовались, когда Кешка в город перемахнул: у нас бы он избаловался, опять же на водочку слабоват. А здесь производство, в крепкие руки попал...

Егор посмотрел на руки Григория Григорича, белые, с длинными нервными пальцами, снял со стола свои, мосластые, и договорил, смутившись от улыбки Григория Григорича:

— Извините, если что не так, я по-простому...

— Что вы! Вы просто меня просветили. Вот если когда-нибудь придете в стройконтору — не откажу. Вспомню и не откажу. По слабости. Вы какой-то очень нормальный человек. Влюбился прямо в вас.

— Все может случиться в жизни,— ответил Егор, тоже влюбляясь в Григория Григорича,— а это ваше хорошее отношение я учту.

Они выпили вдвоем коньяку, угостили друг друга закусками, еще поговорили о «Спартаке», «Динамо»; Егор наконец согласился в ближайшее время стать болельщиком, и Григорий Григорич, совсем счастливый, крикнул:

— Один—ноль в мою пользу!

Тут к ним пробрался Иннокентий Симаков, испортил тихий, душевный разговор. Егору пришлось отодвинуться, остаться одному. Конечно, можно было примкнуть к другим беседующим, но, прислушавшись, Егор не обнаружил ничего интересного для себя и повернулся к бабке Степаниде — она все еще что-то рассказывала Людмиле Александровне.

После вздремнул немножко. Очнулся от прикосновения руки к плечу: Григорий Григорич звал к себе, налил две рюмки — опять коньяку.

Выпили, закусили лимоном и шпротами. Егор быстро обрел чувствительное состояние, и ему захотелось немедленно отблагодарить чем-нибудь Григория Григорича: рассмешить, удивить, обратиться на себя особое внимание, чтобы Григорий долго потом вспоминал дружбу с Егором Климовым. Он вспомнил о своем подарке Симаковым на новоселье (как раз время вручить его: что-то очень безынтересно стало), пошел в прихожую и принес оттуда мешок, перевязанный пучком скрученной в жгут травы. Когда все повернули к нему головы и заволновались от интереса, Егор сказал:

— Как полагается по нашему крестьянскому обычаю, преподношу подарок.

Развязав мешок, он взял его за нижние углы, приподнял и вывалил на пол белый пухлый ком, который тут же заворочался, замолотил желтыми лапами, вытянул шею — и превратился в здорового гуся.

Женщины завизжали, захохали, будто увидели что-то необыкновенное, страшное; мужчины захохотали, радуясь неожиданному веселью; а гусь, утвердившись на измученных от лежания лапах, без малого смущения оглядел сияющий стол, гогочущих людей и сам крикнул — трубно и весело.

Шум поднялся невероятный: женщины вскочили, мужчины надрывались от хохота, из детской прибежали дети. Егор стоял улыбочивый, довольный произведенным впечатлением. В общем переполохе он улавливал отрывистый, чуть одышливый хохот Григория Григорича — «кха. кха!» — и еще больше приходил в восторженное состояние.

Гусь прилег на ковер, принялся спокойно теревить, оглаживать перья.

— Ну, ничего, ничего, Кеша,— говорил Влас Парфентьевич, припав головой к голове сына.— Повел ты себя неправильно, но это все-таки ничего. Не казни себя шибко. Начальник у тебя умный, понимающий, по-хорошему обмыслит себе твой поступок. Мы же веками были деревенские...

Симаков слушал отца и расстраивался еще больше: раз утешает, раз говорит «ничего» — значит, и в самом деле вышло некрасиво. Разве он думал, что так получится, когда с рюмкой пошел к Григорию Григоричу? Думал, подойдет, скажет несколько слов, ну, допустим: «Выражаю вам сердечную благодарность как человеку и руководителю»,— и Григорий Григорич поймет его чистые чувства, и они расцелуются и выпьют. Просто все, как обычно бывает на гулянках. А вышло некрасиво: когда Симаков потянулся к щеке Григория Григорича, тот отстранился, Симаков, обидевшись, дотянулся все же губами до его уха, но зацепил ногой стул и боком повалился на стол. Загремела посуда, что-то там побилось, прибежала Анна. Григорий Григорич помог Симакову встать на ноги, застегнул ему пиджак, сказал, как маленькому: «Пусть-ки, Кеша, кто не падает, тот не поднимается». Ничего вроде сказал, не обидно. Так и подумал Симаков: «Не обидно». Анна увела его на кухню, умыла, натерла ладонями уши, и он окончательно пришел в себя. Вернулся к столу и сначала позабыл об этой неприятности, но Анна шепнула: «Свинья, пришлось за тебя прощение просить, опозорил...» Не хотел Симаков больше пить, а тут опять выпил: назло Анне, да и показалось, будто многие смотрят на него, тайно переговариваются.

Влас Парфентьевич поднял голову, оглядел гостей, сказал:

— Вот и Григорий Григорич с женушкой собираются уходить, пойдем проводим людей хороших.

Григорий Григорич обошел вокруг стола, простился с каждым в отдельности; Молчановой сказал: «Спасибо, спасибо!» — и поцеловал руку, на что та болезненно запылала щеками и отдернула руку так, будто ее укусили; повернулся к Кочкиной: «И вам тоже за острый момент. Да-да. Один — ноль в вашу пользу!» Кочкина не поняла шутку, но расхохоталась, показывая, что знакома с тонким обращением.

В прихожей столпились все, кто смог поместиться. Кочкина одевала Людмилу Александровну, Влас Парфентьевич подавал пальто Григорию Григоричу, и Симаков пробился к двери, когда там уже по последнему разу пожимались руки и говорилось: «До свиданьца», «Всего вам наилучшего», «Не обессудьте» и т. д. Увидев Симакова, Григорий Григорич протянул ему руку и под нажимом родственников стал пятиться в открытую дверь. С лестничной площадки крикнул:

— Кеша! Не забывай, что тебе говорил!..

Получилось так, будто вытолкнули городских гостей, хотя все были в возвышенном настроении, явно радовались знакомству с ними. «Да, как вытолкнули»,— подумал Симаков и почувствовал облегчение, и вздохнул глубоко, и глаза шире раскрыл: будто его отпустила внутри нудная, вконец измучившая боль.

Вернувшись в зал (так он называл свою большую комнату), Симаков удивился царившему здесь разгрому. Гости бродили, натыкались друг на друга, выливали, что-то ели, издали поддевая вилками. От всего этого можно было впасть в уныние, но Симаков ощутил бодрость, желание бурной деятельности. И совсем освобождаясь и воскресая, как бы надежно приходя в себя, он крикнул на всю квартиру:

— Отец, Кочкина, Анна! Немедля очистить стол, перемыть, пере-чистить. Бабы, помогайте!

Разбежавшись, он пнул изо всей силы гуся — тот, крякнув, вылетел в прихожую, под ноги взвизгнувшей Кочкиной.

— Ощипать и зажарить!

Родственники побросали рюмки и вилки, вскочили, замерли, не понимая и любопытствуя, будто внезапно превратились в солдат и услышали команду «смирно!».

— Тревога отменяется! — расхохотался Симаков. — Теперь мы здесь все свои. Соорудим стол, гульнем по-нашему!

* * *

Всю ночь гремел, содрогаясь, кооперативный дом. Песни, топот, крики носились от одной капитальной стены до другой, а перегородки между квартирами, панели-перепонки, ничуть не мешали разгулу звуков. Мало кому удалось уснуть. Только к утру дом затих и, как отыгравший музыкальный инструмент, слегка гудел растревоженными внутренностями. Даже слышно стало: то в одной, то в другой квартире плачут дети, переговариваются жильцы, собираясь на работу.

Седенький очкастый старичок вышел во двор — все равно уже ночь позади — подышать воздухом, встретить первый восход над своим новым, теперь уже собственным жилищем на земле. Ходил, мерз от крепкого утренника. Когда листва деревьев за домом остро зарябила от косых лучей солнца, в подъезде появился еще один жилец. Приглядевшись, старичок узнал Симакова. Тот был свеж, в новеньком, отглаженном костюме, начищенных ботинках.

Симаков подошел, поздоровался — они были знакомы по общим кооперативным делам, — предложил закурить. Отказавшись, старичок удивился: у соседа был вид хорошо выспавшегося, завидно веселого человека.

— Не спится? — спросил Симаков.

— Да, вот...

— Понимаю, — вздохнул он, — люди творческого труда... Думаете много, спать не можете.

— Шумно было, знаете.

— Шумно? Это тоже мешает.

— Еще как! — У старичка передернулась щека и скривились губы при мысли о ночных потрясениях. Это заметил Симаков, кашлянул, быстро посерьезнел.

— Понимаю ваш намек, — сказал он. — Ошибку допустил, старые привычки. Буду рвать с прошлым. Григорий Григорич, мой шеф, часто говорит мне: «Ты, Иннокентий, интеллигент в первом поколении, тебе за всех предков культуры надо набираться». Правильно это, мне трудно. Но я справлюсь, даю слово. Держите пять.

Симаков, серьезно волнуясь, протянул руку.

Над их общим домом всходило солнце.



АНАТОЛИЙ ЖИГУЛИН

★

ИЗ ЛИРИКИ

* * *

О родина! В неярком блеске
Я взором трепетным ловлю
Твои проселки, перелески —
Все, что без памяти люблю:

И шорох роши белоствольной,
И синий дым в дали пустой,
И ржавый крест над колокольной,
И низкий холмик со звездой...

Мои обиды и прощенья
Сгорят, как старое жнивье.
В тебе одной — и утешенье
И исцеление мое.

* * *

Кто додумался правду
На части делить
И от имени правды
Неправду творить?
Это тело живое —
Не сладкий пирог,
Чтобы резать и брать
Подходящий кусок.

* * *

Все в этом мире ново, все здесь вечно.
Восходит солнце,
Словно жизнь моя,
Чтобы опять светло и быстротечно
Сгореть над вечным ходом бытия.
И краткий миг судьбы моей тревожной
И нов и вечен в этой чуткой мгле,
Как нов и вечен
Смятый подорожник
На влажной и суглинистой земле.

ГАДАНИЕ

Смешное древнее искусство,
Пустая вера в чудеса!..
В мою ладонь ты смотришь грустно.
А я смотрю в твои глаза.

И в них, печальных и усталых,
Сквозь пелену былых обид
Лукавства маленький кристаллик
Легко и весело дрожит..

Гадай, пожалуйста. Вот руки.
Судьбу неясную зови.
Смотри, как линия разлуки
Подходит
К линии
Любви.

* * *

Себя ни капли не жалея,
Припомнив боль недавних дней,
Я стал серьезней и честнее
В холодной осени моей.

И то, что мнилось мне видением,
Вторым явлением с небес,
Вдруг оказалось наваждением,
Где вовсе не было чудес,

Где были беды и усталости,
Мои печали и твои.
Где не было лишь самой малости —
Звенящей капельки любви.



ЯНКА БРЫЛЬ

★

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

* * *

Михайловское я навестил в позапрошлом году, в конце августа, мокрым и еще безлюдным утром.

Лениво перечиркивались воробьи. Ветви яблонь, если б не уйма подпор, так и полегли бы на траву. Запах флоксов, которых на усадьбе, по обе стороны дороги, было неестественно много, упирался в пасмурное небо. Густой, приторный, даже какой-то нахальный...

Этот беспощадно щедрый запах вспомнился мне в Пятигорске нынче весной, у дома, в котором прошли последние дни нашей другой любви, другого друга, мудрого и сердечного.

Почему же вспомнился?

Потому что там, у низенького белого домика, под солнцем юга цвела старая черешня. Скромно и очень нужно.

Счастливо, ненаивно верится, что она — та самая, одна из тех самых, о которых было когда-то здесь, в этом домике, написано: «Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками».

Снова прикасаешься душой к тому, что подымало и очищало ее в родном доме Толстого, у хаты, в которой родился Купала, на горе, где могила Шевченко, в лесу, неслышно наполненном песней Мицкевича...

Письменный стол, на зеленом сукне которого, как на траве, отдыхали быстрые и неутомимые руки, написавшие здесь «Тамань» и «Выхожу один я на дорогу»...

Здесь, у этого стола, я вспомнил окруженный деревьями серый домик Родионовны и слова — золотом на мраморе:

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!..

Слова, полные той нежности, на которую способны только настоящие сила и мужество. Отсюда струится и разливается морем русская и одновременно общечеловеческая поэзия двух гениев.

Пушкин и Лермонтов. Лермонтов и Пушкин. Только вспомнишь про одного — в памяти встает другой... Так оно идет, без конца повторяется с тех дней, когда ты впервые заглянул в сказочно-чудесный мир их поэзии.

Особенно сильно и неповторимо чувствуется это на Кавказе. На том Кавказе, что был их карой, их вдохновением, что стал для одного из них могилой.

С вершины Машука, куда нас взвил на «Волге» веселый таксист, — орлиный кругозор. На живописный Пятигорск, который сотнями белых

домов и садиков разбегается по низине, на Змейку, Верблюда, пятиглавый Бештау, Кинжал и другие горы, окружающие город зелено-серыми пирамидами. Видишь и то место под горой, где пуля так дико, непростительно оборвала жизнь поэта, Мишеньки, со слезами на глазах, с ножом в детской руке бросавшегося защищать дворового мужика, избиваемого по приказу бабушки-крепостницы; бесконечно обаятельного, родного Михаила Юрьевича, которому было всего только двадцать шесть...

Часто говорится, что дело, начатое Пушкиным, продолжил Лермонтов. Кто-то писал, что утрату Лермонтова судьба компенсировала России Львом Толстым, юность которого и начало творческого пути тоже связаны с Кавказом.

Это — прежде всего — слово о бессмертии поэзии, о величии народа, рождающего поэтов, о красоте земли, что их вдохновляет.

В Пятигорске — и это совершенно естественно — больше всего и чувствуешь и думаешь о младшем из великой тройки.

Начиналась весна.

Я уверен, что не была бы она, моя первая кавказская весна, такой солнечной и привольной, не заставляла б она так глубоко, счастливо задумываться, если б не Печорин, не Бэла, не Максим Максимыч, не послушник Мцыри, если б не песни о том, как степью лазурной плывут белые тучки-изгнанницы, как говорят высокие звезды...

Если бы не старая черешня и этот обычный казачий домик в белой гуще других низких, уютных домов, домик, в окна которого видать и Машук и Бештау.

* * *

Максим Богданович пришел ко мне прежде всего автором «Переписчика». И теперь, перечитывая это стихотворение, почти растроганно вспоминаю свое отроческое волнение, вызванное, как это сегодня видно, предельно простым, но высоко и — главное — свежо поэтическим словом.

Такие обычные вещи — солнце, что светит в узенькое оконце кельи, ясное небо, белые облака, ласточки, что ширяют кругами... Один усталый взгляд туда — сквозь оконце, от чистого листа с многокрасочными заставками и концовками, выведенными гусиным пером работяги-монаха, один взгляд — и я, не только бывший сельский мальчуган, а и уже зрелый, опытный мужчина сегодняшнего дня, я так много вижу, меня так неповторимо волнует музыка родного слова, умное, яркое соединение седой старины с простым, обычным, давно-давно известным, любимым, до щемящей боли прекрасным:

...а рядом, у окна,
Поет малиновка и тукает желна...

Так же вот уже сорок лет меня волнует песня о случившихся крепостных ткачихах — опять же чудесное соединение прошлого с вечно живым; волнует возвышенная, торжественная «Звезда Венера» — наш, белорусский гимн чистой любви, ее невянущей красоте; волнуют многие стихи Богдановича, многие и до последнего — исключительного по своей простоте и насыщенности, трудно переводимого четверостишия:

У краіне светлай, дзе я ўміраю,
У белым доме ля сінняй бухты,
Я не самотны, я кнігу маю
З друкарні пана Марціна Кухты.

Читаешь, перечитываешь, снова привыкаешь к мысли, что он, наш первый Максим, талантливый, возмужало мудрый, высокообразованный... а потом — снова удивление: так ему ж, когда он писал, скажем, вот это стихотворение, было восемнадцать лет!.. Ему было только двадцать два, когда он дал отличный анализ первых книг Купалы!..

А потом грусть, и боль, и горечь обиды: в тот солнечный крымский день, когда из руки тихого белорусского юноши вылетел и опустился на пол листок со строчками о его первой и единственной книге, с которой он, этот юноша, всеми покинутый, был не с а м о т н ы — был не одинок в свой последний час, — тогда тому юноше шел только двадцать шестой...

Такие утраты были у каждого народа. Пишу это — и вспоминается пробитый пулей Лермонтов, порубанный саблями Петефи... Оба они тоже до тридцати. Только наша утрата — при нашей бедности — кажется мне особенно острой, кровотокащей...

* * *

Перечитывал «Пана Тадеуша», полностью, чего не делал давно, хотя в последние годы часто, а в нынешнем году очень часто бывал в родных местах Мицкевича, немало думал о нем, о мире его поэзии.

Ярко представляется, как здесь, по нашим дорогам, меж родных и для меня пригорков, перелесков, долинами у рек и озер пылила, чавкала по грязи, брызгала снегом в глаза иная действительность — тот класс, которого уже навсегда не стало.

Смешные, жалкие нравы и типы — все эти глупые «кропидлы» Матьков и «сцизорики» Гервазых, задиры да пьяницы-шляхтичи, надутые подкомории, романтические недотепы-графы — все это отошло в небытие. Не помню кто — не Герцен ли? — сказал, что Мицкевич пропел им чудесную отходную.

Зося собирается «в свет», впервые выходит к гостям. И Наташа Ростова собирается и выходит на бал. Как похоже!..

Сходство двух эпопей видится мне не только во времени, которое в них описано, а — и это главное — в том, что показан, и с большим проникновением, тот же или очень похожий один на одного мир — мир господствующих.

Думаю о них, о произведениях Мицкевича и Толстого, как-то сразу, параллельно. (Может, частично и потому, что перед отъездом сюда, в Несвиж, смотрел кинокартину Бондарчука.) Живые они любовью авторов к жизни, к людям, к природе...

Кажется, что хорошо вижу ту свободу, с которой Мицкевич тасовал пейзажи, имения, деревни, замки, корчмы, прототипов, — издалека, из изгнания, в горьком счастье тоски и творческого озарения создавая образы своей чудесной Новогрудчины.

Говоря о ней, он думал, бесспорно, не только о том уголке, где родился, где прошли его детство и юность, — Мицкевич думал о Беларуси. Наша неласковая судьба судила и ему называть ее официально, на языке владык — Литвой. Однако же никто из великих не сказал о родном языке угнетенного, обездоленного белоруса так, как сказал это он, с европейской трибуны назвав его наибогачейшим и наичистейшим из восточнославянских языков, отмеченным возвышенной простотой.

Много сердца отдал он нашим полям и пушам, ясной Свитязи, быстрому Неману, нашему небу — восходам и закатам солнца, ласковости белых облаков, темени и гневу гроз, высокой мудрости звездных ночей. От первых юношеских баллад до мудрого, величавого течения «Пана Тадеу-

ша» с особой силой, с вечно свежим и неразгаданным очарованием живет она, красота белорусской природы, непередаваемо просто и сильно взятая в звонкое польское слово.

Читая, вижу и ту научную канитель, которую до сих пор тянут усердные мицкевичеведы, путаясь и увязая в догадках: где? что? почему? насколько? И странным кажется их труд: неужели это так уж и надо?

А произведение живет своей жизнью. Со всеми своими удачами и вредным, даже забавным сором ошибок, неточностей.

Праздника «наисвентшей панны Кветнэй», щедро описанного в одиннадцатой книге, совсем, например, нет в католическом календаре. Об этом с тактичной немногословностью говорится в примечаниях к эпосе. Я даже рассмеялся, прочтя это неспроста сделанное примечание. И выделял же этот высокообразованный новогрудский «литвин»!

Для пышных вельможных банкетов блюда выписаны им из старой поварской книги и, как объясняет издатель, «забавно соединены без внимания к их значению». Оголодавший эмигрант, который, пока писал свое *agcydzieto*¹, питался, так я читал когда-то, преимущественно картофельной бабкой, «дранкой», как говорят и при нем, видимо, говорили в нашей местности. Это мне очень понравилось, удивительно, радостно соединяя в представлении деревенского подростка величие гения с простотой, с близостью человека.

В этой связи стало как-то холодно, грустно, странно от мысли, что живого человека с его глубокой, искристой душой, естественно наделенной человеческими слабостями, замуровали в холодно-гладкий мрамор Вавельской гробницы, в камень и металл многочисленных памятников.

* * *

Я могу ошибаться много в чем, в жизни моей было немало ошибок, но одно я знаю твердо: выше всего и прежде всего — человечность.

Я верю в это всю свою жизнь, и только это осталось бы у меня, если бы пришло самое большое или последнее горе.

* * *

К этой теме трудно найти подступ, трудно понять и передать другим тот ужас, боль от неимоверной низости, до которой может дойти человек...

Сидел на процессе над бывшими карателями, теми из наших людей, что в начале войны попереходили на службу к фашистам. Сидел я в первом ряду, с самого края от загородки для подсудимых. Смотрел в их лица с расстояния трех-четырёх метров. Когда один из них, стоя за трибуной, свидетельствовал против других, мне было видно, как под его старым пиджаком дрожали от страха худые лопатки. Всматриваясь в лица, я особенно удивлялся румяному, лысоватому, исполненному спокойной сытости мужчине, наиболее как будто пристойному и почтенному на вид. Пятнадцать лет после войны он работал где-то в Поволжье учителем начальной школы, тысячи дней, миллионы минут всматривался в детские глаза за партами и не взорвался, не разлетелся на куски от воспоминаний о тех детях, которых убивал — днем и ночью, летом и зимой под вопли их матерей, также предсмертные!..

Тот, у которого дрожали лопатки, был пока что свидетелем, а не обвиняемым, его разыскали позже всех, где-то на Полтавщине. Как он ни пытался выгородить себя и, для себя же, приглушить вину всей компа-

¹ Шедевр.

нии, он, однако, свидетельствовал против тех, за перегородкой. А они огрызались. И вот когда в этой омерзительной звериной грызне, ограниченной только страхом и осторожностью, послышалась хлесткая реплика и хохот кого-то из публики, мне стало страшно...

Страшно и горько оттого, что сегодня, осенью шестьдесят первого года, кому-то, кто все это наблюдал и слушал, вдруг стало весело.

Чего здесь больше — идиотизма или бездушия?..

Вот две странички ужаса, которые не имеют права отойти в небытие, живые слова тех, что чудом выжили:

— Немцы какие-то или дьявол их знает, кто они, бросили меня в огонь, когда хата горела. Заслонила я лицо руками и перебежала...

Говорит это уже старая сегодня женщина, с лицом, опаленным в том огне.

— Дети маленькие целовали им ноги: «Дядечка, папочка, не стреляйте меня!..» Но они стреляли.

На предложение председателя суда посмотреть на подсудимых — может, который ей припомнится, — женщина не повернула даже в ту сторону головы:

— Нехай они на свет не глядят! Не хочу я на них и глядеть!

На трибуне другая женщина, годов под пятьдесят.

— ...Все мы лежим пострелянные, а я — живая — лежу со всеми и слышу все. Мальчик мой меж трупов поднялся и зовет: «Мамка, иди, уже немцы ушли!..» Они его оттуда, куда уже было отошли, застрелили из автомата... Встала я потом, деток своих пособирала на дерюгу, поровняла ровненько, обтерла кровь... Потом уже, когда наши пришли, написал мне мой муж: «Живы ли вы там?» А я ему написала обо всем: «Нужна ли я тебе теперь — одна да такая!» А он пишет: «Я еще не такое видел. Я и сам инвалид, без ноги». Вернулся он, и деток трое мы нажили...

В зале аплодисменты.

А женщина обратилась к тем, что за столом — вершителям народной справедливости:

— Вот, может, товарищи дорогие, помощь какую дали б на детей.

В зале — то же, что в стенограммах да в отчетах называется оживлением.

Прокурор сказал женщине:

— Идите, живите на здоровье. Все будет хорошо.

Женщина пошла. Она поверила.

Ей обещали и от нашего имени.

* * *

Снова вспомнил почему-то, как я в начале сорок шестого, двадцать лет тому назад, несколько дней сидел на процессе над немецкими военными преступниками, писал об этом в газете. И даже намеком не упомянул тогда одного из подсудимых, солдата, который в последнем слове низко поклонился залу и сказал:

— Прости меня, белорусский народ, я очень не хотел делать тебе зла!..

Мы даровали тому человеку жизнь. В то суровое время, при той накаленности справедливой обиды и ненависти.

...Память свою я сегодня проверил по стенограмме процесса. Солдата звали Родэнбуш, ему было тридцать лет, пекарь, сын саарского шахтера. Тесть — коммунист, репрессированный в начале войны. Сам Родэнбуш в тридцать восьмом году «самовольно отлучился» из воинской части, где отбывал действительную службу, и был наказан судом. В вермахт, на восточный фронт, взяли его в сорок втором.

Из обвинительного акта:

В «акции против партизан» около Осипович Родэнбуш, который действовал в составе команды, убил восемь человек и поджег пятнадцать хат. Около Рославля «лично застрелил» четырех мужчин, двух женщин и троих детей. Во время летнего отступления в сорок четвертом, по приказу командира роты, застрелил двух подростков, которых заподозрили в краже боеприпасов.

Из речи адвоката:

«При всей примитивности его культурного уровня, Родэнбуш не мог не понимать бесчеловечности, преступности своих поступков и должен нести ответственность».

Но:

«Если даже генералы, как они здесь заявляют, были скованы приказами высшего командования и директивами фашистского руководства, так что уж говорить о рядовых солдатах».

Еще одно «но»:

«Родэнбуш только в плену понял всю преступность фашизма и свою вину. Искренность этого заявления находит определенное подтверждение в том, что он во всем признался сам. Он рядовой солдат, сотни тысяч таких, как он, прошли с огнем и мечом по городам и селам Белоруссии, его никто из наших людей не запомнил, не узнал. Здесь не было свидетелей, которые могли бы подтвердить его вину. Его обвинения обоснованы его же собственными признаниями. Здесь, на суде, он повторил: «Меня угнетали мои злодеяния, и я все рассказал».

Человек с еще живой, еще не заглушенной совестью понес кару тюрьмой за то, что он не смог стать сильным — не отказался от участия в убийствах, не смог выпутаться из страшной паутины. Кара была заслуженной — через трупы невинных не переступишь. Суд был справедливый — солдат не погиб позорной смертью, на виселице, рядом с генералом, который создал Азаричский концлагерь, капитаном, который занимался организацией Оршанского гетто, и комиссаром гестапо, который лично, для примера подчиненным, расстрелял на пути от Слонима до Орла «приблизительно пятьсот человек»...

Неужели Родэнбушем, растоптанной гитлеризмом душой простого человека, причинами таких злодеяний должны заниматься только его соотечественники, литераторы новой Германии?

Возможно, им это более понятно, они напишут об этом лучше.

Но почему же и мне опять и опять вспоминается то последнее слово?..

* * *

Вчера ужинал с гостем, земляком. Давно симпатичный мне черно-рабочий войны, один из первых в нашей местности партизан, а потом фронтовик. Разоткровенничавшись после чарки, он рассказал — впервые за двадцать два года довольно близкого знакомства, — как его в Германии, летом сорок пятого, судили. Свои. И тяжело мне стало от этого рассказа, даже записываю, чтоб как-то расквитаться с тяжестью, болезненной и сложной...

У человека немцы — не просто гитлеровцы, власовцы или полицаи, а именно немцы, немецкие солдаты — замордовали всю семью. Соседская девочка, которая тогда чудом уцелела, рассказала, как старая мать моего земляка кричала от предсмертного ужаса, а его маленькая единственная дочка успокаивала: «Бабуля, ты не кричи!»...

Человеку тогда не было еще тридцати, он носил в душе столько обиды, ненависти, жажды отмщения, что ему не хватало и х него раз-

грома, и хней полной капитуляции. Он мне не говорит этого, он мне просто рассказывает, как ехал на «студебеккере», один в машине, один на дороге Дрезден — Берлин, и догнал колонну и хних, безоружных.

— Я оглянулся. Никого нет. Ну, думаю... Потом меня догоняет наш «виллис». Он трубит, а я утикаю...

Мне надо протестовать, я чувствую, что на этом кончается моя прежняя симпатия к человеку, однако я почему-то молчу.

— Арестовали наши меня. Судили показательным. Дали десять лет.

Мне вспоминается другой чернорабочий войны, другой работник нашей победы, что добывалась, я знаю, не в беленьких перчатках. Тоже бывший партизан и фронтовик, который бил фашистов, ходил через Хинган, — солдат, что имеет право, как говорит его быстрая маленькая жена, называться настоящим «русским Иваном», который на своем горбу вынес добрую долю всенародной военной ноши. Иван этот — он, кстати, так и зовется — приходил ко мне в позапрошлом году раз несколько, первый раз вдвоем с женой. Просили помочь с квартирой. Работает парень опять же рядовым, на самом низу, разнорабочим холодильника. Дети растут и учатся неплохо, особенно старший, десятиклассник. Готовиться к занятиям лазит в погребок, под их комнатуской, в бараке. Туда отец ему провел свет. Потому что все еще Иван стоит в райсоветской очереди на жилплощадь.

— Я тебя, браток, не беспокоил бы, но баба не дает дыхнуть... — этак признался он в другой раз, когда пришел один. И даже, говоря, виновато улыбнулся.

Слово за слово, и рассказал мне случай.

— В Германии было. Идем мы с лейтенантом и слышим: наверху в доме кричат. Взбежали мы, кажется, аж на четвертый или пятый этаж, а там — наш, незнакомый какой-то. Немцы, старик и старуха, кричат что есть силы, а он, скотина пьяная, скандалит... Я подлетел да автоматом его, прикладом по голове. «Что ж ты, сукин сын, делаешь?..»

...Я с этим, только с таким Иваном.

А тому, первому, что зовется по паспорту иначе, я напрасно не сказал всего, что думал, слушая его рассказ.

* * *

Чтобы знать все, что надо знать настоящему человеку, не хватило бы и столетий. А все же хочется знать как можно больше, чтобы как можно больше сделать людям на счастье.

Пчелиный закон? Муравьиный?

Нет, человеческий.

* * *

Заходил в костел. Как раз «день задушный» — поминовение умерших.

Странно было, как много дядек и теток еще все поют:

Добры Езу, а наш пане,
Дай им вечнэ спочыване...

Пускай уж толстая голосистая мешаночка звонко выводит, от всей души. Но вот смотри ты — и мужчина, который столько войн прошел, двадцать лет живет в социализме, и он также гудит под нос, в свои си-

вые мочала: то это «пане», то даже извечное «кирке элейсон»¹... Один старик даже глаза платочком утирал. Видно, думая о ком-то, с кем разлучился безвременно, с кем рядом хотелось бы жить вечно...

«А наш пане...»

«Господь» для белорусского мужика, православного, не совсем то же, что «пан». Не так прямолинейно, непосредственно связано с земной действительностью. «Господь» — хоть и это идет от «господ», от барства — все же где-то на небе, во всяком случае дальше. А «пан» — здесь, всегда под боком был. И костел этот на двоих с Радзивиллом, под костелом, в склепе, — паны. А за костелом, за греблею, — замок, где пан над панами, который солью землю посыпал, чтоб летом кататься в санях — на медведях...

Не удивительно, что это было, удивительно, что осталось, чувствуется в той забитости, покорности, с которой наши добрые люди становятся на колени, плачут расчувствованно и поют, целуют каменные ноги распятого «пана»...

* * *

Начинаю уже считать свои годы, как рубли к концу командировки... Неужели в народном «уже и домой пора собираться» есть что-то от религии?

Или это просто великая, настоящая мудрость — от земли, от труда, от жизни, — мудрость, выше которой нет ничего?

«Домой» — слиться с природой, стать частицей ее, побыв немного в счастье и в горе сознательного существования.

* * *

Большое мусульманское кладбище. Старинное, даже древнее, с гробницей святого, построенной в пятнадцатом столетии. Гробница на ремонте. Деревянная мечеть, на отшибе, при входе на кладбище, немного похожая на какой-то веселый, даже роскошный павильон, построенная на общественных началах, недавно. Толпа мужчин, преимущественно пожилых, с добровольной покорностью оставляет обувь на ступенях. Правда, для многих ритуал разувания заключается в том, что правверный снимает только галоши и предстает пред грозные очи аллаха в сапогах. Зато много тубетеек — черных, зеленых — обмотано белой чалмой.

Обочь асфальтовых и глиняных утопанных дорожек густо стоят высоченные тополя, будто отмытые, отчищенные весной.

Меж памятников и одетых в камень могил вот-вот распустятся розы, синеют ирисы, тонко и квели колосится ячмень, рдеют огоньки мака, буйствует в цвету сирень, тихо и радостно белеют вишни.

Бьют перепела. В середине апреля?.. Просто подпрыгнуть хотелось от неожиданности, когда послышалось, будто шелкнуло сочное и хлесткое «пить-полоть!» Наш проводник, приятный узбекский коллега, рассказал, что перепелов здесь, по традиции, держат в клетках, готовя для самцовых боев. Несколько клеток, завешанных полотном, он показал нам издали, под карнизом домика и на дереве в садике, уже за оградой кладбища. Это оттуда, как упругие, настойчивые пузыри со дна темной воды, били наверх звонкие голоса пестрых невольников. Поваяло отзвуком родных мест — пришел спокойный, погожий вечер над шедрым, утомленным полем, где «пить-полоть» пульсирует, как молодое, веселое сердце.

¹ Господи, помилуй (*греч.*).

Кукарекают петухи.

А вот и чистая экзотика: от мечети послышался отчаянный, жалобный крик муллы. Еще, еще раз...

Проводник сказал, что это — конец панихиды.

В нашу сторону идут несколько мужчин, первый из которых, старый, в подзолисто-сером плаще и зеленой тюбетейке, несет на руках перед собой что-то накрытое красным, узорчатым.

— Взрослых несут на плечах, в гробу, хоть закапывают без него. А детей только на руках. Это девочку несут: под покрывалом.

— Три или четыре года, — дополнил нашего проводника могучий, толстый дед, пенсионер в кителе. Он только что подошел к нам, поздоровался и представился с солидностью хозяина всего этого скорбного хозяйства.

— Можно и нам за ними пройти?..

И вот мы идем в конце небогатого похоронного шествия — за растянувшейся толпой мужчин, за инвалидами на костылях, что ковыляют, торопятся, словно бы туда, куда лучше поспеть первыми. И мы спешим, молча поддавшись общему настроению.

А все же не поспеваем немного.

Около свежей ямы из рук старика в сером плаще принял ношу молодой подвижный могильщик. Он стоял уже в круглой яме и, пригнувшись, осторожно и проворно укладывал вынутый из красного покрывала белый, в саване, кокон в горизонтальный подкоп. Потом подкоп заложили камнями, бросили в круглую яму по горсти песка. Большой кетмень — извечная мотыга, лопата, а то и плуг этих знойных, с упорным грунтом мест — быстро и умело заходил в руках работяги, засыпал яму и вознес над нею холмик глинистой земли.

Наш узбекский товарищ осторожно показал мне отца девочки.

С залысинами из-под черной тюбетейки, с завязанным тряпицей пальцем, он неуклюже и, как ему казалось, незаметно вытирал грубой рукой слезы и что-то — по губам было заметно — шептал...

Все присели на корточки. И мы, незнакомые, вместе со всеми. Старый мулла в белой чалме присел на синей подстилке меж двух своих ассистентов, тоже стариков. Начал молиться, бормотать с непобедимой убежденностью на лице.

Мне хотелось по-нашему, для удобства, стать на колени, хотелось, как маленькому, оглядываться вокруг. Впрочем, главное — я видел, как шевелились толстые губы отца, так же как и прежде, значит — не от молитвы. Если ж и молился он — думал, видать, об одном...

Ничего удивительного, если и то, что я теперь пишу, когда-нибудь прочтает узбекский читатель. Пусть же он знает, что мне хотелось как-нибудь выразить сочувствие убитому горем, но я боялся, что этим, может быть, нарушу какой-то обычай его страны.

Перед этим мы смотрели город. Большой, незнакомый. Ходили вокруг сказочного медресе. Посматривали на величественный памятник Навои — снизу вверх, против солнца, за спасительной для нас поволокой туч. Стояли разувшись в библиотеке мусульманского духовного управления, над огромнейшим фолиантом корана, перепечатанного фотоспособом с куфического оригинала. Осматривали — из окна автобуса и выйдя из него — роскошную зелень проспектов и парков, кварталы местных Черемушек, безоконные с улицы дома и дувалы старых кварталов, по-современному размахистое строительство академического городка...

Позже, после кладбища, мы смотрели, как множество молодых и пожилых ткачих на солнце и из-под деревьев зачарованно слушают белорусскую народную песню...

Многое мы видели в тот день.

Однако все осталось как бы фоном того настроения, тех чувств, какие я испытывал, прикоснувшись к человеческому горю у самой обычной могилки...

Будто я и летел сюда ради этого.

* * *

На обычной лесной поляне — обычная старая лесникова хата. Сеновал с поветью, сарай, погребница. Несколько ульев на грядках фасоли. Угрожающе, жгуче зумкают, вьются невидимые пчелы. У будки повизгивает время от времени, а то и гавкает от назойливых мух какой-нибудь Шарик или Мурза. Еле-еле покудахтывает где-то в солнечной истоме самая разговорчивая курица.

Вокруг усадьбы дозором стоят вековые дубы.

Сквозь заросли пробирается чистая речушка, напоминая мне памятные со школы строки.

Старый колхозник, что чертами лица и неторопкой походкой напоминает незабвенного человека, легко идет по скрипучим плашкам низкого мостика, склоняется над речушкой и, черпнув ключевой воды, оставленного на мгновение звонкого бега ее в жестяном кубке, говорит:

— Угощайтесь, пожалуйста. Касту́сь¹, бывало, любил...

Нет, это не обычная ключевая вода, не обычная лесникова усадьба, не обычный наш сентябрьский золотистый лес.

В этой хате прошло детство поэта. По этой траве под дубами, по песчаной дороге, по грибным верескам ходил он. В этом вот печальном и милом окне осенними да зимними вечерами светил огонек керосиновой лампочки, пока по первым в жизни страничкам бегали его зачарованные глаза. Может, как раз над этой криницей, в зеленой загадочной тени деревьев рождался тот первый наивный стишок, за который ему отец-лесник выдал авансом гонорар — тяжелой работой добытый царский рубль.

А этот вот старик, все еще неутомимый, легкий, приветливый человек, — младший брат создателя «Новой земли», дядька Юзик, отличный знаток и декламатор поэзии брата, живой персонаж нашей национальной эпопеи, — тот самый «Юзик-шалыной», который ходил здесь, по увечеченной их Кастусем земле, очень надежно держась за длинный подол материной пестрядинной юбки.

Стоят дозором дубы.

Над кроной одного в вышине — белое облако в солнце, как летом.

По-молодому не верится, радостно, удивительно от мысли, что именно про это место он, Якуб Колас, писал за решеткой тюрьмы:

Мой уголок родимый, милый!..

Наш уголок — так будет точнее.

* * *

Разумно пользоваться воронкой можно только соответственно ее назначению: переливая из широкого в узкое.

В литературе мы очень часто поступаем наоборот: из очень узкого замысла — в широкое многословие.

¹ Константин Михайлович Мицкевич — Якуб Колас.

* * *

Один, побыв когда-то в царской армии унтером, на ночь намыливал усы, подвязывал их платочком, а утром, постояв перед зеркальцем, спрашивал у матери, сторбленной от вдовьей доли старушки:

— Мама, я, кажется, красив?

— Красивый, сынок, красивый. Иди уж, коли так, запрягай.

У другого, намного моложе, была маленькая нога. Обует в праздник хромовый сапог, покрутит ножку перед собой, то с пятки, то с носка посмотрит и в который уже раз спрашивает у дружка-соседа:

— У тебя какого размера сапоги?

Сосед, здоровенный детина, спокойно, с привычной усмешкой отвечает:

— Сорок пятый.

— А я ношу сороковой. А мог бы и тридцать девятый...

Этих двух я помню из нашей западнобелорусской деревни.

Третьего — он был писателем — вспоминаю тоже часто. Теперь, несколько лет после смерти, книги его уже совсем не читаются, как ни шумели о них в свое время. Сегодня уже и аллилуйщики забывают называть его в праздничных перечислениях. Он был писателем. К а з а л о с ь, что был.

Помню обсуждение его очередного опуса. Очень «современного», очень «идейного», очень «нужного народу». Так говорилось тогда. Не всеми. Кое-кто, по молодости, по наивности, критиковал. Не говоря всего — что произведение вовсе не произведение, — а только отмечая отдельные недостатки.

И вот он — боже, какое величие, какая самоуверенность! — встал.

— Я прослушал тут ваши замечания, — начал торжественно, не спеша. — Те из ваших замечаний, которые достойны внимания, будут мною продуманы...

* * *

Темный и зябкий вечер. Остановился, чтобы послушать радио, что гремит со двора воинской части и немного слабее — за костелом, в гущине домов.

Совсем обычная это вещь и какая-то удивительная вместе с тем — что на окраине сонного городка, над камышами холодного болота, в ветвях деревьев два громкоговорителя разносят живой голос писателя, который рассказывает о своих творческих планах, а потом читает новый рассказ.

Он теперь гостит во множестве городских квартир, деревенских изб, по всей нашей большой стране и далеко за ее рубежами. Голос его теплится и пульсирует в воздухе со всеми своими человеческими и только ему присущими интонациями, он говорит с миллионами, и он так близко от меня. Ничего, что лично мы с ним всего лишь знакомые, — я люблю его книги, и я вот постоял под деревом, на слякоти, послушал...

С каким-то наивным, что ли, волнением, с мыслью о наших правах и нашем долге — так вот греметь над землю.

* * *

Купил и с интересом перелистываю книгу «Фауна Белоруссии».

Среди зверей, орлов и гадов очень неплохо это звучит: *Luscinia luscinia* — о б ы к н о в е н н ы й соловей. Найдите более точную и гордую оценку. Так бы и нам определять значение писателя.

* * *

— Дай, бэцю, сена охачок. На один кнут,— просит цыган.
А потом кнут тот как выблеснет из-под мышки — целую копну увяжет.

Слово таит большую силу.

— Так вы это, тетка, и пчел на старости лет сами досматриваете? А сын?

— Ой, милый, если б же он умел! Пчела — скотина, которую не ударишь.

— С нею не наговоришься. Придет, сядет — полную хату тебе на-молчит!..

— Давай уж лучше без лишнего шика — оба будем в пехоте, рядом. На кой мне ляд такая кавалерия, где я — чаще всего — вместо коня!

— Какого ты хочешь лада в нашем правлении? Воз из Львова, пан из Кракова, кони из Сморгони, а фурман из Ошмян... Сбор, дружина. Да еще каждый смотрит в свою сторону.

* * *

Баба все роптала да ойкала: «Ой, горе, горе!..» И начали ее звать Горей. Ну, а мужа — соответственно — Горем.

Пошел однажды дядька Гор на заработки с косой в княжеское урочище Писаревщину. Махал, потел целый день, а идя домой (и на самом деле — «ой, горе, горе!..»), потерял заработанную сороковку.

С тех пор и ходит по нашей деревне своя, местная поговорка, лет, поди, около сотни: «Заработал, как Гор на Писаревщине».

Только все меньше и меньше людей помнит, откуда она взялась.

И еще одна: «Опоздал, как кожевский святой».

В недалекой деревне Кожево завелась была какая-то секта. Дошли до того, что их «старший брат», проповедник, повел тех дядек да теток в белый свет. По святому писанию: «Идите и проповедуйте евангелие...» Вышли за деревню, и тут один мужик остановился и говорит:

— Братья и сестры, забыл я свиней из хлева выпустить. За что будет скотинка божья мучиться?.. Пойду я выпущу ее и догоню вас.

Побежал и... не вернулся «кожевский святой». Так и опоздал в царстве небесное.

* * *

Студенты-диалектологи, парни очень внимательные, хорошо слушают, что ты им ни говори!..

Молодица только что поругалась с соседкой через забор. Студенты застали ее — еще не остыла.

Да вот остывает, разговаривая с ними. Уже и усмехается:

— Когда ругаешься, так слово-то, кажется, купил бы! А теперь так любое отдал бы назад...

* * *

Баба Катрина могла б, кажется, и на самого бога кинуться со скорородником. Трогал ты ее или не трогал — смотри, чтоб самому хоть

как отцепиться. А прозывали старую — из-за двух пчелиных колод, что уже давно струхлявели под яблонями,— Катрина Солодкая.

Если б так прозывали дочку старухи, тихую молодицу Проську, что и жила и спала с хорошей, милой улыбкой,— не смешно было бы, не прилипло б так гладко, как к Катрине.

Пошло по нашей околице поветрие — баптисты. Заговорили они Проську, заворожили песнями, и стала она первой в своей деревне святой. Примак ее сначала бормотал, что «гадко перед людьми», а потом притих, будто и сам заслушался Проськиной песней. Баба Катрина сначала грызла и даже била дочку, а потом — кто б мог подумать! — и сама подалась туда же.

Я был еще мальчиком, когда она — высокая, понурая, с длинной березовой палкой — пришла из Сосновки к нам. Ранней весной, за три километра. Моя бабушка была ее троюродной сестрой, они дружили с малолетства, и Солодкая посчитала, что разводья разводьями, а помочь Таклюсе попасть в царство небесное надо. «Идите и проповедуйте евангелие всей твари»,— сказал господь. А чем Таклюся не «тварь»?

Сидят они, щи хлебают, и баба Катрина гремит на всю хату — гонит господне слово, как молотилка солому. Репертуар ее (на мое сегодняшнее разумение) был не очень богатый: что от других услышала, потому что и сама она, и Проська ее были неграмотные. Говорила она необычно и страшно, будто какой-то грозный и злобный поп. Однако не брала ее злость, мою бабулю. Ходить в Катринину деревню на «собрание» она не хочет, окреститься еще раз — и не думает. Не убивала она никого, не крадет, не курит — чего же тебе еще?.. Остановилась баба Катрина на пьянстве. Нельзя пить.

— Да что ты, милая, с ума сошла — когда ж я пью?

— Она не пьет! Никому пить нельзя! Чтоб их смола испила! Пьяница царства божьего не наследует!..

— Ну, пьяница-то пьяница. А если оно с добрыми людьми да есть причина, то надо и выпить. Свиной не будь, а чарочку..

Баба Катрина с полной ложкой в руке внезапно затихла, слушает.

— Ага, Таклюся, чарочку,— вдруг сказала она задумчиво и мягко.— Чарочку выпьешь, и этак оно добренько! Так и пойдет тепло по всему телу. До пят..

И усмехнулась страшная баба, как ее Проська, будто и вправду — Катрина Солодкая.

* * *

Вспоминается оптимист:

— Баба моя нажала три копны пшеницы. Снопы великоватые. Говорил ей: вяжи поменьше. Смотришь, было бы не три, а без малого и четыре!..

* * *

Один племянник деда Степана «выбился в люди» — служил управляющим у князя Мирского. Князь князем, а расторопный управляющий и сам вскоре неплохо-таки опанел. Однако старого дядьку нет-нет да в гости, в свое именье, звал.

Как-то дед тыкал, тыкал в тарелку вилкой, а затем отложил ее и взял мясо рукой.

— Вы, дед, когда-нибудь ели с панями? — спросил один из деликатных гостей.

— Не-е, как сам ведаешь, никогда.

— А со свиньями?

— Да сегодня вот, пожалуй, первый раз.

В другой раз дед уже сам сцепился с таким паном.

— Почему это, пане, ваши коляды¹ на две недели раньше наших, православных?

— Потому что паны, как люди культурные, раньше услышали, что родился пан Езус.

— Хм, как сам ведаешь! А я же в библии читал, что первые об этом пастухи услышали. Неужели ж это паны тогда сами своих свиней пасли?

Библию дед читал. Даже когда свиней пас. Часто и засыпал, положив голову на толстый и рыхлый от старости фолиант. А потом рассказывал соседкам, как это царь Давид состарился и уже никакая, как сама ведаешь, одежда не грела его, так собрались старейшины, весь кагал, и присудили ему, сестрицы мои, молодую, теплую бабу.

Старухи плевались, не веря, что этакое да может быть написано в святой книге.

А дед поглаживал бороду и усмехался:

— Такое, как сам ведаешь, и мне было бы нелишне!..

* * *

Если б я однажды утром проснулся и вдруг поверил, что она жива,— я побрился бы чисто, надел бы белую рубашу и, отложив всякие труды и дела, через весь город пошел бы сказать: «Доброе утро, милая тетя Владя!..»

Благородный был человек. Суетливая, говорливая, веселая, иногда трудная, как говорится, по характеру, но — особенно с расстояния времени — хорошая.

Часто мне вспоминается одна поездка с нею. В колхоз имени Янки Купалы.

Был июнь в самом солнечном цветении. В дороге мы — три писателя, тогда еще молодые, наша чудесная хозяйка и шофер — перекусывали в буйной траве под березками, вкусно и весело. Потом в деревне, приехав рановато, ждали, чтобы свечерело.

Купалиха куда-то пошла, шофер придремнул в затишье, а мы сидели втроем на крыльце клуба, в тени. То ли разговоривая о чем-то близком, то ли просто так, в приятном молчании,— помнится только хорошее, тихое настроение.

Да вот откуда-то появился, будто с неба упал, уполномоченный. С красным околышем, сам рыжий и красноватый от «мухи».

— Чья машина? — спросил он грозно.

Двое нас было, можно сказать, могучих — один сидел на приступке, а другой возвышался почти до самого нижнего края крыши. Третий товарищ был маленький, довольно мизерный, однако ж с таинственным, сурово сосредоточенным выражением лица.

— Мне нужна машина! Это чья?

— Наша, — сказал я.

— Вы что — по выборам?

Как раз избирались судьи и заседатели.

— Нет.

— По государственному займу?

¹ Рождество.

Был пятьдесят четвертый год.

— Тоже нет.

— Кто же вы тогда? Чья машина, я спрашиваю?

Совсем спокойно, как этот вечер деревенский, я разъяснил:

— Это машина вдовы Янки Купалы.

— Ну, хорошо, она — вдова, а вы кто? — наступал капитан.

Тогда я, словно бы по наитию, шепнул ему — с надлежащей таинственностью, на полгубы:

— Мы — ли-и-ч-на-я ох-ра-на.

Уполномоченный мгновенно рванулся по стойке «смирно», козырнул всей горстью и гаркнул:

— Здр-равья желаю!

Мы приняли дань его уважения молча, с надлежащим спокойствием и достоинством.

Уполномоченный стушевался, насколько мне помнится, быстро, даже сразу.

Позже, в сумерки, в душном переполненном клубе был литературный вечер. Мы выступали охотно, нас хорошо слушали, особенно, как и следовало, тетю Владю. Потом в школе учителя угощали нас ужином. Выйдя из-за стола, мы все большой компанией вернулись в клуб на танцы.

Ох, как неумоимо танцуют наши девчата! Выбегают к колодцу, напьются из ведра холодненькой, попоют или похочут на звезды, пообсохнут малость от ночной свежести — и снова пошли, полька или крыжачок — завод на целые полчаса!..

Мы, как бояре, сидели на лавке, грустновато чувствуя, что уже не для нас такая неумоимость. Тетя Владя то любовалась танцами, то снова стыдила нас:

— Сидите, увальни!..

И тут, как с ясного неба, вновь появился уполномоченный. Румянец его был уже более густой.

Он подошел к уважаемой гостье, галантно козырнул, наклонился и гаркнул:

— Фокстротик не желаете?

Гаркнул культурно, чтоб только музыку перекричать.

Видю и сегодня, как она добродушно смеется — полнолицая, в своем неизменном черном берете. Смеется молодо. Рукой, по праву старости, отмахнулась: да что ты, человеке, не совсем здоров?..

Танец сменялся танцем. Перерывы шумели смехом да песнями.

Уполномоченный то исчезал, то появлялся. Появившись, он снова подходил и козырял:

— Фокстротик не желаете?

Внимание его было, бесспорно, искренне, а танец предлагался — самый шик.

После третьего раза тетя Владя, как только кавалер повернулся, чтобы снова исчезнуть, сказала по-своему непосредственно, громко, сквозь молодой, сердечный смех:

— Ой, хлопчики... Когда мы с Янкой в Вильне жили, был там... такой же, такусенький дурень — околоточный!..

* * *

Молодка в белом халате санаторной санитарки весело рассказывает, как она на днях была в своей деревне недалеко от Любчи на крестинах.

— Сестра моя, Лида, звеньевая по льну. Шла в декрет — так дали

ей за четыре месяца триста восемьдесят шесть рублей. А мама наша говорит: «Боже мой, божечко, я девятерых детей привела и хоть бы кто когда за это дал мне хоть рублевку...»

* * *

...К майке пришит кармашек, в котором зашпилен партбилет. Так и умываться выходит на общую кухню коммунального особняка, и в уборную идет за дровяник, и дрова колет так, и на лавке сидит, если не на службе.

Всю войну был военкомом в глухом узбекском кишлаке. Жена, учительница, хвалится соседкам, как им тогда таскали баранов, да рис, да фрукты всякие — за бронь или хотя бы отсрочку...

Теперь, на втором году после победы, этот правоверный работает инспектором каким-то.

Вернулся с посевной, вышел на кухню, в майке с зашпиленным кармашком, вздохнул-зевнул и признался заслуженно:

— Ну, отсеялся!..

Так же, как и отвоевался.

* * *

Не помню, но кажется, что не записал нигде, как летом тридцать второго года в сенокос меня после нескольких дней тяжкого, горького раздумья над жизнью, над моим в ней местом, над моей никчемностью... меня, подростка, вернула к жизни, к пониманию ее смысла красота окружающего мира.

Больше всего поразили меня черные, блестящие, сыто-горластые грачи над покосами и на покосах. Они и сейчас — через тридцать четыре года — вспоминаются мне.

* * *

Дорога вдоль зеленой стены преимущественно соснового леса. Тихого, мокрого. На обочине много камней, которые повыкачены сюда за много лет вспашки. Жито — радостное множество хлеба, поднятое над землей в недоспелых еще колосках. Мокрые ромашки, хоть дождя уже давненько нет, попускали лепестки вокруг желтых лысин. Много их — и на обмезьях и в жите, реже у дороги.

В таком одиночестве, в такой тишине жизнь видится словно бы насквозь, от начала и вперед: что было и что еще надо успеть завершить.

* * *

После двух московских дней, жарких и суматошных, вчера был первый волжский день.

Вечером писать не смог: усталость такая или даже лень, однако не принуждал себя, а только для памяти набросал в блокноте главное, что надобно расшифровать.

Поднялся в шесть часов. Не рано. Волга уже живет не ночной, а дневной жизнью — в солнце и мгле над правым берегом. Старый чернородый матрос неслышно драит и без того голубовато-чистенькую палубу, — слышать только время от времени шумок воды из крана.

Снова заходил в московский дом Толстого. Все как всегда, а волновался, тихо стоя перед порожком затянутых шнурком дверей в низкий белый кабинет Льва Николаевича... Тот стол с маленькими поручнями,

что так знаком с юношеских дней по репродукции с портрета Ге. Наивная, как будто молодая мысль: может, и я за этим столом написал бы что-нибудь хорошее... В тенистом саду, где духота кончалась для нас приближением грозы, говорили с Володей о том, как Он любил жизнь, как все время старался ее познать. Надо будет перечитать «Так что же нам делать?» — то, по чему я когда-то учился жить, узнавал Москву, Россию... Удивительно теперь вспоминается то время, тот островок жизни, тот мешок, как говорилось, в котором мы сидели, изолированные панами от большого мира.

Сидя в своей Западной, я любил Россию по книгам. Слушал песни и беседы бывалых мужиков, которые в солдатах или на заработках видели вот это: безбрежную Волгу, белых чаек на фоне соснового берега, розово-фиолетовую воду на закате солнца и немного позже опять же чаек, уже на воде, притихших, видать утомленных...

Деревни от Дубны до Углича серые, унылые. Видно, небогато живет... Думается, что можно было бы сделать на этой земле... А на каналах, на шлюзах приятно видеть, что уже сделано.

Вспоминаю Максима Богдановича. Живя в такой вот надволжской красотище, парень писал о своей Беларуси, которую видел так мало!.. Ну что ж, он, очевидно, умел видеть так ярко, так много, что ему и коротких поездок на родину хватало.

Вчера на «зеленой стоянке», лежа на опушке, думал: куда ни едешь — одно: небо, сосны, зеленовато-желтоватый лен... А после вспоминаешь, что за этим очень обычным льном — стоит только подняться да глянуть — простирается Волга.

Здесь, в этих местах, которые я вижу впервые, жил когда-то тот или другой и мне известный, и мною любимый писатель!.. Подумалось об этом впервые так свежо около Калязина, связанного с именами Крылова и Щедрина. В этом открывании их, любимых, на той земле, которую ты узнаешь, — своеобразная радость. Здесь важно, что идешь от места к имени. Снова и снова почувствовал я эту тихую радость около гимназии, где учился Богданович, а потом у Некрасовской деревни...

Вчера утром, любуясь все новой и новой Волгой, вспомнил солнечную картину из «Кожемякина», запомнившуюся с первого прочтения — тридцать пять лет. Рыбак, искупавшись, молится голый на восток, где показалось солнце. Когда спросили, зачем он так, тот очень резонно и исчерпывающе сказал: «Люблю!»...

И я вот гляжу, не могу наглядеться — по той же причине.

В Ярославле, пока мы, слушая экскурсоводку, стояли перед древней церковью с молодо-зелеными и шершавыми, как ананасы, куполами, поймал прежнюю мысль: русская песня, русская речь, русская культура вообще — очень на месте дома... Если б я был русский, так и не лез бы никуда из великой России, из великой русской литературы: хватило бы мне и своего.

Позавчера мы проходили под мостом около Углича, и молодежь, что стояла высоко над нами, кричала: «Счастливого плавания!» Им это не очень дорого стоило, а нам было приятно. Вообще, как ни много по Волге снует белых красавцев теплоходов с туристами, со встречных барж да буксиров, с причалов и набережных люди кричат, машут нам руками — часто и всегда приязненно. Сегодня на сером буксире, который волок, как муравей, огромную баржу против воды, завтракала за столом семья. Белье трепалось на веревке, дети махали руками и что-то кричали, а отец, белая, мочучая спина которого согнулась над столом, снял кепку и, видать, обычно, однако ж не по обязанности помахал. Скелеты церквей на чудесных берегах.

На одном из таких берегов мы остановились вчера за часок до захода солнца. Пошли далеко по берегу двумя семьями и полежали на старой нескошенной душистой траве под неутихающий щебет стрижей и цыцыканье кузнечиков, под очаровательными от закатного солнца облачками — высоко, высоко над нами.

Чудесный мой мальчик кувыркнулся на сухих покосах, в удовольствии, хохоча от радости.

Правым тeneвым бортом идем близко от крутого берега, слоено-разноцветного снизу, зеленого — выше, Татарского.

Слева, на востоке, сверкающее множество воды.

Идя с тeneвой стороны палубы к борту, попал под упругий солнечный ветер и, как тот горьковский рыбак, захотел помолиться кому-то великому: дай мне еще пожить, и я что-нибудь напишу, нужное и хорошее!..

Позавчера был Горький. Город куда более величественный и красивый, чем представлялось. Хорошо, что узнаю Россию. Хоть и поздновато немного. Хорошо, что сын узнает ее, может, и не рановато: столько впечатлений в одиннадцать лет!..

«Домик Каширина». Сундук под маятником больших настенных часов. Место, где спал маленький Алеша. Подумалось там: а где же выводятся, откуда вылетают в свет буревестники?.. Вспомнилось почему-то множество ласточкиных гнезд на веранде речного вокзала в Химках. И голубь над черными могучими воротами шлюза, серый голубь с соломинкой в клюве, который нашел там где-то, за верхним карнизом ворот, в углу, свой единственный в мире приют.

Впервые так рано вышел на палубу — в четыре ноль-ноль. Но уже застал нескольких... просто любителей красоты, не заинтересованных профессионально.

Справа по борту — Жигули. Покрытые лесом горбы, затянутые ранней дымкой. Левей нашего курса — солнце.

Сижу в музыкальном салоне: драится палуба, да и ветрено.

На реке — рыбацкие лодочки, буксиры тянут или толкают медленные от видимой или невидимой тяжести баржи. Перед нашей «Кубанью» разминулись два белых, чистеньких теплохода. Тихие, полные спящих людей.

Фотографировать не хочется, как и раньше. Не передам я так всю эту вот красоту...

Вчера побывал в доме детства и юности Ленина. Чистый, скромный, завидный аристократизм быта и духа, и очень русский и общечеловеческий. На столике Марии Александровны лежат тома Шиллера — в оригинале. Европа в родном доме. Не удивительно, что он, Владимир Ильич, чувствовал себя человеком человечества.

Наша «Кубань» остановилась у танкера около берега, заправляется. Тихонько помурлыкивает внизу машинное отделение. Слышны жигулевские петухи — из сонного поселка под горой.

Легче всего сказать: «Я не нахожу слов...» Гора за окном, за водой, за поселком — будто огромная зеленая люстра, широким дном опущенная на возвышение, утыканная коричнево-зелеными свечами сосен, между которыми разлита зелень лиственного, как отсюда кажется, подлеска. Подобие не очень близкое, особенно потому, что соседние горы совсем не напоминают опущенной люстры, а свечами утыканы тоже... Слов не нахожу, а надо.

Над горами — низкое небо, мелко замощенное серыми кудлатыми тучами, изредка продырявленными голубизной.

Горы — будто застыли: не плывут назад, ждут, пока мы заправимся.

Хмурое утро. Стоянка на равнинном и зеленом берегу.

От большой воды по уже сухой после недавнего дождя траве пошли мы сначала в лесок, оттуда в степь, по стежкам в некошеной траве, вдоль очаровательных волжских стариц. Спокойная вода в камышах и аире, пропасть подорожника и каких-то колючих, серо-фиолетовых, даже потянутых дымчатостью цветов, будто неземных, а с какой-то другой планеты. Дубы. Засохшие деревья на берегу стариц. Мягко-серое, низкое небо.

Погода такая, когда работается хорошо, особенно ползая по воде. по болоту, а потом — присев к чистой бумаге, с душой, полной покоя и благодарности.

Скоро Саратов.

Запомнится и приволье саратовской Волги, чистенький домик Чернышевского, богатая галерея — Поленов и Рерих, «Авель» до сих пор неизвестного Малашкина: убитый юноша и встревоженный крик овцы над ним...

Запомнятся зелено-цветастые ковры волгоградских бульваров, мальчишки-пионеры, которые у вечного огня несут вахту с оружием тех, что здесь когда-то пали в бою. Запомнится наша ночная прогулка по городу и ночная Волга, когда мы отчаливали.

Волгоград не произвел такого впечатления, как, скажем, Ярославль, Горький, Ульяновск, — восприятие уже не первое, видел его раньше. Да и Мамаев курган — особенно скульптура с мечом — большого впечатления не производит. Куда больше, с новой силой после первого осмотра, волновала мысль о том, какая узкая полоска земли оставалась на берегу этого страшного, всемирно-исторического Рубикона, какое и в самом деле чудо произошло на этом месте!..

После купания в быстрой, чистой, теплой воде, после горячего песка и мягкой тени шел по бережку, где встречаются твердо покоробленный волнами песок под водой и песок на берегу, до свежесбетонного глянца обработанный наплывами воды, которые часто растревоживаются теплоходами, «ракетами», буксирами, плотами...

Радость — не по возрасту, почти детская.

Смотрю Волгу — как грандиозную кинокартину.

То крупным планом — со шляпочной палубы, с носа, с кормы, то с берега на «зеленых стоянках», иногда даже очень высокого, то с воды, в которой стою с удочкой...

Теперь смотрю из каюты, потому что холодно.

Берег и река проплывают в рамке окна бесконечными кадрами. Красный глинистый обрыв; лес, который издали кажется кустарником: пустой песчано-каменистый пляж, или, лучше сказать, то, что может быть и бывает изредка пляжем; пустая лодка на оловянно-трепетной воде; лодка с человеком, который хочет поймать рыбку... Только все хочет да хочет, ни разу не увидел, как тянет...

А потом в рамке появляется что-то необычное — скажем, какой-нибудь Макарьевский монастырь!..

Снова «включаешь панораму» — бежишь на палубу. Или просто так, или с фотоаппаратом.

Когда я, проснувшись, опустил жалюзи — солнце как раз выплывало из-за низкого горизонта.

Снова идем на Горький — снизу вверх. Высокие лесные берега, река естественная, без поднятой воды, с частыми большими отмелями, с извилистым фарватером. Греемся, немногочисленные активисты, сидя на корме, которую освещает до ослепительного блеска веселое солнце.

Вчера в Казани моего малыша больше всего удивил двухдневный медвежонок в музее: «Не мог даже представить, что медведи такие маленькие родятся!..»

А мне больше всего, видеть, запомнится то окно, из которого студент Толстой увидел, как солдата прогоняли сквозь строй. «Это легло позже, — рассказывал нам толковый и веселый студент-татарин, экскурсовод, — в основу рассказа «После бала». Ярко представил, как это близко не только русскому, не только мне, белорусу, а и японцу, и англичанину, и всем во всем мире, где знают — значит, и любят — Толстого, любят добро, красоту.

Запомнится еще пекарня, где гнул, месил тесто, гнул, проходя под сводами, гнул, залезая спать под стол, — Максим Горький.

Запомнится и аудитория, где сохранилась парта, доска и окна — те, что видели быстрые глаза юного Ленина.

Запомнится и вся Казань — какой-то светлый, зеленый город, овеянный присутствием великих.

Серо-зеленый вечерний покой. Серое небо. Серая Волга. Слева — зелень более отдаленного берега, до серости затянутая мглой. Справа она ближе и выразительней. Песчаная коса тоже посерела от приближения темноты и дождевой мороси.

За белой металлической сеткой палубной ограды, за кормой неутомимо пенится, шумит широкая полоса, стелется свежестью, будто белая борозда за небывало огромным трактором.

Летели недолго чайки за нами, потом отстали...

Серо-зеленый, чем дальше все более серый, во всю душу глубокий покой.

Вспомнилось, как двадцать лет тому назад в Таджикистане в вестибюле какого-то богатого здания, за круглым столиком, в тихом уютном уголке, я очутился наедине с Садриддином Айни. Я еще не знал его, даже по творчеству. Но старик нравился мне своею мудрой простотой, был даже чем-то похож на бога моей молодости Толстого... Нравился своей двуклочкой и осликом — вместо шикарного автомобиля, подаренного правительством, простыми сапогами, недорогим костюмом, сиденою под тубетейкой. Перед нами на столе пылал виноградно-яблочно-гранатовый костер. А мы молчали. Я — растерянно, а он или мудро, или по свойственной ему молчаливости. Рассказывали, что он не очень силен в русском языке. Молчит старик и так хорошо, приязненно поглядывает. А потом еще и руку на мое запястье положил. Усмехнулся и тихо сказал: «Ха-ра-се!»

Когда мы с Володей молчали, засмотревшись с кормы на серо-зеленый покой, я рассказал ему про Айни, повторив то слово, — и мы приняли его, как свое:

Ха-ра-се!

Перевел с белорусского Дм. Ковалев.



МИХАЙ ВАЦИ

★

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

С венгерского

СЛОВНО ПРИТЧА

Я жизнь свою сочту удачей,
когда народный ум ходячий
хоть пару строк возьмет моих.

Чтоб люди к месту поминали,
чтоб словно притчу понимали
и при себе носили их.

Как часто мудрым поученьем,
живым, отточенным реченьем
вершит старик житейский суд!

Реченье крепче самосуда,
и людям дела нет, откуда
оно в их речь вошло, как чудо,—
откуда! Разве в этом суть!

ШЕСТЬСОТ ФОРИНТОВ

Шестьсот — вся пенсия ему.
А я шестьсот на кофе трачу.
От кофе, что ли, не пойму,
опять в бессоннице маячу.
Шестьсот — вся пенсия ему.

Полвека трудится. А я?
А мне и не прожить так долго,
хотя профессия моя —
словами сыпать без умолку.
И нынче трудится. А я?

Чуть свет — с лопатой в огород.
А я в кафе, в эспрессо снова,
там разговоры про народ,
дойдет черед, и вставлю слово.
Чуть свет — с лопатой в огород.

Теперь подался в сторожа,
поближе к ржавому железу.
Меня мутит без кутежа,
зачем я здесь и в споры лезу,
когда он ходит, сторожа?

Ему я деньги посылал,
а он — назад в ответ на это.
Не брал: наверно, посчитал,
что будет честь его задета.
И больше я не посылал.

Зато хоть совесть в чистоте,
да в ней, признаться, толку мало,
ее бы выменять на те
долги, чтоб их поубывало,—
но чтоб и совесть в чистоте.

Завидна участь стариков
при всей неправоте природы.
Ты — рос, а их удел таков:
тебе свои отдали годы
и превратились в стариков.

Какой же плата быть должна
за отданное безвозмездно?
Про то, что вывезет мошна,
и говорить-то неуместно.
Иною плата быть должна.

ОСЕНЬ

Нынче небо млечной масти,
будто пар оконце застит,
будто кто вздохнул несмело,
а стекло и запотело.
Пар от пашни, как от стада,
а от леса и от сада —
тишь, а у нее в петлице —
одинокий посвист птицы.

Красок нет, они природе
только чуются в дремоте,
только снятся, только мнятся:
и березы, что теснятся
над мерцаньем странным, тленным,
доходящим до колен им;
и над кронами мерцанье —
как распад, как отрицанье,
как свечение экрана,
на котором след урана;
и плакучесть крыл утиных;
и паренье паутинок —
сеть, в которой ток печали,
возбуждаемый из дали.

В Балатоне, как в могиле,
ночь лежала в донном иле.
И костер, горевший в поле,
о ее несчастной доле
сделал проповедь на диво,
мурава обмыла, ива
крест надела ей на шею,
а тростник всплакнул над нею.

Снится ласточке-касатке
путь над морем без посадки.
Нашей крыше вдруг приснилось,
будто с аистом протилась.
Кладовая снится перцу,
этот сон ему по сердцу.

За густой завесой пара
коровенок тоших пара
тащит, тащит одноколку —
тянет солнышко на горку.
Ох, не та в худобах сила,
тяжко тащится светило.
Труден путь. А все же пройден.
Вот и влезли. Вот и полдень.

Перевел Дм. Сухарев.



НАТАЛИ САРРОТ

★

«ЗОЛОТЫЕ ПЛОДЫ»

Роман

* * *

— **П**ослушай, ты вел себя ужасно, неужели нельзя было сдержаться... Мне стало так неловко...

— Неловко? Что за чепуха? Почему неловко, черт возьми?

— Все это ужасно... эта открытка, эта репродукция... с каким видом он ее достал... А ты бы посмотрел на себя: взял ее в руки, сунул мне, не глядя, даже не посмотрел в его сторону... Он был так обижен...

— Обижен... подумаешь! Обиделся, потому что я не впадаю в экстаз, как они все, не падаю ниц...

Падать ниц всем, сразу, в экстазе... возгласы хором... чудо единения... До чего странные люди... Вот он засунул руку в нагрудный карман и вынимает... Тут тебе надо бы обрадоваться, как радуется врач, когда приходит конец его сомнениям и он видит там, где и предполагалось, крошечный прыщик, сыпь... надо было обрадоваться, когда он достал из внутреннего кармана, у самого сердца, именно это и протянул тебе, жадно блестя глазами, предвкушая эффект: «Вы видели этот рисунок?... Курбэ... Изумительно... Взгляните...»

— Смешно. Чудак он. Понимаешь, это же та самая репродукция... теперь они все держат ее у себя дома...

Прикноплена на серых с розами обоях, над письменным столом — для вдохновения — или над камином, меж зеркалом и рамой, и везде — о, чудо! — та же самая... А какие у них становятся лица... какие ужимки... Застенчиво... Гордо... Это мое открытие... Моя находка... Мое маленькое тайное сокровище. Не расстаюсь с ним никогда. Но вы, вы... с вами можно... Вы вполне достойны... Вам я могу без боязни: это не профанация, не принижение... С вами, только с вами — поделиться. Дарю. Подношу вам. Лучшее, что у меня есть.

Крупная голова, выпуклые глаза, толстые губы — трубочкой... и — приглушенным голосом, с трепетом: «Курбэ. Единственный. Самый великий. Да, я утверждаю. Я не боюсь этих слов. Он — величайший гений. Шекспир и он. Всегда говорил и говорю: Шекспир и Курбэ».

— Что же, по-твоему, — он повысил голос, — я позволю собой вертеть? Мне в высшей степени безразлично — пусть обижается. Не люблю, чтобы меня учили... Считали за дурака.

— Право, я тебя не понимаю. И никогда не понимала — как ты можешь принимать все это так близко к сердцу? А мне всегда до того боязно. Особенно с ним. Да и вообще с ними со всеми... Честное слово, я просто не знаю, куда деваться. Мне всегда кажется...

— Да, на тебя и смотреть было смешно... Вся подалась вперед... с таким

благоговением, так серьезно... Будто перед причастием... А голосок у тебя... «Ах, да... Прелестно... Где она? В каком музее?.. Да, да... Великолепно»... Нет, ты меня рассмешила... А сама и не смотришь.

— Да, не смотри. Я из вежливости. Может, если бы не ты, я бы тоже не так... Но мне за тебя неловко, не могу я...

— А вот представь себе, по-моему, ты вела себя с ним нехорошо... Ты не права... Вот я, например, вовсе не презираю его...

— А я презираю? Ты с ума сошел!

— Вот именно. Презираешь. «Ах, бедняжка, надо с ним помягче. Он так страдает от своего снобизма, от своей глупости... Не надо трогать... больное место... Не замечать ничего, так стыдно... А он такой чувствительный, страшно дохнуть...» Ты с ним обращаешься, как с психически больным. Да и все ломают с ним комедию. Вы мне напоминаете пьесу Пиранделло¹, помнишь — санитары изображают придворных? Он слово — и все в восторге. Он несет чепуху — и все соглашаются, пряча глаза. А он рыщет взглядом — нет ли где несогласных. Он их не терпит. И чуть кто пытается взбунтоваться — все на него, скопом... Все, как ты: «Ах, мне неприятно... Я разволновалась». А я вот не разволновался... С такими вещами не шутят, я этого не люблю... Курбэ тут ни при чем... Не в том дело... Я сам ходил его смотреть, нашего знаменитого Курбэ, нарочно ходил во время завтрака, чтобы никого не встретить. Посмотреть спокойно, со свежей головой. Невозможно! От них не удержешь... Уже на лестнице — иду вверх, а он слушается — этот Дюлю, ну, критик, пишет бездарные статьи и всегда не попадет... А тут он сразу — палец вверх: «Что, будете смотреть?.. Какая выставка, а? Вы в первый раз? Вот увидите. Первоклассно. Грандиозно. Потрясающе... Только умоляю, не пропустите... там, в конце, в малом зале... крошечное полотно... внизу слева»... Это уж он сам открыл, лично. Это его заслуга: «Голова собаки. Вот увидите. Молчу, молчу!»

— Но ведь им и вправду это нравится... Уверю тебя. Им хочется с кем-нибудь поделиться... По-моему, это даже трогательно.

— Знаю я эту их потребность — непременно делиться, общаться. Ведь он и вправду уверен, что это очень хорошо... Но такой тип, как Дюлю, — нет, не смей меня...

Узнают друг друга с первого взгляда. Люди одного круга, не так ли? Те же закрытые клубы, те же салоны. Те же портные, поставщики. Тот же цветок в петлице, те же гетры и шелковые жилеты, тот же монокль в глазу. Но эта маленькая деталь, этот чуть заметный признак изящества... такой смелый, такой тонкий штришок... редкий вкус, изысканность... «О, пустяк... Только вам, строго между нами... пройдите туда, скажите — от меня, — что вы, что вы, пожалуйста! — и там, в глубине, слева... Никто не замечает, но я вам советую. Поразительная вещь, вы просто влюбитесь: голова собаки...»

«А голова собаки? Вы ее видели?.. По-моему, восхитительно... По-моему, просто чудо... Одна эта маленькая вещь могла бы...»

Да, эта маленькая вещь объединила всех... восторги... слияние душ, единство... Кажется, и я поддаюсь... щекочет нервы, изумительно... Подступает, накатило... Возгласы... Экстаз... Ну же, давайте, все вместе, громче... Еще, еще. Вперед. Теперь и я лечу со всеми вместе, сметая преграды, срывая тормоза... До конца... Меня ничто не удержит... ни жалкая боязнь смешного, ни леденящий страх стыда. Еще. Я поддаюся — я охвачен восторгом... А он, вон там... смотрите. Он впадает в транс... божество в него вселилось, он в конвульсиях, закатил глаза, на губах — пена, катается по земле, рвет на себе одежду... «Для меня...» Он бьет себя в грудь... «Для меня, я не боюсь сказать... нет ничего выше. Курбэ — самый великий. Шекспир»... Последний спазм. Все тело — дугой: «Шекспир и Курбэ».

¹ В пьесе Пиранделло «Генрих Четвертый» речь идет о безумце, вообразившем себя королем. (Здесь и дальше — примечания переводчика.)

— Слушай, меня от этих людей мутит. Стадо овец — отвратительно... Мне досточертели их вопли, их истерики. Все преувеличено, и восторги и похвалы... Главное — переплунуть друг дружку. Только послушать их. Он один — нет ему равных ни среди современных художников, ни среди старых мастеров. Величайший гений мира. И все это всерьез, понимаешь? Никто не улыбнется. Им все нипочем, они не боятся быть смешными, да и кто им судья? Они всегда правы, будьте спокойны! И если кто осмелится им перечить... Ты видела, как он на меня посмотрел? Да если бы я даже боготворил Курбэ... у него действительно есть прекрасные полотна... все равно я бы промолчал. Этот их Беллок, который хвалит самую жуткую пачкотню... А Мазиль... всегда бьет мимо. Любую дрянь перевознит до небес... Но об этом ни слова. Молчание. Им все сходит с рук. И горе тому, кто посмеет напомнить... Ты себе представляешь — неуч, тупица, вдруг спросит: «Неужто мнение Мазили имеет значение? Помните, как он расхваливал этого маляра?»... Фу, как он смеет... Ату его! Ату! Какой ужас! Какая непристойность! Разве можно так оголяться? Нельзя же... напоказ... Вот ты меня считаешь безжалостным, грубым... Но я бы и то не стал... Слишком легко их уязвить... Ведь в душе я такой же, как ты... Мне их как-то жалко...

— Тебе — жалко? Вот мне было действительно жаль его, когда ты с таким видом... А он как будто весь раскрылся... такой беспомощный, беззащитный. Мне казалось — ты пользуешься его слабостью... не знаю... так грубо... Да, уверяю тебя, в тебе было столько превосходства, высокомерия... Мне вдруг стало ужасно его жаль...

...Так мягко, деликатно, немного бояливо. Смутно чувствуя какую-то враждебность, угрозу, — стараясь, напрягаясь, не жалея сил, — только бы их обезоружить, задобрить, отдать им все, да, все, что угодно... вон то, или нет — вот это... Все вам, вот... кладу у ваших ног... все, что я видел... все, что знаю... фильмы, пьесы, романы, концерты, выставки... Ну, как, вам нравится?.. Угодил?.. Хоть бы отвести от себя... хоть бы... — слабая надежда — да смогу ли я, удастся ли мне... До чего трогательно это детское упорство, эта наивность — ...удастся ли увлечь вас, захватить?

Робкая улыбка сразу гаснет, доверчивый, дружественный взгляд вдруг тускнеет, туманится, подергивается влагой, в нем — беспокойство, удивление... Вот животное — ничем его не смягчить, бесчувственный, бесстрастный, улещивай его сколько угодно. И тут — последняя попытка... рука во внутреннем кармане... вынуть это сокровище... талисман... тайный знак. Ведь мы же братья, правда? Я знаю, знаю... Я вам несусь святые дары... Я подаю вам хлеб-соль...

— Нет, ты был несносен... Ты был невежлив. Почему тебе всегда хочется наказать человека, если он чему-то поддался хоть немного, зачем силой заставлять его быть независимым? Ты его задел, ты его обидел... Мне было больно смотреть — он так съежился...

— Ничуть он не съежился... Впрочем, вполне возможно, что он и съежился. От презрения. От отвращения... А на тебя смешно было смотреть, до чего ты старалась сгладить мою «промашку», выпросить за меня прощение. А по-моему, он мне надерзил... вдруг переменял тему, завел разговор про отпуск...

— Конечно, ведь ты сам показал, что отвергаешь его дары. Ты не захотел побрататься с ним... Вот он и попытался найти другую тему...

— Другую тему, хо-хо! Вот именно. Другую тему. Доступную моему пониманию. Поездки — вот это для меня. Еще немного — и он стал бы обсуждать со мной марки автомобилей: это доступно! Но до чего ты перепугалась... Не выдержала...

— Да, не выдержала, не могла...

Земля разверзлась. Гигантская пропасть. И он — на той стороне. он удаляется. не обернувшись надо крикнуть... позвать... пусть обернется, пускай воз-

вратится... ах, не бросайте нас... мы идем к вам, на ваш берег, помогите, помогите, мы идем... хватайте конец... еще одна попытка... доверьтесь нам еще раз... Скажите, а вы читали?.. Что вы об этом думаете?..

— А самое потешное, когда ты его спросила... мало тебе было разговоров, нет, надо нарочно его втягивать... когда ты его спросила про эту книжицу...

— Про «Золотые плоды»?..

— Да-да, про них. Я подумал — проверяешь ты его, что ли? Хочешь узнать, действительно ли он такой... что он думает. И ты про книгу... Что у тебя было на уме? Что ты вообразила?

— Абсолютно ничего. Мне и дела нет до его мнения. Просто хотелось его успокоить. Вернуться в его дом, в его вотчину...

— Опоздала... Он не поддался. У него до сих пор стоит поперек горла, что я, не глядя, передал тебе репродукцию и слова не сказал... Опоздала ты. Смешно было смотреть, как он с ледяным видом процедил сквозь зубы: «Да. Читал. Очень неплохо». А чего другого ты ждала? Ведь эта книжка — последний крик моды, да? Статья Вернье была? Рамон про нее писал? Что же еще он мог тебе сказать?

— Ах, не в этом дело... Ты не понимаешь. Я надеялась, что завяжется разговор... Невыносимо было чувствовать, что все пути отрезаны...

Часами, без устали, изо всех сил стараясь сохранить улыбку на чуть напряженных лицах, они раздувают пламя внимания, они питают его всем, что у них есть, черпают из своих сокровищниц — полными охапками, полными горстями, — отдавая все свои богатства, все клады — не жалеть, не жадничать, все отдать! Но вдруг у одного из них пламя, едва заметно трепеща, сникает, гаснет, и тот, другой, который неустанно следит за этим пламенем, продолжает, будто ничего не случилось, веря, что пламя снова вспыхнет, зная, что его не оставят во тьме, не дадут ему заблудиться, без помощи пропасть во мраке, и, стараясь не сбиться, найти верный путь к этому пламени, он снова идет к нему, вслепую, смело, напрямик...

И пламя снова вспыхивает... вздрогнуло, заметалось — и опять ожило, — ведь это была только минута слабости, усталости, не бойтесь, вот оно снова горит: «Да-да, я вас слушаю, вы правы, я тоже так думаю... мне тоже очень-очень понравилось... вот только конец как будто... Нет? Вы не считаете? Должно быть, вы правы... Непременно перечитаю, подумаю...»

Тебя ломит, все тело ноет, но надо держаться во что бы то ни стало... смелей... еще усилие... ближе... вот... — и рука погружается во внутренний карман, вынимает репродукцию, протягивает ее... И вдруг — грубый отпор... Ледяной порыв ветра... Все гаснет... Черная ночь... Где вы? Отвечайте. Мы здесь, мы, оба. Слышите, я вас зову, ответьте же мне! Дайте знак, что вы еще здесь. Ау! Кричу я изо всех сил: «Золотые плоды» — вы меня слышите? Что вы о них думаете? Неплохо, правда? И унылый голос, как эхо, отвечает: «Золотые плоды»... Неплохо...»

Пустынные улицы. Стучат шаги. В домах темно. Но какое счастье, сама судьба, нежданная удача — то окно, его окно еще светится... Ну, жребий брошен... Парадное открывается, лампочка зажглась, две ступеньки, стеклянная дверь, лестница — взлететь сломя голову... нет, зачем?.. где это видано?.. Это только так говорится — сломя голову, но кто же так ходит? Вот как надо — спокойно... только не думать... ни о чем не думать... через две ступеньки, нет — ступенька за ступенькой... Палец тянется к звонку. Нажимает. Звонки. Вот оно... Шаги приближаются... Нет, не хочу, стойте... Но дверь открыта... Взять себя в руки, собраться...

— Ничего, не пугайтесь, увидела свет, решила, что можно... Забыла перчатки... шарф... кажется, здесь...

Нет, поздно, отступать некуда. Да не толкайте меня, дайте хоть минуту со-

браться, решиться, ну вот, я разжала пальцы, наклонилась над пустотой, я отрываюсь, под ногами пропасть, лечу, лечу...

— Нет, не в том дело... Я вернулась, чтобы вас спросить... Вы будете смеяться... Это безумие... Но я хочу знать... Я страдаю, понимаете? Я хочу, чтобы вы со мной поговорили... Вот вы только что мне ответили: «Золотые плоды»?.. Неплохо...» И мне показалось, что тон у вас... Умоляю вас, скажите, не отказывайте мне... Вы, только вы можете мне помочь... Для того я и вернулась...

...В общей палате—растрепанные женщины, волосы — сухими космами, одни бьют себя в грудь, кривляются, хохочут, задирают юбки, показывают худые серые икры, вертят задом, другие стоят, вытянув руки, неподвижно, в кутерьме и шуме, словно изображая статуи в живых картинах — кататония, эпилепсия, истерия, смиренные рубашки, души, удары, свирепые надзиратели...

...Но это ничего, мне все равно, я не боюсь... Мне необходимо, чтобы вы мне сказали... Вы обиделись, правда? Скажите. Дайте мне ответ. Вы отшатнулись от нас? Вы подумали... Что вы подумали?.. Несомненно, вы подумали то же, что и я... Отвечайте же, это необходимо. Вы молчите. Ага, молчание — знак согласия... видите, я угадала... Вы подумали, что вас считают... Все вокруг пылает, обжигает тело, лицо... Но я должна схватить, вытащить из костра. спасти... вот оно... дайте мне подойти... только протянуть руку... пустите... Вот я взяла, схватила... позвольте... Вы обиделись на нас за Курбэ, вы хотели отойти, сжечь все мосты... А когда я попыталась подойти, протянула к вам руки, когда я вас спросила о «Золотых плодах»... вы хотели нас оттолкнуть, показать, что уже поздно, что разрыв окончателен... Нет, не говорите ни слова, если неохота... Только подайте знак, больше я не прошу, только мигните, прищурьте глаз... И я буду спокойна. Мир. Я буду спасена. Мы будем спасены. Навеки. Вечное спасение. В нетленном свете. В небесах. Созерцая лик божий.

Ах, значит, ничего этого не было? Вы ничего не подумали? «Золотые плоды»? — неплохо!» Вот все, что вы сказали. Больше ничего. Вот что вы мне бросили, вот чем я должна довольствоваться, вот что вы бросаете голодным, чтобы от них избавиться, вы, вы такой богач, владелец стольких сокровищ. И вот все, что мне досталось: вы считаете, что «Золотые плоды» — это неплохо. Что же мне еще надо? Не станете же вы читать нам лекции, объяснять... Вот что вы мне выдали — мелкую денежку... как ее ни верти, ни разглядывай — непонятно, откуда она?.. Я таких не видела... Наверно, вы привезли эти монетки из дальних стран, но я там никогда не бывала... А тут они не в ходу, тут, где я живу, — и вы это знаете. Что же прикажете с ними делать? Берите их себе. Вот, возвращаю вам. Мне они ни к чему.

* * *

...Знакомые образы вновь обретенной родины... Они излучают нежность, от них веет покоем. К ним устремляется путник, возвращаясь из диких краев, узник, выпущенный на волю... вот они, все тут, на месте, приколоты к стене над письменным столом. Вот Верлен в пелерине, со стаканом абсента сидит на клеенчатом диванчике в старом кафе, вот Рэмбо с легким галстуком, развевающимся на ветру, Андре Жид — узкие щелки индейских глаз из-под широкополой мексиканской шляпы... И эта...

— Ага, вы ее приколотили... я тоже... не расстаюсь, всегда со мной... Восхитительно, правда? Я считаю — вы со мной согласны? — что Курбэ никогда ничего прекраснее не создавал... — Его пальцы, словно лаская, чертят в воздухе: — Особенно эта линия... Вся эта часть... Поразительно, вы не находите? Вообще для меня Курбэ, честно говоря...

Длинная узкая голова наклоняется. Что-то мелькает в лице... словно едва уловимая ирония... Во взгляде — удивление... Что с вами? Что это на вас нашло? Неужто здесь, среди своих, еще надо как-то выражать... объяснять... Разве это не ясно само собой?

Верно, как это он забыл? Ведь они тут у себя, дома, в родной стране, в стране цивилизованной, где уважают истинные ценности, воздают по заслугам, где царит справедливость, торжествует правое дело. Но как объяснить тому, кто никогда не сталкивался с произволом, с обскурантизмом, с варварством? Откуда ему понять, как он может даже предположить, — и как посметь признаться ему в этом?

Так блудный сын, еще пахнущий сырыми углами, пропитанный запахами нищеты, застиранного белья, дешевой помады, липучих духов, алкоголя, наркотиков, блевотины, испытывает мучительный стыд, когда, подняв голову над тонкой, чуть пахнущей духами рукой, он видит серебряные локоны матери, ее все еще стройную шею, стыдливо охваченную бархоткой, и встречает доверчивый взгляд ее глаз.

— Если бы вы знали, какое наслаждение быть подле вас, здесь, как я счастлив, что вы всегда тут... Вам трудно понять... для вас это непонятно... с вами такое никогда не случалось... Знаю, так бывает только со мной. Помните, мы как-то об этом говорили, а может быть, я только собирался вам рассказать? Есть люди, с которыми нельзя встречаться, их надо избегать, они — яд, от них остается оскомина... Даже наутро отвратительное состояние. Будто смотрел скверную пьесу, скверный фильм... Знаете, как после дурного ужина... язык обложен... Они тебя пачкают... Унизительно...

«Скажите, а «Золотые плоды» вам нравятся?»... На длинной худой шее — маленькая головка, гладкое, чуть старообразное лицо примерной девочки... приторная бесполовая физиономия ханжи... «А «Золотые плоды» вам нравятся?» Голос — как тонкий гибкий зонд, она вводит его осторожно, деликатно... Еще немного — и она засюсюкает, как с младенцем. Я, мол, все понимаю, знаю, как к нему подойти... Все выискала, вынюхала... О, я все знаю, все... Знаю, что кому подходит... Вот что нужно ему подсунуть. Смотри, я ему подношу вот это... увидишь, тут он не будет сопротивляться... Ты его спугнул, и зря, но я все улажу... «Золотые плоды» — вот то, что ему надо, это точно.

— Есть люди, которых нипочем нельзя подпускать к себе. Паразиты, которые сжирают в тебе самое сокровенное. Одолевают тебя, как микробы... Конечно, я уверен, что вы никогда... Вы бежите от них, как от чумы... Что я говорю — бежите! Для вас они просто не существуют...

— Да, разумеется, я избегаю неприятных мне людей насколько возможно, я не люблю тратить на них время...

— Знаю, знаю, я так часто наблюдал за вами. В вас живет инстинкт самосохранения... Завидую. Восхищаюсь вами — вы так умеете избегать лишних контактов, так держитесь в стороне.

— Но кто же и вам мешает? — Уже в снисходительном взгляде суровость, на тонкой переносице — морщинки, легкое отвращение на лице: — Зачем вы с ними связываетесь?

— Ах, зачем... Вот именно — зачем? Да, зачем?

Но разве есть такой декрет, такой закон, разве есть распоряжение свыше, которое дает ему право отказываться от встреч с этими милейшими людьми, с людьми такой культуры, такими достойными, интеллигентными? Что они сделали, чем настолько нарушили правила, законы, обычаи, что к ним надо применять такие жестокие меры, лишать их всех человеческих прав... Отвечайте! Что они вам сделали? Какие у вас основания? Какие улики? Никаких, верно? Тут уж только ваша утонченность, ваша сверхчувствительность. Вы даете волю каким-то своим неуловимым впечатлениям. Ни один нормальный человек этого не почувствует, никто вас не поймет. Но вы так углубляетесь в свои переживания, так нянчитесь с ними. Да, конечно, вы такой утонченный, такой деликатный... Нет, пожалуйста, не думайте обо мне плохо, не осуждайте меня. Уверю вас — я себе ничего не позволяю. Абсолютно ничего. Никакой небрежности, никакой бесцеремонности, ручаюсь вам. Я прекрасно знаю свои обязанности, свой долг... Ах, как я тронут...

какая радость, как мило с вашей стороны... давно не виделись... Прелестные люди... такие простые, открытые, такие доверчивые у него в гостях. Под его крышей... Они ему вверили эти минуты, эти драгоценнейшие, священные моменты своей жизни. Он сделал все, что может, он будет достоин их доверия, можно на него рассчитывать. Он принимает эту честь... поклон... разрешите взять ваши пальто... Вам не жарко? Ах, прохладно? Погодите, сейчас, вот сюда, к камину, садитесь, пожалуйста, нет-нет, сюда, тут вам будет удобнее... кресло, подушки, портвейн, виски... Они немного стесняются... как-то сжались... кажется, что они чем-то переполнены, и они стараются сдержаться, не дать себе воли... Что же это? Подозрительность? Враждебность? Что-то есть в нем самом, от него что-то исходит, проникает в них, и там что-то прорастает, растет. Ему хочется отвернуться, опустить глаза... Смешно, нет, просто глупо: как тот герой — откуда это? — который всегда опускал глаза, чтобы не ослепить людей светочем своего ума... какая чепуха... Смотрите — нет ничего, нет во мне ничего такого, что мешало бы посмотреть вам прямо в глаза. Видите — я гляжу на вас, мы равны, мы абсолютно одинаковые, вы это знаете... Вы и чувствуете, как я, вы все понимаете, как я, — а может быть, и лучше меня... Зачем же мне ломать комедию? Зачем вас обманывать? Какое я имею право скрывать от вас... Что же в вас таится, что может помешать мне поделиться с вами тем, чем я делюсь со всеми? Для вас, как для всех моих друзей, я поищу, я выйщу для вас из всего, что знаю, из всего, что вижу... выжму, выосу... все для вас... погодите... сейчас я вам покажу...

Рука погружается во внутренний карман пиджака. Внимание... Но весь инстинкт самосохранения вспыхивает, удерживает его руку. Стоп. Осторожно. Не делай глупостей. Это чужие, это враги, они насторожились, словно чувствуют невидимую угрозу, незримую опасность... Ни в коем случае нельзя рисковать, не то вызовешь... Что вызовешь? Бред, фантазия, искушение. Изиди, сатана. Власница, вериги, осенить себя крестом, преклонить колени, избави нас от лукавого... Вот... Молитва услышана. Он очистился, он безгрешен. Смиренно, покорно он подчиняется, он выполнит послух. Рука его слушается... она опускается во внутренний карман. Достает... так и надо... так и полагается, ведь ты принимаешь у себя милейших друзей... их все так интересует...

— Этот Курбэ... Не знаю, видели ли вы его? Изумительно, правда?

Ни малейшего признака интереса. Чужая рука берет открытку двумя пальцами и передает ее. Молчание. Да, вот именно. Молчание. Ни слова. Взял репродукцию и передал ее, не сказав ни слова. Но что ж тут такого, скажите на милость? Где же тут презрение, сдержанность? Какая тут скрытая издевка? Перестань выдумывать, слышишь? Ты опять за свое? Простой человек, понимаешь, обыкновенный честный малый, знающий цену таким вещам, взял у тебя из рук репродукцию — ты сам ему подал — и, взглянув на нее... Нет, он почти и не взглянул... Хорошо. Пускай. Вероятно, он ее знает. Человек он тонкий, культурный. Ничего не сказал? Но ведь молчание — знак согласия. Промолчал из уважения. Из скромности. Считает свое мнение несущественным. Думает — никому оно не интересно. Это делает ему честь. Он — человек прямой. Он из тех простых, искренних людей, которые не любят пустых фраз, притворства...

Простой. Скромный. Искренний. Полный уважения. Молчание — знак согласия. Хорошо. Пусть будет так, сдаюсь. У меня галлюцинации. Опасные симптомы мании преследования. Хорошо, больше не буду, даже когда это бьет в глаза. Даже когда это вопиющая явь, даже когда она наклоняется над репродукцией, словно подавленная, когда она пищит от восторга, а он на нее смотрит с изумлением, — хорошо, я ничего не думаю, никакого сговора между ними нет, никаких тайных знаков они не подают, ничем они не показывают, что мы бесконечно далеки друг от друга, что они откуда-то издалека видят меня, всего, целиком, заключенного в их поле зрения. Нет, не то. Они тут рядом. Так близко, что видят меня не всего целиком, им виден только я, таким, каким я себя им сейчас показываю крупным планом, — ясным, доверчивым, чистосердечным взглядом я смотрю на них — глаза в глаза.

— Зачем я с ними встречаюсь? Сам не знаю. От глупости, наверно, от безволия. Конечно, это дико... не знаю, как вам объяснить... Во мне есть нелепое чувство равенства. Я принимаю их на веру. Говорю с ними о том, что мне ближе всего... Пытаюсь затронуть их лучшие чувства... Мне всегда кажется, что я сумею их убедить... Что надо лишь показать... кому угодно... Вот, взгляните, какое чудо. Этот Курбэ...

— А «Золотые плоды» вам нравятся?.. — Тонкий сладкий голосок так вкрадчиво, осторожно пытается проникнуть... Именно то, что ему нужно... вот увидите... я-то знаю, как к нему подойти... Настороженный, ищущий взгляд... Что ж, она не ошиблась, пусть все видят, пусть слышат, сейчас крикну во весь голос: «Да, нравятся! Слышите, нравятся!..» Стоп. Смирно. Ни с места. На караул! Да, нравятся. И никаких объяснений. Я такой. Смотрите — вот я какой, видали? Да, мне нравятся «Золотые плоды», как вы уже догадались. Все. Точка. И я вам запрещаю приставать ко мне. А теперь — вон отсюда! Подите прочь! Насмотрелся я на вас, кончились мои причуды. Позабавился, дал вам приблизиться, захотелось снизойти до вас. А теперь — марш на место, в людскую, в подвал. Здесь — господские покои.

— Фу, не стоит о них думать, довольно. Ну их к черту! Все. Мне сейчас на них наплевать. Забыл. Мне тут так хорошо, все свои... Лучше скажите мне, я давно хотел спросить... по правде сказать, я книгу не читал, времени не было, только пролистал... хотелось бы от вас узнать: эти «Золотые плоды» — что вы о них думаете?

— Изумительная книга. Кстати, я сейчас о ней пишу... Задумал статью... Изуми-тельно...

Какой-то привкус в этом слове, чем-то оно не вяжется с этим человеком — у него такое хорошее, усталое лицо, у этого старого друга, такие добрые, выцветшие глаза, а в этом слове есть что-то высокопарное, грубо-самодовольное, немного смешное... Он смешон... Слышишь?.. Они подслушивают за дверью, они тут, настороже... Из-уми-тель-но... Слово отдается в них, отскакивает назад, ко мне, усиленное, искаженное. Изз-ззу-ми-ни-тель-но!.. Они толкают друг дружку под локоть, гогочут... ишь, как он самоуверен... какой тон... не терпит возражений... приказ отдан. Главнокомандующий принял решение. А тот, наш, сразу... Что я тебе говорила? Знаю я его! Вот увидишь...

Нет, нет и нет. Ничего вам не увидеть. Я свободен, слышите? Абсолютно свободен. Независим. Меня не проведешь. Никто мне ничего не навяжет...

— Неужели? А вот для меня эти «Золотые плоды»... Что-то я в них не верю... Столько разговоров... Лемэ в восторге... Это настораживает.

Не боюсь я этого взгляда сквозь прищуренные веки, хоть он и вонзается мне прямо в глаза. Я отворачиваюсь, я подхожу — смотрите все! — прямо к столу, где на крупно исписанных листах лежит эта книга. Я ее открываю... И как останавливают рукой зазвеневший стакан, так я устанавливаю в себе тишину... Пусть все замрет, застынет. Я ухожу в себя, во мне — уравновешенность, утяжеленность, почти инертность. Уверяю вас, меня не так просто заставить вздрогнуть, заставить сдвинуться с места — тут нужен сильный ток. Но ничего — сознаюсь, — ничего не вызывают во мне эти глянцевиые, жесткие, накрахмаленные, замороженные фразы... Ничего... Совершенно ничего... И мне становится спокойней, сам не знаю почему. Я чувствую какое-то облегчение... Оттого ли, что я становлюсь ближе к вам, перехожу на вашу сторону, ощущаю свое сходство с вами, — от этого ли мне стало легче? Рад, что могу вам сказать: ничего не чувствую, ни малейшей вибрации, видите, как я честен, как откровенен. Да, я свободен, я силен, я честный, искренний. Свободен... свободен до конца.. честен...

...Но что это?.. Вот... честное слово... Как будто прошло дуновение?.. Нет, я должен... откровенно... нельзя отрицать... должен признаться... я что-то почув-

ствовал... невольно... слышу какой-то необъяснимый звук... неуловимый звон... волны — от слова к слову, от фразы к фразе — расходятся, а в ответ какой-то отзвук, я его слышу... ничего не поделаешь — слышу... Да, вам, конечно, его не услышать, для вас надо бить в барабаны, орать. А мне, чтобы ничего не слышать, надо затыкать уши... И вот уже слова мне кажутся весомыми, хочется их удерживать, взвесить, раскрыть, исследовать на досуге... уверен, что я в них найду... знаете, чем человек умнее...¹. Да отойдите же! Вы мне мешаете!.. Столпились тут, шумите... При вас я ничего не слышу, все звуки сливаются, при вас мне кажется, что в комнате — скверная акустика... вам же сказано — уходите! Вы — вязкие, волглые, вялые. Ваше присутствие, ваша близость пачкают... Тут, среди нас, вам места нет...

— Да, как видно, это чудесная книга, вы правы. Непременно прочту. Каждую фразу надо смаковать. Брейе — настоящий писатель. Это бесспорно. И некоторым неучам будет полезно услышать это именно от вас.

Что, слышали, вы, там! Вас заставят восхищаться, вас припрут признанием, загонят, как стадо овец, под охрану псов!

— Да, все эти люди разыгрывают знатоков... Тупицы... Не понимаю Бодлера — что он в них находил...². А я... при одной мысли, что они есть на свете, я страдаю... Бывают минуты, когда хочется всех их уничтожить.

— Чудак вы... Берите пример с меня. Не обращайтесь на них внимания. Больше уверенности. Правда и красота всегда побеждают, даю вам слово. Надо только спокойно делать свое дело. Потихоньку идти своим путем.

— Знаю, это глупо, вы, несомненно, правы. Ну, мне пора. Простите, если помешал. Но вы понимаете, есть минуты, когда я становлюсь эгоистом, и тут уж ничего не поделаешь — мне необходимо вас видеть.

* * *

Защитная завеса жестов, слов... «Нет, нет, вовсе нет... не извиняйтесь, нет, нет... напротив, заходите... И не принимайте так близко к сердцу!» Ласковое похлопывание по плечу, добродушный смехок: «Перестаньте встречаться со всеми этими людьми... ну, желаю удачи, хорошей работы, до встречи, да-да, вечером... с удовольствием...» — и за тонкой дымовой завесой все, что в нем исчезло с приходом незваного гостя, все, что рассыпалось, но втайне ждало, все это снова собирается, складывается, приходит в порядок. И только закрылась дверь — без шума, как можно тише, осторожнее... так, что тот услышит только приглушенное короткое хлопанье; но этот легкий щелчок грубо сбросит его в небытие, заставит растаять, распасться — ни следа от него не останется... Даже запечатлевшийся на миг образ — длинная темная фигура спускается по лестнице — и тот исчез без следа. Не осталось ничего — даже чувства облегчения. Не надо ничего ставить на место, вытирать, не надо никаких исправлений. Не осталось ни царапины, ни пятнышка, ни пылинки на гладком блестящем механизме: старая машина, великолепно сконструированная, прочная, неуязвимая, отлично вычищенная и смазанная, приходит в движение, начинает идти полным ходом.

И, садясь к столу, он знает, что теперь часы потекут медленно и послушно, они пройдут перед ним вдаль, в тишину, в одиночество ночи, они вольются в него, они его наполнят ощущением свободы, силы, неизбежности — предчувствием вечности. Разбросаны листы бумаги, рядом — раскрытая книга. «Изумительное» — так он сказал. Значит, так и надо написать: это изумительная книга.

Как огромные цветы, искусно разбросанные на тщательно подстриженном, густом и шелковистом газоне, раскрывают свои плотные жестковатые лепестки,

¹ Слова Паскаля: «Чем человек умнее, тем больше оригинальных умов он видит вокруг себя».

² Бодлер писал в дневнике, что для умного человека нет большего наслаждения, чем общение с тупицами.

так со страницы, взятой наугад, из фразы, плавной и сжатой, тяжелый и громоздкий эмпарфэ дю сюбжонктиф¹ с царственной уверенностью разворачивает свое длиннейшее, неуклюжее окончание.

Нет, скорее этот сюбжонктиф, чье неподатливое утяжеленное окончание так легко поднято четким и гибким ритмом всей фразы, — он скорее похож на расшитый шлейф тяжелого парчового платья, — шлейф отброшен нервной ножкой, изящная напудренная голова церемонно наклоняется и вскидывается вновь с высокомерной учтивостью. И на этот реверанс каждый благородный кавалер сразу отвечает глубоким и низким поклоном.

Тяжеловесные, немного смешные старинные моды попадают в руки искуснейшего модельера, и он, очистив их от всего наносного, обнажив их сущность, умело располагая линии, придает современной моде печальную прелесть воспоминания, юную и древнюю, как мир.

В это грамматическое чудовище, в его несколько смешной, неуклюжий хвостовой придаток проникают тончайшие разветвления нашей мысли, они проходят, как нервные волокна, в грозное острие скорпионова хвоста, — и вот уже выскакивает чуткое жало, вытягивается, пружинит и молниеносно впивается во что-то бесконечно хрупкое, почти неощутимое — в какой-то зачаток смысла, в едва уловимый замысел.

Как бы критики ни хвалили это произведение, все будет мало: со всей строгостью, со всей настойчивостью они должны перед каждым писателем поставить, как образец, этот литературный язык — настолько в нем все просеяно, отобрано, рафинировано, очищено, ограничено строгой, упругой, но все же несколько жестковатой формой, в которой отливается и застывает то, что должно сохраниться во времени.

Тут само собой отбрасывается, нипочем не пропускается все расплывчатое, вялое, слюнявое, скользкое. Все то, что разговорная речь подхватывает и разносит мутным потоком.

Тут вас не встретят резким смехом, лихорадочным взглядом, пожатием потных рук. Никто не хватает вас за лацканы пиджака, никто не дышит вам в лицо тяжелым жарким дыханием.

Тут каждый знает свое место. Тут вы — в своем кругу, в хорошем обществе. С какой сдержанной благовоспитанностью, с какой изысканной вежливостью вас приглашают войти. С каким целомудрием, с каким гордым достоинством ищут вашего внимания. Полно, да ищут ли его? Просто перед вами, в чистейшей радости пляски, кто-то танцует соло. Каждое предельно точное движение, каждый освященный вековыми традициями жест насыщен скрытым смыслом: тысячелетний образ восславляет великие тайны — любовь, смерть.

Изумительно. Это надо сказать. Надо крикнуть. Но прежде чем начать — пауза. Пальцы с пером подняты кверху, локоть опирается о стол: «Я считаю, — и пишу об этом, взвешивая каждое слово, — что «Золотые плоды» — воплощение...

...Чистейший образец высокого искусства — вещь, замкнутая в себе, наполненная, округлая, гладкая. Ни трещины, ни царапины, куда могло бы проникнуть что-то постороннее. Ничто не нарушает цельность превосходно отшлифованной поверхности, сверкающей всеми гранями в светлых лучах Красоты.

И под этим теплым сиянием в нем начинает играть кровь, смело взлетают слова... «Изумительно»... Выше: «Редчайшее произведение искусства»... Выше: «В современной литературе еще не было такого произведения». Выше, еще выше... Горные вершины встанут вдали... «Лучшая вещь, написанная после Стендаля... После Бенжамена Констана...»

¹ Сложная, устаревшая грамматическая форма.

* * *

— Отличная статья Брюлэ о «Золотых плодах». Первокласно. Превосходно. Бесстрастный голос, холодная констатация. Лицо неподвижно, взор устремлен вперед, как жерло орудия, нацеленное солдатом, который, застыв на броневике, проезжает по улицам завоеванного города.

Нечего смотреть по сторонам: всякое сопротивление сломлено. Кто посмеет шевельнуться? Эй вы, бунтари, сорвиголовы, что, хотели всё смести с лица земли? Плясали по засеянным полям, топтали посевы в дикой пляске, орали во все горло, — знайте, кончился ваш праздник. Победили вековые устои. Честные люди могут вздохнуть спокойно. Да, теперь можно сказать — немало пережито. Все было захвачено ревущей ордой, всюду — грязный плебс, он крошил святые образа, осквернял священные храмы. Любой варвар — бог весть откуда — выкрикивал бессмысленные речи. И все это приходилось молча терпеть. Видеть изо дня в день, как самые верные, самые стойкие друзья подло перебежали на сторону победителей. Смрад и пот. Вульгарные хриплые выкрики. Гнусная брань. Все приходилось терпеть. Смотреть беспомощно на эту развинченность, распущенность, на темные заросли, кишмя кишевшие нечистью, — бесформенная магма, темный хаос, ночи, пронзенные зловещими вспышками огня...

И вдруг — о, чудо! Эта вещь — маленькая, скромная, безобидная. Девственница в одежде пастушки. И одним махом сметены все силы зла. Наконец воцарился порядок. Мы спасены. Теперь им покажут, этим лентяям, неучам, этим «детям природы», «сильным личностям», теперь их научат идти в строю. Уважать правила хорошего тона, приличного поведения. Им внушат — ага, вам это не по душе? — что литература — святыня, недоступная обитель, что только смиренным послушничеством, терпеливым постижением великих мастеров немногие избранные завоевывают право войти в нее... А шулерам, выскочкам, втирушам в ней места нет.

Со всех сторон стекаются толпы — принести присягу верности, преданности вновь установленному порядку, отдать ему поклон.

Вот они, высокие учреждения. Правительство. Члены обеих палат. Все пять академий. Высшие школы. Университеты.

— После Ларошфуко, после мадам де Лафайетт, да, я скажу во всеуслышание, после Стендаля — Брюлэ прав, — после Бенжамена Констана... Скажем, я: ведь я романов вообще не читаю... — Длинный палец задумчиво потирает тонкое морщинистое веко... — Времени нет... дни так коротки... а вечерами надо как-то входить в курс... сейчас все так быстро меняется... надо читать последние труды... И когда выдастся свободный часок, я не вправе растрчивать его впустую... предпочитаю возвращаться к классикам, к любимым писателям... Но тут, должен сознаться, в этих «Золотых плодах», я обрел редчайшую радость, я и не думал, что современное произведение может так захватить... Изумительно... Настоящая жемчужина... — Рука любовно гладит воображаемую округлость... — Прелестная вещица. Замкнутая. Плавная. Полновесная. Ни одного промаха, ни одной погрешности против хорошего вкуса. Тут этого не найти. Ни одной ошибки в построении. И такая уточненность, правда? Кажется — так просто, но какая изысканность. Настоящее чудо, и это — в наши времена!..

Да что они, с ума сошли? Ей хочется вскочить, остановить их... да как они смеют? Неужто они забыли, что он — тут, что он слушает, уйдя в себя... и с каждым словом, которое они произносят таким бесцеремонным тоном, в нем — и она это чувствует (нет ни одного движения его души, которое не передалось бы ей), — в нем что-то накапливается, тяжелеет... Она не сводит глаз с его пальцев — холеные ногти нетерпеливо постукивают по столу... Ей хотелось бы стать мизинцем на этой руке, которая когда-то первая перелистала... нет, не верится... так давно это было... до ее рождения. Она хотела бы стать морщинкой у его глаз,

уставших от пристального созерцания стольких полотен, статуй, стольких рукописных страниц, подписанных неизвестными именами, страниц, в которых она (посмеет ли ей признаться?), она, невежественная, нечуткая, видела только безобразное месиво, унылое нагромождение и в которых он, будто в нем чудом затрепетала игла компаса, мог показать восхищенным поклонникам, молча ждущим, когда приоткроются нехотя губы и прозвучит короткое суждение, — показать одним мановением руки, одним взглядом нацеленных в нужную точку глаз: «Вот смотрите... вы видите... вот тут»... И тебя словно током пронзает, перед тобой встает и трепещет что-то живое, упругое... «О-о, смотрите, как хорошо... превосходно... Как, вы сказали, ее зовут, вашу молодую приятельницу?»

Исполнились все смутные предчувствия... Те минуты счастья, когда еще в шесть, в семь лет она, лежа на траве на берегу ручья, смотрела, как тополя окружают высокое небо дрожащими листьями... Неужто это правда? Это он — обо мне? Про мои стихи? Неужели он так сказал... Она уже давно перестала ждать, отказалась... и с ней случилось чудо... крыло архангела благой вестью коснулось ее склоненной головы... Будет ли она достойна?.. Хватит ли сил?.. Учитель... сейчас... она опускает голову... простите их. Ибо не ведают... простите этих варваров, этих невежд, которые тужатся, лезут из кожи вон, да как они смеют, безумцы, кто дал им право — при вас судить с такой безапелляционностью... Им, этим пешкам, нулям, безымянным выходцам из толпы, которой только и пристало в молчании проходить по священным покоям, полным реликвий, — это вы научили их почитать святых, это вы открыли им глаза, пробудили в них священный трепет, — а теперь они смеют, забыв свое место, выскакивать, разглагольствовать — при вас!.. Тише! Перестаньте! Кому интересно ваше мнение? Замолчите. Учитель, мы хотим слушать вас.

Она едва удерживается, чтобы не склониться к его руке, нетерпеливо постукивающей по столу, к его колену, подрагивающему в раздражении... она поднимает на него взгляд... мы ничтожества... бедные невежды... мы блуждаем в ночи, вязнем в трясине... спасите, вызволите нас, заклиная... она смотрит на него молящими глазами: «Почему вы молчите?.. Скажите нам... Что вы думаете об этом романе?»

Он коротко фыркает сквозь сжатые ноздри, отделяя себя ото всех, отстраняя их... гн... гн... «Но, милый друг, вы ко мне обращаетесь, словно я — оракул... — В подергивании щеки — презрение, даже легкое отвращение. — Я и сам не знаю...» — «О нет, нет, вы знаете, знаете...» Он снисходительно усмехается, его умилостивили, почти растрогали... «Да? Неужели? — и медленно, словно нехотя, по принуждению: — Мне кажется, что я склоняюсь к мнению доктора Легри... Прекрасный роман — эти «Золотые плоды». Хотя, быть может, и не по композиции. Тут я лично вижу некоторые недостатки. Да и не в том, как подчеркивает Брюлэ, достоинство книги, что она написана отличным классическим языком. Теперь его превосходно умеют подделывать. Все начинающие этим грешат. Нет... дело не в языке... Кстати, я вовсе не нахожу, что он так уж классичен. То есть классичен в том смысле слова, как его обычно употребляют. Наоборот, тут много запутанности, барочности, он тяжеловат, даже иногда неуклюж. Кстати, мы склонны забывать, что классики, когда они были новаторами, тоже казались запутанными, неуклюжими. Это трудная книга. Я брался за нее несколько раз. И мне она нравится именно своей современностью. Превосходно отражает дух нашего времени. А ведь именно это, если я не ошибаюсь, и отличает настоящее произведение искусства...»

А этой хочется просить пощады, снисхождения к своим старым мышцам, старым костям. У нее мелькнула надежда, она почувствовала облегчение, увидев, что он сидит в стороне — у него так часто бывает этот надутый, недовольный, немного раздраженный, презрительный вид, — в такие минуты ее всегда тянет к нему, как зачарованную, ей хочется покрасоваться перед ним, оголиться — при одной этой мысли ее вгоняет в краску, как она смеет? — выдать себя, сказать

ему: «Да, вам я могу признаться, Люсьен, вам, как старому другу... Знаю, вы меня не выдадите, не станете презирать... Вам я доверяюсь... вам сознаюсь... Эти «Золотые плоды»... о них столько разговоров... ничего не могу поделаться... десять раз бралась за них... Это так жестко, так холодно. Думаешь укусить сочную мякоть и ломаешь зубы о металл»...

А он — ни слова, только посмотрел на нее... и в его глазах, в его улыбке как будто мелькнуло сочувствие... Между ними — и она это почувствовала, она это знает — возникло что-то вроде заговора, какая-то близость — ее отраженное восхищение, неизменное преклонение, — и он откликнулся... да, она знает, что иногда она его забавляет, что ее болтовня развлекает его подчас, — и ее обожающие, ее постоянство, он их видит, милый Люсьен...

И вот ему бросили вызов. Его вытащили из уединения, заставили играть роль, которая ему положена по чину. Облачиться в красную мантию с горностаевой оторочкой, надеть черную судейскую шапочку и произнести перед стоящей в молчании публикой роковой приговор. И он произносит его со всей ответственностью. Каждое слово взвешено. Приговор окончательный: «Золотые плоды» — отличная книга».

Что ж, надо подчиниться. Пробыл час поста и молитвы. Надо оторваться от всего, что любила... от сокровенного тепла, когда, свернувшись клубком, она плыла по течению все дальше, дальше, бог знает в какой сладостной неге, в приторных, стыдных, восхитительных ароматах... Все это надо забыть. Вот так. Прямая, чистая, она идет вперед.

Что-то серое, холодное расстилается перед ней... Гробницы, своды, склепы, музеи, где тусклый свет падает на плиты пола, на разбитые колонны, на мраморные саркофаги, на статуи в царственных иерархических позах, с незрячими глазами, с застывшими лицами. Ей хочется отпрянуть, убежать, вернуться туда, в мягкое тепло, к другим, к своим ближним, к себе подобным, они тянут ее, зовут... Да пустите же меня... она оборачивается, гнев ее душит... отпустите, не цепляйтесь, уходите, у меня нет ничего общего с вами, мне отвратительны ваши пылающие лица, ваши голодные глаза, непристойные жесты цепких рук — они всё хватают, щупают, ноздри жадно раздуваются, втягивая мутные тошнотворные запахи гнили. Отойдите прочь, я вхожу. Видите, вот — я. Одинока. Чиста. В молчании, в уединении, издалека я почтительно созерцаю.

И вдруг из мертвой серой мути, от каменных фигур, высших в неясном свете, что-то подымается, постепенно, тихо... Словно повеяло теплым дыханием, знакомым, близким, ободряющим дуновением... она его узнает... она так часто его вдыхала, вбирала... Это дуновение шло к ней со страниц журналов, с модных картинок... от портретов герцогинь, принцесс, королевских особ... оно исходило от их сдержанных лиц, где никогда волнение не искажало неподвижные черты, словно рожденные для увековечения. От их глаз, где никогда не возникал влажный маслянистый отблеск мысли, от их надменных лбов, увенчанных сверкающими диадемами в рубинах, изумрудах, алмазах... Теплая волна охватывает ее, неуловимая дрожь, восхитительный трепет смирения, преклонения перед этими признаками — они безошибочны, она их сразу узнает, — признаками высшего аристократизма, изысканнейшей элегантности — верной приметы благородного происхождения, породы... Ожившая, возбужденная, сияющая, она тянется к нему:

— Ах, как вы меня порадовали. Да, вы правы... Это шедевр... Совершенно верно. Что ж, должна признаться, вначале мне было трудно... сразу не проникнуть... Но зато потом — какая награда! Изумительная книга. Разумеется, те, кто в ней ищет психологию, переживания, для тех, кто хочет узнать себя, кто везде ищет отражение своих чувств, тем, конечно, книга ничего не дает. Так им и надо. Но для меня... Ах, как мне приятно, милый Люсьен, что и вам нравится эта чудесная книга!

Ей бы только авторитетное мнение. Больше ничего. Никакой непосредственности, никаких естественных чувств. Стоит только взглянуть на нее — и надо же было с ней встретиться, вот уж не повезло, — ходит за ним по пятам, в церкви, в музее, боится высказаться, подходит к нему, смущается, неуверенно шепчет: «Но, кажется, это копия, правда?»

Да, копия, — ему хочется крикнуть ей в лицо: «Да, копия. Осторожно. Опасный поворот. Все эти «Золотые плоды» — подделка, имитация. Вы ошиблись. Вы еще пожалеете...» — и увидеть, как она вздрогнет, отскочит, поджав хвост, отбежит, испуганно озираясь.

Но на этот раз она держится крепко. Выбрала себе место — ее оттуда не сдвинешь. Но разве удержишься, чтобы ее не подтолкнуть, не сдвинуть хоть немного... подвиньтесь же, надо и другим дать место...

И мне — тоже... пустите-ка... ну, пошевеливайтесь же, дайте и мне усесться как следует. Втиснулся: жадно вытянул губы, нацелил богохульные руки: нет для него ничего священного... Ну-ка, дайте посмотреть поближе, разрешите? Не возражаете? Можно потрогать?

— Видите ли... для меня лично... Когда я читал эту книжечку, я себя спрашивал — вообще-то говоря, вещь премилая, — но я себя все-таки спрашивал: черт возьми, как же она сделана в конце концов, эта штука?

Он откидывается назад, складывает руки на животе. Взгляд устремлен вдаль, он сосредоточился... не будем торопиться, спешить нам некуда... он любит приглядеться, подумать... Старый знаток, старый ценитель искусства... не терпит, чтобы ему навязывали мнение... он чувствует их почтительные взгляды.

— Как вам сказать? Да, разумеется, тут не найти никаких «глубинностей», где кишмя кишат какие-то нерожденные существа... Нет этого копания в болоте, откуда поднимаются зловонные миазмы, в гнилых трясинах, куда тебя постепенно засасывает. Нет, нет — в «Золотых плодах» ничего такого не найти. Зато в них есть то, что отличает великие романы. По-моему, искусство большого писателя состоит именно в том, чтобы подняться выше этих тошнотворных топей, выше разложения, выше всех этих «непостижимых глубин», как их называют... если только они и вправду существуют, в чем я сильно сомневаюсь. Откровенно говоря, я в них не верю... Впрочем, не будем оспаривать... Так вот, изволите ли видеть, искусство именно в том и состоит, чтобы осушить эти трясины, создать твердую почву, на которой можно выстроить, сконструировать произведение искусства. Для меня великий роман похож на Санкт-Петербург, выросший на болотах, на Венецию, отвоеванную у хлябей морских ценой бог знает каких гигантских усилий...

Он прикрывает веки, умолкает... Благолепие городов — сверкающие купола, певучесть площадей, простор жилищ, изящные колонны, дворцы в тончайшей росписи, мирные улочки, мощенные уютным старым камнем... Там он всегда бродил... там жил он с самого рождения, там протекла его жизнь... его истинная жизнь... И там воздвигнут новый памятник... в полной гармонии со всем... нет, новое жилище в его вкусе, ему под стать, под стать каждому человеку... в нем он — как дома...

Он открывает глаза, смотрит в окружившие его внимательные лица... Он наклоняется к ней:

— Да, мой друг, «Золотые плоды»... Думаю, что и наш дорогой мэтр со мной согласится... Почему эта книга — настоящее произведение искусства? Прежде всего потому, что она правдива. В ней есть удивительная точность. Она реальнее самой жизни. Все организовано. Упорядочено. Умело построено. Изумительные пропорции. Гибкий, сильный слог — он как те воспетые Валери колонны — «Дочери златых сечений», — он поддерживает, он несет правдивые высшие чувства... чувства всех нормальных, душевно здоровых людей, а не кучки неврастеников, психопатов, нет, это высокие личные чувства — мои, ваши чувства, дорогая моя... возьму хотя бы для примера эту удивительную сцену... я выбираю почти наугад, там много таких... сцену, которую я могу сравнить только со сце-

ной в гостинной у Реналей между мадам Реналь и Жюльеном...¹. И тут такая же сила, точность... то же изящество, та же чистота и законченность линий... не сколько слов — и в них все сказано... При вас рождается любовь... Помните... эта сцена на террасе, у озера, в Муши, когда Эстелла вздрагивает, а Робер... или Жильбер... не помню. Да, да, Жильбер встает и, не говоря ни слова, приносит ей шаль. И в этом простом жесте — но надо видеть, как это написано! — в нем сказано все. Всем нашим писателям, всем этим любителям рассусоливать, шлепать по лужам, им не достичь этого вовек, испиши они хоть целые страницы... а тут незаметно... какой-то паузой... Чем-то невесомым... тончайшими оттенками, радугой, переливами красок, возникающими от неуловимого сродства слов... Никакого анализа. Все сделано ни на чем... Но читатель понимает, чувствует. поверьте, именно такая правда, такие моменты, такие озарения и создают великие книги.

Вот оно. То, что они всегда ищут, жадно ощупывая все, что попадает под руку, все, что им предлагается, что изготовлено специально им на потребу — фильмы, романы, биографии, мемуары, трогательные признания их униженных сестер — страдалиц, и советы их великих сестер — тех, что счастливей их и сильнее, победительниц... триумфаторш... Они собирают клочки, уносят, чтобы разглядеть на досуге, им неловко, стыдно, они не знают, можно ли...

Но на этот раз... они подымают головы, в глазах — затаенная алчность... прочь все сомнения, страхи... тут все гарантировано — первый сорт, в самом лучшем кусе, самые утонченные гурманы это ищут. Отсюда можно брать что угодно, за это их все одобряют, признают их изысканный вкус, тут есть то, что им надо...

Огромное озеро, туманные берега, в плюмаже деревьев... как у Ватто, у Фрагонара... рябь волны в лунном свете. Тихий плеск воды у мраморных ступеней. На террасе, у невысокой старинной балюстрады, темные тени сидящих людей, над ними — фигура мужчины, он наклоняется и окутывает белой шалью с кистями стройную шею под собранными кверху волосами, тонкие обнаженные плечи. Головка с высокой прической слегка отклоняется назад, шея изгибается, плечи чуть заметно вздрагивают, приподнимаются — и в этом движении признание, нежная уступчивость, благодарность, полная покорность...

Ее словно током пронзает, ее разрывает боль... К чему она прикоснулась? За что неосторожно схватилась? То движение руки, расправляющей пальто на спинке сиденья в открытой машине, за тонкими податливыми плечами... Голова отклоняется назад, затылок прижимается к мягким складкам... нежность, молчаливая покорность таятся в этом жесте, скрытая дрожь... вибрирует, передается ей: при ней, у нее на глазах, свершается тайныйговор тех, двоих, скрытая клятва в верности.

Этот жест, как электрический, надежно изолированный, отключенный, абсолютно безвредный провод — сколько раз она его трогала в полнейшей безопасности, — этот жест, словно провод, внезапно оголился, подключился к мощному генератору и пронзил ее током, опалил... Всесильный мозг всеведущего божества выбрал среди всех возможных движений именно этот жест, как лучший проводник для передачи, переноса того чувства, которое с неудержимой силой пронзает, испепеляет ее: зарождения любви.

Смертельный страх застилает глаза, она слабо сопротивляется: «Но это неправда. Не верю я...» Помогите, она умирает, жизнь ее покидает, спасите ее. «Нет, я вас спрашиваю, скажите мне: где вы тут увидели какую-то глубокую правду?..» Собрав все силы, она кричит: «Да это же фальшиво! Уверю вас. Сверхфальшиво. Это и есть фальшивое правдоподобие романов. Этот жест — накинуть шаль на плечи озявшей женщины, — ведь он может иметь тысячу значе-

¹ Герои романа Стендаля «Красное и черное».

ний — или ровным счетом ничего не значить... Простая вежливость — и все... Например, Пьер, мой муж... для него это так естественно, он ко всем одинаково внимателен, все равно к кому, он такой приветливый... Уж эти мне романисты — берут что угодно, наугад... Приметят какой-нибудь жест, пусть самый ничего не значащий, возьмут его, скажут себе: «Ага, отлично, это мне и нужно, тут он будет на месте»... любой случайно запомнившийся жест: «Пусть этот жест означает зарождение великой любви». Вот вам и все. Фокус удался. Все поверили. Твердо, безоговорочно. Обаяние печатной строки. Уверенный тон писателя. И читателю затуманили мозги. Он решает — писателю лучше знать. И уговаривает себя: как это правдиво! А потом находит аналогию в жизни... Обязательно находит, раз этот смысл туда вложен, раз люди привыкли видеть жизнь сквозь романы... Эти книжные истины иногда накладываются на людей отпечаток, на всю жизнь... Я сама знала одну несчастную девушку... Вообразите — только оттого, что она прочла мопассановскую «Историю одной жизни»...

Да как она смеет? С ума сошла, что ли?.. Она, такая застенчивая, всегда молчит — какая муха ее укусила? Что это на нее напало?

— Дитя мое, все это чрезвычайно трогательно... — В суховатом голосе ледяной смехок, он больно колет... — Все эти люди, ваши знакомые, которые видят свою жизнь сквозь романы... Что ж, это их вина, но отнюдь не вина романиста. Он-то именно — тут вы меня не поняли, когда я сказал, что этот жест поразительно правдив, — он, романист, если он только настоящий писатель, — он интегрирует каждое движение в необычайно сложное целое, и это-то и придает всему значение. Сам по себе жест, отделенный от всего целого, значения не имеет, это же ясно. В произведении искусства, простите за настойчивое напоминание столь банальных истин, в произведении искусства ничто, повторяю, ничто нельзя брать в отдельности. Это — единое целое, каждая частица подчинена всем остальным и соподчиняет их себе... Те, кто читает романы, как эта ваша бедная девушка, только получают по заслугам... Они понятия не имеют, что значит истинное произведение искусства. Ни малейшего представления...

Нет, слишком поздно, теперь их ничем не удержать, этих женщин, они уже набросились... Сломлена хрупкая преграда, они налетают, толкаются, роются... Словно на распродаже большого универмага, они хватают, тянут, убегают, примеряют. Впору или нет? Затянуться потуже... Этот новый покррой немного непривычен, странен... ничего, надо привыкать... «А вы заметили? Да, да, перечитайте непременно, я вас уверяю...» — «Да, я тоже удивилась... у этой молодой особы, у героини, у Эстеллы, толстые ноги...» — «Неужели? Что-то не помню...» — «Да, да, уверяю вас... вспомните, когда они в лодке, сразу после сцены на террасе... там ясно сказано: «Он взглянул на ее тяжелые ноги, на широкие щиколотки...»

Задумчивые взгляды скользят по залам музеев, по древним храмам, они карабкаются на Акрополь, ощупывают формы Венер и Диан-охотниц, фигуры кариатид, уносятся к беговым дорожкам, они хватают, тянут, убегают, примеряют точеными ногами породистые кобылы... И зрительницы качают головами озабоченно, неуверенно... и потом, вскинув голову резким движением: «Да, Марсель безусловно прав... То, что хорошо в каком-нибудь романе...»

Пусть они расступятся. Разгоните это одураченное стадо... А виновного — ко мне. Вон того, там, да, вот именно, — вас! Вы арестованы. Наденьте ему наручники. Протяните руки. Я за вами давно слежу, давно собираю против вас улики. Теперь вы попались. Застигнуты на месте преступления. Что ж, давайте поговорим с глазу на глаз, об этом самом знаменитом месте, где, по-вашему, будто бы с изысканнейшей простотой воплощены самые высокие чувства. Тот самый жест с шалью, в нем якобы с таким искусством «все сказано», что лучше не скажешь в целой книге. Вы это им подали. Вы их заставили выпить этот яд.

Меня потрясла ваша самоуверенность, ваша смелость. Вы так уверены в своей безнаказанности, вам все сходило с рук. И вдруг — всего не предвидеть, правда? Вдруг — непредвиденные препятствия, неожиданный случай. Вдруг одна из жертв — и я восхищен: какая сила, какой темперамент... сопротивление организма, как у Распутина, — самый смертельный яд на нее не действует... вышла, крикнула: «Это еще что? Чем вы меня опоили? Что вы мне подсовываете? Это опасно, вредно... тут фальшь вместо правды... Это ничего не значит... можно придать любой смысл...» Она не принимает, отталкивает. Тут вы пробуете другой прием: в ход пускаются снотворные, кляп в рот: «Да, разумеется, сам этот жест ничего не говорит, но тут — чрезвычайно сложный комплекс, конструктивное единство. Вот что придает этому жесту такую значительность — эти отзвуки, этот резонанс... Да, во всяком искусстве». Тут ваши глаза мечтательно затуманиваются, видно, что вы удалились в неизвестные края, в таинственные неведомые страны... И ваши слушательницы — и все вокруг — в трансе, словно одержимые — вы их опоили, околдовали... Но я вас спрашиваю, я хочу знать... куда вы их завели? Какие поэтические откровения, какие невыразимые глубины они увидят в этой штампованной дряни, в этом рыночном ширпотребе? Хоть бы вы мне показали. Если вам удалось открыть хоть что-то нетронутое, что-то живое, пульсирующее — значит, нужно показать именно это, а не ту пошлятину, — ее прятать надо... И никаким «конструкциям» ее не спасти: грубой цементной глыбе не место в здании из прекрасного тесаного камня. Знаю, что вы мне ответите. Я вас раскусил. Вам уже сказано: попались! Сейчас вы начнете уверять... есть, мол, такие вещи... что, неправда? — ...скажете, что есть вещи, и мне, тупице несчастному, пора бы их знать... То, что словами нельзя выразить... нечто невесомое, неуловимое, мерцающее... Но тут вам от меня не отделаться: вы же сами говорили, сами утверждали: без слов ничего нет. Слова — это само чувство, в них оно рождается, оживает. Вы даже углубили эту мысль — не отрицайте, я сам слышал: точно найденное слово — и вы правы, иногда так и бывает, — такое слово в свою очередь может зародить новые чувства... Так где же вы их нашли, эти слова? Где? В каком месте? Покажите мне их. Покажите мне это тончайшее соотношение слов, которое выражает неуловимые оттенки чувства. Где они? В чем? Нет, больше так продолжаться не может, понимаете? Надо помешать вам вредить. Вы — сама ложь, вы — зло. Вас надо вырвать с корнем, — схвачу вас сейчас за глотку, рвану кверху, весь мир призову в свидетели, закричу, воплю...

Но, как в страшном сне, он не может издать ни звука. Броситься бы сейчас на того, схватить его — но он чувствует, что не может сдвинуться с места. Онемевший в нем крик, оцепеневший жест — напрасно он пытается их высвободить, — невидимые частицы, обстреливающие твердое тело — человека, стоящего перед ним, — эти частицы отскакивают, летят к нему обратно, вонзаются в него, накапливаются в нем, ему больно... он оборачивается, наклоняется вправо, слышит, наконец, свой собственный голос — он с трудом пробивается тонкой струйкой, бормочет:

— Должен сказать... этот жест... с шалью... мне кажется, такой банальный жест...

Но за ним давно наблюдают. Подозрительный тип... Что это он затеял? Что это он там замышляет — нагнулся к своей соседке с таким заговорщицким видом, шепчет ей на ухо... Строгий голос окликает его с другого конца стола:

— Что вы там рассказываете? Мы тоже хотим знать. Нам тоже интересно. Что вы там нашли, в этом превосходнейшем произведении? Что вам не по вкусу?

Все головы обернулись к нему, он чувствует, как его опутывают взгляды, он делает слабую попытку высвободиться...

— Нет, нет, ничего... Я совершенно не собираюсь подвергать сомнению ценность «Золотых плодов». Прекрасная книга, согласен. Я только хотел сказать,

что именно этот жест, что, быть может... я лично не выбрал бы его... как иллюстрацию... по-моему, этот жест скорее портит... а кроме того...

Но те, кому поручено охранять спокойствие и порядок, настоroje: рука ложится на его плечо:

— О, нет, Анри, не пытайтесь нарушить связь.... Марсель совершенно прав: произведение искусства — это единое целое. И этот жест, такой, каким он описан в романе, взятый в общем контексте, приобретает такую наполненность... Это совершенство.

Но теперь кое-кто уже насторожился. Видно, он тут не один. Видно, есть тут и другие — прячутся, хитрят, — несогласные, хитрые еретики, критиканы. К ним присматриваются, прислушиваются... вон там один, по нему давно видно, он молчит — чувствуется, что от него что-то распространяется, и сидящим рядом с ним даже как-то неловко, неудобно, чем-то он им мешает, будто воздух вокруг сгустился... им не по себе, их движения скованны... а все из-за него, это теперь ясно: какие-то эманации, словно тяжелые струи невидимого газа, исходят от его молчания.

Желтое око хищной птицы устремляется на него — зализанные назад жидкие волосы, впалые виски — изможденное, длинное, желтое лицо — лицо великого инквизитора складывается в презрительную гримасу:

— А вы почему помалкиваете, Жан Лабори?.. Да, Жан Лабори слушает нас, а сам ни слова. Но зато думает, много думает, верьте мне. Да, конечно, Жану Лабори не нравятся «Золотые плоды», совсем не нравятся... Я настолько в этом уверен, что готов держать пари.

Страшное подозрение тяготеет на нем. К его досье подшито тяжкое обвинение. Он знает — сейчас они откроют папку с его делом. Минута — и они всё обнаружат, все выйдет на свет божий, вызванный из небытия, раскрытое перед их глазами... Ага, они все видят... «Да, вот оно, у меня в руках, оно самое... держу»... С неподвижными лицами, с застывшими взглядами они передают «дело» друг другу, незаметно, словно играя в «колечко»... Вот, пожалуйста... Взяли? Держите? Меж ними пробегает невидимый ток — симпатия, солидарность, захватывающее чувство общности... Да, да, так и есть, правда? Вы со мной согласны? А я, представьте себе, совсем забыл, ни разу не вспомнил, — и вдруг сейчас опять все всплыло... Отсюда — именно отсюда все и пошло. Вы это тоже почувствовали? Да, к сожалению, тут и сомневаться не приходится... вот она, улика... эта книжонка, да, вот эта брошюрка, он мне ее как-то послал... наверно, и вы ее получили? Теперь вспомнили?.. Так и вижу ее перед собой... небольшая книжечка, светло-серая обложка, у этого издателя... У какого издателя?.. Право, не помню... Неважно, издатель неизвестный, он уже давно исчез... издавал за счет авторов... Значит, и эта книжка — за счет автора? Ну, конечно, неужто вы сомневались?.. Но, несмотря на это, издатель потом — вы об этом знаете?.. Да, знаю, он все пустил на макулатуру, продал весь тираж на бумагу... А мой экземпляр валяется где-то в пыли у букиниста, на набережной, — надпись я, конечно, вырвал... И нигде об этом ни звука, ни малейшего интереса... Нет, кажется, была заметка... Пустое! Просто реклама издательской фирмы...

Вокруг него беззвучно кружатся их слова. Чутким, давно обострившимся слухом он воспринимает их, как легкий шелест страниц, осторожно перевернутых их пальцами... Но что же там было, в этой книге? Вы помните? Что там было?

Нет, ничего там не было, не ищите, умоляю вас, не троньте, уберите руки... — он пытается отодвинуть их, осторожно, деликатно, успокоить их...

— Сам не знаю... я ничего не говорил, потому что хотелось послушать... Мне это очень интересно, очень... не знаю, почему вы решили... Напротив, я... «Золотые плоды»...

Пусть они успокоятся, они явно ошиблись, ничего за этим нет, ничего любопытного для них, никаких улик, никаких доказательств... с чего они вообразили? Ничего такого в нем не осталось, все давно вычищено, вымыто, продезинфицировано, нет ни следа, ни одной частицы, откуда могло бы просочиться что-то для них неприятное, никаких подозрительных эманаций, никакой скрытой неприязни, низменной зависти, нелепых сравнений... да и с чем сравнивать, сами подумайте, ничего ведь не осталось, он может дать им гарантию, что никогда он не возвращался к прежнему, пусть знают — он исправился, поведение безупречное, никогда никаких проступков, никаких отклонений, об этом он и помыслить не может, он абсолютно ни к чему не причастен, он чист, словно в нем ничего не осталось — пустой сосуд, готовый принять все, чем вы захотите его наполнить, гибкая обложка, готовая облечь, не деформируя, все изгибы этой прекраснейшей вещи...

— «Золотые плоды»... Прочту непременно, с наслаждением... Читал только отрывки... Да, надо будет обязательно... Уверен, что мне понравится...

Спокойные, непринужденные интонации его голоса вселяют веру, все уходит от него, они умиротворены, они его больше не трогают...

А он вдали от них, в одиночестве, куда никому из них не проникнуть, вдали от шумихи и мишуры, от светской возни, надев рубище и власяницу, достаёт из тайников статуи святых, подымает сорванные иконы, снова затепляет лампадку — он сам ее погасил — и падает на колени, устремив глаза на дрожащее робкое пламя.

— «Золотые плоды» — лучшая книга, написанная за последние пятнадцать лет.

Лицо безмятежно, взгляд устремлен куда-то вдаль. В голосе — уверенность человека, излагающего неоспоримый факт, непреложную истину.

И правда победно шествует вперед, топча все на пути: «Золотые плоды» — лучшая книга, написанная за последние пятнадцать лет.

На этот раз удар пришелся не по тем жалким людишкам, которые только хотели бы сопротивляться, как вон тот, — он еще весь дрожит, он при первых угрожающих признаках сдался, бросил оружие, — не по таким, как он, но по сильным, но по надменным, по властителям дум, по тем, кто еще минуту назад владычествовал над толпой в неприкосновенности, вне всяких сравнений и снисходительно раздавал поощрения и похвалы...

Это в меня, в меня он метнул копьё, меня сбросил наземь, меня, перед кем это лыстивое существо еще недавно пресмыкалось, ползало на коленях... «Вы — самый великий, самый сильный... Ваш последний роман — само совершенство... Вы превзошли себя... Лучшая ваша книга...»

Каким образом, в какую ночь, когда он мирно спал, те захватили власть? Когда же перебежчик перешел на сторону узурпатора? А с него сорвали регалии, его унизили, угнали, прогнали сквозь строй, ему грозит смерть... Пот — градом со лба, ноги подкашиваются, он чувствует, как бледнеет, как теряет сознание... Только не показывать, не привлечь внимания, любой ценой сохранить спокойствие... Выше голову. Губы сжаты. Глаза пусты. Главное — не дрогнуть. Иначе, если увидят они, те, кто слушает окаменев, что происходит, если они заметят хоть малейший признак смятения, стыда, страдания, они, кому каждая едва заметная вибрация передается сразу и, отражаясь, идет от них волнами, все больше усиливаясь, — они сразу заволнуются, вмешаются, станут неловко защищать его, просить пощады себе, жалости к нему: «О-о, по-моему, вы преувеличиваете... Я знаю, что были и другие прекрасные книги... Знаю, о присутствующих не говорят, но все же нельзя забывать, есть еще романы Робера Юнье...» — и этим только ускорят его погибель.

От одной мысли о том, что тогда будет, он весь сжимается, съезживается, ужас пронизывает каждую клеточку кожи. И насторожившись при этих **возгла-**

сах, вперив в него глаза, приметив его дрожь, с какой радостью палачи узурпатора бросились бы на него... Увидев, как он жалко барахтается, им на помощь бегутся другие — раненые всегда добивают, таков закон, жалости нет места: «Да, да, конечно, и я, признаться, люблю книги Робера Юнье или, скажем, Жана Дюнанна... но надо сказать откровенно... «Золотые плоды» — настоящий шедевр... Триста лет пройдет, а они останутся... Нет, честно говоря, «Золотые плоды» — вещь совершенно уникальная. Какое-то чудо...»

Нам, скромным людям, порядочным людям, которые оказались здесь случайно, когда бежать уже поздно, нам нельзя ни поднять глаза, ни опустить взгляд. Нам надо притвориться слепыми, глухими, совершенно непричастными, надо окаменеть, застыть на месте, стать вещью, куклой, набитой стружками, с фарфоровым лицом и стеклянными шариками вместо глаз. Одно движение, один только еле заметный вздох — и все вокруг нас ожило бы, зашевелилось, — так просыпается расколдованная Спящая Красавица, и страшное, невыносимое зрелище развернулось бы перед нами. Мы увидали бы, как перед строем проходят высокие чины: погоны и ордена с них сорваны, шпаги сломаны, на лицах — едва заметная бледность, отсутствующий, притворно-равнодушный взгляд, а в мертвой тишине отчетливо, как выстрел, звучит каждое слово фразы: «Золотые плоды» — лучшая книга, написанная за последние пятнадцать лет...»

Нет, она не такая трусиха, как все другие. Не желает она поддаться, как они все, сделать вид, что и ее обезоружил этот невинный, этот ни к чему не причастный вид, который он на себя умеет напускать, будто он говорит сам с собой, будто забывает обо всем вокруг, и вовсе не собирается никого обидеть, остерегается сравнивать, а просто-напросто, со всей искренностью, прямоотой и простотой заявляет — а не сказать никак нельзя! — что вот есть вещи, настолько явные, настолько бросающиеся в глаза, перед которыми каждый — хочет он или нет — должен преклоняться, признать как неоспоримый факт эту истину: «Золотые плоды» — лучшая книга, написанная за последние пятнадцать лет».

Для нее почти радость, какое-то сладостное удовольствие так знать его насквозь, ясно видеть, как он под защитой своей непроницаемой брони, с абсолютно бесстрастным, совершенно равнодушным выражением лица следит за ними, радуясь меткости и точности своих выпадов — их никто не может предвидеть, никто не умеет отбить, — как он издевается над своими жертвами, — застигнутые врасплох его молниеносным грубым наскоком, они, шатаясь, пытаются удержаться на ногах, подавить гримасу боли, заглушить стоны — и как он наслаждается растерянностью зрителей. Она знает, ему занятно быть незримым для других — он считает, что недоступен чужим взглядам, — и видеть тех, что еще минуту назад были так спокойны, так уверены в себе, так безмятежно улыбались жалкому виду других, слабых, загнанных в тупик, — ему смешно видеть, как и они тщетно бьются в той же западне. Несчастные! Чем больше они трепыхаются, чем больше стараются выпутаться, тем глубже увязают — их пенка спета, они погибли.

Нет, она их не бросит на произвол судьбы, как эти трусы. Она не станет притворяться, что ничего не видит. Она смотрит во все глаза, она наклоняется к поверженной жертве, все ниже и ниже, совсем вплотную, она не боится, что вдруг на нее брызнет, замазает ее что-то тошнотворное, скверное. И вдруг бесстрашно, полная благородного возмущения, презирая все опасности, готовая на любые жертвы, она, такая слабая, с голыми руками бросается на обидчика, подставляет себя под удар, готова все принять на себя, отвести от других, вырвать у него оружие.

— Да, конечно... — ее голос немного дрожит, — конечно, можете говорить, что хотите. но мне «Золотые плоды» не нравятся... По-моему, скука смертная... Темно, непонятно... Есть места — мне их приходилось перечитывать по три раза.

Она видит, как бедные скованные пленники чуть заметно встрепенулись. В этом движении — благодарность, радость, какая-то робкая надежда...

— Да, я трижды бралась за эти страницы, и не я одна... Вот Барра — такой тонкий, такой умный, гораздо умнее меня, — он тоже сознался мне, что ничего в этой книге не находит. Может быть, это и гениально, но все-таки... Нет, мне хочется, чтобы мне это доказали с книгой в руках...

С книгой в руках. Пусть им растолкуют. Больше они ничего не просят. С какой силой, с какой смелостью — они преклоняются перед ней! — она сумела в нескольких словах изложить все их скромные требования. Пусть им кто-нибудь объяснит — с книгой в руках. Вот сейчас пусть кто-нибудь встанет, подойдет к книжной полке, возьмет в руки эту книгу, эти «Золотые плоды», и пускай откроет перед всеми, белым днем, на какой-нибудь странице, неважно на какой, и пусть им покажут, пусть объяснят... Ах, значит, вам объяснять текст, как в школе! Вот до чего вы дошли! Вот что вам нужно? Да, да именно это им нужно, они до этого дошли. Они согласны снова стать детьми. Ведь так они беспомощны, так безоружны... Даже ту безвкусную жиденькую кашку, которую они с таким отвращением поглощали в школе, они сейчас готовы съесть, они даже выпрашивают ее... О да, они знают — такие вещи необъяснимы, нельзя точно определить все это — поэзию, затаенный смысл, великие тайны, глубины и полутени, в которых те, другие, — избранники, обладатели сокровищ, чувствуют пульс жизни... да, они знают, что им придется довольствоваться сухими схемами, голыми словами и что эти слова так же не похожи на то, что видят другие, как не похоже название города на дорожном знаке на сам город, который виднеется вдаль с домами и улицами, с мостом через реку, с колокольнями и зеленью садов. Но они готовы удовольствоваться и этим — им все годится: дорожные знаки, столбы, указатели, стрелки, — лишь бы им, невидящим, незрячим, не сбиться с дороги.

Пусть бы им объяснили в нескольких словах — хотя бы в самых бледных, самых неподходящих, самых сухих и серых. Да, это грубый способ, но иногда в руках людей скромных и тактичных, доброжелателей, которые чувствуют свое родство с нищими духом и любят уделять обездоленным от щедрот своих, — в руках таких людей даже эти слова, конечно, в очень упрощенном, в чрезвычайно обедненном виде все же могут передать основную идею... иногда самые сложные, самые глубокие вещи можно объяснить, была бы на то добрая воля... А уж они... пусть только кто-нибудь для них постарается... они, наверно, поймут... пусть только кто-нибудь попробует, откроет эту книгу, эти «Золотые плоды», на любой странице, где угодно...

Надо бы их пожалеть, они так пришиблены, они никак не осмелятся... они не умеют воспользоваться хотя бы этой маленькой, этой хрупкой точкой опоры и свободно, плавно взлететь... Им так нужна крепкая поддержка, они так боятся... Им хочется почувствовать почву под ногами, твердую, надежную... шагать в общем строю в заданном направлении... Они так любят, чтобы ими руководили, вели их мысли на поводке, — они уверены, что тогда они пойдут по верной проторенной дорожке. Как они честны, как охотно, послушно все принимают, как они податливы, как легко лепить из них, что угодно... только нужна жесткая форма, прочный каркас, чтобы они влились в нее, застыли... Им нужно зацепиться за что-то устойчивое, крепкое, обвить вокруг подпорки, иначе их слабые усики обвиснут, обмякнут, свернутся жгутом, отомрут, отсохнут... Они тянутся, тянутся — дайте им хоть кончик чего-нибудь, хоть что-то... только бы схватиться... о нет, они не требуют всего сокровища — достоинства сильных, нет, только обломок, лишь бы крепкий, твердый... Пожалейте... они так просят... Положите конец этим мучениям — так тянуться изо всех сил, пытаться ухватить хоть что-то — и ничего не находить... Будьте к ним снисходительны... сделайте великодушный жест... Покажите им, объясните — с книгой в руках...

И, может быть, тогда — они не осмеливаются даже подумать об этом, — может быть, тогда свершится чудо — они и надеяться на него не осмеливались. Они посмотрят, приглядятся... Только и всего?.. О, как они расхохочутся, как запропадут, как будут кататься по земле от восторга, — вернулись силы, вернулась вера в себя, радость... Только-то и всего?.. Да ведь они это давно увидели сами, давно схватили, а потом отбросили, — настолько все это было рыхло, непрочное, настолько слабо и хрупко — все рассыпалось в их руках, — а руки у них крепкие. Они — люди избалованные, и вовсе они не беспомощные — это ошибка, путаница, — это вон те, другие, те и вправду народ смиренный, немущий, голодный... они-то довольствуются — еще бы, неизбалованный народ! — этой жидкой кашницей для беззубых. И до того им стыдно за этих несчастных, до того неловко, что они готовы обращаться с ними, как взрослые с детьми, когда те протягивают им на ладошке камешек, ветку, клочок бумаги, и говорят: «Вот тебе апельсин, на, вот хлеб, вот конфетка, ешь, ешь...»

Они готовы причмокивать губами, заводят глаза, качать головой от восторга: «Ах, как вкусно... Ах, какая прелесть — эти «Золотые плоды». Да, вы правы. Какая красота. Какая глубина!»

Нет, все прошло, исчезло — мимолетная вспышка сразу притушена. Никаких признаков, ничего, что могло бы навести на мысль о сговоре, о тайном, робком сочувствии к ней, к этой сумасшедшей, к этой отчаянной женщине.

Но как же они, вон те, что они собираются делать? Все взгляды с тревогой обращены к ним. Что они станут делать, эти двое, сидящие в стороне, друг против друга с одинаковым выражением недовольства и скуки на лицах? Первый — худой, костистый, узловатый, похож на старое корявое дерево, искореженное и погнутое морскими ветрами. Скрещены длинные ноги, остро торчат колени. Всем известно — да и ему самому ясно, как же иначе? — что в нем ураганом бушует мощный ум, скручивает, стягивает его мышцы в узел, вздувает суставы длинных жестких пальцев и локтей, втягивает кожу на впадинах висков и щек, выпирает на скулах и на кадыке. От мыслей в его глазах лихорадочно вспыхивают блуждающие огни. Ни одним взглядом не достаивает он эту несчастную психопатку. Кажется, он и не слышал ее просьбы. Через головы всех он вперяет взгляд в того, другого, сидящего напротив. Этот — тяжелый, тучный, тугой, как бурдюк с вином, переполненный до отказа чем-то редким, драгоценным, что он бережно несет в себе, охраняя от нечистых прикосновений, и нехотя, скупо чуть приоткрывает, делясь с немногими, с избранными. Но помимо его воли что-то просачивается вовне, то ли в его улыбке индийского божка, то ли во взгляде сквозь полузакрытые веки, — но вот он широко раскрыл глаза под жгучим взглядом того, другого. И они спрашивают друг друга глазами: «Что будем делать? Мимо не пройдешь, вы согласны?» — «О да, конечно. Такое неуважение, такая глупость — нельзя их терпеть безнаказанно». — «Да, и я охотно возьмусь...» — «Отлично, предоставляю вам это удовольствие. Давайте!»

Губы еле двигаются, слова сочатся сквозь застывшую таинственную улыбку:

— Думаю... и вы безусловно согласитесь со мной, дорогой друг... Для меня редкостное — я не боюсь этого слова, — именно редкостное обаяние всей книги — и вот почему ничего нельзя из нее выделять — заключается в том, что она уникальное в своем роде явление.

Он говорит в нос, нехотя растягивая слова, словно ему приходится силой протаскивать их сквозь узкую щель:

— Я считаю, что эта книга ввела в литературу особый язык, который устанавливает контакт путем особой непространственной структуры. Это принципиально новое и самодовлеющее использование ритмической знаковой системы, превосходящей в своей напряженности то обязательное, что выражено в самом их семантическом соотношении. Кстати, и вы, дорогой друг, превосходно описали именно этот необязательный аспект построения семантической модели.

Второй, сидящий напротив, передергивается, словно его пронзило сквозняком, но сразу успокаивается и медленно наклоняет голову:

— Да, это очевидно. Тут есть явный посыл, который снимает некую герметичность, растворяя ее в неопределенности смысловой ткани.

— Да, тут у нас расхождений нет. Именно этим вневременная сущность вплавлена в становление ведущей темы. Это качество и приближает книгу в ее глубинном аспекте к поэтическому сказу.

— Более того: я сказал бы, что автор формирует модель по структуре своего сознания, но и модель, соотношенная с объектом действительности, навязывает свою структуру авторскому самосознанию. В этом и разворачивается замысел во всю ширь — и как разворачивается! — этим он нас и потрясает.

И те, кто на миг понадеялся выйти на солнечные просторы, мелькнувшие издалека, снова влачат свои цепи в тяжком походе, несчастные пленники, гонимые бог весть в какие болота, в бесконечную ширь ледяной тундры.

Только не я, не я и не я, не я! Я — живой, легкий, веселый, я ускользнул, схватился за что попало, за соломинку, и меня понесло легче пены, я сверкаю, переливаюсь, словно шампанское, словно ртуть... Я держусь на весу, хватаюсь за все, что подвернется... «особый язык», «новизна», «структура», «смысловая ткань», «посыл», «семантика», «поэтический сказ»... Упругие слова, и я, легче пушинки, прилипаю к ним, к словам прозрачным и неуловимым, к ритмам, подъемам — и слова меня поднимают, я лечу над морем облаков, все выше и выше, в чистоту, в лазурное небо, в беспорочную белизну, к солнцу, в блаженстве, в экстазе...

— Ах, как верно вы все объяснили, как это точно. Истинно поэтическое произведение. Да, вы правы, мы потрясены...

Если бы он только мог схватить их за плечи, встряхнуть как следует этих одержимых, — слушают с блаженными физиономиями, словно под гипнозом... Да очнитесь же, вас погрузили в сон гипнотическими пассажами, внушением, придите в себя, взгляните же на них, на этих двух шулеров, которые только что проделали с вами свой фокус-покус. Всмотритесь в них повнимательнее: ведь в них есть какие-то особые приметы — достаточно их увидеть хоть раз, чтобы потом узнавать безошибочно. Не верится, что даже, при всей вашей невнимательности, вы ничего не заметили. Да это же бросается в глаза. Но вы предпочитаете признать свою неправоту, так гораздо спокойнее, вообще лучше на такие вещи взглянуть мельком и сразу отвернуться, позабыть — мы ничего не видели, ничего не слышали... И с недоверием, с удивлением слушаешь, когда кто-нибудь — о, как это неделикатно, как нескромно! — пытается обратить ваше внимание, во что бы то ни стало ткнуть пальцем... Нет, это возмутительно... Что вам, в сущности, надо? Вы всюду видите одно плохое. А так хочется жить спокойно, угнездиться потеплее вместе со всеми, прижаться друг к другу покрепче, так хорошо, так тепло и успокоительно жить в счастливом неведении, в невинности незнания.

Но ведь это необходимо, слышите? Поверьте мне, все это чрезвычайно важно. Наберитесь же смелости, подойдите поближе, все сами увидите... надо только уловить хоть малейший признак, ухватиться за него, не выпускать из рук... Вы не можете себе представить, как далеко, к каким невиданным сокровищам можно дойти, когда осмелишься рискнуть, держа в руке эту нить Ариадны.

Именно с этого я и начал, это меня и вело к цели: я заметил, что те, двое, желают держаться в отдалении от всех, царить где-то в недосягаемых заоблачных высях, откуда в мимолетных разрывах облаков они являются нам, и мы видим, что они сигнализируют друг другу с одной вершины на другую, делают едва заметные знаки — вы это только что сами видели! — прежде, чем уронить вниз,

для нас, несколько слов,— да, должен сознаться, что сначала и я тоже тянулся к ним, пытаюсь их достичь, уцепиться за них... но я такой массивный, такой тяжеловесный, не то что другие — пушинки, несомые легчайшим дуновением,— и каждый раз я тяжело падал, ушибался, долго лежал ничком, без сил, и никак не мог подняться.

И вдруг однажды я заметил эту мелочь, эту малость, которую другие, как мне казалось, не замечали или не желали видеть. Я проследил за тем, что мелькнуло во взглядах, которыми они обменивались, я пронюхал, что кроется за их высокомерной отчужденностью, за их окаменевшей позой. И я дошел до самых истоков, до тайников, откуда это пошло, и там своими глазами я увидел то, с чего они начали,— их первые движения, когда они, еще давным-давно, забаррикадировались, замкнулись в себе, заделали все выходы, заткнули малейшие щели, чтобы не дать никому проникнуть к ним, чтобы никто не смог впитаться в них взглядом, чтобы не доходили до них звуки чужих голосов, растерянные улыбки, чтобы им не увидеть себя в смутных, слабо очерченных отражениях в виде каких-то жалких существ, темных людишек, безвестных авторов неудобочитаемых, отвергнутых всеми рукописей. Тройным замком заперлись они ото всех. И уединившись, создав для себя другой свой образ, они созерцали только его, а он все рос и рос, становясь гигантским, чудовищно разрастаясь во все стороны.

Только к этому своему подобию они и обращались, только с ним говорили на языке, созданном исключительно для них самих,— и они стали единственными своими читателями, единственными своими критиками. Только с собой они считались, только свое одобрение они принимали.

А потом я увидел, как другие, оставшиеся за дверью, вдруг забеспокоились. Странный недуг охватил их всех. Они чувствовали, что их изгнали, не допустили — правда, неизвестно к чему, но они ясно ощущали: они — изгои. Неужели же они до такой степени недостойны? Неужели они до такой степени невежественны? Но нашлись храбрые пионеры, нашлись неутомимые искатели из тех, кто готов идти на погибель, открывая недоступные сокровища в гробницах фараонов, нашлись те, кто с радостью отдает всю жизнь, расшифровывая тайны иероглифов. И эти люди стали прислушиваться, ловили каждое слово... Где-то появились рукописи... редкие издания, какие-то статьи прошли в журнале незамеченными... и они их нашли, они их выкопали, они сняли толстый налет презрительного равнодушия, покрывавший их, они все обследовали, все рыли и перерывали и, наконец, увидели, наконец-то, поняли... в этих знаках есть смысл, в них открывается незнакомый язык. Язык совсем новый, изумительный по своей точности, независимый и свободный, доступный только немногим, редким избранныкам.

И тогда, полные смутных опасений, они осмелились приблизиться, подойти к строго охраняемым дверям, к высоким решеткам королевской резиденции, где взаперти живут эти властители дум. Они робко шепчут заветный пароль. И высокие ворота приоткрываются, пропуская их вовнутрь. Они проходят величественной площадью, широкими дворами королевских палат по дорожкам, усыпанным белым гравием. Они вошли, они все увидели. И когда они выходят обратно, все растущая толпа непосвященных спрашивает их в нетерпении: что там было?

Конечно, они очень растерялись — так они сами говорят,— везде чувствовалось присутствие невидимых стражей, которые следили за каждым их жестом, каждым шагом. Надо было держаться строжайшего этикета, кланяться очень низко, до самой земли, но это их не смутило, они просто упали на колени... «Ваши труды... — ошалев от счастья, от гордости, бормотали они,— мы первые, без поддержки, без всякой помощи, открыли их... созерцали... и мы, Учитель, мы осмеливаемся сказать вам в глаза... мы все поняли, мы восхищаемся... Нашему обогащению нет пределов, нет границ, верьте нам!»

...И тут мы увидели, что его величество приближается к нам, велит нам подняться с колен... Мы бы никогда его не узнали... такая простота, такое обаяние. Он сам провел нас в покои, где хранятся бесчисленные манускрипты...

— А нам тоже можно посмотреть, мы тоже хотим... Когда нам позволят взглянуть на эти сокровища? — Толпа дрожит от нетерпения.

— Погодите, погодите, все придет... Он разрешил...

— Не может быть!

— Да, согласился... И если бы вы знали, с какой исключительной приветливостью, с какой обаятельной непринужденностью. В его словах...

— Как? Неужели? Он — с вами! — беседовал?

— Беседовал? Да он с нами так разговорился — остановиться не мог! До того разоткровенничался... И мы тоже, под этой освежающей струей... все, что он говорит, так свежо, так ново, так неожиданно... мы так увлеклись, что иногда — что скрывать? — совсем забывали, где мы...

— О чем же, о чем вы говорили?

— О, обо всем и ни о чем. Что в голову приходило...

— Нет, все-таки, ради бога, скажите — о чем?

— Да о чем попало, о самых простых вещах — ну — обо всем...

— Обо всем? А вдруг... да нет, не может быть... разве так бывает... Может быть, и о нас... Ну скажите же, о чем вы говорили... о ком? Неужели и обо мне... какое счастье, неужто о моей книге... Но каким образом, каким чудом... неужели и туда проникло...

— Да, представьте себе, он очень в курсе. Всем интересуется. Просто поразительно. Он читал и ваши книги...

— Фу, голова кружится... Не мучайте же меня... Скорее... Что он сказал?.. Как? Только и всего?.. Очень странно... Ничего не понимаю. Так противоречит всему, что раньше... Но кто мы такие — нам ли судить? Надо принять его слова бережно, изучать их смиренно, вдумчиво... Надо постигнуть тайны неведомого нам языка... О, мы готовы приложить все усилия... Мы хотим стать достойными того, чтобы и мы в один прекрасный день увидели, как перед нами распахиваются высокие, окованные железом врата, мы тоже хотим с трепетом пройти по белому гравию широких дворов, по анфиладам грандиозных покоев и проникнуть... преклоняя колени, целуя руки... Что вы! Прошу, вот так, сядьте подле меня...

Отсюда оно все и началось. Отсюда и пошло, в этом я уверен.

Но даже теперь, когда победа им обеспечена, воспоминание о прошлом оскорблении величества нестремимо живет в их памяти: они не могут забыть гогот черни, нахальную фамильярность мелких людишек, презрительную снисходительность высокопоставленных лиц, они все время настороже, они забаррикадировались в самих себе. Окружили себя постоянной охраной. Они отгородились от все растущей толпы, что ждет за решеткой, надеясь когда-нибудь, наконец, узреть их — какое счастье, какая признательность, когда они на миг смешаются с толпой, — но они отделяют себя от всех огромными пространствами, похожими на торжественные белые площади перед дворцами королей, — непроходимыми, бесконечными равнинами своего молчания. Они непоколебимы, они не пойдут ни на какие уступки. Можно даже подумать, что чем неуклоннее растет число посвященных, тем дальше они отходят, тем недоступнее, невидимее они становятся. Все чаще и чаще они обращают свои слова только к самим себе, и слова уходят в недостижимые выси, где в облаках царит их собственный, созданный ими когда-то, ни с чем не соизмеримый образ. И пусть их слова, обращенные к этому образу, теряются в небесных далях. Все смелей гонятся за ними неуемные искатели, все больше восторженных адептов, окрыленных верой, летит за ними ввысь.

Но я — я держусь. Крепко, обеими ногами, я упираюсь в землю, плотно держится голова на плечах — я не участвую в диких этих левитациях. Мое открытие — это мой драгоценный талисман — я только что показал его вам! — в нем моя защита. Возьмите, я подаю его вам, он и ваш тоже, друзья мои, дер-

жите его крепче, не выпускайте из рук — и вы станете, как я, сильными, прозорливыми. Соберитесь с духом, давайте вместе посмотрим, что это упало, вот тут, к нашим ногам, будто метеор с дальней планеты. Поглядим-ка, что это такое. Поверьте, тут никаких особенных усилий не требуется. Взвесьте их хладнокровно, эти драгоценные словеса, эту редкость, — даю слово, что вы не найдете в них ни следа полновесных и тонких мыслей. Это же бедные пустые слова, слепленные грубо, кое-как, самым простым способом; стоит вам только захотеть — и вы тоже овладеете ими, вы тоже сможете запросто повторить все эти простейшие трюки, фокусы, всю эту пошлую ловкость рук. Просмотрите хотя бы бегло — жаль тратить ваше драгоценное время! — эти их герметические статьи, о которых идет столько разговоров, перелистайте вслед за мной все эти книги — и вы сами увидите: я прав! Ну-ка, разождем из всей этой макулатуры огромный костер, возьмемся за руки, закружимся в пляске. Ну же, товарищи, робкие мои братья, такие смиренные, такие нестойкие! Не поддавайтесь этому наваждению, смелее, помогите мне...

Пусть бы хоть кто-нибудь услышал его призыв, пусть хоть один человек встал с ним рядом... пусть еще чьи-то глаза увидят то, что видит он... Больше он ничего не просит. Для полной уверенности, для ощущения своей непобедимости, для торжества правды ему нужно только это — еще один свидетель, один-единственный. Он обводит их глазами, его взгляд скользит по восторженным лицам, словно застывшим в каком-то оцепенении.

Но вон там, почти напротив него, — как это он раньше ее не увидел? — она всегда старается быть незаметной, всегда в стороне, в ней ничто вас не коробит, у нее почти нет этих неуловимых внутренних движений, которые обычно насто-раживают, заставляют невольно, импульсивно искать — откуда они взялись, какие тайные причины их породили? Спокойные, слишком светлые глаза остановились на нем — пристальный, вдумчивый взгляд, — улыбка, легкая, еле уловимая, чуть трогает мягкие складки щек. Сомнений нет: она все видит, она тоже открыла тайник, и она владеет талисманом, — как видно, нашла его без труда, ее неуклонно вело безошибочное чутье, схожее с инстинктом птиц, почтовых голубей. Она не поддавалась гипнозу, она стойко сопротивлялась. Ее взгляд успокаивает его: видите, вы не одиноки. Мы понимаем друг друга. И мы не одни, верьте мне. Другие, неизвестные нам люди живут в уединении, не общаясь ни с кем, но их с каждым днем становится все больше и больше, они, как и мы с вами, тоже видят всю правду. Несомненно, настанет день, когда правда восторжествует. Зачем же так волноваться? Зачем мучиться? К чему такая спешка? Надо выработать в себе равнодушие, пропускать все мимо, пусть идет своим чередом... Разве это имеет значение? Нужно выждать. Держитесь, как я, побольше юмора. Сознайтесь — зрелище презабавное...

— Кажется, мы с вами заодно? По-моему, вы тоже не из них, не из тех, кто сходит с ума по «Золотым плодам»?

Теперь, когда они нашли друг друга, когда они могут поговорить в стороне от всех, она ему сказала это, стоя перед ним, подняв к нему лицо, изучая его терпеливым взглядом... Чудом сохранилась ее душа... Никаким грубым наскоком извне ее не сломать, никаким дешевым рыночным добром не захламить... чистой, сильной предстоит ее душа перед ним, открывается ему в полной невинности, в трогательном доверии больших прозрачных глаз, в искренней детской улыбке... Ибо их — таких, как она, — есть царствие небесное... И в них волшебным образом растут и расцветают сильные, новые, нетронутые ощущения...

Он наклоняется к ней, он ей улыбается, глаза в глаза... Он готов от всего отказаться, отречься от всех накопленных богатств, от своей мудрости, своей никчемной учености, от умствований и притворства, чтобы стать таким, как она, защищенным от оскверняющих прикосновений, суметь, как она, созерцать зло с ничем не затуманенной ясностью во взгляде, хочет уподобиться ей всем — скромностью, смирением, непоколебимой верой в конечную победу добра, в тор-

жество правды... Он чувствует, как на его губах появляется детская улыбка, ему кажется, что и его глаза сияют чистым светом...

— Если бы вы только знали, как меня радуют ваши слова... До чего людей ослепляет это пустозвонство, эти пышные дискуссии... Сколько «учености» — а для чего, я вас спрашиваю?.. Так редко случается найти человека...

— Что вы, ведь я в этом ничего не понимаю... Мне ли судить.

Слабый румянец вспыхивает на чуть обвисших щеках... седые, давно не стриженные волосы космами спускаются на шею... она крепко стискивает руки, ногти на коротких пальцах срезаны до мяса... на ее одежду неприятно смотреть, так она висит на бесформенном теле... старая, одинокая женщина, живет бог знает как... Чем она занимается? Рисует? Какие-нибудь гуаши? Миниатюры? Или пишет для себя — стихи, что ли?

Он подавляет в себе легкую брезгливость, старается преодолеть еле заметное ощущение унижительной своей неразборчивости:

— Нет, нет, вы понимаете лучше всех, вы судите лучше, чем все эти великие умы, которые ничего не смыслят...

Он с ней, он сбросил одежды патриция, отказался от дружбы сильных мира сего, из роскошных своих покоев, украшенных мрамором статуй, фресками, изысканной мозаикой, он последовал в катакомбы за ней, своей сестрой... их окружают язычники, их преследуют, их будут мучить, унижать, но он не отступится от нее, он хочет пойти к беднякам, к людям простым, чистым, к тем, кто знает, где искать истинные ценности...

— Понимаете, так редко встречаешь человека, который решает иметь свой собственный вкус и открыто говорить об этом... человека, который подходил бы к произведению с чистыми мыслями, без всякой предвзятости... По-моему, здесь нет никого... да вы сами слышали... никто не интересуется книгой как таковой... К чему же с ними спорить?.. Ни одного искреннего слова... А вот с вами я еще раз почувствовал...

Она слушает, не сводя с него прозрачных глаз, чуть приоткрыв рот... лицо одержимой, лицо фанатички... такой ничем не загруженный мозг иногда вдруг целиком заполняется каким-нибудь учением... подчас самым неожиданным... Христианская наука... оккультизм... Йоги... такие, как она, становятся адептами нелепейших сект... блуждают вдали от проторенных путей... нудизм... греческие сандалии... столоверчение...

Ему хочется отшатнуться от нее, но под горячими лучами ее доверчивого взгляда из мелких лужиц, оставшихся на песке после отлива нахлынувших на него чувств — чистоты, смирения, братской любви, — словно пар поднимаются слова, обволакивают их обоих...

— Нет-нет, я правду говорю. Вы — не такая, как все... К счастью... Уверю вас, не часто встречаешь... Но вы и сами знаете... Я чувствую то же, что и вы... «Золотые плоды» — из тех книг, которые...

— Ха-ха-ха! Все еще... До сих пор обсуждаете «Золотые плоды»?

Они прошли мимо, рука об руку, два великих человека, два аристократа духа, не сливаясь с плебсом, прошли мимо них, совсем близко, поглядели на них с усмешкой. Они взглянули на них на обоих — две чистых души, два невинных младенца. Значит, отождествили его с ней — с этой юроровой? Два сапога пара... Они увидели — он наивничает, сентиментальничает, как она, он полон «идеалов»... Два сапога пара... Те все поняли... это видно по их хитрому взгляду, по иронической улыбке... открытую книгу прочли они, увидели и ее и его, поняли, как они оба довольны друг другом, угадали их сговор, приметили — они всегда так бдительны! — и обмен взглядами, и пренебрежительные улыбки.

...Очень занято... Бедняги... умственно отсталые, примитивный мозг, разве они могут судить, разбираться в таких тонкостях? Да, наверно, в них немало и косности и лени. Всегда падки на то, что полегче, на всякие сомнительные теории — тут и психология, и дешевый психоанализ, всякая болтовня... Надо же

им за что-то схватиться, поднять себя... Но до чего они смешны... даже трогательно... помешаны на всем, что им кажется «искренним», «непосредственным»... забавно, до чего они любят всякие такие слова... Боятся всего конструктивного, лишнего украшательства, обнаженного, сухого, «мозгового» — одно из любимых их словечек — нет, они доверяют только своему «инстинкту», «чутью»: как щенки, которые при одном звуке ласкового голоса, восторженно визжа, падают на спинку, они сразу чувят все «правдивое», все «прекрасное», «живое», как они это называют. Слово все искусство не строится на холодном расчете, на искусных построениях, на вычислениях, условностях, словно язык, которым пользуешься при разборе этих явлений с максимальной эффективностью и предельной точностью, не становится поневоле языком эзотерическим... но этого слова они чувуются больше всего, оно их отталкивает, приводит в ужас...

...Значит, те в одно мгновение заметили все, пронзили его насквозь, пригвоздили к ней, привесили им обоим одинаковые ярлыки... Все увидели, на ходу, не останавливаясь, не заговаривая, — только с улыбкой, с легкой милой насмешкой в голосе, как детям, бросили мимоходом:

— Все еще обсуждаете «Золотые плоды»?

* * *

«Деревянные затычки в уши» — хо-хо-хо... это, милая моя барыня, и есть великая литература... «Деревянные затычки в уши»... Ах, наш милый, наш великий Жарри¹. Как бы мы жили без тебя, чем бы мы стали?.. Вы бы на нее поглядели, на эту славную тетку: красная, как индюк, все перья дыбом: «Но, мсье, по-моему, «Золотые плоды» надуманны... Сплошная литературщина... Никакой реальности, в жизни все иначе»... «Деревянные затычки в уши»... Вот это великая литература, милая барынька... вот это и есть реальность, как вы изволите выражаться... Она так перепугалась, будто я на нее напал; сейчас, думаю, закричит: «караул!»... Вы бы на нее посмотрели — умора! «Но все это так искусственно... Настоящие чувства настолько сложнее...» Он фыркает... «Нас, говорит, учили... в наше время мы уже знаем...» Что это вы знаете? Чему это вас научили?.. Тут бедняжка совсем вышла из себя: «То, что мы теперь называем реальностью, — совсем иное... За последние полвека столько новых открытий... Мы уже отошли... Я всегда старалась это объяснить...» — «Эх, дорогая моя барыня... — он качает головой, с приторно-задумчивым, серьезным видом: — Да что же такое, наконец, реальность?»

Жестом заклинателя он поднимает вверх большие руки, привыкшие растирать краски, управлять кистью, карандашом. Крупное, благородной лепки лицо изборождено следами титанического труда, смертельных схваток, открытый ворот не стесняет поворотов большой головы, он обводит всех пронзительным и зорким ястребиным оком: ну-ка, кто скажет лучше меня? Набирайтесь храбрости... Кто со мной поспорит? Выходи... Не бойся... Но кто же осмелится, кто решится, — нет, тут каждый чувствует себя той перепуганной «славной теткой» — кто же выйдет к рампе рядом с ним, на потеху веселым зрителям?

Лицо его становится очень серьезным:

— Недавно я сказал самому Брейе: «Знаешь, твоя книжка — просто прелесть. Я влюблен в Эстеллу. А эта сцена при луне... эти водопады, романтические беседки... нет, старик, это великолепно! Мы еще к этому вернемся...» А для вашей дочери, сударыня, это и есть, говорю, реальность, как вы любите выражаться. Именно этим Брейе даст ей почувствовать, что такое реальность... Она чуть не задохнулась: «Но ведь это сантименты для продавщиц!» Я был восхищен: «Браво! Вот что нам нужно — сантименты для продавщиц!» Но нет, кроме шуток, книга потрясающая. Знаете, как Брейе хотел назвать свои «Золотые плоды»? «Плеоназмы» — неплохо, правда? Мне ужасно понравилось. Отлично. А потом нашел другое название: «Золотые плоды». Прельстился иллюзорностью этих слов

¹ Цитата из сатирической пьесы Альфреда Жарри (1873—1907) «Король Убю».

Он мне сам говорил: «Хочу, чтобы читатель подох с голоду» — это про таких дам, как та... — «хочу, чтобы те, кто, изголодавшись, собирается впитаться в сочное яблоко, обломало бы себе зубы». Но зато для других какая это драгоценность! Плоды из чистого золота. И какая форма... Эта сцена в беседке... какое мастерство! Ей-богу, он настоящий эквилибрист, этот Брейе... Что? Вы не согласны? Согласны? А вы читали статью Моно? Блистательно! Он им всем показал... «Ноль». «Гэ-э-гантская штука», как сказано в одной переписке¹. «Ноль». Эта книга — ноль. Так он начал статью. Все голодные, все обиженные счастливы: ноль! Аннулировано. Все аннулировано. Ничего не осталось. Стиль автора держит всех в почтительном отдалении. Внимание. Руками не трогать. Только смотреть. Есть нельзя. Услада для глаз. Никакой «реальности». Воплощенная вежливость. Предельная учтивость. Никакой фамильярности, никаких прикосновений, теплых дыханий — чистейшее созерцание старинных тонких миниатюр. Чуть намеченные контуры героев, без нажима, — предельное изящество. Для меня это просто наслаждение. А потом, к концу, автор отходит в сторону, с поклоном удаляется, контуры постепенно тают...

«Ах, мсье, этот герметический финал... Вы его поняли?» Брейе исчез вдали. «Пусть идут за мной только возлюбившие меня». Я-то, конечно, пошел за ним, еще бы!

Восторженный смех. И мы, мы тоже! Мы все пошли... Ах, какой вечер... Как нам повезло — Ортиль превзошел самого себя. Воплощенный интеллект. Слепительно. Если бы вы его видели... Бывают же такие дни... Он — сама мудрость, сама душевность... Задушевная мудрость... это так редко бывает... Ах, если бы он не был художником, если бы не рисовал, не писал такие дивные стихи, какой потрясающий критик вышел бы из него!

* * *

— Должен сказать, что гениальность Брейе меня потрясла с самого начала... Задолго до «Золотых плодов». Когда вышел первый сборник его рассказов... Уже тогда. Поразительное явление...

Как выстрел, внезапно раздавшийся в мирной толпе гуляющих, заставляет всех после первых минут оцепенения толкаться, спрашивать, бежать, так в ней сразу вспыхивает смятение: что же это такое? Что случилось? Как, среди бела дня, перед всем светом, да еще с таким цинизмом, с такой холодной наглостью он осмелился... Она не верит своим ушам, своим глазам, но ведь она сама видела... она твердо уверена... у нее и сейчас перед глазами... ясно, до мельчайших подробностей: в верхнем правом углу газетной страницы на обычном месте, над толстой черной чертой, две колонки петита, а внизу... буквы сливаются, но она ее узнает, она ее видит: внизу — его подпись... Длинное трехсложное слово, без инициалов, без имени... он всегда так подписывается... Меттеталь, да-да, точно... она ее видит, она ее ощущает, эта подпись вросла в нее... И вокруг этого имени, как растрепанные клочья соломы вокруг столба, навиваются тогдашние впечатления, ощущения: легкая жалость к бедному Брейе — такому милому, такому тонкому, — легкое пренебрежение, смутное облегчение, сладковатое, чуть противное чувство удовлетворенности, а главное — удивление: как это Меттеталь, самый осторожный, самый сдержанный из всех, так решительно, так резко выступает против этого необычного, не всякому доступного сборника рассказов, который многим влиятельнейшим критикам показался таким многообещающим. Нет, сомневаться нечего: ощущение крепнет, сильное, живучее, оно в ней. А этот Меттеталь пытался раздавить его, пытался исподтишка схватить, удушить... Только что произошло подлое нападение... Гнусное преступление... Законный порядок нарушен, справедливость погубана.

¹ В одном из писем Флобера слово «Епогте» — гигантский — написано нарочито неправильно: «Нéпаигте».

Нет, надо во что бы то ни стало прекратить эту катавасию, эту душераздирающую борьбу с собой... Напрягая память до предела, она вглядывается... нет, может быть, то слово, в конце страницы, вовсе не «Меттеталь». Полно, да уверена ли она, что там не стояло какое-то другое, тоже длинное слово, два слова... да не было ли между ними интервала? «Par interim»¹ — может быть, так? А все эти впечатления, ощущения — да уверена ли она, что испытала их тогда, именно в тот раз? И память ей так изменяет, и она так устаёт... Часто забывает, часто путает... Она готова пожертвовать собой... Не лучше ли меняться самой, чем менять лицо мира? Ей становится легче... Никакого нападения не было. Справедливость не нарушена, по-прежнему царит законный порядок.

Но вдруг с новой силой в ней начинается борьба... Нет, ничего не поделаешь: слово тут, оно вырисовывается яснее прежнего... без малейшего интервала... одно длинное слово... последний слог встает на дыбы: т а л ь... Меттеталь... И вся статья — беспощадный наскок... Это бьет в глаза, растет, ширится, наступает, хочет смести все заграждения, вырваться наружу, чудовищной тяжестью обрушиться на виновника... Вот сейчас все выйдет на свет, все увидят, а он — она вздрагивает при этой мысли, представив себе эту картину, — он, сидящий тут, такой строгий, подтянутый, полный такого достоинства и уверенности в себе, он вдруг станет похож на того respectableного, хорошо одетого господина с орденской ленточкой в петлице, которого возмущенная нянька вытаскивает из-за кустов, на позор, перед всеми прохожими... Нет, это невымыслимо, надо во что бы то ни стало удержать слова, которые рвутся наружу, напирают... да разве их остановишь?.. Она тянет их назад... не надо... тише, осторожнее... сейчас она сгладит углы, спилит острые шипы, завернет как следует в мягкое: как большие, слабо надутые мячи, ее слова легонько стукнутся об него, пощекочут чуть-чуть, чтобы он засмеялся — таким славным добродушным смехом, таким приятным добрым баском, — и она уже хмурит брови и поджимает губы с притворным неодобрением:

— Послушайте, Меттеталь, а ведь я вас поймала... оказывается, вы страшный обманщик...

Ну вот, это же ничуть не обидно, разве на нее можно обидеться? Да и кого это заденет? А ей стало весело... Наверно, он пошутил, а может быть, и забыл про ту статью, а может быть (и пусть тот, кто не грешил, первый бросит в него камень) — может быть, просто захотел прихвастнуть? Ну вот, самое опасное сказано, теперь можно и договорить:

— Мне кажется... — и она шутливо грозит ему пальцем, — мне помнится, что вы не очень-то ласково обошлись... — она уже дала себе волю: — ...обошлись с Брейн, именно в тот год, когда вышли его новеллы...

Он поднимает на нее выпуклые, пожалуй даже выпученные, глаза — вот сейчас он усмехнется, покачает головой, как все взрослые, когда балованные дети — у, бесенята, никак с ними не сладить! — вдруг выкинут какую-нибудь штуку... Вот сейчас он на нее взглянет, со смехом покачает головой: «Да вы страшная женщина, вас не обманешь. Не дадите человеку прихвастнуть, приврать... Что ж, ничего не поделаешь, придется покаяться: ваша правда, помню, я только начинал писать и накал статейку второпях, у меня и времени не было... я и сборник только просмотрел... да, тогда я действительно говорил...»

Больше ей ничего и не надо, больше ничего не нужно, чтобы угроза миновала, чтобы все свободно вздохнули. Мир. Справедливость. Гармония. Невинность, как на заре человечества. Радость. Наконец-то Истину вывели на свет божий, восстановили в правах, поставили на место, возвели на престол — и она воссияла, озаряя своими лучами очищенный мир...

Но Меттеталь только на миг останавливает на ней пустой взгляд и отводит глаза...

Что такое? Кто нарушает порядок? Кто она, эта сумасшедшая, эта беснова

¹ Здесь: вместо, заменяющий (лат.). Когда автора, ведущего какой-либо раздел, замещает другой, перед его подписью ставятся эти слова.

тая — носится по земле, босая, оборванная, в лохмотьях, вопит на площадях, бия себя в грудь, требует: покайтесь! — проповедует слово Христово, тычет крючковатым пальцем в сильных мира сего, издевается над существующим строем, возвещает о близости Страшного Суда. Толпа смыкается. Взгляды побивают ее, словно камни. Ее выталкивают, выгоняют. Снова сомкнулся круг правоверных. Миг — и вновь воцаряется мир и покой. Пожатие плеч... Улыбки... Разве можно обращать внимание на бред этих слабоумных, одержимых? Нет, давайте серьезно:

— Слушайте, Меттеталь, объясните нам, пожалуйста... ведь у него как будто есть еще роман, неизданный, потрясающая вещь... написан между новеллами и «Золотыми плодами»... помните, вы нам рассказывали...

* * *

Да, вот это книга, черт возьми... Исследуй ее как угодно, режь вдоль и поперек — по горизонтали, по вертикали, по диагонали, разбирай с любого места, по любой схеме... И в каждом абзаце, в каждой фразе, в каждом предложении, в каждом слове, в каждом слоге — только сумей увидеть! — и сколько неведомых сокровищ, какие богатые отзвуки, какие безграничные перспективы откроются перед тобой!

— А по-моему, «Золотые плоды» — презабавная вещь... Я так смеялась... Вот все говорят — грустный роман, трагический, а для меня — наоборот... Там есть сцены... Помните — когда он опаздывает на поезд... или когда тот господин, ну, вы знаете кто, ищет свой зонтик — просто удержаться невозможно... Настоящий Чаплин. И какой стиль, какая сила... Сильней Чаплина. Честное слово. Великий комик. И никто этого не увидел. Разве об этом хоть где-нибудь было сказано? Тут все — и комедия и трагедия. Это характерно для всех великих произведений.

— Комедия? Чудачка эта Марта. Но это на нее похоже! Она считает «Золотые плоды» комедией...

— А вы знаете, она права. И я тоже... Читаешь некоторые главы и хохочешь до слез, до колик... Невероятно смешно...

Сколько юмора... И какой беспощадный. Мрачный. Да, мрачный, но какая чистота. Светлый. Простодушный. Хмурый. Пронзительный. Доверчивый, Улыбчатый. Человечный. Безжалостный. Сухой. Сочный. Холодный. Палящий. Переносит тебя в нереальный мир. В царство мечты. В самый реальный, самый настоящий мир. В «Золотых плодах» есть все на свете.

Как под лучами солнца, на этой плодородной почве распускаются самые удивительные цветы, вырастают несуразные, невиданные растения, играют и переливаются невероятно яркие, смелые, кричащие цвета, они резали бы глаз, но тут — о чудо из чудес! — они сливаются в законченное целое, полное гармонии и красоты.

— А вот я должен признаться... нет, боюсь, не смею... Не убивайте меня! — Шутливым жестом он загораживает лицо согнутой рукой. — Спервоначала я — *mea culpa!*¹ — ...начал читать, и...

Кажется, он их разыгрывает? Что он сейчас выкинет? Он такой непосредственный, такой милый, ребячливый — разве можно сердиться на его выходки?

— Да, прямо скажу — не понравилось: прочел первые тридцать страниц, зевал до одури, закрыл книгу и говорю Люс...

Он озирается с видом заговорщика и свистящим театральным шепотом проносит:

— Люс, не читай!

¹ Моя вина (лат.).

— Да не слушайте вы его, он от книги без ума... Ну что ты болтаешь, Ги?

— Конечно, потом... ведь я все-таки не полный кретин, не болван же я какой-нибудь... Потом, естественно... все-таки я захватил эту книгу с собой в отпуск, подумал: тут что-то не так, надо бы еще почитать, думаю — нет, старик, ты меня начинаешь беспокоить; видно, ты переутомился, дело неладно.

— И там, с первого дня, мы и чемоданы не успели распаковать... Вы бы его видели — сидит на кровати, книжка перед ним, начал развязывать галстук — и все!

— Да, должен сознаться, меня просто пронзило... Потрясло... В пять утра я все еще так и сидел на кровати с книгой... Я и Люс разбудил...

— Правда, он вдруг стал меня тряссти... Ох, ну и книга, говорит... Читал, не отрываясь, целые куски выучил наизусть, мы ни о чем другом не говорили, забывали все — обед, купание...

Есть те, кто жил до «Золотых плодов», и те, кто жил после. И мы — те, кто жил после. Отмечены навеки. Поколение «Золотых плодов» — так нас будут называть.

— Верно. Вполне с вами согласен. После «Золотых плодов» для меня что-то решительно изменилось. Настоящее землетрясение эти «Золотые плоды». Морской шквал. Иногда спрашиваешь себя — да кто же решится писать после этого?

Предел достигнут. Во всяком случае тут в этом направлении путь перекрыт.

— Просто поразительно. Какое-то чудо, по правде говоря. Такого успеха не было с тех пор, как... дайте подумать... с каких же это пор?

— Ну, милый мой Жан-Пьер... — грозный палец укоризненно качается под самым его носом, — вы это говорите, лишь бы доставить нам удовольствие, знаем мы вас...

Он краснеет, теряется...

— Да что вы... Почему же?.. Почему вы так говорите?

В глазах — насмешливые улыбки, головы недоверчиво качаются... Э, нет, это было бы слишком просто... так легко вам сюда не проникнуть. Сначала надо представить определенные доказательства... в прошлом все должно быть чисто, незапятнано... Ведь бывали определенные минуты, когда кое-кто совершал определенные, очень досадные ошибки, слишком много клятв и уверений давалось тем, кто тогда был в силе... Сначала было и какое-то неясное отношение, какие-то косые взгляды, затаенное молчание... Молчаливый подвох. Было — и это всем известно — много невысказанного. А кто говорил всякие слова? Их и повторить не осмелишься, это было бы слишком жестоко... Нет, к несчастью, кое-кто показал, что нет в нем чего-то существенного — ни особой чуткости, ни подходящего склада ума, ни какого-то особого дара...

Да, тут надо проявлять величайшую осторожность, ни в коем случае не допускать к себе столь подозрительных союзников, тех, кто перешел в наш лагерь в последнюю минуту, кто недавно обратился в нашу веру, — они же могут дискредитировать всю общину. Спокойно и твердо, едва заметным толчком и... очень неловко, но что поделаешь... есть случаи, когда жалость неуместна... Ах, этот Жан-Пьер... Лишь бы доставить нам удовольствие... Конечно, это очень мило с его стороны...

Но мы тут в своем кругу, мы — верные, мы — надежные, ни разу не дрогнувшие, мы, пронесшие — и сквозь какие бури! — Неугасимый Светоч, мы можем сказать в полный голос — и говорим теперь, когда пробил наш час:

— Есть те, кто был до «Золотых плодов», и те, кто после.

И мы — те, кто после.

* * *

— Так о чем же у вас тут говорят в Париже? Что делается? Какой последний крик моды, последнее увлечение? Ведь я же провинциал, мужлан... Сижу в своем углу в затишье, разве что иногда докатываются какие-то слухи... А тут, кажется, все сходят с ума по этим «Золотым плодам»... Читал я, читал эту книжицу... Не знаю, как вам, а мне показалось слабовато. По-моему, в ней просто ни черта нет... Вот именно — ни черта, понятно?.. Пустое место. Нет? Вы не согласны?

— Нет... нет... — он останавливается, качает головой, словно примерный мальчик, увидевший, как шалит его товарищ за спиной взрослых... ой, что он делает... ведь это запрещено, с ума он сошел, что ли... ой, как он ругается! Ему хочется зажать рот рукой, выпучить глаза, запрыгать весело и возбужденно, он чувствует, как его душит неудержимый смех... но он только может помотать головой.

— Нет? Вы не согласны. Бросьте, зачем притворяться? Вы меня просто разыгрываете... Не может быть, чтобы вам нравилось?.. Это же дешевка... Пустое место. И претенциозно к тому же... Да чего вы хохочете? Что вас так рассмешило? По-вашему, я говорю глупости?

— Да нет же, не в этом дело... Но вы... вам цены нет... Вы сами не понимаете... Ох, какая прелесть!.. Уморил...

— Что? Чем же это я вас уморил? Тем, что меня не проведешь, что мне дела нет до мнения всех этих снобов, этих кретинов?..

— Кретинов!.. — Брюлэ, Меттеталь, Рамон, Лемэ, Парро — кретины! Ха-ха-ха! Ха-ха!.. Ох, дайте отдышаться... Вот бы кто-нибудь вас послушал... Ну, знаете... нет, вы даже не понимаете, до чего вы забавны!.. Если бы я только рассказал... нет-нет, не пугайтесь, я никому не скажу... Да мне никто и не поверит... Надо слышать своими ушами... Надо самим... нет, вы просто неподражаемы!.. Мне повезло, честное слово... Нет, давайте всерьез... Значит, вы считаете, что это дешевка? По-вашему, «Золотые плоды» — дрянь?.. Ха-ха-ха-ха-ха!

— Ну, конечно, дрянь. И знаете что? Все ваши ссылки на авторитеты, на мнение всех этих Меттеталей и Лемэ ничего не изменят. Скажу вам прямо — мне на них наплевать. Хвалят что попало. И потом, знаете, в этих делах никаких авторитетов для меня нет. Не бывает! — Он гордо выпрямляется: — Тут надо доверять только себе самому. — Он бьет себя кулаком в грудь: — Себе, понимаете? Своим ощущениям. И я, я... — он колотит себя в грудь, — я вам честно говорю, смейтесь сколько угодно, но ваши «Золотые плоды» — чистая дешевка.

— Да я вовсе не смеюсь... — Он вытирает глаза. — Я не смею. — Он чуть не плачет... — Сам не знаю... я же ничего не говорю, это же вы... — он с трудом выговаривает слова... — вы не представляете себе, до чего это смешно... Нет, вы неподражаемы... Настоящий комик... ха-ха-ха... Ох, не могу... только подумать... нет, вы меня уморите...

— Только подумать, какую физиономию скорчат все эти ваши кретины, да?

— Ох, перестаньте, умоляю вас... Мне больно, я больше не могу... Значит... — он еле справляется с приступами смеха... — Вы серьезно... считаете, что «Золотые плоды» — дешевка?

— Да, да, я своих слов обратно не беру. Можете хохотать сколько влезет. И говорить можете кому угодно... — Тот подымает руку в знак протеста. — Да, кому угодно, я краснеть не буду. И хорошо смеется тот, кто смеется последним. Ничего в них нет, в ваших «Золотых плодах». Сплошная претенциозность. Отсюда и успех. Фальшивая таинственность. «Высокие темы». И все это в приподнятом стиле, слегка герметическом... действует безотказно... а за всем этим часто скрывается... да-да, я вам скажу — что, хотя вам, наверно, будет смешно до слез: за этим скрываются страшно банальные мысли, чувства... и масса общих мест... иногда это просто огорошивает...

— О-о, тут я должен вас остановить. — Смех резко обрывается. Лицо становится серьезным — Нет, тут я вам должен сказать... Шутки в сторону. Тут вы

действительно ошибаетесь. Знаете, что вам на это ответят? Вам скажут: послушайте, ну как же вы не видите, что именно это впечатление пошловатости, банальности, о котором вы говорите, — Брейе именно этого и добивался, он это сделал нарочно.

Мало кто осмелится схватить поэму, роман, чей блеск ослепляет глаза, и, стиснув в своем мощном кулаке, злобно нажимать на самые уязвимые места, надавливать... вот, смотрите, как тут слабо, как рыхло... сплошная мелодрама, бутафория, хлам... так вульгарно, так плоско...

И никто ни звука! — слушают, молчат. Смотрят, как те выставляются, опьяненные ощущением собственного свободомыслия, своей прозорливости, и сначала не мешают им нажимать изо всех сил, все крепче, крепче и с победными криками проникать все глубже. И вдруг, как выстрелом из револьвера в затылок, в них выпаливают: «Слушайте, да ведь все это сделано нарочно!»

И тот, в кого угодил выстрел, шатается, падает на землю, обливаясь кровью. С любопытством, с жалостью все склоняются над ним: так вот он, этот опасный силач, вот кто размахивал перед нами мощным кулаком, показывая: «Смотрите, люди хорошие, взгляните-ка... вот, к примеру... только ткнул — и весь палец туда ушел... вот, ломаю пополам, сейчас вам покажу. С виду все такое цельное, здоровое, живое, а внутри — гниль...»

Что с ним стало теперь, с беднягой! Вот до чего его довели его самоуверенность, легкоеверие, нечуткость. Но как может человек, пусть самый глупый, самый слепой, как, я вас спрашиваю, может он не видеть — да это же всем видно, это бросается в глаза: все эти «банальности», как он, жалкий человек, их называл, все эти банальности, которые так его шокировали, все они вкомпонованы нарочно.

...Сломлено сопротивление, агрессор проник в самые сокровенные уголки, круша по пути все утонченные радости, все тайные наслаждения, этот восторг, это ощущение роста, подъема, которое они испытывали, когда, уединившись в своей комнате, они читали, иногда приостанавливаясь, чтобы вернуться назад, просмаковать или предвкушить всю полноту наслаждения, прежде чем снова, не торопясь, взяться за книгу, перелистать ее и медленно перечесть страницу, погружаясь кто знает в какую прохладную тень, в какие голубоватые глубины... А теперь все растоптано, разграблено: и грубые руки хватают это ваше скудное имущество, вышвыривают его вон: «Вот вам, смотрите. Вот что вы любили. Вот все ваши чудеса, все глубины, чаровавшие вас... Вот эти «правдивые» чувства, сладкой болью сжимавшие ваши сердца... Жалкие пошлости, рыночная поделка... Музей восковых фигур. Вульгарность. Поэтическая бутафория».

Они побиты, унижены. С помутневшим взглядом они ощупью ищут выхода, помощи. И вдруг под рукой, еще не разобрав, что это такое, они нащупывают что-то тяжелое, что-то веское... они хватаются за это, поднимают, собрав остаток сил, и швыряют прямо в голову торжествующему врагу: «Да ведь все это сделано нарочно!»

Чудо. Вмиг меняется все. Агрессор шатается, падает под ударом, он сбит с ног.

Нарочно. Все сделано нарочно. Да неужели же вы этого не видите?

От удара его качает, искры сыплются из глаз, вихрь цветных огней. Он хватается за что попало — лишь бы не упасть: «То есть как это — «нарочно»? Слушайте, да разве это оправдание?.. Если автор сделал это нарочно — тем хуже для него...» Он выпрямляется: «Если он пишет пошлости — нарочно там или не нарочно — значит, у него нет вкуса — вот и все».

— Но ведь он нарочно — хотите верить, хотите нет, — он нарочно пишет безвкусно!

Новый удар чуть не свалил его — он цепляется за что попало...

— Но тогда надо дать почувствовать...

— Все и чувствуют, кроме вас. Во всяком случае люди понимающие никогда не ошибутся.

Изо всех сил он снова пытается найти почву под ногами: «Но тогда надо,

чтобы это было очевидным... прикрывало что-то подлинное, настоящее... иначе можно принять эту банальщину...» Силы к нему возвращаются, он уже тверже стоит на земле: «...иначе можно принять эту банальщину за искусство...»

Он снова переходит в нападение, и они глядят на него с изумлением, они отступают, чтобы отразить наскок...

— Ведь все фабриканты скверного чтива, если хотите знать, делают это нарочно. В таких случаях это просто прием, понимаете? — ...Нет, их ничем не проймешь, они опять наступают на него: — Да, но тот, кто стряпает скверное чтиво, не понимает, что он пишет пошлости. А вот Брейе понимает. Он это делает нарочно, как же вы этого не видите?..

— А как я могу... отличить... Нет, погодите... Как... — его голос срывается в мышиный писк: — Откуда известно, что он это делает нарочно?

— Известно — и все! — они трясут его за плечи. — Известно, потому что он — мастер своего дела, он не может ошибиться, он всегда знает, что делает. Визгливый женский голос перебивает всех:

— И он сам так говорит!

Тут уж и он орет во всю глотку:

— Ах, сам? Где? Кому?

— Да, он сам сказал, в интервью... Я слышала по радио... Он сказал: «Понимаете, я хотел писать литературно, традиционно...»

Он уже не узнает свой голос:

— Да ведь он, может быть, хотел оправдаться. Схитрил, понимаете... Схитрил... Куда же ему было деваться?

Нет, это уже слишком. Они налетают на него, молотят его кулаками:

— Как вы смеете?.. Вы... Да вы спятили... Он гений. Он это доказал. Забыли, что ли, молодой человек? Забыли, что он сделал... Какие изумительные книги...

— Изумительно? Что-то не видал!. Вся его писанина — дрянь. — Он хохочет, как сумасшедший: — Дрянь, дрянь, дрянь, а вы говорите — нарочно... надо же... здорово придумано... ха-ха-ха... нарочно... нарочно... — Но тут на него накидывают смирительную рубашку и уволакивают прочь.

— Удивляетесь небось? А? Но то, что они вам сказали,— да, они всегда так говорят, эти умники, эти Меттетали, Брюлэ,— стоит вам только осмелиться, стоит только сказать, что вы нашли в «Золотых плодах» кучу банальностей, пошлых сантиментов... А что вы можете им возразить? Тут и вам, пожалуй, не выпутаться? а? Даже вам, непобедимому. На этот раз вы попались. Я бы и сам не прочь, знаете ли, если бы только суметь... Сознаю, я и сам иногда подумывал... Но меня всегда сбивает с толку этот аргумент...

— Что? Вас сбивает с толку эта галиматья? Будто он все это сделал нарочно? Ну, знаете, это уж слишком... Дальше некуда... И вы не шутите? Значит, и на самом деле есть люди, которых можно этим запугать?

— Представьте себе — да! Сам не знаю, что им на это отвечать. Тут ничего не скажешь. Стараюсь как-то защититься, но их не переспоришь — крепко сказано.

— Крепко? Да их доказательства рассыпаются при первом толчке!

— Чувствую, что вы, наверно, правы. Но объясните мне — почему? С ними словно попадаешь в сети. Бьешься, бьешься — и никак не выпутаться.

— Ну, я-то выпутаюсь, верьте слову!

— Да, но как? Как? Расскажите мне!

— Извольте — нельзя писать пошлости нарочно...

Он напрягает все силы... что за нелепость... бессмысленные слова... мокрое чудовище выскальзывает у него из рук... он пытается его схватить:

— И вообще, что это значит: «он хотел писать пошло»? Что это означает? Тут — область искусства, а не наших мелких личных наблюдений. Может быть, он хотел использовать пошлость как сырье для произведения искусства? Так, что ли?

Он крепко ухватил за кончик то скользкое, темное, что пытается вырваться от него,— нет, он его не выпустит!.. Произведение искусства. В этом-то и дело.

Он усмехается иронически, немного растерянно, как грузчик, который схватил в охапку большой тюк, думая, что он легкий... Мне это — как перышко, вот увидите... и через два шага должен был опустить его на землю, покраснев от натуги, вытирая пот со лба... О черт, и не подумал бы... Да что у вас там? Свинца наложили, что ли?..

В его улыбке — смущение:

— Послушайте, уж не хотите ли вы меня заставить прочесть вам лекцию?

— Да, да, прошу вас, объясните мне до конца. Тут нужна полная ясность. Вы так хорошо умеете... Надоело слушать, как все долбят одно и то же по любому поводу. Но ведь это далеко не так просто.

Он недовольно ерзает на месте:

— Нет, это чересчур просто. Чересчур явно.

— Да-да. Вы попали в точку: это настолько просто, что не сразу удается... настолько само собой разумеется, что невозможно дойти до сути...

— Да нет, вполне возможно... Этот ваш... как его там... ну, автор «Золотых плодов»?.. Да, да, Брейе... Пусть он хотел показать что-то пошрое, плоское, рядовое, банальное. Почему бы и нет? И пошлость, и глупость, и уродство, все что угодно, все может стать превосходным материалом для произведения искусства. Но ведь тогда и пошлость и бесцветность производят совершенно не то впечатление, как в «Золотых плодах».

Он останавливается — ему вдруг стало спокойно. Теперь оно у него в руках, целиком... Он перехватывает поудобнее:

— Нет ничего общего между тем ощущением, которое в вас вызывает пошлость произвольная, пошлость, так сказать, в сыром виде, нечистая, тошнотворная, подленькая, та пошлость, которую смутно ощущаешь на каждом шагу вокруг себя, та, что проникает в тебя, как въедливый запах,— и тем ощущением, которое возникает, когда пошлость вам показывают в произведении искусства, в определенной художественной форме... Но я, кажется, ломлюсь в открытые двери...

— Нет-нет, говорите, вы сами не знаете, как много вы мне даете... Вот так и надо было им ответить...

— Но они и сами все знают. Они только притворяются. Делают из вас дурочка.

— Нет-нет, уверяю вас... Широкая публика даже и не пытается понять. Им говорят: это сделано нарочно, и в них это уже вколачивается намертво, они и не вникают — почему. И повторяют эти слова, как пароль, как заклинание.

— Ничего он не стоит, этот их талисман. Если бы Брейе действительно хотел взять пошлость как материал, над которым он собирался работать, он профильтровал бы ее, сгустил: вышел бы экстракт пошлости, пьянящий, бодрящий, яркий, великолепный. И она не вызывала бы такого отвращения, такой брезгливости, как сейчас... Все воспринималось бы в отрыве... Она стала бы предметом искусства... восхищала бы нас... И мы сами были бы очищены от пошлости, спасены... Все воспринималось бы иначе, если бы Брейе это сделал нарочно. Но этого-то и не было. Может быть, его в чем-то упрекнули... может быть, он и сам слишком поздно заметил у себя общие места, страницы, где он не сумел овладеть материалом, и тогда в свое оправдание он и заявил: я это сделал нарочно.

— Да-да, ваша правда, конечно, он выкрутился... писатели часто так делают, обманывают людей... «Мелодрама, говорите? Ну, разумеется. Я того и добивался, черт возьми, как это вы сразу не поняли?» Собеседник сразу теряется, отступает, краснея от стыда...

— И все же я вам вот что скажу: может быть, писатели и делают такие вещи нарочно. Может быть, и Брейе хотел... хотя я в это не верю, учтите... Но если он хотел сделать это нарочно, у него ничего не вышло. Он все задумал неверно. Он оставил всю эту банальщину в ее первоначальном виде, и у него получилось

бесформенно, неясно... Да, вот именно — неясно. Вот самое существенное. Читатель открывает все, как в жизни, собственным домыслом. На нем лежит вся работа. А писатель свою работу не сделал, его затянула эта банальщина, он поддался ее расплывчатости, путаности, он дал себя заразить этой пошлостью. Он ее никак не подчинил себе. Не произведение искусства он создал, а подделку. И все это плоско, как плоской кажется действительность при поверхностном взгляде. Ну, вот я вам и прочитал лекцию. А вы, наверно, подсмеивались надо мной втихомолку. Разыгрывали меня. Да вы же все это знаете не хуже меня...

— Нет, нет, уверяю вас. Правда, я смутно чувствовал... Но для меня это — клубок, никак не распутать... Вы не представляете себе, до чего это вредная штука такой аргумент. Вам его тычут в нос в любом случае. Стоит только людям встать на защиту какой-нибудь посредственности... ну, знаете, одной из тех книжонок, которые, по неизвестным причинам... Я лично никогда не понимал, каким образом... но это случается постоянно... вдруг какое-нибудь абсолютно ничтожное произведение объявляется неприкосновенным. Руки прочь... Помните, когда все превозносили до небес этого самого... ну, как его? Как же его звали? Помните — года три назад... Ну, вы знаете, о ком я...

— Питюи? Вы про него?

— Да, да-да, да... про него, про него... ха-ха-ха!.. бедняга Питюи!.. Помните — открытие середины века... величайший гений...

Слившись воедино, как всадник и конь, они снимаются с места, летят...

— Да, Питюи... это ничтожество... вот была история... Да, «Форштевень», вот-вот... Так он как будто назвал свою книжонку?

Вместе, легко они берут препятствие, приземляются...

— Ну, это уж настоящая фальшивка, правда? И прескверная к тому же...

Ну-ка, мой верный конь, еще один разок, осталось еще одно препятствие, последнее, сейчас мы его возьмем вместе, мы победим, нет для нас препон, ну, давай, еще раз, последний круг, пошли...

— А «Маски» Бульи, что вы о них думаете?

— Про Бульи? Да то же, что и вы! Спору нет, он человек способный. Может быть, это совсем не так значительно, как говорят, но все же...

— Да, я с вами вполне согласен... Я думаю совершенно так же, как вы. Это, конечно, не пустое место, далеко нет... Тут нельзя относиться безразлично...

Снова, после прыжка, расслабив мышцы, слегка покачиваясь, они идут шагом, они прогуливаются взад и вперед...

— Да, удивительное дело — эти увлечения... вдруг ни с того ни с сего отдать чему-нибудь предпочтение перед всем на свете... и с какой страстью, с какой настойчивостью... А потом все идет прахом, неизвестно почему...

— Да, потом все рассыпается... Правда, иногда на это нужны годы, целое поколение, а то и два... Некоторые репутации несокрушимы... Вот, например, Варанже... Не знаю, согласитесь ли вы со мной, но вся его поэзия...

Что такое? Что случилось? Да ведь впереди ничего не было, не надо было брать ни препятствия, ни канавы, трусили рысцей, гуляючи, по совершенно ровному полю, и вдруг тот споткнулся, встал на дыбы:

— О, нет... тут я вам ходу не дам. Стоп. Что вы? Как можно? Варанже — это совсем другое, как вы можете... Его «Излучины» — настоящий шедевр. Тут место свято — никаких шуточек. Варанже — чудо!

Бедный всадник вылетает из седла, шлепается на землю в грязь, под копыта...

— Варанже — великий поэт, как Малармэ. В наши дни ему нет равных... никто ему в подметки не годится... Он сильнее Валери...

Оглушенный, дрожащий, весь в ссадинах, всадник вскакивает на ноги, бежит следом... Стойте, не бросайте меня, подождите... сейчас догоню:

— Нет, я вовсе не отрицаю его всего, целиком... Я признаю, что Варанже в первых своих вещах... В молодости он писал превосходные стихи...

— Ну, нет. Ничего подобного. Конечно, его юношеские стихи прелестны, но зрелые произведения гораздо выше, прекраснее. Сила, мастерство пришли к нему

куда позже. Погодите... У меня память неважная... Но вот, к примеру,— это из сборника «Истоки», вот послушайте, что вы скажете? «И беглые кремни медлительного дня запечатлеют все амфоры неба» — как, по-вашему? Да, тут ничего не скажешь — красота! А это: «И пламя и лазурь... — м-ммм,— мою ночь... врачую т...» Нет... не так... Нет... Ага, вот... Поразительный образ: «И пламя и лазурь бичуют ночь мою». Да, все в этом томике великолепно, все без исключения.

Погодите, сейчас догоню... Нельзя же так бросать... мы ведь были вместе... слились неразрывно в одно целое, вместе взяли столько препятствий, вместе топтали копытами покоренный мир. Нельзя так грубо бросать верного спутника... Я не могу остаться один, как прежде, я не вынесу — опять блуждать без поддержки, шататься от толчков... Не хочу расставаться с вами. Я нащупываю путь к вам... Ага, кажется, нашел, схватился за что-то, вы тут, я вас чувствую... «И пламя и лазурь бичуют — (почему «бичуют»? — впрочем, это не важно, «бичуют» — очень красиво!), — пламя и лазурь бичуют ночь мою».

И, отменяя от себя все сомнения, он дает проникнуть этим словам: Беглые кремни. Лазурь. Амфоры. Пламя и небо. Надо только поддаться, не сопротивляясь, не напрягаясь... ничего, все в порядке... так говорят при промывании желудка, когда вам вводят в пищевод толстую, воняющую резиной кишку... сейчас пройдет как по маслу, вот увидите, вот — уже прошло! Ночь. Лазурь. Амфоры неба...

Он внезапно чувствует облегчение... Такое приятное, почти знакомое чувство, такое домашнее, как от тех блюд, которые ел в детстве, — как от неприхотливого и нежного вкуса каши, булочки с маслом, молока... Лазурь. Лазурь и пламя неба. Бичи ночи. Амфоры. Запечатленные истоки... Зачем же удерживаться, лучше поддаться, расслабить мышцы... впустить в себя... Красиво. Очень красиво. И пламя и лазурь... Нет, не проглотить... входит с трудом... скользкое, противное. Хочется выплюнуть, он весь сжимается, его сводят судороги...

— Нет, знаете, не могу... Ничего не попишешь... Это же все мертвечина... сделано холодным сапожником, все это безжизненно, подгримировано под модные вкусы, все тот же старый материал, те же бессменные поэтические приемчики... Набор обязательных слов, вся поэтическая бутафория... Ничего не поделаешь, мне это невыносимо, тут я с вами расхожусь...

На эти отчаянные вопли тот, другой, оборачивается с удивлением, с легким сочувствием, — тот, у которого желудок, как у страуса, дурацкая улыбка, — он бесчувственный, грубый... и это его, несчастного раба, он взял себе в приятели, возвел на трон, поклонялся ему, польщенно жал протянутую руку этого циркового короля в картонной короне, этого лжепророка... И его он считал своим спасителем, своим верным спутником. Как он при этом гордился, что похож на него, что они идут рука об руку и оба, напыжившись, издеваются над теми, кто восхищен «Золотыми плодами», «Форштейнем», хохочут над ними в один голос... Тупой гогот грубиянов, пьяная болтовня бродяг... Хлопают друг друга по плечу, идут под руку, чуть не падают... «Го-го-го... Говорят — нарочно!.. Го-го-го, лопнуть можно... А ты мне скажи, ты, доктор, знаменитость, ты-то как думаешь? Нарочно или не нарочно?» — «Нет, погоди... — Рыхлый палец описывает кривую в воздухе, касается кончика носа. — Говоришь — нарочно сделано, старина?.. Нет, это же не выдерживает критики... Погодите, я вам все объясню...»

Жирный голос... Икота... И он-то, он сам, с блаженной физиономией, разинув рот, смотрит на того сияющими глазами, смеется кретинским смехом...

* * *

Поймали. Попался в ловушку. Убежать невозможно. И как всегда, сам виноват. Все из-за деликатности, великодушия, как он называет в утешение себе эту свою слабость: вот и сейчас — и так всегда с ним бывает — он не мог устоять перед самой пустячной похвалой, он краснеет, теряется, он смущен, он сдался...

— Нет-нет, вы преувеличиваете, вы слишком добры... Я написал эту статью так быстро, она просто вылилась из-под пера. Надо бы побольше времени... Но вы говорите, что Брюлэ... Нет, я просто не ожидал от него...

Еще, ну еще хоть немножко, он весь потягивается — до чего приятно... вот-вот... погладьте еще, почешите спинку...

— Да-да, у вас, наверно, уши горели. Если бы вы только слышали, как Брюлэ вас хвалил. Кстати, именно он, Брюлэ, обратил мое внимание... Потому что я сам... видите ли, для меня в «Золотых плодах» есть что-то не совсем... А Брюлэ сказал мне: «Прочтите статью Парро. Это открытие. Вы будете сражены».

Ему хочется просить пощады... нет, это уж слишком... он издает испуганный смехок:

— Ах, неужели? А я хотел переделать... Я был так недоволен собой...

— Нет, статья превосходная. Лучшее, что вы написали. Такая полнота... такой блеск... Но — один маленький упрек, если разрешите...

— О, конечно, прошу вас... — Он готов принять все, он в восторге: после этих ласк — такой чуть заметный, восхитительный укус...

— Одно только возражение, но вы не обидитесь?

— Обижусь? Что вы, напротив... говорите, не стесняйтесь... Это же куда полезнее всяких комплиментов... Так редко люди говорят с тобой откровенно...

— Так вот, единственный упрек вашей статье — статье, во всех отношениях замечательной, — это нехватка цитат.

— Верно, да-да, это правда. Может быть, вы правы... надо было...

— Потому что мне, вы понимаете, мне тогда стало бы яснее... Потому что читаешь вас... Так прекрасно написано... И говоришь себе... я себя то и дело спрашивал — не слишком ли много вы в них вкладываете своего, в эти «Золотые плоды»?.. Не преувеличиваете ли вы?... Вот если бы вы сейчас согласились... Я давно решил — как только встречу вас... Вот, книга со мной... Хоть какой-нибудь отрывок... чтобы я отдал себе отчет... Хоть несколько строк, на выбор, по вашему вкусу, чтобы мне стало виднее...

Сейчас еще не поздно. Он мог бы откинуться резким толчком на спинку кресла, развалиться и с едкой, иронической усмешкой на губах оттолкнуть рукой протянутую книжку и, не дрогнув, посмотреть прямо в глаза этому нахалу: «Да вы что, мой милый? Вы шутите?... Вот чего захотели — доказательств! Представить вам улики, что ли? Хотите меня проэкзаменовать, так? Хотите, чтобы я вас стал убеждать, что я вас не обманываю, что у меня действительно хороший вкус?»

Он мог бы взломать прутья клетки, в которую он позволил себя загнать, разнести ее на куски, выйти оттуда и увидеть, как трусливо отступают все вокруг, бросив того несчастного простака на произвол судьбы.

Нет, он этого не делает. Он не из тех зверей, не из тех хищников, которыми руководят темные инстинкты, — никогда их не поймать, при малейшем шорохе, шуме они напрягают мышцы, глаза свирепеют, клыки обнажаются — и одним прыжком они бросаются на врага. Нет, он не такой.

Ведь для того, чтобы позволить себе оттолкнуть этого человека, своего ближнего, который с таким доверием, с таким трогательным простодушием обратился к нему, этого доброго малого, который так жаждет чему-то научиться, так полон доброй воли, восхищения, для того, чтобы решиться проявить по отношению к нему столько высокомерия, ему самому понадобится тщательно проанализировать, глубоко вникнуть во все «за» и «против» и с полным правом решить, что перед ним просто симулянт. И, кроме того, не лучше ли для очистки совести, во избежание риска — хоть он и невелик, риск оттолкнуть настоящего калеку, — не лучше ли подать милостыню симулянту? Кроме того, в данном случае нет никаких оснований думать, что человек с таким открытым, добродушным лицом, который просто подает ему книгу, собирается как-то подловить его. Что за выдумки? Что тут подозрительного? Все нормально. Все в порядке. Раз мы что-то утверждаем, мы должны подкрепить свои слова примерами. Наш читатель имеет на нас определенные права. Положение обязывает.

Он берет книгу, открывает: «По правде говоря, вы меня смущаете... но, конечно, если вам так хочется... в «Золотых плодах» все прекрасно... любое место...»

Но что случилось? Куда девалась эта нежная свежесть, этот пушок... где эта грациозность, небрежная, словно безотчетная... эта линия... эта вибрация... У него перед глазами что-то неуклюжее, тщедушное, жалкое, бесплотное... застывшее в претенциозной, жеманной позе... Он переворачивает страницу... Нет, не то, не годится... Ага, кажется, вот!.. Нет, и тут тоже... Да что это с ним стряслось?

А все идет от «них» — от этого человека, который спровоцировал его, а теперь наблюдает за ним, молчит... И что-то есть в его молчании, в молчании всех, кто сидит вокруг выжидательно, неверчиво, что-то тянется от них, словно высасывая из прочитанных им слов ведро соки, выпуская из них кровь... и слова пустеют, высохшие, жалкие скорлупки...

Он переворачивает еще страницу... Тут слова словно отвердели, заблестели слишком сильно, точно лакированные... кажется, что теперь из молчания сидящих, из их взглядов идут какие-то токи, истекает какое-то вещество, обволакивает все... Как под воздействием гальванопластики, все покрывается слоем звонкого металла.

Нет, надо рассеять наваждение, отвести дурной глаз, надо схватить что попалось, швырнуть в них, не медлить... Ну, например, вот тут... этот отрывок, по-моему, восхитительно. В начале главы, когда Оливье смотрит в окно, перед тем как уйти из дому...

Собрав все силы, он пытается отвести зловредные флюиды, исходящие от них... И вот в этих словах, в этих фразах появляется едва заметное набухание. Слабая пульсация... И он решается, он откашливается... но как только он произносит слова вслух, они, как мыльные пузыри в прокуренной комнате, сразу съеживаются, опадают, от них ничего не остается, да ничего и не было...

— Нет, это не то... это не очень хорошо...

Он переворачивает страницу, листает дальше... нельзя терять ни секунды... они ждут, они насторожились...

— Не понимаю, почему я так медлю... Взять хоть это... Великолепный отрывок... Изумительно...

Ну же, побольше смелости, покажи им... Неужто они забыли, кто он такой? Неужто ничего не осталось от его престижа, его могущества?

Нет. Он все потерял. Он один, нищий. Его вытащили из укрепленного убежища, где он скрывался, из крепости, созданной вокруг него его трудами, его книгами, статьями, его стилем — жестким, высокомерно замкнутым, непроницаемым, его языком — чеканным, как бронзовые mortarы с точным и беспощадным прицелом, держащие неприятеля на почтительном расстоянии.

И он сам согласился покинуть крепость. Он принял вызов и теперь в одиночестве идет навстречу врагу по открытому полю. Но страх прошел — положение обязывает. Его голос звучит ясно, громко... ни тени дрожи... Он читает медленно, отчетливо выговаривая каждое слово, как будто вкладывает в него заряд, чтобы придать вес каждому слогу и метнуть его изо всех сил в молчаливых слушателей, собравшихся вокруг него.

Но легкие, сверкающие слова вспархивают лишь на миг и опадают, рассыпаются прахом у его ног. Голос у него сдает, он начинает хрипеть, торопиться, ему хочется бежать, но его окружают все тесней — его пожирают глазами: так вот что он нам предлагает, вот какие сокровища он нам нахваливал, этот знаток. Жалкие ошметки... Глубже вдавливая монокли в глазные орбиты, они наклоняются, потом, выпрямившись, смотрят на него... И вдруг он слышит смущенное покашливание: «Очень красиво».

«Очень красиво»... В заданный момент, без секунды задержки, без сучка, без задоринки механизм сработал, тяжелая машина наехала на него, на них, раздавила все в лепешку.

«Очень красиво»... как медведь лапой. Он упал, раздавленный, весь в крови, и все от него отводят глаза.

Глаза пустые, без всякого выражения, чуть косят вбок: бедняга ждет помощи, подачки... но никто не решается, все смущенно роются в карманах, и только она одна... Вот, у меня нашлось то, что ему нужно, вот вам, папаша, берите: «Очень красиво».

Повелительным взглядом она обводит присутствующих: неужели все забыли, что каждый человек благородных кровей и в присутствии свергнутого короля продолжает соблюдать правила придворного этикета? Смотрите, я показываю вам пример: перед этим павшим величием с печальной почтительностью, с душевной грустью, с сожалением я склоняюсь, как прежде, в поклоне: «Очень красиво!»

Все они заговорщики, понимают друг друга с полуслова, тепло прижались друг к другу — а он, в одиночестве, в отрыве от всех, он, сделанный из другого теста, он, лишенный чуткости, он ни в чем не отдает себе отчета; он не способен — будьте покойны! — увидеть фальшь, насмешку. С ним и осторожничать не надо, тут что ни наплети — все сойдет. Он будет доволен чем угодно, лишь бы бросилось в глаза: и подчеркнуто громко, раскатывая «р», чтобы вышло убедительней, вздувая каждое слово фальшивым восхищением: «Очень крррр-а-а-а-си-ии-во!»

«Очень красиво»... Среди молчания — взрывом — эти слова. Они вбиваются, как осколки. Ощупью он находит их, извлекает те, что вонзились вглубь, ранили: их презрение, их затаенный сговор, их убежденность, что он — бесчувственный, неумный... Он вытаскивает эти осколки, выпрямляется; гордый, зоркий, он заставляет всех опустить глаза под его ясным взглядом:

— Нет, по-моему, вы преувеличиваете. Этот отрывок в лучшем случае можно считать просто удачным. Да и вообще такое чтение, наугад, мало что может дать... Впрочем, может быть, я вообще ошибаюсь...

* * *

— Хотя бы кто-нибудь мне объяснил... Так хочется, чтобы вы мне сказали... Это необычайное явление... действительно заслуживает самого пристального изучения...

Нарушая все молчаливые соглашения, все тайные договоры, преступая все правила, предписываемые уважением к людям, продиктованные внутренней стыдливостью, презрев все запреты, он бросается напролом, пренебрегая препятствиями, ловушками, стоящими на его пути... вот они, перед ним, но он отлично их видит, он их знает.

— Да, знаю, я смешон. Смешно играть роль Альцеста¹, но мне все равно, это не важно...

Одним прыжком, с улыбкой, он взял барьер, помчался...

— Нет, вы мне объясните непременно, должно быть, я болван, чего-то я не понимаю... Как случаются такие вещи, какой тут скрыт внутренний двигатель?... Гораздо менее важные явления уже изучены, определены... А этим вопросом стоит заняться... Искусство...

Он чувствует, что поскользнулся, и тот смотрит на него подсмеиваясь, видит, как он пошатнулся — вот-вот упадет... Но он сразу выпрямляется:

— Нет, я не об Искусстве с большой буквы... вообще не будем говорить «искусство» — слово слишком значительное... скажем просто — литература, это точнее... и все-таки она имеет большое значение... для многих людей играет огромную роль... Так вот, как же случается, что все время присутствуешь при каких-то невероятных переменах отношения, и никто не удивляется... никто не обращает внимания... Вроде массовых галлюцинаций — все эти внезапные увлечения, без всякой видимой причины... И ведь они охватывают всю литературную братию сверху донизу... Знаменитые критики, писатели — все, как один человек... Вот сейчас, например... эти «Золотые плоды»... Вы помните, что происходило еще совсем не-

¹ Персонаж комедии Мольера «Мизантроп».

давно? А я не забыл, как однажды я только глазом моргнул — да что я говорю «моргнул» — разве я посмел бы? — наверно, у меня нечаянно что-то дрогнуло внутри, совсем незаметно... но другие, если только они настороже, сразу замечают, чувствуют, непонятно как... — и одна особа тут же призвала меня к порядку с такой уверенностью, при поддержке всех: «Как, вам не нравятся «Золотые плоды»?» Я хотел было что-то ответить, но она посмотрела на меня с такой угрозой... «Знаете что, — говорит, — если вам эта вещь не понравилась, это бросает тень на вас, а вовсе не на «Золотые плоды», на этот шедевр...»

Тот слушает, молчит — ведь на него напали сзади, схватили в охапку, стиснули, но он и не думает отбиваться. Застыл, как деревянный: пусть его щиплют, царапают, толкают — он притворяется мертвым.

— А потом мне показалось — верно или нет? — что в последнее время что-то стало меняться... Какой-то перелом... Уже никто вам ничего не навязывает, сразу меняют тему... что-то носится в воздухе... какая-то сдержанность... Почему так, вдруг? Что произошло? Только не говорите, что они в чем-то разобрались. Это было бы слишком хорошо. Но кто станет перечитывать? Кто будет вникать? Кому придет охота рассмотреть пристальнее, подробней? Нет, тут словно все сговорилось. Но по какой причине? Как? Где? Ведь не существует никаких критериев ценности. Вы смотрели выставку знаменитых картин 1900 года? А? Какой урок! Чудовищно!

Силы его утраиваются от возмущения, от гнева, в дикой жажде разрушения он сотрясает все здание. Пусть все рухнет, пусть раздавит всех — и его вместе со всеми...

— Доходишь до того, что спрашиваешь себя: неужто даже они, эти... — и его губы святотатственно произносят священные имена, — да останутся ли они? Может быть, все вообще сплошная липа, а? Как знать?

И вдруг инертное тело, маячащее перед ним, задвигалось, зашевелилось:

— Скажите, пожалуйста, а вам, в сущности, не все ли равно, вам-то какое дело?

Гигантская волна захлестывает его, сбивает с ног, валит на землю. Он бьется, как насекомое, сдутое порывом ветра, отчаянно машет слабыми лапками в воздухе, пытаясь за что-нибудь уцепиться...

— То есть... то есть... как же так... Как это — «какое дело»?

Его поднимают, сажают на палец, рассматривают вблизи:

— Смешной вы... Никак не повзрослеете. Чего-то требуете, чем-то возмущаетесь — будто вы подросток. Детский максимализм. Вам непременно все надо знать — что хорошо, что плохо. Вам необходимы какие-то нерушимые правила, которые должны применяться везде. Вам во что бы то ни стало нужна какая-то одна правда, которой все обязаны подчиняться, чего бы это ни стоило. Вы террорист — вот кто вы такой, мой милый... Но искусство, как вы говорите, но всякое произведение искусства никакой установленной ценности не имеет. Это всем известно, это очевидно. Конечно, ошибаются часто, это естественно. А как узнать? Кто посмеет сказать — я знаю? Даже для самых проверенных временем ценностей, для шедевров прошлого, все меняется — то от них неожиданно отрекаются, то их бурно превозносят... Вот Стендаль, помните, совсем недавно... А потом все затихает. Почему? Потому что вкусы меняются. В определенные моменты возникают определенные потребности. А потом нужно другое. Как вы можете помешать людям следовать за модой — и в этом, как и во всем? Кто ошибается? Что останется? А что, в сущности, значит «останется»? Останется — для кого? До каких пор? Как предугадать? Возьмите греческое классическое искусство — как его обоготворяли... И как оно померкло... Но, быть может, придет день, и его снова превознесут до небес...

Чавкает почва под ногами... его засасывает... Вот в какую трясиину он бросился, вот какие болота хотел освоить с киркой, с факелом в руках...

— А «Золотые плоды», раз вы уж о них заговорили... Вам они как будто не нравятся. А я их всегда защищал. Может быть, я и не прав. Разумеется, это дале-

ко не совершенство, там можно найти много слабых мест, но я лично считаю, что это ценная книга. Знаете, может быть, вы сами через несколько лет вернетесь к ней и скажете себе: да, я был слишком строг, слишком нетерпим...

Куда ни глянь — ничего не видно, только серая топкая зыбь. Над ней поднимаются мертвые тени, мягко кольшутся от невидимой ряби...

— Во всяком случае в определенный момент худо ли, хорошо ли, хорошо ли, но эта книга многое значила для людей... и для самых выдающихся... Правильно? Неправильно? Откуда нам знать... Останется ли книга? Почему мы знаем?... И, между нами говоря, какое это имеет значение?

* * *

Да, это были незабываемые минуты. Ни за что на свете она не хотела бы их упустить... А вот они всё проморгали. Ей так жаль их, так за них обидно... Нет, это было увлекательно... Царил форменный террор. Никто и пикнуть не смел. Стоило кому-нибудь отважиться на малейшее сомнение, как его начинали третировать свысока, обвиняли в тупости — остолоп, кретин. Даже между собой, с глазу на глаз, в полной тайне, они едва-едва, шепотом позволяли себе... Но они-то, она с Жаком, они-то наговорились всласть, будьте уверены... Бывало, вернутся домой совершенно обалделые и допоздна, до рассвета обсуждают, возмущаются... Потому что — надо прямо сказать, не хвастаясь, — он, Жак, с самого начала не поддавался. Жака ничем не проведешь. Никакой болтовней его не заморочишь. Пусть хоть весь мир сговорится, самые великие умы, самые знаменитые критики, его, Жака, не заставят переменить мнение ни на йоту.

Она не перестает восхищаться им... Только из-за таких людей, как он, чистых, цельных, стойких, только благодаря им всегда утверждались истинные ценности. Они — скалы, о которые разбиваются все валы конформизма, инертности, истерии. И чем больше времени проходит, тем яснее, что произведения искусства гибнут или обретают бессмертие только от непобедимой силы их убеждений. Благодаря таким людям искусство идет вперед. А что они, в сущности, делают необыкновенного? Жак часто говорит ей об этом при всей своей скромности, отрешенности: надо только дать себе волю, только отдаться своим чувствам, держаться за них, не давать ничему вторгаться, всегда вступать в непосредственное личное соприкосновение с данным объектом... что может быть проще? Если бы все были такими, как он, — независимыми, непосредственными, внимательными, они бы тоже ничего не упустили, они тоже пережили бы такие минуты. Но она на них не сердится, наоборот: теперь, когда борьба окончена, когда страсти утихают, теперь, когда наконец можно выйти из подполья и на полном свету развернуть все перипетии борьбы, рассказать о многих подвигах, теперь ей хочется, чтобы все они приняли участие, — только мысленно, конечно, ведь действовать уже поздно! — ей хочется заставить и других пережить то, что пережили они, первые бунтари.

Бывали дни — и приходится в этом сознаться, — когда и она сама колебалась. У нее появлялись сомнения. Она помнит, как после разговора с Меттеталем — он тогда дал честное слово Меттетале, что если есть в наше время книга, которая останется, то это именно «Золотые плоды», — она, вернувшись домой, снова открыла эту книгу, и — должна, к своему стыду, признаться — ей показалось, что это прекрасно. Но Жак стал над ней подтрунивать: «Погоди, говорит, сейчас ты увидишь, сейчас я тебе покажу, как это сделано... Это очень занятно...» Да, она искренне сочувствует этим людям, она понимает, как они сожалеют, как им грустно... Хорошо хотя бы и после победы позволить им высказаться, дать им возможность искупить свою вину... Приятно заставить тех, кто еще брыкается, хотя бы сделать вид, что они тоже сочувствуют... Времена теперь другие, все изменилось. Еще год назад — да, всего год — ни один человек ни за что на свете не отважился бы рассказать такое...

— Да, Жак мне так и сказал: «Сейчас я тебе покажу, чего это стоит»... Ушел к себе в кабинет минут на десять, а когда вернулся... Да что с тобой, Жак? Не хочешь, чтобы я им рассказала?

Ну, конечно, не хочет... Конечно, у него нет ни малейшего желания их удивлять, завлекать, он вовсе не собирается их переубеждать... Зачем это нужно? Не все ли равно, что они думают? Они же ни черта не понимают. Он делает легкое движение, хочет поднять руку, остановить ее...

А зачем? Разве ее удержишь, когда она очертя голову бросается на защиту справедливости, хочет всем внушить истину. Как будто истина и справедливость нуждаются в ее защите... как будто, раньше или позже, вопреки всему... Но ей надо во что бы то ни стало ускорить ход событий, опередить судьбу.

По наивности она уверена, что стоит только очень громко крикнуть, очень решительно заявить... Как видно, она воспринимает людей только чисто внешне. За их неподвижными лицами она ровно ничего не видит. Ничего, кроме податливого материала, которому она может по желанию придать любую форму, и думает, что ей это удалось, когда в их улыбках, в их взглядах она читает то, что ей хочется прочесть. Сейчас она ничего не видит, кроме вежливо-любопытных глаз, дружественного ожидания. И она бросается вперед, топчя их самолюбие, наступая змеям на хвосты. Она не видит, как перед угрозой нажима, которым хотят их заставить отдать самое дорогое — свое сочувствие, свое восхищение — о, как они ненавидят всякое насилие! — как перед этой угрозой они сразу вскидываются, собирают все свое пренебрежение, всю иронию, все свое критическое чутье, с которым, кстати, дело обстоит неважно, — и все это в ту минуту, когда ясно, что и Жак со своим нежеланием выставляться, и она сама с ее настойчивостью напоминают им те великолепно натренированные пары — ясновидящая с ее партнером, всех этих Люков и Люкетт, которые бросают вопросы и ответы с эстрады в зал, перед изумленной и недоверчивой публикой.

Но пусть они видят и думают что угодно. Во всяком случае вмешаться поздно. Он умывает руки — пусть рассказывает, что ей заблагорассудится...

— Нет, почему же... Мне только кажется, что...

— Да что ты, Жак... Нет, вы только послушайте... Это так увлекательно, честное слово... Жак возвращается минут через десять... Да, через десять минут, не больше. И знаете, что он мне показывает? Страницу из Брейе, которая как будто вырвана прямо из «Золотых плодов»! Все в ней есть. И это прославленное обаяние... Это изящество... Ритм, интонация, образы, ощущения... Клянусь вам, не отличить. Но это еще не все... Подождите!

Они ждут: какой еще трюк им сейчас покажут? Какими фокусами их хотят удивить?..

— Сейчас расскажу. Это было неподражаемо... Однажды вечером, когда к нам зашел один из самых ярких поклонников «Золотых плодов»... я предпочитаю его не называть, но он — великий знаток, он их изучал очень подробно, хвалил на всех перекрестках, я вдруг вздумала... хотя мне, сами понимаете, было очень страшно... показать ему текст Жака, конечно, написанный на машинке, Жак никогда не пишет от руки... Я ему сказала — не знаю, какой бес меня иногда толкает... я понимаю, нельзя было это делать, нехорошо... но мне так хотелось узнать — и я ему сказала: «Хочется услышать ваше мнение. Один приятель дал мне страницу из Брейе. Она должна была войти в «Золотые плоды», а потом Брейе ее вычеркнул, нашел, что это уводит от темы, хотя я не понимаю почему. Прочтите. Что вы об этом скажете?»... И знаете, как он реагировал? Знаете, что он сказал?

Жак смотрит на нее беспомощно — он парализован, он не в силах ей помочь... а в них, в этих людях, как на горячих углях, уже что-то раскаляется докрасна, разгорается... он слышит... что-то шипит, посвистывает... но она смело бросается вперед:

— А вы знаете, что он сказал? — Нет, они не знают. — Он сказал: «Это изумительно. Лучшее, что написал Брейе. Чудо, говорит, чистейшее чудо.

Лучшая его страница». Тут Жак — я сразу увидела, — Жак почувствовал авторскую гордость... Да-да, Жак, не отрицай, пожалуйста!.. Весь напыжился — вы бы на него посмотрели. Ведь тот, наш приятель, не скупился на похвалы. Разбирал каждую фразу. Открывал в ней бог знает какие сокровища... замыслы... Говорит: «Тут больше силы, больше зрелости, чем во всех «Золотых плодах». Грандиозно. Гениально. Послушайте, какой образ. Какой ритм в этой фразе»... Если бы вы только слышали... Умора... Но под конец я перепугалась... Этого я не ожидала, так далеко заходить я вовсе не собиралась... а сознаться не смела... Но смешно было до колик...

Точка. Выступление окончено. Что они теперь скажут? Неплохо, а? Красивый номер...

Но никто — ни с места. Чего же они ждут? Она прислушивается к себе, мысленно пересматривает всю сцену, проверяет каждую деталь — убедиться, что все отработано на совесть, не сомневаться... Она качает головой... о-ла-ла! — о, как это было смешно... она смеется... легкий смех журчит ручейком, хочет их увлечь за собой... ха-ха-ха... умереть от смеха...

Голос, слегка охрипший, произносит не сразу, с напряжением:

— М-да... должно быть, это было забавно... — Тяжело падают тягучие слова: — Могу себе представить... Но, должен признаться, мне, по правде говоря, не совсем ясно, что это доказывает?.. Что можно доказать такой вот шуткой?

— То есть как? — Она испуганно озирается. — То есть как — что можно доказать?

— Вот именно — что это доказывает? Лучшие произведения искусства можно подделать... — Голос крепнет, становится уверенней: — Можно блестяще подделать Шекспира... Моя дочь только что написала прелестное письмо от имени мадам де Севинье.

Она волнуется, она вся кипит:

— Но, Жак, как же это... ведь ты сам... — Хоть бы он что-нибудь сделал... он такой умный, такой сильный... В ее глазах, устремленных на него, в ее детском личике — немая мольба... — Ведь ты сам, Жак, ты тоже считал... — Сейчас он непременно постарается... Сейчас, когда она — бедный маленький воробушек... — попала в эту переделку, — он так и знал — конечно, он ее не бросит:

— Нет, простите, тут я с вами не согласен. Я считаю, что моя жена права...

— Ах, вы так считаете? Хорошо, тогда объясните мне, пожалуйста...

Ну вот... Только зачем она так волнуется, вся дрожит, она же этим мешает ему собраться с мыслями... вот сейчас, сию минуту он найдет... но сначала надо быстро парировать удар, схватить то, что у него всегда под рукой, что он держит про запас на такие случаи, схватить и швырнуть в них, чтобы выиграть время, удержать их на расстоянии — так человек темной ночью, окруженный стаей волков, торопливо чиркает спичками и бросает их в зверей, заставляя их отступить:

— О, прошу вас, не заставляйте меня ломиться в открытые двери...

Сначала они несколько теряются — он так и ожидал, — беспорядочно топчутся на месте, толкаются. А потом — он и это предвидел, но ему важно было выиграть время — самые смелые из них, самые умные, те, кого эти короткие, сразу гаснущие вспышки ничуть не пугают, — они подходят, блестя глазами, и другие следуют за ними в отдалении:

— Да, ломиться в открытые двери — это, конечно, хорошо сказано. И все-таки, будьте добры, объясните. Наверно, нам надо объяснять самые простые вещи.

— Что же, пожалуйста! — Теперь у него в руках то, что надо: — Видите ли, это очевидно: если подражание лучше того, чему подражают, — ведь это главное! — если то, что копируют, оказывается хуже копии... Если можно сделать...

— Но одна страница — что она значит? Я могу написать страницу, как будто взяту из «Адольфа», и она покажется вам лучше, чем страница «Адольфа»... Ну и что из того?

Она больше не может, она должна вмешаться:

— Но если это действительно лучше, лучше... — Жак подымает руку, словно отстраняя ее, нет уж, пусть она их предоставит друг другу, теперь она мешает ему: — Нет, что вы... Тут уж я с вами никак не соглашусь. Одной страницы достаточно, одной-единственной страницы, написанной действительно лучше, чем у Бенжамена Констана, я хочу сказать — по-настоящему лучше, сильнее во всех отношениях, — одной такой страницы вполне достаточно. Никаких сомнений быть не может. И тут уж, конечно, Бенжамену Констану как писателю плохо придется.

— Почему? Подражатель может оказаться гораздо талантливее Констана.

У многих на лицах появляются улыбки. Не поворачивая к ней головы, он чувствует на себе ее взгляд — нежный, беспокойный, чуть жалостливый. Но хорошо смеется тот, кто смеется последний. Сейчас их нахальные улыбки исчезнут...

— Да вы понимаете, что вы берете под защиту? Понимаете? Знаете ли, что значит, когда копия лучше оригинала? Знаете, что вы тут превозносите? Просто-напросто чистейший академизм!

— Ого, убил!.. До чего же вы боитесь слов...

— Нет, я слов вовсе не боюсь. Но слова что-то значат, не так ли? И академизм тут — точное слово. Послушать вас, так фальсификатор может оказаться гениальнее творца оригинала... В том-то и дело, что нет. Потому что копия мертва, по самому своему существу мертва... В ней нет ощущения спонтанности чувств, новизны, нет прямого контакта с нетронутой, непознанной сущностью... Вот в этом и есть академизм. И вы превосходно это знаете...

— Все нет... смотря что... Великие мастера копировали...

Отягощенные знанием головы опускаются, слышно перешептывание:

— Лафонтен и Эзоп... Шекспир и Марло... А сам Расин...

Но тут властный жест останавливает этот безудержный поток:

— Бросьте, это несерьезно, что вы... Жак прав: в этих случаях о подражании говорить не приходится. Они заимствовали сюжеты, но какое значение имеет голый сюжет?.. Просто повод... Нет, тут вам Жака не побить. Его ошибка совершенно в другом. И к этому я хочу вернуться. Важно другое. Что значит для целого романа одна страница? Тут может ошибиться самый искушенный знаток. Повторяю: этой игрой можно забавляться, взяв любого автора. Значима только вся вещь в целом. Важна согласованность всех частей, стройность конструкции... Важно место этой страницы в общем контексте, то, как она освещена со стороны... важен тот импульс, то скольжение, которое она дает дальнейшим строкам, — зачин, который в ней заключен... Впрочем, тут не о чем спорить... Одна страница, даже подделанная мастерски, еще ничего не доказывает... Абсолютно ничего...

— Нет, тут я должен возразить. Каждая страница играет свою роль. Тут каждая черточка на счету! Каждая фраза заставляет жить, заставляет возникнуть ощущение, чувство, даже мысль, вот именно — мысль. Каждая фраза — это живое движение, передающее неповторимое чувство... Это не просто пустой жест... И если этот скопированный жест, эта инертная академическая форма, да, повторяю — академическая, — если она вдруг окажется лучше — в этом вся суть, это всего важнее, — чего же тогда стоит то, что служило образцом, я вас спрашиваю — чего оно стоит?

Кажется, они сговариваются... переглядываются... о чем-то советуются шепотком... видно, задумали новый план... Значит, все-таки, по его мнению... Но что он сказал? Значит, для него возможна только одна форма, только она идет в счет... Нет, погодите... внимание... А Джойс, что он скажет о нем? Погодите, давайте спросим его...

Как при игре в шарады, один из них от имени всех остальных — все на него смотрят, весело улыбаются: тише, молчите все, пусть он один отвечает! — один из них с нарочито серьезной миной берет слово:

— А Джойс, который позаимствовал внутренний монолог у Дюжардена?.. Как вы это объясните? Ну?

Ага, попало!.. Поглядите, как он растерялся, дрогнул, проводит рукой по лбу...

— Но ведь внутренний монолог... Ведь тут, вы понимаете... Тут нельзя сравнивать. Джойс взял только технический прием. Он не имитировал форму целиком...

Что это он лопочет, они никак не могут ухватить мысль... Техника... Прием... Форма... все это разные вещи... Тут какая-то путаница...

— Нет, погодите, суть вот в чем... Не в том дело... А суть в том, что внутренний монолог... это не просто прием...— его голос крепнет. — Это одна из сторон психической жизни, которую хотел выявить Дюжарден...

Но тут со всех сторон раздаются голоса: «Еще лучше. Bravo. Теперь — победа за нами. Вот к чему вы пришли. Значит, по-вашему, Джойс имитировал самую суть, а вместе с ней и форму. Значит, Джойс — если рассуждать по-вашему — академический писатель».

— Да нет же, нет, нет! — Он уже кричит на них.— Вот именно, Джойс пошел гораздо дальше. Ничего общего между его внутренним монологом и монологом Дюжардена нет. Джойс внес туда свою собственную сущность. Свой мир. Джойс гораздо выше...

— Ах, Жак, зачем ты споришь? — От нетерпения, от гордости она ломает все преграды: — Ты же сам сказал: Джойс куда выше! Но, значит, и ты, Жак, ты тоже...

— Правильно, дорогая. Уговорила. Теперь я окончательно убедился...

Как тореадор, который проходит по арене, небрежно волоча свой плащ и лоя на лету с непринужденным изяществом уши и хвост быка, шляпы и туфельки, которые ему бросают, он отдает поклон:

— Благодарю. Я потрясен. Рядом с автором «Золотых плодов», по сравнению с этим Брейн, я — Джойс!

* * *

— Вот так и случилось, что книги, пустые сами по себе, каждый старался чем-то наполнить. Самые чуткие, самые умные люди вкладывали туда — и с какой щедростью — все свои богатства. В небольшом объеме находили изысканную прелесть... в неясностях открывали бог знает какую полноту смысла!.. А потом эти книги словно опустели... трудно было вынести такую нагрузку... и они приняли свой первоначальный вид, стали тем, чем были на самом деле: пустыми... сбивчивыми... плоскими... банальными... жалкими потугами... И если кто-нибудь сегодня еще хвалит их, он всем кажется неумным, отсталым. Такие книги всегда попадают, их и сейчас много. Взять хотя бы самые последние... вот, взгляните...

Небрежный посох тычет в это стадо... Все одинаковые, все одной породы, они послушно сбиваются в кучу, теснясь и толкаясь, трутся пыльными боками, и «Золотые плоды» тут же, среди других.

То, что предчувствовалось в каких-то умалчиваниях, в некотором охлаждении, в едва заметном обмене взглядами, улыбками, в тактичной сдержанности, в осторожных пересудах, теперь возвещается на всех площадях, расклеивается на всех стенах. Нельзя держать в неведении: все те, кто вблизи или издалека, открыто или тайно, в темных закоулках совести до сих пор относятся к «Золотым плодам» с восхищением, нет, даже с простой доброжелательностью, с некоторым сочувствием, все те, что и нынче связываются с этой книгой, защищают ее, ищут ей оправдания, находят смягчающие обстоятельства — словом, как-то поддерживают ее словами или мыслями,— все они дураки.

Мы же тут люди одной породы, правда? Одного цвета кожи, одной расы, одной веры, одного круга. Спаяны воедино. Среди нас нет и не может быть ни одного изгиба. И потому с убежденностью, делающей честь нам всем, с твердой уверенностью, что я никого не заставлю покраснеть, с братской открытостью я могу взглянуть вам прямо в глаза и громко повторить то, что каждому уже известно: те, кто и посейчас восхищается «Золотыми плодами», — дураки...

А вот меня это жжет, мне от этого плохо... эта братская, эта наивная откровенность, которая озаряет нас, — и в ее горячих лучах все лениво и блаженно потягиваются, греются, загорают, — мне от нее тошно, голова кружится, вот-вот будет солнечный удар, мне надо защититься, сейчас встану, загоржусь от света вот этой ширмой: «А вот мне лично, должен сознаться, «Золотые плоды» очень нравятся».

Вот. Значит, я дурак. Я дурак: пусть все видят. Еще миг — и я обнажу перед ними тайный знак, который ношу, то несмыслимое клеймо, которое они сами на мне поставили, и чувство стыда, какой-то неловкости заставит их отвести глаза.

Да, мне нравятся «Золотые плоды»... Не могу удержаться, что-то с силой напирает изнутри, как горячий фонтан, подымается к лицу: сейчас прорвется, хлынет вон, забрызгает их, зальет, всех нас собьет с ног, как гейзер, бросит друг на друга, мы покатаемся, — где наша выдержка? Волосы мокрыми космами свисают на лоб, одежда липнет к телу, вымокла насквозь...

Мне нравятся «Золотые плоды», и я сейчас скажу это вслух, и как только пройдет первый момент паники, они встанут, приведут себя в порядок, поправят как следует прически, с некоторой брезгливостью отряхнут и одернут платье, все станет снова аккуратно и чисто, и всем — даже мне — станет легче: они снова соберутся в одну кучку, а я — меня отгонят прочь, в сторону, на место, туда, где и подобает быть мне, чужаку, мне, парии.

Издали они будут смотреть на меня: человек схватился за голый электропровод. От «Золотых плодов», которые я никак не могу выпустить из судорожно сжатой руки, идет ток, он пронзил меня, я прикован к месту, все мое существо окаменело, застыло в одно целое: в дурака.

Они смотрят на меня с жалостью, но никто мне помочь не может, никто не рискнет спасти меня... Стоит им только протянуть ко мне руку, коснуться меня хоть кончиками пальцев — и всех их пронзит тот же ток, он приварит нас друг к другу, свяжет в жалкую, нелепую цепь, — и другие стали бы смеяться над нами, если бы им не хотелось плакать: «Ах, дураки несчастные»...

Никто меня не может спасти... Но я, я сам... Как же я осмелился издеваться над ними?.. Я сам... Да ведь это от меня помимо моей воли исходит ток, он пробегает сквозь все, чем я восхищаюсь, собственная моя глупость окрашивает все, что мне нравится... я чувствую это... И если я о себе хорошего мнения, это значит только одно: я дурак. Я — пуп земли, я — ось, вокруг которой все концентрировалось, все вертелось, я, чей взгляд — стоило мне только захотеть! — мог проникнуть за грани пространства и времени, я — единственное мерило всего сущего, я — центр тяжести вселенной, я смещен, снесен... Все шатается... меня отбросило в угол, я верчусь вокруг собственной оси, стиснутый в узком пространстве, ограниченном моей близорукостью, я пойман в игре зеркал, бесконечно отражающих тот нелепый, идиотский образ, который я, сам того не зная, придаю всему, чего коснусь.

Нет, это неправда, это немыслимо, не верьте... Погодите... Тут нет ничего рокового, ничего предопределенного, это же не врожденное, неисправимое, как

цвет кожи, как раса, как кровь, нет-нет, тут просто вопрос вероисповедания, вопрос убеждений, и я отлично могу — видите, я уже начал, — я могу оторваться от самого себя, отойти, посмотреть на себя со стороны, я волен изменить свой облик, перейти в другой лагерь... В последнее время переходило столько людей, самых умных, им это даже в укор не ставили, никто их не попрекал... Мне, разумеется, потребовалось бы больше времени, но ведь никогда не поздно, правда?.. И лучше поздно, чем никогда... Вот так... теперь я прекрасно могу встать на прежнее место... в центре... на вершине, откуда перед моим взором покорно расстелется весь мир... теперь я могу обрести былое достоинство и согласиться пересмотреть свои мнения, в конце концов только об этом и шла речь, о том единственном пункте, в котором я с вами расходился. Но я тоже подвержен заблуждениям, в конце концов и я мог ошибиться... «Золотые плоды»... м-да, погодите... Откровенно говоря, у меня сохранилось только смутное представление... надо будет еще раз воскресить их, вызвать их образ перед собой.

Пусть вернуться, пусть приблизятся... Но они убегают от меня... все скользит, стирается, я не могу ухватиться... Нет, подождите, я справляюсь... Вы дали мне форму для отливки, я не хуже вас умею с ней обращаться, и вот невидимое вещество уже вливается в нее, принимает нужные очертания... я вижу... что-то неопределенное, по правде говоря, неумелое... даже простоватое, вот именно... старомодное... похоже на бесцветные мечты молодых девиц в незапамятные времена... воспитанниц монастырей... всяких Клэр д'Эллебез... Альмаид д'Этремон... Что же это со мной было? Как я только мог... И как это столько людей вместе со мной... Странно... Куда же все делось?.. Никак не найду...

И вдруг словно флюиды, словно какое-то излучение, свет... я не вижу источника, он остается в тени... что-то идет ко мне, крепнет... Что-то пронизывает меня... словно вибрация, модуляция, ритмы... как будто крупная и четкая линия постепенно вычерчивается с настойчивой мягкостью... словно арабеска, искусная и наивная... она слабо искрится... кажется, что она сейчас отделится от темной пустоты... Но сияющая черта становится все тоньше, стирается, словно впитанная тьмой, и все затухает...

Нет, то, что исходит от «Золотых плодов»... эти волны, эти звучания... этот легкий звон — то, что идет ко мне от них и от меня к ним, как ю однородному веществу, — этого ничто остановить не может. Пусть люди говорят, что им угодно. Никому не дано помешать этому взаимопроникновению, этому осмосу между нами. Ни одним словом извне нельзя нарушить это слияние, такое естественное, такое полное. Как любовь, оно дает нам силы выстоять против всего. Как влюбленному, мне хочется скрыть это чувство. Лишь бы посторонние не видели, что происходит между нами, лишь бы не приближались к нам — вот все, о чем я их прошу. У меня нет ни малейшего желания переубедить их. Я не нуждаюсь в их одобрении. Мне не нужны их восторги. От любого их слова, вспорхнувшего или мимолетно задевшего нас, я отшатнусь, уйду в себя, ошестинюсь всеми своими колючками. Я притворюсь мертвым. Глухим. Слепым. Уставив в пространство пустой взор, я не стану смотреть, как они встречаются глазами, как их взгляды стараются вселить друг в друга уверенность, взаимопонимание, собственное превосходство. Я не стану смотреть на их глупые, сияющие самодовольством физиономии.

Но какая-то сила возносит меня, увлекает, ломает все сопротивление, покоряет мою волю — сила столь же непререкаемая, как голоса свыше, повелевавшие тем, кого избрало Небо, отречься от мирной, спокойной жизни, от всех земных благ и принять мученический венец во имя торжества слова господня. сила столь же мощная, как та, что заставляет революционеров жертвовать жизнью. И во мне тоже бушуют истина и справедливость, священный гнев звенит в моем голосе, слова во мне наливаются, пульсируют, бьют фонтаном:

— Все-таки я должен сказать... — их взгляды в удивлении обращаются на меня, — что я с вами совершенно не согласен. Для меня «Золотые плоды» — изумительная вещь. Я их просто обожаю...

И тут, в тишине, наступившей после этого взрыва, я снова становлюсь спокойным. В том же стремлении дойти до масс, которое заставляет и миссионеров, проповедующих евангелие дикарям, и революционеров, убеждающих темную толпу, искать простые слова, способные проникнуть в глухие души, в затуманенные мозги, я сейчас без труда выбираю слова, понятные им сразу, расхожие, привычные для них слова.

И я говорю им мягким голосом: «Видите ли, меня поражает в «Золотых плодах» законченное мастерство, какой-то особенно четкий замысел... Было бы куда легче проникнуть в глубины, копаться во всяких сложностях... было бы куда проще услужливо выкладывать всякие переживания, мучения... А тут взамен всего — эта простота, порой, казалось бы, доходящая до банальности... но какими гигантскими усилиями она достигнута... Ценой каких жертв... И она рождает — с каким неподражаемым искусством! — ничего не говоря прямо... с изумительным целомудрием, — ощущение пустоты, безнадежности... Не знаю почему, но «Золотые плоды» напоминают мне Ватто... В них я вижу ту же хрупкую грацию, ту же нежную печаль... А этот финал... поразительный... когда все тонет в неизвестности... Мы вдруг оказываемся в полном недоумении... Да, «Золотые плоды» для меня — один из лучших метафизических романов... И поверьте моему чутью: нужны были феноменальное мастерство, сверхъестественная отрешенность, чтобы, не дрогнув, довести до конца такой замысел...»

В ответ я слышу сдержанный смехок: «Какой там замысел... Да вы шутите!.. Ох, сразу видно, что вы не знаете Брейе!»

Вы не знаете Брейе... Очень просто. Этим все и объясняется. Мы отлично понимаем. Вам все прощается... Ничего не бойтесь... Что с вами может случиться? Тут, в своем кругу, и разговора быть не может, что вас надо исключить, осудить... Какие глупости!.. Как можно даже представить себе такой скандал! Вы же наш человек, вы здесь среди своих, не забывайте!

Из их глаз, как из землечерпалок, на меня ковшами сыплется их уверенность в нашем общем превосходстве над всеми, в нашей солидарности... даже минутами в этом песке мелькают блестящие золотые крупинки их восхищения мной... Ах, это горячее, вечно юное сердце... ах, отчаянная голова... Неисправимый энтузиаст, вечно готовый броситься на защиту гиблого дела, все готов раздать нищим, он так богат, так щедр... и так скромн... всегда готов уйти в тень... он забывает, что все, чем он восхищается в «Золотых плодах», — все это он сам в них вложил... Честное слово, невыносимо думать, что он дал себя одурачить такому, как Брейе, — человеку, который ему в подметки не годится. Нет, надо его защитить, надо ему открыть глаза... Вы бы сами все поняли сразу, если бы только познакомились с Брейе, только узнали его, как знаем мы... Ничего, это вполне поправимо, мы вам покажем... Сейчас сами увидите... у нас у всех безошибочный глаз... Подойдите-ка к нам поближе, станьте вплотную, бок о бок... видите, как удобно... вот, сейчас вы увидите, сейчас вы удивитесь... Ну-ка! кто ему покажет?.. Да мы все, все... мы дрожим от нетерпения... дайте я, позвольте... я ему все расскажу... Хорошо, пусть вы, Жан-Пьер, вам и книги в руки...

— Ну что вы... Впрочем, пожалуй... Я давно знаком с Брейе... задолго до того, как он прославился. Должен сказать, что меня всегда поражал его дурной вкус... какой-то банальный образ мысли... Чем он только не восторгался — дурачками сплетнями, пошлятиной... Настоящая кумушка... Он мог даже... Помнишь, Жан, как мы застряли во время бури в горах... в хижине? Да, в Эгий-де-Гутэ... Он, видите ли, и альпинизмом занимался!.. Да, погодите... Мы делали вылазки в горы... небольшие походы... он сам не очень сильный, да и не так чтоб очень храбрый... но самолюбив, но хвастлив до чертиков... Всю ночь трепался, рта не закрывал... Как же не помнить... Измучил всех... А знаете, что у него было дома?..

Пойдем, входите, кто хочет... дворец пуст, король свергнут с трона и бежал... гуляй где угодно; ройся в чем попало... открывай ящики, раскидывай постели... смотри, какие альбомы, какие фотографии... Ну и ну!.. Вот чем они занимаются,

великие мира сего!.. Смотри, что он переплел!.. Честное слово, клянусь вам, посмотрите, вон какие тома!.. Он собирал комиксы, Пим-Пам-Пум, Никелированные Ножки... он их читал часами... А коллекция пластинок... глазам не веришь... Вы только послушайте — самые дрянные шансонье... самый вульгарный джаз... Давай вынюхивай, высматривай, никто нам не помеха... Нам все нужно... дневники, письма, исповеди, забытые на дне ящичков рукописи, сплетни современников, воспоминания выгнанных слуг... Все сгодится... Для нас нет ничего святого. Никаких запретов. Даже тех, чьи труды должны были бы вселять уважение, даже их не пощадили. Напротив. Именно от них, от их интимной жизни исходит что-то особенно сладостное для нас, нас это успокаивает, утешает, вселяет уверенность, что все мы, в сущности, одинаковы, стоит только приглядеться, все мы люди-человеки, все похожи — конечно, кроме одной детали, — их трудов... Но этого мы не касаемся, это мы им охотно оставляем... ведь это чистая случайность, странный нарост, вроде какой-то болячки, да, мы готовы признать — это, конечно, чудо... трудно объяснить... но что касается до всего остального, как это похоже на всех — столько находишь тут слабостей, столько лени, халатности, столько незрелости, испорченности, даже иногда такую низость, что нам, надо сознаться, очень трудно не чувствовать вполне законного превосходства.

Но когда речь идет о Брейе... когда его книга — портрет автора... когда тут никаким чудом и не пахнет, мы должны констатировать — и, по правде говоря, не очень-то охотно — какая нам от этого радость, чем это нас может возвысить, я вас спрашиваю? Мы можем с полной уверенностью сказать: вся эта простота, вся эта наивность, которыми вас так восхищает Брейе... никакого замысла в этом нет... Он же сам все принимает на веру, даем вам слово. Он больше ничего и не мог дать. А этот непонятный конец, который так всех огорошил... причем никто не посмел сознаться, что он ничего не понял... но ведь и сам Брейе его не понимал, это ясно как день... Он просто потакал моде... Хитер, ничего не скажешь... Но что с вами? Смотрите, как он побледнел... видно, расстроился... ох, уж эти мне романтики, эти неисправимые мечтатели... им бы все витать в облаках... бродить по цветущим лугам... дышать воздухом горных вершин... «Ватто»... Слыхали?.. Чего они только не выдумают? «Ах, какое изящество... какие высоты, какие глубины... метафизические переживания, неподражаемые сложности»... — простите, что мы смеемся... Да, грустно, конечно, когда тебя вдруг вырвут из всего этого, вернут на землю, сюда, к нам, грешным, к низменным фактам, к неприязательной правде. Но что поделаешь, приходится подчиняться, правда все пересилит. Раньше или позже, как ни старайся, от нее не уйти...

Нет. Погодите. Тут что-то неладно. Я никак не ухвачу, в чем дело... но чувствую — тут какая-то фальшь... какая-то нарочитая подделка. Надо мной смеются... Куда ж это я попал? В какую компанию? В какой игорный притон? Вы жульничаете... Вот доказательство... Сейчас докажу... Ведь Рэмбо тоже, слышите — сам Рэмбо, — и все же кто из вас посмеет придаться к его стихам? Никто, правда? Это святыня... Так вот: Рэмбо совершенно как Брейе... Рэмбо тоже любил всякие вещи: идиотские картины, бездарные эротические романы, детские книжки, глупые песенки, устарелую литературу... Рэмбо тоже... как Брейе...

Они разом выпрямляются, беспощадные, плечом к плечу, слившись в одно целое:

- Послушайте, но ведь то...
- Я защищаю лицо рукой, весь сжимаюсь...
- Слушайте, но ведь то — Рэмбо!..

* * *

Ох, бедняга, как он отбивался... Больно было смотреть... Только послушать, как он уверял всех в своей невинности, приводил алиби... Да, он находился под влиянием, он это и не отрицает. Разве от этого уйдешь?.. Но что тут дурного?

Зачем скрывать? Имена? Пожалуйста! Он только и ждал, чтобы их назвать. Может быть, даже он сам... он был готов признаться, если бы так случилось... бывает... человек помимо воли... ведь ни по отношению к искусству, да и вообще ни к чему другому так вдруг что-то в тебе не возникает... О, нет, нет, только не это... Этого не было. Того, что ему приписывают. Нет, нет, это неверно. В корне неверно. С теми людьми он и не встречался. Он только знал их понаслышке. У него есть на то свидетели. Можете их допросить, они вам скажут, когда, в каком году они ему впервые рассказали о тех самых людях... Они наверняка этого не забыли... Их тогда еще очень удивило, что он и тех книг никогда не открывал, не прочел ни строчки. Да, он знает, этому трудно поверить, но если опросить самых эрудированных из нас, в нашем чтении неожиданно откроются гигантские пробелы. Пусть все эксперты мира признают его виновным, он неуставно будет утверждать, что они ошибаются, что они ни в чем не разобрались, — между ним и теми людьми нет ничего общего, никакого сходства. Они сразу увидят это, стоит им приглядеться к нему внимательней. Потом они пожалеют — тем хуже для них... Он выкрикивает эти слова, обезумев от гордости... Нет, то, что скрыто в «Золотых плодах», то, что их отличает от всего написанного раньше, это он сам открыл, это его собственность... всегда ему принадлежало... Никто не смог стать между ними, с самых ранних лет он ощущал эту связь, прямую, непосредственную... это его чувства, они так свежи, так чисты, так новы... они выросли из самых сокровенных глубин его души... Это его внутреннее «я» как бы само нашло для себя форму, помимо него...

Поистине трогательно видеть, до чего они все похожи, до чего у них одинаковые иллюзии. Каждый убежден, что именно благодаря ему совершилось чудо, он его открыл...

Но пусть они протестуют, пусть просят и молят сколько угодно, мы непоколебимы. Ничего не поделаешь, нас не обмануть. У нас такой склад ума, что в нем содержится вся мировая литература, расписанная и разрезанная на карточки, как лото — на нумерованные квадратик. Как только появится что-то незнакомое, мы сразу берем его, вертим во все стороны. Ну-ка, покажите. Дайте взглянуть на этот билетик. Какой у него номер? Ага, вот как. Погодите... вижу... Вот где ему место, вот его клеточка... Иногда находишь не сразу... но это так увлекательно, сначала волнуешься, потом успокаиваешься, нет для нас ничего занятнее этой игры, когда... — ага, вот оно, держу... передайте это сюда, дайте это мне.

Бывает, что молодой ветреник, еще даже не осмелившись воплотить свой замысел, полный энтузиазма и надежд, ослепленный гордыней, вдруг в нетерпении начинает выставляться перед нами:

— Знаете, я еще никому не говорил... Послушайте, какая мысль мне пришла в голову... Внезапно, по вдохновению... Что, если это ощущение, которое во мне растет и крепнет, что, если его заставить как-то поворачиваться вокруг своей оси, все выше и выше, и тогда под натиском своего собственного движения оно пройдет по всей книге, закручиваясь спиралью...

— Спиралью! — Мы хватаемся за это слово.— Движение по спирали? Погодите. Мне это что-то напоминает. Внимание. Будьте осторожны. Знаете ли вы, что это уже давно сделано?

И он весь сразу сжимается, съеживается. И все его чувства, как цвет яблони под порывом холодного ветра, вянут, жалобно обвисают, вот-вот опадут.

Всегда полезно при случае заранее принять меры, чтобы потом не было лишней работы.

Смотрите, до каких эксцессов доходит дело, если вовремя не вмешаться. До каких беспорядков, до каких галлюцинаций, до какой истерии. Все захлестывает, нет сил остановить этот поток. И бывает, что иногда довольно долго — возьмите, к примеру, «Золотые плоды», — иногда долго приходится терпеть...

Но в конце концов все приходит в норму. Мы неустанно стоим на страже. По всем улицам дефилируют наши люди-сэндвичи, на плакатах огромными буквами написано: Все уже сказано. Нет ничего нового под луной. На всех площадях наши проповедники успокаивают народ: «Умерьте смутные сожаления, перестаньте мечтать, устремляйтесь к более верным, более полезным целям, излечитесь от чувства неполноценности. Вам не о чем жалеть... Вам не за чем волноваться. Искать нечего — все равно вам ничего нового не найти: все уже сказано».

Но иногда — чего только не случается — вдруг в толпе какая-то женщина, какой-то мужчина падает на землю, бьется в припадке, царапает лицо, кричит: «А Рэмбо? Рэмбо?..» — и тогда, осторожно пробираясь сквозь взволнованную толпу, к припадочному подходят, гладят его по голове, успокаивают: «Так ведь то — Рэмбо, вы понимаете... Зачем так расстраиваться, кричать!.. То был Рэмбо... Успокойтесь. Не надо бояться... Мы — правило, а Рэмбо — исключение».

Все в порядке. Усопшие — и те, что недавно скончались, и те, что умерли уже давно, — все они распределены по категориям — малые, средние, великие, каждый покоится на своем месте. Взгляните, какой порядок мы навели. Мы их вскрыли, классифицировали, перенумеровали, и теперь все великие набальзамированы, пропитаны парафином, подгримированы — лежат, как живые. День и ночь стоит на часах неподвижная стража, из поколения в поколение пристойно дефилирует мимо них молчаливая толпа.

Но даже они, великие, те, что чувствовали себя такими свободными, независимыми, смелыми, те, что думали — мы единственные, несравненные, — даже они удивились бы, если бы узнали, с кем, около кого их положили, если бы услышали, что мы в них открыли при тщательном изучении. Открыли, как при жизни их тоже швыряло и несло по воле волн, скопом прибывало к берегу, уносило и приносило приливом и отливом.

А теперь и этому надо непременно определить место, и поскорей — он того заслужил хотя бы потому, что вызвал столько шуму, надо, хоть временно, найти ему местечко... среди мелкоты, разумеется, это бесспорно... Но весь вопрос в том — среди какой мелкоты, у ног каких великих?

— Что действительно было у Брейе, что так приятно поражало, когда читались «Золотые плоды»... должен сказать, что я всегда это думал, только не говорил... я же не сумасшедший... да и кто бы посмел?.. что в нем очаровывало, это то, как вдруг останавливаешься и думаешь: погоди, погоди-ка, что это? Откуда же это взято?.. Как будто я уже где-то слышал, знакомый перезвон, и этот ритм, эта каденция фразы... та же тональность... а этот образ, он тоже что-то напоминает, где-то я уже видел... Одно выражение, иногда одно слово — и уже начинаешь искать, припоминать... Мне самому было занято. Подтверждало, что мой маленький, так сказать, интеллектуальный багаж все еще в целости и сохранности. Почти всегда я находил то, что искал. Книжки вроде «Золотых плодов» — настоящая головоломка. Вся сборная — из кусочков, отовсюду понемножку...

— Правда, ваша правда... Знаете, я у него нашел Анакреона...

— А я — мадемуазель де Скюдери...

— Лотреамона...

— А Стерн, вы забыли Стерна. От него там больше всего...

— Нет, тут я не согласен. Вспомните Томаса Манна, его первые вещи...

— Разве Брейе знает немецкий?

— Но Манн давным-давно вышел по-французски, правда малым тиражом. Его нигде не достать, но несколько лет назад мне попался в руки один экземпляр. Сходство потрясающее...

— Ну, вы... Разве от вас скроешь. Да есть ли для вас в литературе хоть какой-нибудь уголочек...

— Помилуйте, вы мне просто льстите...

— Вы на меня не сердитесь, но, честное слово, когда речь идет об этих «Золотых плодах», тут нечего далеко искать. Образцы рядом... Невооруженным глазом видно...

— И заметьте, будь у Брейе талант, все это не имело бы значения... Все зависит от того, как использован материал, что из него сделано. А сделал-то он не бог весть что — вот в чем беда...

— Да, все покрыто лачком... под стать моде... Конечно, нельзя ему отказать в известном умении.

— Да? Вы так думаете?

— Конечно. Этим он и ухитрился всех соблазнить... Казалось, все новое и вместе с тем — знакомое. Читатель это обожает... так и надо писать, если хочешь успеха... Поверьте, в этом весь секрет...

— Ну, если это назвать успехом... вы посмотрите, что с ним случилось, с беднягой. На днях один человек прямо, без обиняков сказал мне в глаза, что та знаменитая любовная сцена из «Золотых плодов» словно списана из дешевого журнальчика, знаете — «Тайны сердца».

— Да, что правда — то правда, ничего не скажешь...

— А по-моему, мы слишком с ним нянчимся... Ломаем голову, отыскиваем ему предшественников, учителей. Томас Манн... Лотреамон... Спрашиваем себя — куда его деть?.. Рядом с кем?.. Уверю вас, все это остатки наваждения...

— В общую могилу... и всё... туда ему и дорога... Чем скорее их забудешь, эти книжонки, тем лучше.

* * *

Да, ничего не поделаешь, надо признать — плохо нам приходится. В скверное положение мы с вами попали. И одиноки, так одиноки, что поверить невозможно... И я понапрасну все время пытаюсь... нельзя без этого... кто знает... а вдруг неожиданно ответят... прозвучит чей-то голос... и сразу станет легче! Только бы это, и уже кажется — мы почти спасены. Но сколько я ни пробую — в минуту затишья, молчания — сказать достаточно твердо, чтобы заставить их слушать, но все же мягко, чтобы их не спугнуть, сколько раз я им ни говорил: «А «Золотые плоды»?» — мне на это отвечает только чей-то беглый взгляд — скользнет и отвернется. А чаще всего никто и не слышит.

Все дело в том, что они вечно заняты, вечно у них стоит крик, шум. Без конца вопят, без конца млеют от восторга... И эта непоколебимая самоуверенность, каждый раз я от нее теряюсь. И все имена, имена, запомнить невозможно.

«Человек в космосе»... «Грандиозное полотно»... «Лучше «Войны и мира»... «Наш современник перед проблемой сегодняшнего дня» — вот что их занимает в данную минуту. Я замечаю, что в такие моменты, когда История несет их по волнам, словно роскошный океанский лайнер, оснащенный всей современной техникой, вздымающий на ходу огромные валы и фонтаны брызг, играющий утлыми суденышками так, что те, чуть не опрокидываясь, пляшут на волнах, — я замечаю, что в такие моменты они особенно самоуверенны, самодовольны. Надо признать, что в каком-то отношении их можно понять. Я даже завидовал им иногда... На меня это действовало... и тут меня одолевало любопытство, толкала вперед моя непредубежденность — лучшая черта моего характера, скажу, не хвлясь. И я забирался на эти гигантские суда, вблизи осматривал эти фрески, воплотившие размах нашей современности. Но ничего не поделаешь — мне было не по себе, мне было скучно.

Ведь для того, чтобы я не чувствовал никакого напряжения, чтобы у меня на душе было спокойно, я непременно должен отыскать... все равно в чем... я это ощущаю очень отчетливо, только не знаю, как выразить... слов мне не хватает, а те, что есть, они такие бедные, захватанные, стертые... ими пользовался кто попало, для чего попало... Мне бы владеть отточенным словарем этих ученых, докторов наук... Знаю, они посмеялись бы надо мной, если бы услышали, что я

говоря. К счастью, они никогда не слушают... Так вот... я только хочу сказать, что мне для того, чтобы ощутить уверенность, спокойствие, как ощущают они все, мне для этого надо найти... где угодно — даже в гигантском полотне, почему бы и нет?.. — я человек непредвзятый... мне надо почувствовать... сам не знаю, как это назвать... ну, то, что чувствуешь, видя, как робко пробивается первая травинка... или нераспустившийся крокус... от него что-то исходит... это еще не аромат, даже не запах, а что-то безымянное — не запах, а предвестник запаха... Мне кажется, это оно и есть... что-то такое, что меня забирает, осторожно, медленно — и держит, не отпускает... что-то нетронутое, невинное... будто податливые детские пальчики уцепились за мою руку, будто рука ребенка уютно угнездилась в моей ладони. И во мне ширится такое чистое доверие... оно проникает в мое существо...

Во что бы то ни стало я хочу быть на высоте... не предавать вас... оттого мне иногда хочется забыть всякую осторожность и крикнуть... хотя, может быть, и не стоило бы, может быть, и для вас и для меня лучше, чтобы о нас забыли... Но меня так и тянет спросить: «А «Золотые плоды»?.. Помните вы их?..» Только так, напрямик, можно подойти... Какое значение имеют все эти океанские лайнеры, все стройки в мировом масштабе, если нет в них нераспустившегося крокуса, нет детской ручонки... Есть оно или нет — вот в чем все дело. Поверьте мне, только это имеет значение... И я спрашиваю себя: как будет, когда тем, кто сегодня в силе, придется уцепиться за таких, как я, чтобы проплыть весь дальний путь, как они это сделают, за что схватятся?.. Но я сдерживаюсь, я молчу. Насмешки могут уничтожить. Они бьют так метко... а мы такие незащищенные... Но, быть может, — и мне иногда это чудится — быть может, безотчетно я чувствую, что даже сейчас мы с вами сильнее их... Быть может, я их даже жалею... Сам не знаю... Давайте просто скажем, как обычно говорится, что я молчу из вежливости, из врожденной деликатности. Оттого и не высказываюсь.

Но еще в то время, когда мы с вами только что встретились, еще до того, как они все завладели вами, стали устраивать в вашу честь пышные приемы под охраной полицейских кордонов, еще тогда я соблюдал осторожность. Я выжидал, как делают многие, чтобы начали другие... хотел посмотреть, куда они направятся, чтобы пойти с ними в ногу.

Говорят, что люди больше всего обижаются, если их упрекнуть, что они поют фальшиво. Я полагаю, что гораздо обиднее, если тебя подозревают в отсутствии вкуса. Поэтому у меня всегда первый порыв — отойти в сторону. Кто я такой в конце концов? Что я сделал? Мне ни разу и в голову не пришло попробовать написать роман. Понятия не имею, как за это взяться. Я даже не отдаю себе отчета, когда, например, читаю вас, — трудно ли это было писать, в чем именно заключались эти трудности. Не могу себе представить, какие препятствия стояли у вас на пути. Мне казалось, что все шло как по маслу. Все развивалось естественно. Но когда я вижу, как люди компетентные спокойно разрезают на куски какое-нибудь произведение, рассматривают отдельные отрывки: «Вот тут совсем недурно, очень хорошо задумано, это большая авторская удача. Вы заметили сцену у кладбищенских ворот? Превосходно. А старушка на скамье, у лужайки?..» Спору нет, куски прекрасные... я всегда поражался, как они могут это делать. А мне все равно, что, все равно, какой отрывок, пусть самый маленький, взятый наугад, — мне важно одно: вошел он мне в душу или нет. Стоит ему проникнуть в меня, как он и остальное потянет за собой. И получается одно целое. Как живое существо. Но для них, очевидно, все по-другому. И оттого, что я перед ним чувствую себя безоружным, я начинаю сомневаться. Даже по отношению к вам это бывало. Но каждый раз, когда я возвращаюсь к вашей книге, когда я готов признать, что я ошибся... сразу между мной и вами что-то начинается заново... И тогда во мне крепнет уверенность... Тем более что я давно убедился: всех этих знатоков, которые так меня поражали, очень легко сбить с толку... вечно они меняются, отрицают прежнее, забывают... А послушаешь их в такие минуты... Опять повторяются, опять говорят те же слова. Можно поду-

мать, что речь снова идет о вас. Забыта «грандиозная фреска», потонул «пароход Истории»... снова идет разговор о «прелестной безделушке», о «ювелирной работе»... Совершенство... лучшее, что написано за последние пятнадцать... за последние двадцать лет... И цифры-то всегда одни и те же: между десятью и двадцатью... зависит от того, насколько они пришли в экстаз, насколько стараются перешеголять друг друга... Но в какой бы транс они ни впали, дальше тридцати лет они идти не смеют. Впрочем, недавно у них хватило нахальства — и, главное, ради чего! — дойти до пятидесяти лет, даже до ста!

Но, кажется, я слишком долго выжидал. Час пробил. Надо попытаться снова. Нельзя терять столько времени. Буду действовать осторожно. Там, среди них, есть один, он держится чуть в стороне от других, видно, он человек чуткий, восприимчивый. Сейчас спрошу его осторожно:

— А «Золотые плоды»? Вы их помните?

— Золотые — чего?

Вот и весь ответ... И не удивительно. Много месяцев я уже не встречал тех, кто помнил бы о вашем существовании. Никогда больше не упоминают ваше имя. Но я чувствовал, что с ним я могу быть настойчивее:

— Между нами говоря, ведь книга блестящая. И так забыта — понять не могу, отчего. Прочтите ее, обязательно прочтите.

И он сказал, что посмотрит... Думаю, он это сделает, ему можно верить... А кто знает? Может быть, тот, другой голос и окажется его голосом?

Вы понимаете, нельзя терять надежду, это неправильно. Не может быть, что я — какое-то исключение. На свете безусловно есть много таких, как я. Таких же застенчивых. Немного ушедших в себя. Не привыкших выражать свое мнение. Может быть, они робко окликают нас, а им никто не отвечает. Однако не забывайте: для полной уверенности мало знать, что они существуют. Ведь не только вы производите на них то же впечатление, что и на меня: иногда они оказываются под впечатлением таких вещей, что и подумать страшно. Знаю, от этого можно прийти в отчаяние. Иногда я так теряюсь, что снова готов усомниться: уж не ошибся ли я сам?

Но нельзя не признать, что чем дальше, чем больше времени проходит, тем больше повышаются ваши шансы на благополучный исход. Это молчание, куда вас погрузили, сорвав с вас все пышные одежды, все прежние украшения, молчание, где вы в наготе, в чистоте плывете по течению, а я цепляюсь за вас, — оно объединило нас, связало крепко-накрепко. Теперь вы настолько близки мне, настолько стали частью меня самого, что, по-моему, перестань вы существовать, и во мне что-то отомрет, станет безжизненной тканью.

Есть ли что удивительней, чем ваша сила сопротивления и мое упорство? И все те, кто, как я, хочет помочь вам выплыть на берег, переплыть пучину, все должны, несмотря на свои слабости, внушать вам доверие. Я часто говорю себе: может быть, только благодаря таким, как я, скромным, незаметным, но непоколебимым в своем упорстве, могут выстоять и выжить такие книги, как ваша. Кажется, никто в это не вникал как следует. А стоило бы, это интересно. Что касается меня, то я так и не могу понять, каким образом это происходит.

Иногда я себя спрашиваю: а что с вами будет потом, без меня... где вам удастся выплыть, к какому берегу вас прибьет? Бывало, что и те, кто пустился в плавание при самых благоприятных условиях, окруженные признанием самых изысканных знатоков, в конце концов были подобраны на берегу детьми и с тех пор служат им забавой. Правда, бывает и так, что взрослые вдруг на время отбирают эту игрушку у детей. Но это случается не так часто.

А бывает и так, что те, кого отовсюду выталкивали, вдруг через много лет возвращаются снова, садятся к столикам в кафе, красуются в салонах. Сдается мне, что такие, как они, никогда не исчезнут совсем. За них, по-моему, бояться нечего.

— А «Золотые плоды»? Вы их еще помните?

Какое усилие приходится делать каждый раз... Мне оно трудно дается... Чувствуешь, как в них неотвратимо начинает действовать какой-то механизм... будто заводишь будильник, пускаешь в ход часы... И ждешь, пока зазвонит звонок. Даже в те времена, когда одно ваше имя вызывало громкие крики восхищения, одно сознание, что так будет, приводило меня в ярость, мне хотелось их потрясти, перекрутить пружину, чтобы заставить их звонить невпопад. Но теперь...

— А «Золотые плоды»? — Ну вот. Часовой механизм заработал... «Ах, вы об этом»... Вот оно, задрезжалось — начинается... «Вот оно что»... Бьют часы: «Значит, вы все еще... о «Золотых плодах»?»

Авторизованный перевод с французского Р. Райт-Ковалевой.

ФИЗИОЛОГИЯ УСПЕХА

(О романе Н. Саррот «Золотые плоды»)

Известность имени автора иной раз обгоняет знакомство с его книгами. Натали Саррот принадлежит к числу тех западных писателей, о которых мы были слышаны прежде, чем стали их читать.

Имя Натали Саррот встречалось в статьях наших критиков, полемизировавших с так называемой «алитературой» во Франции, авангардистским «новым романом». Натали Саррот едва ли не самая заметная фигура этого направления, и защитники жанра романа не раз укоряли ее как одного из разрушителей почтенной и заслуженной литературной формы. С другой стороны, Н. Саррот известна своими прогрессивными взглядами, искренними симпатиями к нашей стране, где у нее много друзей и где она не однажды побывала за последние годы.

Однако о книгах ее мы знали до сих пор понаслышке. Если не считать случайных отрывков из романа «Планетарий», появившихся несколько лет назад в «Иностранной литературе», «Золотые плоды» — первое серьезное знакомство русского читателя с этим автором.

Нелегко войти в эту густо психологическую, как перенасыщенный раствор, прозу. Герои, чаще всего безмянные, заранее не представлены читателю, и поначалу можно растеряться среди обрывочных разговоров, многоточий, психологических нюансов, вибраций и переливов, бесконечного потока внутренних монологов и диалогов. Но пообвыкнув и освоившись с непривычной для нас литературной манерой, мы с интересом начинаем следить за существенным содержанием книги.

Название «Золотые плоды» забрано автором в кавычки. Роман под таким названием — главный герой книги, а его судьба составляет сюжет сочинения Н. Саррот. Случай более чем странный: книга о книге, роман о романе, история мнений, толков и критических суждений о нем, биография успеха книги — с ее начальной безвестностью, извлечением из небытия, нарастающей славой, триумфом, охлаждением к ней и, наконец, забвением.

Такой роман, по правде говоря, должен бы отбить у критика охоту рассуждать о нем. Лукавство книги в том, что она будто заранее предвосхищает возможные разнотолки о себе и того, кто решится ее оценивать, ставит в положение человека, как бы втянутого в сюжет романа и продолжающего его в натуре.

Тем не менее я рискну рассказать, о чем я думал, читая «странную» книгу Н. Саррот.

Внутренняя жизнь литературы и того, что происходит рядом с ней, вообще говоря, мало благодарный предмет для искусства. Когда художник творит, все время оглядываясь на себя, это чаще всего признак бедности впечатлений. Однако интерес книги,

Саррот в том, что она не поэтизирует артистическую среду, а подвергает ее скептическому анализу.

«Золотые плоды» больше напоминают литературный памфлет, психологический трактат, облеченный в изысканную художественную форму, чем собственно роман. Но не все ли равно, как назвать то, что умно и точно написано? Рационализм и дробность психологического письма, присущие школе «нового романа», предрасполагают к изображению состояний, но не характеров, положений, но не обстоятельств. Эти ресурсы, возможно, оказались бы бедны для более широкого и «позитивного» сюжета, но для иронического анализа околосредовых нравов пришлось как раз впору.

Книга Саррот — острая, язвительная и умная — тесно связана с французской традицией. Она пришла из той же литературы, что дала нам племянника Рамо и господина Бержера. Дело специалистов по французской литературе поставить эту книгу в связь с другими произведениями Н. Саррот и всей школы «нового романа», указать на то, какое движение означала эта работа в ее творчестве.

Быть может, при этом обнаружится, что «новый роман» в лице Натали Саррот как бы бросает здесь ретроспективный взгляд и на собственную судьбу, досаду на непостоянство публики и критики и пытаясь оценить со стороны свою бурно вспыхнувшую, а ныне отчасти пригасшую славу. Ведь апогей интереса к «новому роману» в самом деле миновал. Позади опьянение литературных мэтров его оригинальностью и новизной, преувеличенные восторги, надежды и похвалы... Будь автор более самодоволен и поглощен своим успехом — охлаждение публики могло бы больно задеть его. Искренний и серьезный талант позволяет Натали Саррот критически оглянуться на свое окружение и на самое себя, угадать цену сенсационного успеха и неуспеха, создаваемого прессой и гостиницами.

Впрочем, все это лишь догадки, и о том, в какой мере в «Золотых плодах» отразились отношения «нового романа» с публикой и критикой, лучше скажут знатоки. Нас больше занимает существенный объективный смысл этого очерка нравов.

Натали Саррот тонко подметила и изобразила самый процесс зарождения мнений о книге, постепенного образования, затвердения и падения литературных репутаций. Объектом ее исследования и насмешки стала среда людей искусства, живущих в замкнутом мире цеховых интересов, и еще более специфическая околосредовая среда.

Иногда искусственно подогретый успех той или иной модной книги на Западе мы склонны толковать упрощенно, лишь как продукт рекламной шумихи, раздуваемой в коммерческих целях. Между тем коммерция и реклама нередко идут по стопам приговоров, вынесенных в элитных артистических кружках, среди столичных знатоков, ценителей изысканного. Эти приговоры мгновенно подхватывает и разносит глядящая им в рот приближенная публика, а там уже они становятся общим достоянием.

Заслуга Саррот не в том, что она указала на это известное и раньше явление, а в том, что, как естествоиспытатель, воспроизвела его, будто в колбе, в своем романе и на тонком срезе исследовала патологию и физиологию литературного успеха.

С плохо скрытым ядом говорит Саррот об ужасном суевении, окружающем искусство, попавшее в моду, о случайности и ненадежности репутаций, оценок, какие определяют нередко успех книги, фильма, спектакля, картины художника.

Искусство не терпит утвержденных оценок и официальных приговоров. Но своим фанатизмом обладают и кружковые, неофициальные мнения, готовые навязать себя принудительной силой. Кружковая художественная среда выдвигает своих божков, своих идолов, поклоняясь им часто с полной безотчетностью, лишь потому, что так принято и освящено местными законодателями вкусов.

На первых порах репутация произведения может колебаться — приговор не произнесен и еще возможна свобода выбора. Но вот, обрывая минуту молчания и растерянности, кто-то, быть может лишь более других самонадеянный и дерзкий, произнесит слово одобрения или хулы, к нему присоединяется один, другой, третий — и словно электрический ток пробегает по избранной публике, заставляя всех повернуть головы в одну сторону.

Натали Саррот прекрасно показывает, как возникает террор кружковых мнений, как захватывают людей «массовые галлюцинации» взятых со слуха оценок и похвал. Тут признают только «своих» и с высокомерным презрением третируют простаков, претендующих на самобытность суждений. Тут существует немой уговор: не шокировать общество, петь, как все, и если ты на это не годишься, у тебя почти вымогают одобрение тому, что здесь общепризнано. Трудно в иные минуты не поддакивать, не хвалить то, что хвалят вокруг, и случается — даже умный, серьезный человек, словно затиснутый в угол, начинает нехотя лицемерить.

В этой постоянно эстетически возбужденной толпе безопасно, пожалуй, проявлять свою точку зрения лишь в одном — в выборе все более звонких определений: «первоклассно», «грандиозно», «потрясающе», «неслыханно». Не худо также выкопать какую-либо малозаметную деталь, проходной абзац или страницу и горячо настаивать на их особой глубине и проникновенности. «Взгляд и нечто», по гениальному слову Грибоедова, все еще имеет неотразимую власть над тонко чувствующими душами. Примеры тому в изобилии дает роман Натали Саррот. Так, если пошла мода на Курбэ, надо не только спешить присоединиться к этому увлечению, но еще и разыскать в самом дальнем закоулке выставки никем не замеченную «голову собаки» и демонстрировать ее всем как личное свое открытие. Ибо вся штука в том, чтобы, подчиняясь гипнозу общего мнения и больше всего боясь отстать от других, в то же время продемонстрировать свою индивидуальность, отличаться хотя бы в малом — мол, и мы не лыком шиты.

Ужасное разочарование ждет того, кто ожидает получить в этой избранной среде объяснение и обоснование ее приговорам. В самом капище ума и вкуса — полнейшая безотчетность мысли, подчинение авторитетным предрассудкам, когда репутация — выше создания, имя автора — важнее его книги, фильма, полотна.

В ироническом изображении Саррот преследование мнений, расходящихся с суждениями кружка, предстает в виде драматической, едва ли не кровавой борьбы. Слишком дерзкое высказывание — выстрел, — и несогласный падает в крови! Накал страстей, возникающий из-за несогласия безумца с господствующим вкусом, Натали Саррот отмечает неожиданным образным рядом: в перипетиях отвлеченного спора ей чудятся ловушки, западня, тюрьма, пытки, нападение стаи волков и т. п.

Эти трагикомические сравнения оправданы. Насилие над вкусом вызывает в конце концов ненависть не меньшую, чем любой иной вид насилия над человеческой личностью. Бывает даже, что внутреннее сопротивление рождает в человеке желание сказать наперекор, вызывает дерзкий эпатаж, нарочитую грубость, а в критике ведет к тому, что Тургенев называл «обратным общим местом». К несчастью, за этим чаще всего сквозит то же желание утвердить себя, свое мнение, а не истину. А истина скромна, говорит твердо, но тихо и может показаться — почти всегда даже кажется в этой среде — неумелой, неуместной.

Вернемся, впрочем, к «Золотым плодам». Только немногие в романе Натали Саррот решаются поначалу сопротивляться общему дурману, наваждению принудительных похвал. То, к чему одних приводит размышление, для других — непосредственная реакция чувства, инстинктивное отвращение к фальши. Жан и его подруга хотят быть независимыми, сохранить верность непосредственному восприятию — и, бог мой, как трудно это им дается. В чем, в сущности, они виноваты? Им не нравятся «Золотые плоды» — и только, но их положению не позавидуешь. Мало того, что они рискуют быть уличенными в дурном тоне, отсталости, провинциальности — на них мгновенно обрушивается каскад привычных отговорок и софизмов. Вы говорите, что это место банально? А что, если автор как раз и добивался такого эффекта! Вы требуете разъяснить вам его достоинства с книгой в руках? Полноте, вправе ли мы вообще истолковывать искусство? Разве истолковать — не значит профанировать его?

Храбрцев, несогласных с большинством, дают высокомерием, запугивают и принуждают думать на свой лад. Их пытаются склонить к тому, что в области искусства нет решительно никакой объективной опоры для суждений и оценок. А раз так — значит, надо смирить свою заносчивость и, чтобы не попасть впросак, меньше верить себе и повнимательнее слушать тех, чей вкус на нынешний день авторитетен.

Таковы, к примеру, научные старички, поверх голов непосвященных ведущие свою беседу, нашпигованную терминами структурной поэтики, последним словом критической мысли. В воздухе плавают обрывки фраз: «непространственная структура», «семантическая модель», «герметичность». Эти дальние отголоски точных наук призваны на сей раз оправдать и освятить то, что неиспорченный вкус отказывается воспринять.

Лучше уж ничего не делать, чем делать н и ч е г о,— это суждение, если не ошибаюсь, принадлежит Толстому. Похоже, что ценители «герметизма», схватившие со слуха термины строгой лингвистики, в содружестве с самими его создателями не покладая рук заняты тем, что делают н и ч е г о, производят мнимости и мнимо пытаются их объяснить.

Насмешка Натали Саррот над «герметической» литературой и «герметической» критикой показывает, как остро ощущает она исчерпанность и безысходность формализованного до самого дна творчества. Но также не по ней и мертвое академическое искусство, имитирующее классическую строгость и ясность.

Как все же научиться понимать, что хорошо, что дурно в искусстве? В чем искать опору своему чувству изящного? Как распознать, где живое искусство, где мертвое его подобие, где отважная новизна, а где спекуляция и шарлатанство?

На эти скептические вопросы сама Саррот не дает прямого ответа, но упорно внушает читателю: верь себе, непосредственному чувству и здравому размышлению, не поддавайся игу чужих мнений, пристрастным суждениям гостиных и кружков. Идя чуть дальше, придется признать, что критериями, почерпнутыми внутри искусства, доказательствами «от искусства» тут не обойдешься. Следующим шагом неизбежно должно стать движение искусства к жизни, проверка искусства жизнью.

Что и говорить, искусство играет еще прискорбно малую роль в жизни большинства людей на земле. Но есть на земном шаре и такие — не столько географические, сколько социальные — зоны, точки, уголки, где его, похоже, слишком много, где люди объелись искусством, пресытились им. В этих избранных кружках произвольность восторгов и похвал, обращенных к очередному шедевру вроде «Золотых плодов» Брейе, легко сменяется столь же немотивированным охлаждением и презрением ко вчерашнему кумиру, так что находить в нем какие бы то ни было достоинства становится попросту неприличным.

Когда не думают о жизни, когда единственной реальностью становятся само искусство и суждения о нем — неизбежно возникает «заговор мнений», кастовая нетерпимость, ожесточенность принудительного обращения в свою эстетическую веру.

Конечно, движение искусства к жизни не надо понимать плоско. Дело во всяком случае не в требовании лишь внешнего жизнеподобия. Важнее вот что: искусство может соединять человека с жизнью или разводить его с нею. Одни ценят то, что соединяет, дает возможность лучше, вернее понять окружающий нас мир, самого себя и иных людей; другие — то, что разъединяет, отвлекает, уводит от реальности, навеивает «сон золотой» или, ближе к нашему сюжету, кормит золотыми плодами, от которых во рту остается металлический привкус.

И вот это второго рода творчество все меньше устраивает Натали Саррот. В компангую атмосферу, где душно от теоретических споров, эстетических тонкостей, психологических нюансов и голых абстракций, вдруг беззаконно и непрошено является напоминание о живой плоти мира: пробившейся молодой траве, первом нежном запахе крокуса, доверчивой детской ручонке. Пусть эти образы не столь крупны и «масштабны», они приносят с собой свет и тепло живой жизни, напоминают о большом мире, где есть беды, борьба, горе, страдания и радости иные, чем те, что занимают людей, поглощенных выяснением смысла «жеста с шалью» в гениальном романе Брейе.

Взбунтовавшийся против традиций «новый роман» думал, что он порывает все связи со «старым романом». На самом же деле выходит так, что он достигает истинного успеха лишь в той мере, в какой своими утонченными средствами приближается к воплощению широкого мира человеческих интересов, социальных и нравственных идей, всегда занимавших внимание великих романистов прошлого

Быть может, книге Саррот и не суждена у нас широкая читательская известность: для этого она все же слишком психологична и «умственная», слишком специфичен ее сюжет. Но вместе с тем можно не сомневаться, что многие прочтут ее не только с интересом, но и с пользой. Особенно должна она запомниться тем, кого более всего касается,— критикам, литераторам, вообще людям художественной среды.

Ведь нельзя сказать, чтобы история «Золотых плодов», характерная для культурной жизни западного мира, при многих очевидных различиях, была бы вовсе не актуальной для нас. Конечно, если взять всю совокупность литературно-общественной жизни, можно сказать, что решающее мнение о книге образуется у нас не в салонах и кружках; оно создается, как правило, куда менее стихийным, более целенаправленным и регулируемым образом. Но разве не бывали мы при этом свидетелями искусственного вздутия и ужасающего падения литературных репутаций, критических обольщений, увлечений и разочарований?

Так или иначе, но после романа Натали Саррот, думаю, уже не надо будет длинно объяснять: такая-то книга (или спектакль, или фильм) с раздутой, искусственной славой была лакомой приманкой для многих читателей и критиков, но прошло время, и вот уже никто не решится сказать о ней доброго слова... Достаточно произнести: «Это история «Золотых плодов» — и вас мигом поймут.

А если так — значит, автор в своем остром очерке литературного быта подметил и выразил какую-то сторону жизни с убедительной законченностью и рельефностью.

В этом я вижу главное достоинство книги, с которой наш читатель имеет теперь возможность познакомиться в виртуозном по словесному мастерству переводе Рыгы Райт.

В. ЛАКШИН.



ПИСЬМА ТРУДЯЩИХСЯ В. И. ЛЕНИНУ

(1917—1919)

«Ведь это же подлинные человеческие документы! Ведь этого я не услышу ни в одном докладе!» — говорил В. И. Ленин, читая письма трудящихся. В. А. Карпинский, работавший редактором «Бедноты», вспоминал, что для доклада на X съезде партии о замене продразверстки продналогом В. И. Ленин пользовался крестьянскими письмами как материалом. По просьбе Владимира Ильича Карпинский показывал ему наиболее интересные письма, поступавшие в редакцию.

Первую обстоятельную публикацию писем трудящихся В. И. Ленину, подготовленную группой сотрудников Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, напечатал в 1958 году журнал «Дружба народов». Спустя два года в Политиздате вышел сборник «Письма трудящихся к В. И. Ленину. 1917—1924 гг.». Позднее аналогичные сборники вышли в ряде республик и областей. Подборки писем В. И. Ленину были помещены в последние годы во многих газетах и журналах. Но адресованные Владимиру Ильичу письма участников революционных событий и становления первого в мире социалистического государства вновь и вновь обнаруживаются в архивах.

Таких писем тысячи. Многие из них Владимир Ильич читал лично, о чем свидетельствуют его письма, телеграммы, резолюции и записки, а также ссылки на его распоряжения и поручения при переписке по различным вопросам. Было немало и таких писем, которые в той или иной форме нашли отражение в статьях и выступлениях В. И. Ленина.

Мы предлагаем вниманию читателей лишь незначительную часть ленинской почты — некоторые письма, присланные В. И. Ленину в первые послереволюционные годы. Публикуем их в хронологическом порядке, сохраняя стиль подлинников.

В публикацию включены письма, хранящиеся в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ЦПА ИМЛ) и в Центральном государственном архиве Октябрьской революции СССР (ЦГАОР).

Для удобства читателей даты написания писем, независимо от того, где они указаны авторами, вынесены наверх. А в тех случаях, когда автор не проставил дату, указывается число, месяц и год, обозначенные на регистрационном штампе.

Кто они — корреспонденты Ленина? Как сложилась их судьба? О некоторых удалось кое-что узнать (и мы кратко сообщаем об этом), о других пока ничего не известно. Мы будем благодарны читателям, которые сообщат какие-либо сведения об авторах публикуемых писем. Тем более будем рады, если откликнутся сами авторы.

И. Брайнин.

1

13 ноября 1917 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ДЕЛЕГАТОВ С ФРОНТА — ОТ 51 ПЕХОТНОГО ЛИТОВСКОГО ПОЛКА В СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РОССИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Мы, делегаты от 51 пехотного Литовского полка, убедительно просим Совет Народных Комиссаров отдать зависящее от вас распоряжение путем радио о том, чтобы полк до нашего возвращения на место из Петрограда никаких выступлений не делал, а по прибытии в полк мы разъясним создавшееся положение в стране, которое от полка таили все наши организации и комиссар 6 армии, что и заставило нас вынести решение, которое при сем прилагаем¹. А также просим Совет Народных Комиссаров отдать зависящее от вас приказание нашему центральному комитету Румчерод² о том, чтобы он не тормозил лично своим обсуждением действия народного правительства — Совета Народных Комиссаров — и чтобы не таил всех его распоряжений, а равно чтобы

не препятствовал всем частям армии присоединиться к рабочему, крестьянскому и солдатскому правительству, утвержденному 2-м съездом Советов.

Делегаты: С. И. Галко³,
С. Иванов⁴.

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 1, д. 41, л. 7)

¹ О каком приложении идет речь — не ясно. В деле оно не обнаружено.

² Румчород — исполнительный комитет Советов солдатских, матросских, рабочих и крестьянских депутатов румынского фронта, Черноморского флота и Одесского военного округа, созданный на первом фронтовом и окружном съезде Советов в мае 1917 года. Летом и осенью семнадцатого года в Румчороде преобладали представители соглашательских партий, и Октябрьскую социалистическую революцию комитет встретил враждебно. Однако вскоре в результате большевизации частей румынского фронта и Черноморского флота меньшевики, эсеры и анархисты были изолированы, и с декабря 1917 года этот орган стал большевистским.

³ Галко Сергей Иосифович — в 1917 году девятнадцатилетний поручик 51-го пехотного Литовского полка (Центральный государственный военно-исторический архив, ф. 2665, оп. 1, д. 1. Дополнительный список избирателей в Учредительное собрание).

⁴ В списках полка был в то время лишь один Иванов с первым инициалом «С.» — Иванов Сергей Григорьевич, рядовой (ЦГВИА, ф. 2665, оп. 2, д. 115, л. 21 об.). Можно предположить, что он и был вторым автором публикуемого письма.

2

Ноябрь 1917 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ЛЕНИНУ
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ГОРОД ПЕТРОГРАД

Привет товарищу Ленину — стойкому борцу за интересы бедноты, от Никольского комитета большевиков Орловской губернии.

С. Никольское, Философской вол., Орл. губ.
Ст. Змиевка.

По случаю того, что телеграф приветственных телеграмм не принимает, шлем по почте¹.

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 1, д. 74, л. 110)

¹ Написано от руки на телеграфном бланке.

3

6 декабря 1917 г.

ПЕТРОГРАД. СМОЛЬНЫЙ. ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА КОМИССАРОВ
ЛЕНИНУ

Сообщите, как поступить с ценностями разграбленных имений¹.

Острогожский Совет
Председатель П. Крюков².

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 1, д. 74, л. 73)

¹ В тот же день 6(19) декабря 1917 года председателю Острогожского Совета была отправлена следующая телеграмма: «Составить точную опись ценностей, сберечь их в сохранном месте, вы отвечаете за сохранность. Имена — достояние народа. За грабеж привлекайте к суду. Сообщайте приговоры суда нам. Ленин» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 17).

² Крюков Петр Васильевич (род. в 1886 г.) — воронежский рабочий-литейщик, член КПСС с 1915 года. За участие в забастовке П. Крюков был в 1916 году взят в армию и отправлен в 184-й запасный пехотный полк, расквартированный в г. Острогожске Воронежской губернии. П. В. Крюков стал одним из организаторов и руководителей Острогожского комитета РСДРП(б) и исполкома Острогожского Совета рабочих и солдатских депутатов. Был делегатом II Всероссийского съезда Советов. В последующие годы — секретарь губернской контрольной комиссии и секретарь Воронежского губкома

РКП(б). В 1929 году — работник аппарата ЦК партии. На XVI партсъезде был избран членом ЦКК. Затем находился на руководящей партийной работе в Уфе, потом снова в столице. В настоящее время П. В. Крюков живет в Москве.

4

2 сентября 1918 г.

МОСКВА. ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ЛЕНИНУ

Со слезами [на] глазах [с] великим прискорбием разделяю постигшее Вас и весь пролетариат¹ горе². Пушай враги наши и революции помнят, что жизнь героя-борца отнять возможно, но идеи его — нельзя.

Ишутиков³.

г. Севск [Орловской губ.].

(Копия телеграммы)

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 449, л. 104)

¹ В тексте — «всего пролетариата».² Телеграмма отправлена после получения известия о злодейском покушении на В. И. Ленина 30 августа 1918 года.³ Ишутиков Александр Антонович в 1918 году работал в Севском уездном исполкоме, занимая одновременно должности заведующего отделом здравоохранения и отделом социального обеспечения. Он был справедливым, честным, отзывчивым коммунистом. Сообщает редакции секретарь Севского райкома КПСС Брянской области Н. Глухарев. О том же пишет из Смоленска член партии с 1918 года Иван Яковлевич Землянов, лично знавший А. А. Ишутикова.

Сын А. А. Ишутикова — подполковник запаса Ишутиков Михаил Александрович пишет нам из Минска:

«Мой отец родился в 1881 г. в Курской губернии. В 1917 г. на Западном фронте был ранен, а излечившись, прибыл в г. Севск.

В 1919 году при наступлении денкинских войск он сражался в составе особого коммунистического отряда, созданного из коммунистов Севского уезда. Город несколько раз переходил из рук в руки. После окончательного освобождения Севска от белых отец работал в уездном комитете партии, затем в уголовном розыске и в суде. Умер он в 1935 году».

5

5 сентября 1918 г.

ОБОЖАЕМОМУ ВОЖДЮ РАБОЧИХ И ТРУДЯЩИХСЯ ТОВ. В. И. ЛЕНИНУ

Суровая и тяжелая весть о Вашем ранении электричеством пробежала по всем рабочим и трудящимся. Я, совместно со своим семейством, как и громадное большинство рабочих и беднейшего крестьянства, глубоко возмущен подлым актом со стороны наймитов и лакеев своей и иностранной буржуазии по отношению к Вам, скорблю за Вас и выражаю искреннее соболезнование в постигшем Вас несчастье. Я, как искренне сочувствующий Вашим лозунгам, выражаю самое крайнее возмущение подлым фанатикам сделанного преступления, желаю Вам скорейшего выздоровления и возврата на оставленный Вами пост вершителя русской социальной революции.

Почтово-телеграфный работник

21 отделения — В. С. Ольчик

г. Москва.

(Машинописная копия)

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 60, л. 155)

6

9 сентября 1918 г.

Владимир Ильич!

Как больно, как гажело было слышать о том ужасном преступлении, против Вас совершенном. Нашлись люди, которые подняли на Вас руку¹.

Ваши муки — наши боли, и мы чувствуем за собой вину, что допустили до этого, — ведь были уже покушения на тов. Володарского², и мы всё халатничали. Нет, теперь довольно! Отомстим за все жертвы! Мы плакать не будем, мы будем теперь

с Вами и не отойдем от Вас. И чуть занесенную [врагом] руку оторвем вместе с плечом и головой!

Известная Вам Н. Емельянова³,

Привет Надежде Константиновне!

(ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 93, д. 246, л. 22)

¹ В подлиннике — «руки».

² Большевик В. Володарский предательски убит эсерами 20 июня 1918 года.

³ Емельянова, Надежда Кондрагьевна (1878—1961) — старый член партии, в последние годы своей жизни — персональная пенсионерка. Она и ее муж Н. А. Емельянов укрывали В. И. Ленина в Разливе после июльских дней 1917 года.

7

9 сентября 1918 г.

МОСКВА. КРЕМЛЬ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
В. И. УЛЬЯНОВУ-ЛЕНИНУ

Дорогой Владимир Ильич!

Многолюдный митинг рабочих и красноармейцев поручил мне горячо приветствовать Вас и выразить глубочайшую радость по поводу улучшения Вашего здоровья и пожелать Вам скорейшего полного выздоровления.

Когда мировой империализм в предсмертной судороге, когда весь капиталистический мир трепещет перед красным коммунизмом, Вы — его душа и мозг — должны быть снова у руля всемирной социалистической революции. С нетерпением ждем, когда Вы, наш славный и любимейший вождь, возьмете руль нашего славного красного корабля — Советской республики.

Мы здесь, в прифронтовой полосе, клянемся приложить все усилия и раздавить гадов издыхающего капитализма.

Член ВЦИК Полуян¹.

(Телеграфный бланк)

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 449, л. 124)

¹ Полуян Я. В. (1891—1940). — В сентябре 1917 года большевик Ян Полуян возглавил исполком Екатеринодарского Совета рабочих и солдатских депутатов. После Октябрьской революции был председателем Кубанского ревкома и председателем исполкома Кубанского областного Совета, затем председателем Реввоенсовета XI армии. Публикуемая телеграмма отправлена с Северного Кавказа.

8

12 сентября 1918 г.

ГЛУБОКОУВАЖАЕМОМУ ТОВАРИЩУ
ВОЖДЮ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В. И. ЛЕНИНУ

В архиве кн. Волконских, предков декабриста кн. Волконского, обнаружено много исторических документов, среди которых особо важные: 2 подлинника за подписью Робеспьера и Бонапарта, таковые при сем и препровождаются Вам, так как мы затрудняемся решить — в какое из научных учреждений эти документы направить.

Много документов из русской истории переданы местной библиотеке при Коммунистическом клубе, некоторые, чисто семейного характера, оставлены Волконским.

Просим Ваших указаний, не следует ли все документы передать в исторические музеи Петрограда или Москвы.

Пользуясь случаем, выражаем горячее пожелание скорейшего выздоровления для блага республики.

С товарищеским приветом

Товарищ председателя Чрезвычайной Комиссии (подпись).

Секретарь (подпись)¹.

г. Борисоглебск, Тамбовской губ.

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 72, ч. 1, л. 465)

¹ Двадцать пятого сентября 1918 года председателю Борисоглебского отдела ВЧК было послано следующее письмо за подписью управляющего делами Совнаркома В. Д. Вонч-Вруевича:

«Председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ульянов (Ленин) распорядился благодарить Вас за присланные Вами документы Робеспьера младшего и Бонапарта, взятые Вами, как видно из Вашего сообщения, из архива кн. Волконских. Владимир Ильич просит Вас совершенно немедленно и особенно бережно переслать весь этот архив, помещенный Вами при библиотеке местного Коммунистического клуба и в других местах, кроме тех, которые оставлены Вами Волконским, в Управление делами Совета Народных Комиссаров. Мы поместим все эти документы в одном из наших музеев, сделав предварительные описи всего. Предполагаем, что в скором времени все это будем издавать в научных трудах Особой комиссии. Владимир Ильич просил передать Вам свой привет» («История СССР», № 2, 1965, стр. 79).

Тридцать первого октября 1918 года председатель Борисоглебской ЧК писал управляющему делами СНК В. Д. Бонч-Бруевичу:

«При сем Борисоглебская Чрезвычайная Комиссия препровождает Вам заметки декабриста князя Волконского (Сергея), найденные в его доме в гор. Борисоглебске.

ПРИЛОЖЕНИЕ: вышеуказанные заметки на тридцати пяти листах».

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д. 72, ч. 2, л. 206)

9

28 сентября 1918 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ТОВ. ЛЕНИНУ

Наша только что народившаяся ячейка партии коммунистов-большевиков села Непотягово, Гавриловской волости, Суздальского уезда, Владимирской губернии, в первую очередь спешит послать сердечный привет своему учителю и мировому вождю пролетариата тов. В. И. Ленину и с горячим сердцем ждет полного выздоровления, здоровья.

Председатель ячейки Журавлев,
секретарь Баранов¹.

(ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 93, д. 4, л. 24)

¹ Как сообщил редакции секретарь Гаврилово-Посадского райкома КПСС Ивановской области С. Романов, авторов этого письма в живых нет. Созданная же ими партией ячейка превратилась в боевую партийную организацию. Ныне село Непотягово — центр колхоза «Рассвет», объединяющего селения Гостино, Непотягово, Козлово, Калистово. Земляки Журавлева и Баранова с честью выполнили обязательства, взятые к пятидесятилетию советской власти.

10

25 октября 1918 г.

ДОРОГОМУ ВСЕМИРНОМУ ВОЖДЮ ПРОЛЕТАРИАТА ТОВ. ЛЕНИНУ

Заведующий Ефремовским уездным земотделом Д. Гнидков, члены комиссии Г. Едаков и Журин, они же члены Ефремовской партии коммунистов-большевиков, сердечно скорбят о Вашем драгоценном для нас здоровье, шлем проклятье тем злодеям, которые позволили поднять свой меч на Вас. Клянемся честью и революционной совестью, что все злодеи безнаказанны не останутся, и мы, коммунисты партии большевиков, поведем за собою многомиллионную народную армию и все преграды сотрем с лица земли.

Желаем Вам скорого полного выздоровления и посылаем Вам для скорейшего поправления здоровья сливочного масла. Просим принять таковую [посылку] как от своих родных детей.

Зав. зем. отд. Д. Гнидков.
Члены комиссии — Григорий Едаков, Журин¹.

(ЦПА ИМЛ)

¹ На запрос редакции «Нового мира» секретарь Ефремовского горкома КПСС Тульской области С. Ряховский сообщил:

«Найти какие-либо сведения в отношении зав. Ефремовским уездным земотделом Д. Гнидкова и члена комиссии Журина не представляется возможности, т. к. они были в Ефремовском уезде недолго.

В отношении Едакова Григория Акимовича известно следующее. Родился он в 1887 г. в с. Черкассы, Ефремовского уезда, ныне Каменский район, Тульской области (там же проживают его родственники). Вырос он в бедной крестьянской семье. В нача-

ле 1918 г. был избран в Закопский волысполком, а затем в Ефремовский исполком. Здесь начал работу заведующим уездным земельным отделом. В сентябре 1919 г. ему было поручено организовать партизанский отряд, которым он командовал против Деникина. После этого проводил заготовку хлеба и картофеля для Москвы. С этой задачей Григорий Акимович справился, и его переводят на работу заведующим Ефремовским райсовхозом. 27 февраля 1920 г. Едаков Г. А. заболел оспой и умер».

11

19 (6) декабря 1918 г.

Милостивый Государь Владимир Ильич!

Память о Вашем брате Александре, который был моим товарищем в Петербургском университете, позволяет мне написать Вам это письмо.

Я — писатель, еще до войны сошедший со сцены. После кампании, которую я вел в американских газетах в 1915 и начале 1916-го, я возвратился из Америки к себе на хутор Ореховно, Боровенской волости, Валдайского уезда, Новгородской губернии, где с июля 1917 по февраль 1918 был председателем продовольственной управы и волостной земской управы. 1897—99 гг. я провел на Дальнем Востоке, 1900 г. — в Индии, Южной Персии и Месопотамии, 1904 г. — в Маньчжурии. Я знаю хорошо Дальний Восток, Англию и Соединенные Штаты.

Мне 54 года, и ни к какой политической партии я не принадлежу.

Если в нынешнее тяжкое время для моей Родины — Северной России, я могу быть ей чем-либо полезен, я буду рад служить ей, о чем и прошу Вас, Милостивый Государь, сообщить Правительству.

Пользуюсь случаем просить Вас, Милостивый Государь Владимир Ильич, принять уверение в совершенном моем почтении и искренней преданности.

С. Сыромятников¹.

Сергей Николаевич Сыромятников.
Ореховно, ст. Окуловка, Никол. ж. д.

(ЦПА ИМЛ)

¹ Отдельными изданиями вышли следующие книги С. Н. Сыромятникова: «Сага об Эйрике Красном» (1890), сборник рассказов «Оттуда» (1895), «Петербургские негативы» (1900) и «Опыты русской мысли» (1901). Как видно из дела, в связи с публикуемым письмом предполагалось использовать С. Н. Сыромятникова в качестве переводчика. Но работал ли он переводчиком в каком-либо советском учреждении, установить не удалось.

12

30 декабря 1918 г.

ТОВАРИЩУ ЛЕНИНУ

Глубокоуважаемый товарищ!

Прилагая при этом проспект журнала «Творчество», который, надеюсь, Вы одобрите, как одобрил его наш центральный орган, горячо прошу Вас не отказать написать несколько строк для новогоднего номера. Этим Вы окажете «Творчеству» сильную поддержку и вдохновите меня к энергичной работе. Проспект принят редакцией единогласно, главным образом потому, что он связывает журнал с жизнью, от которой он был совершенно оторван. Со времени напечатания проспекта уже сотни подписались на журнал; Ваше участие даст нам десятки тысяч подписчиков, а главное, устойчивость и определенность направления, которого мы будем твердо держаться.

Очень надеюсь на Ваше согласие. Ваша статья даст нам и новый состав сотрудников. Не откажите, товарищ!

С коммунистическим приветом К. Злинченко,
заведующий редакцией¹.

2-й Дом Советов, № 519 (Метрополь).
(Фотокопия)

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д. 131, л. 3—4)

¹ Злинченко К. П. (1870—1947) — в 1904 году входил в Одесскую социал-демократическую организацию, стоял на большевистских позициях. В конце 1905 года эмигрировал в Швейцарию и вступил в Швейцарскую социалистическую партию. В эми-

грации организовал Международный комитет помощи безработным рабочим России (при участии А. М. Горького). После Октябрьской революции вернулся в Россию, в 1917 году вступил в Коммунистическую партию. Работал в бюро печати при Совнаркоме, в РОСТА, в Музее революции, в Истпарте.

В проспекте журнала «Творчество», о котором упоминает автор письма, в частности, говорится:

«Редакция журнала приложит все усилия к тому, чтобы каждый рабочий и крестьянин-бедняк и красноармеец социальной революции убедились, что «Творчество» — это журнал трудящихся, и что он должен стать необходимым для чтения в часы досуга после тяжелой борьбы за свободу и жизнь.

Редакция просит пишущих товарищей рабочих и крестьян поддержать издание своим сотрудничеством. Редакция ставит своей целью, чтобы журнал велся силами писателей из рабочих и крестьян.

Очевидно, В. И. Ленин не имел возможности написать тех «нескольких строк», о которых просил автор письма. Однако, как свидетельствует А. С. Серафимович, редактировавший «Творчество», Владимир Ильич интересовался тем, что печатается в этом журнале.

«В начале Великой Октябрьской социалистической революции, — писал в своих воспоминаниях А. С. Серафимович, — я с группой товарищей организовал литературно-художественный журнал «Творчество». Владимир Ильич опять (до этого А. С. Серафимович писал о большом внимании В. И. Ленина к консолидации сил революционно настроенных писателей. — *И. Б.*) внимательно следил за жизнью журнала, за всем тем, что в нем появлялось. В общем он хорошо относился к журналу» (А. С. С е р а ф и м о в и ч. Сборник неопубликованных произведений и материалов. М. 1958, стр. 427).

13

Январь 1919 г.

Мое обращение к Вам, т. Ленин, как к главе Рабоче-Крестьянского правительства и великому борцу за права людей, может быть, есть дерзкий и недостойный поступок; но я, как социалист истинного равенства и братства всего человечества, не могу молчать.

От 4 января с. г. в «Известиях» ВЦИК за № 3 (555) помещена статья «В Совете Народных Комиссаров»¹, где сказано: «Вопрос был посвящен исключительно финансам». Видя слишком трудное положение в этой отрасли народного хозяйства, я прошу обратить самое серьезное внимание Советской власти. В финансовом и продовольственном вопросах заключается вся трагедия настоящего положения, а эти два вопроса неразрывно связаны. Тяжелое финансовое положение России можно было предвидеть еще в 1917 году, когда все рабочие и служащие требовали прибавок, т. е. улучшения экономического положения, а в это время буржуазия взвинчивала фантастические цены на все продукты производства, стараясь набить свои карманы как можно туже. С течением жизни все незаметно ухудшалось и дошло до полной невозможности жизни при старых условиях.

Рабоче-крестьянское правительство при помощи всех сознательных должно найти средства исправления всех жизненных недостатков.

Если здраво смотреть на жизнь, то зачем людям эти дьявольские деньги, когда вся жизнь заключается в питании, одежде и жилище, а потом уже все остальное.

Я, как сын бедного крестьянина, вижу прекрасно, что без этого буржуазного остатка, презренного металла или бумаги — денег, вполне может счастливо жить рабочий и крестьянин; но для буржуа и спекулянта это будет последний смертельный удар, который кончит их праздную жизнь. «Нетрудящийся да не ест».

Так пусть же Советская Россия, как первая социалистическая республика, возьмет на себя начало уничтожения этого великого всемирного зла — денег, заменив их натурой для каждого человека труда известной нормы. Провести это в жизнь, думаю, можно.

Улучшить же продовольственное положение можно, только хорошенько исследовавши, в чем заключается вся трудность снабжения (мне по России не приходится ездить, — по этому вопросу не могу ничего высказать), но думаю, что крестьянин сам привезет свое производство, только нужно ему выяснить истинное положение, т. е. нужно, чтобы он знал, что есть Советская власть и Россия, очистить его ум от лжи,

которой он загрязнен (конечно, я говорю про несознательного крестьянина, который, как говорят, закапывает [продукты] в землю, но не идет на помощь Советской власти).

Почтово-телеграфный работник
Московского главного почтамта
Иосиф А. Супрун².

Гор. Москва.

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д. 131, л. 362)

¹ «В Совете Народных Комиссаров» — под таким заголовком в «Известиях» 4 января 1919 года напечатан отчет о заседании Совнаркома, состоявшемся 30 декабря 1918 года. В нем говорится, что заседание «было посвящено вопросу об общефинансовой и экономической политике Рабоче-Крестьянского правительства». «По мнению докладчика, — писал автор отчета, — от отсутствия твердого бюджета выгадывают прежде всего спекулянты, так как безмерный выпуск бумажных денег при наличности твердых цен открывает широкое поле для всякого рода спекуляции». Видимо, эта фраза и дала И. Супруну повод для предложения, высказанного в письме к В. И. Ленину. Автор письма не знал тогда таких слов Владимира Ильича: «При переходе от капиталистического общества к социалистическому обойтись без денежных знаков или заменить их в короткий промежуток времени новыми — представляется вещь совершенно невозможной» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 134). Эти слова были продиктованы Лениным в марте 1918 года, но впервые опубликованы лишь в 1962 году.

² В Центральном государственном архиве народного хозяйства СССР удалось найти личное дело Иосифа Алексеевича Супруна. Оно позволяет дать краткую справку. В 1912 году восемнадцатилетний юноша Иосиф Супрун приехал из белорусского села Гулевичи в Москву. Здесь он, как написано в его автобиографии, «работал в разных местах и на разных работах, временных и поденных». Потом окончил курсы почтовых работников и был принят на почтамт. В 1918 году служил в Красной Армии, затем снова возвратился на почту. Почти десять лет (с двумя перерывами) учился в Московском высшем техническом училище. Работал инженером-технологом сначала в пищевой промышленности, а с 1939 года — в авиационной. В годы войны возглавлял на фронте бригаду, ремонтировавшую авиатехнику 17-й воздушной армии. В 1944 году вступил в партию. Умер И. А. Супрун в 1950 году.

14

12 февраля 1919 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ТОВ. ЛЕНИНУ

проживающего в селе Азееве, Елатомского уезда,
Тамбовск. губ., гражд. Михаила Митрофановича
Федосеева.

В октябре 1918 г. у меня в гор. Елатье, по распоряжению из Сасова, национализирована типография, увезена в Сасово, поставлена в сарай под навес, где и стояла до января 1919 г. (а может быть, стоит и сейчас).

Я, работавший сам в типографии исключительно на нужды Советской власти, без указанного законом предупреждения был устранен от работы и поставлен в положение безработного, а со мной и работавшие в типографии 2 ученицы и переплетчица.

Постановлением уездного исполкома, национализировавшего типографию, от 6 февраля с. г. за № 455 мне отказано как в уплате за типографию, так и в вознаграждении за устранение от работы без предупреждения меня, 2 учениц и переплетчицы.

Я — не буржуй: 27 лет служил то делопроизводителем и секретарем, то учителем пения, то бухгалтером; жена служила акушеркой на железной дороге.

На скопленные годами и часто ценой лишений гроши я и купил (в долг) старую разбитую машину, которую привел в порядок и работал сам, будучи и корректором, и метранпажем, и наборщиком.

Нет у меня ни капиталов, ни недвижностей. В машине заключалось все, что было скоплено долгими годами.

И вот теперь я у разбитого корыта.

А типография стоит в Сасове в сарае, ржавеет и бездействует.

Уездный город Елатьма с 12-ю, если не более, учреждениями по воле села Сасова оставлен без типографии, и заказы посылаются в города других уездов.

Между тем как в Сасове типография уже имеется, почти новая и по размерам пригодная для больших заказов.

И вот в дни интенсивного труда стоит без дела 3—4 месяца целая типография.

При наличности Конституции и законов, охраняющих быт и благополучие рабочего класса,—четверо рабочих выбрасываются за борт без всякого предупреждения.

Трудами нажитое имущество отбирается у рабочего бесплатно.

Выброшенным за борт труженникам отказывается в вознаграждении за оставление без работы.

Вижу в этом большую несправедливость и прошу Вас, тов. Председатель, обратиться на это внимание и оказать содействие¹.

Село Азеево, Елатомского уезда,
Тамбовской губернии.

Гражданин М. Федосеев.
(ЦПА ИМЛ)

¹ Восемнадцатого февраля 1919 года Елатомскому уездному исполкому была отправлена телеграмма следующего содержания:

«Михаил Митрофанович Федосеев из Азеева жалуется, что вы национализировали его типографию, отказав 6 февраля за № 455 и в уплате за типографию, и в вознаграждении за устранение от работы его двух учениц и переплетчицы. Сообщите немедленно, верны ли эти факты, верно ли, что типография стоит в Сасове в сарае и бездействует? Прошу обсудить, нельзя ли Федосеева поставить к типографской работе или предоставить ему создать товарищество рабочих и передать ему подконтрольное ведение бывшей его типографии при полном подчинении Совдепу. Предсовнаркома Ленин» (В. И. Ленин и н. Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 257).

В ответ на эту телеграмму председатель Елатомского уисполкома П. Горбунов в тот же день сообщил, что типографию Федосеева исполком намеревается объединить с другой национализированной типографией (Мещерякова) и в этой типографии предоставить работу Федосееву и Мещерякову, как специалистам (Т а м ж е, стр. 471).

15

19 февраля 1919 г.

Дорогой Владимир Ильич!

Как Ваше здоровье?

Мы очень бы хотели Вас видеть, хотя я один раз Вас видела, но мои сестры Вас не видели. Вы мне очень понравились, и мне очень понравилось, как Вы говорите речи. Вы тогда говорили в Лефортове¹.

Мы эвакуированные с Украины, из г. Одессы. Поклон от нас Вашей жене. Кланяются Вам все наши малыши — Тамара, Надя и Таня. Мы бы очень хотели, чтобы Вы нам ответили хоть 2 слова. Наш адрес: село Богородское, Лесной проезд, № 10, кв. 4. Пишите на наше имя — или на Валентину Черкунову, или на Антонину Левицкую-Лознецкую.

Мы скоро уже уедем опять на свою Украину, только не в Одессу, а в Харьков. Нинин папа уже уехал в Харьков. Мы и из Харькова Вам тоже будем писать. Мы напишем Вам, как мы доехали в Харьков.

До свидания

Нина и Валя.

Дети. Вале — 12 лет, а Нине — 8 лет².

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д. 131, лл. 449, 450)

¹ Девятнадцатого июля 1918 года В. И. Ленин выступил на митинге трудящихся Лефортовского района с речью на тему: «Текущий момент и международное положение» (В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 728). Видимо, это выступление Владимира Ильича и слушала Валя.

² Письмо написано фиолетовыми чернилами на двух маленьких листках линованной бумаги. На обороте второго листка нарисованы два флага, раскрашенные красным карандашом. На одном написано: «Да здравствует Ленин», на другом — «Да здравствует Владимир Ильич Ленин».

16

19 апреля 1919 г.

МОСКВА. ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЛЕНИНУ

Плачевный вопль моих родителей, оставшихся к пасхе раздетыми и разутыми, плач и волнение любящего моего отца, [просьбы] народа приговорами и лично вернуть беспричинно отобранное имущество только у одних моих родителей заставили и меня просить комиссара села Лазинки, Мосальского уезда, Калужской губернии, Синицына, оскорблявшего на сходе моего отца, вернуть имущество, хотя часть, необходимую к празднику, хранимое от пожара у гражданина, о чем к Вам родители обращались. Синицын отказал. Носятся беспричинные угрозы отцу. Потому всепочтительнейше прошу Вашего распоряжения о возвращении имущества моим беспричинно обиженным родителям. Ожидая Вашего милостивейшего ответа в телеграфе Спас-Деменска, Мосальского уезда, Калужской губернии.

Народный учитель Бурыкин¹.

(Телеграфный бланк)

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д. 499, л. 49)

¹ Десятнадцатого апреля 1919 года на имя учителя Бурыкина в Спас-Деменск была послана такая телеграмма: «Спас-Деменск, учителю Бурыкину. По делу Вашего отца мною назначено расследование. Председатель Совнаркома Ленин» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 495—496). Одновременно в Калужский губисполком, с копией Мосальскому уисполкому, была отправлена следующая телеграмма: «Немедленно произвести расследование о причинах отнятия имущества родителей народного учителя Бурыкина в Спас-Деменске Мосальского уезда. Расследовать действия комиссара Синицына села Лазинки. О результатах донести лично мне. Председатель Совнаркома Ленин» (Там же, стр. 382).

Двадцать третьего апреля председатель Калужского губисполкома доложил В. И. Ленину, что для расследования действий комиссара Синицына на место послан инструктор-ревизор (ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д. 499, л. 53).

17

10 мая 1919 г.

Глубокоуважаемый товарищ Преднарком!

В свое время привлекло к себе всеобщее внимание Ваше положение: «Социализм — это учет»¹. Я позволю себе теперь на него сослаться.

Действительно, представление о социалистическом обществе тесно связано с представлением об образцовом учете. Отчетность центрального органа, обнимая громадное количество отдельных оборотов, в то же время должна отвечать наивысшим требованиям в смысле точности, легкой обозреваемости, быстроты функционирования аппарата бухгалтерии. Между тем известно, что современная бухгалтерия при увеличении оборотов плохо справляется со своими заданиями. Ее аппарат становится громоздким и мало подвижным. Он требует не только много труда, но, главное, много времени для того, чтобы проверить правильность записей путем сводки, чтобы дать общую картину дела.

Проверка путем бухгалтерии, будучи отодвинута во времени, чрезвычайно теряет в своих качествах, но еще в большей мере это относится к отчетности, как к своего рода компасу, необходимому для руководства делом. Как компас был бы непригоден для управления, если бы указывал направление корабля в давно прошедшем времени, так и тут запаздывание выводов отчетности сильно отражалось бы на возможности управления, даже, быть может, вообще поставило бы под сомнение экономический эффект той системы хозяйства, которую Вы охарактеризовали как учет.

Невероятная громоздкость и неповоротливость аппарата бухгалтерии, неизбежные при громадном количестве оборотов, ложились бы тяжелым гнетом как на производящие, так и на потребляющие ячейки, не говоря уже о том чрезвычайно большом контингенте обученных работников, которые должны быть заняты в этой отрасли труда.

Здесь, в области конторского труда, должна быть произведена революция. Эту революцию совершит машина, как это произошло в свое время в других отраслях труда, ушедших вперед по пути механизации.

Канторский труд должен быть механизирован. Кантора — «ремесленное заведение», каким она является в настоящее время, должна уступить место конторе-«фабрике».

Я боюсь утомить Ваше внимание доказательствами того, что переворот в этой области уже назрел, и не буду указывать на ту — по моему мнению, весьма значительную — часть канторского труда, которая могла бы быть механизирована, и тем более на необходимые для этого машины и их конструкцию.

Отмечу лишь, что при конторе-фабрике с рядом машин, обслуживание которых мало разнилось бы от работы при каких-либо машинах обрабатывающей промышленности, были бы стерты последние грани между рабочим и пролетарием канторки — служащим.

Если бы Вы согласились со мной, что необходимо поставить в ближайшую очередь разработку вопроса о механизации канторского труда, я мог бы представить свои дополнительные соображения.

К. А. Даллас².

Мой адрес: Москва, Оружейный переулок, 39-а, кв. 20.

Тел. 5-44-90 или 3-38-74.

Константин Аристидович Даллас.

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д. 132, лл. 77—78)

¹ «Социализм — это учет. Если вы хотите взять на учет каждый кусок железа и ткани, то это и будет социализм», — говорил В. И. Ленин в речи на заседании Петроградского Совета 4(17) ноября 1917 года (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 63). Впервые опубликовано в «Правде» 18(5) ноября 1917 года.

² К письму приложена служебная записка следующего содержания: «Вх. № 8556 — от К. А. Даллас — соображение по вопросу о механизации канторского труда. В Ком[иссарнат] труда.

Секретарь:

13.V.19 г.»

10 мая 1919 г.

Красноармеец 10-го кавалерийского полка 3-й кавалерийской дивизии Михаил Пронкин.
Село Екатериновка, Самарского уезда.

Дорогой наш товарищ Ленин!

Прошу Вас, не считайте за дерзость меня к Вам, я решился осмелиться — написать несколько слов Вам, так как Вы истинный наш защитник трудового народа от наших угнетателей, которые крепко присосавши как уязвительные пьавы и много лет сот высасывали нашу рабочую, дорогую для нас кровь.

Дорогой наш освободитель товарищ Ленин, я казак-красноармеец Донской области, шлю Вам, дорогой вождь наш, товарищ Ленин, сердечный от души привет!

Дорогой наш вождь товарищ Ленин! Я имел счастье съездить на родину в отпуск, в Донскую область, в Усть-Медведский округ, где я провел с 17 апреля по 28 апреля праздничные дни пасхи. Я удивляюсь: почему-то еще наши седобородые старики казаки не могут опомниться до сего времени, верят в буржуазные и поповские сказки. Совершенно им буржуазия затмила их глаза. Буржуазия запугивает несознательных стариков, вот что говорит молодым казакам: «Вы присоединились к большевикам и им помогаете в войне, но большевики скоро, скоро нас будут выселять в Сибирь».

Я не понимаю, почему там так хладнокровно смотрят советские работники — Председатели и почему там не стараются, в глухих хуторах не делают митинги и почему там не дают газету, хотя бы одну в две недели.

Я перед тем как ехать в отпуск, я с собой захватил несколько газет в 4-й армии Восточного фронта, в штабе, в гор. Самаре. Но я прибыл 18 апреля в станцию Арчедлинскую, — народ весь был на работе. Я дождался праздников. На первый [день] я

пошел на хутора, взял с собой газеты. Только заявился на хутора, увидели у меня газеты, бросились ко мне и в миг у меня расхватили газеты. Мне это не верилось, чтобы они так были заинтересованы большевистскими газетами. Я заинтересовался зайти в избу — посмотреть, что они делают с моими газетами. Я увидел: все сидят тихо, как один, около 12 человек. Один читает эту газету. Когда я стал уходить, то мне не дают ходу, кричат: «Товариш, эй, дай, пожалуйста, и нам газету». У меня газета «Правда» московская, они не берут. «Ты нам давай маленькую газету — «Бедноту», так как у нас таких нету. Она очень понятливая и большими буквами напечатана». И все остались довольны.

Дорогой наш товарищ Ленин! В такие глухие места нужно бы, хотя очень редко, посылать газеты, особенно — московскую «Бедноту». Она понятлива. Да не мешало петроградского или московского рабочего сознательного послать туда — открыть им темноту.

Донской казак-красноармеец М. Пронкин¹.

(ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 82, д. 15, ч. 1, л. 156. Публикуется с сокращением)

¹ К письму приложена такая записка:

«Вх. 9034.

Пронкин, казак-красноармеец, указывает, что местное население против большевиков, т. к. там совершенно не пропагандируется Советская власть.

В ЦК партии — к сведению.

20/V-19 г.

Секретарь: (подпись)».

(ЦГАОР СССР, ф. 1235, оп. 82, д. 15, ч. 1, л. 155)

19

17 мая 1919 г.

Письмо многоуважаемому товарищу Ленину от крестьянина Самарской губернии, Бузулукского уезда, Алексеевской волости, деревни Антоновки.

Многоуважаемый товарищ Ленин!

Только что вернулся из отпуска. Когда приехал в Самарскую губернию, попавши мне первая деревня, — я захожу в первую избушку и начинаю спрашивать: «Ну, как вам нравится Советская власть?» А мне отвечает 70-летний старик: «Дорогой товарищ, я старик, но помру за Советскую власть вместе со своими сыновьями». Я спрашиваю: «Почему Вы так любите Советскую власть?» А мне отвечает: «Когда были здесь чехословаки, они взяли мою молоденькую девочку и повели. А я сказал: «Безбожники Христа предатели!» Они меня начали драть плетками. А сынок вступился. Они его увели и расстреляли. Вот почему нам нужна Советская власть — это наше есть спасение от палачей, угнетателей».

Потом пошел дальше. Встречаю молодого человека, спрашиваю: «Скажите, товарищ, ну как с вами поступает ваш Совет?» Он мне говорит: «Очень хорошо, и будем стоять за Советскую власть до последней капли крови. Не дадим из рук нашу завоеванную революцию».

Потом захожу в Совет, спрашиваю: «Товарищи здесь?» Что мне отвечает сельский Совет? Они спрашивают меня, откуда я. Отвечаю: «Из Москвы» — «Скажите, товарищ, кажется, нашего вождя ранили?» Я отвечаю: «Да, ранили». Они говорят: «Вот палачи! Что делают! Хотят нас забрать опять в свои руки». И говорят: «Всем хорошо, но одним плохо: нет у нас хороших коммунистов».

Когда собрали собрание, я начал приветствовать от имени Вас, товарищ Ленин. Крестьяне говорят: «Мы должны отдать все, что у нас есть, нашей молодой республике, и мы клянемся — станем на защиту все, как один человек, — помрем за свободу».

Потом говорят: «Нет у нас коммунистов, оставайся у нас, мы бы были рады Вами». Я говорю: «Мне нельзя».

Вот, дорогой товарищ Ленин, какое настроение крестьян.

Дорогой товарищ Ленин, прошу Вас откомандировать меня как коммуниста. Хочу работать, помочь.

Крестьяне просят Вас присылать чаще литературу.

Служащий 1-х Московских пулеметных курсов Мирон Плетнев.
Самарская губерния — Москва, Кремль¹.

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д. 168, л. 96. Публикуется с сокращением)

¹ Рядом с этим письмом в деле такая служебная записка:

«От М. Плетнева. Извещая о сочувствии местных крестьян Советской власти, просит откомандировать его туда для дальнейшей агитации, так как в коммунистах ощущается нехватка.

17/V-19 г. Секретарь».

На запрос редакции о Мироне Плетневе инструктор Алексеевского райкома КПСС Куйбышевской области В. Новиков сообщил адрес москвича А. А. Калаева, который знал семью Плетнева. А вскоре удалось найти и документы, характеризующие автора письма.

Когда двадцатипятилетний Мирон Плетнев писал В. И. Ленину свой «отчет об отпуске», он работал помощником заведующего вещевым довольствием 1-х Московских пулеметных курсов (до первой мировой войны он батрачил у помещика, потом служил в армии, а после февральской революции стал красногвардейцем).

Желание Плетнева работать в деревне осуществилось через пять лет: в 1924 году Московский областной комитет партии направил его в Серпуховский район, и три года он был секретарем Семеновского волостного Совета. С конца двадцатых годов М. В. Плетнев — аппаратчик на Дорогомиловском химическом заводе. А когда началась коллективизация, он в числе двадцатипяти тысячников — передовых рабочих «с достаточным организационно-политическим опытом», как говорилось о них в решении Пленума ЦК ВКП(б), — был направлен в деревню и в течение трех лет работал инструктором райколхозсоюза Дмитровского района, Московской области. Затем снова трудился на заводе и на железной дороге. В годы войны был бойцом МПВО, а последние десять лет работал в органах милиции. Умер М. В. Плетнев в 1958 году.

20

3-й стрелковый интернациональный полк.
г. Н. Новгород. Мая месяца, 18 дня 1919 г.

В УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ТОВ. ЛЕНИНУ

Ввиду того, что 12 мая с. г. мы получили ответ на наше письмо, в котором Вы предлагаете нам, чтобы мы изложили все, что имели бы передать тов. Ленину, уведомляю Вас то, что мы написали Вам письмо 12 числа сего мая, в котором изложили то, что имели бы передать тов. Ленину. Но мы написали, что и как и в чем дело, как написали Вам.

Мы хотели бы попросить тов. Ленина, чтобы тов. Ленин указал бы нам возможность для того, чтобы мы могли бы уехать за границу, в Румынию, для того, чтобы там организовать интернациональную Красную Армию для борьбы с контрреволюционерами. Так как мы можем говорить на румынском, на немецком, на венгерском и на русском языке, мы сумели бы больше пользы принести с тем, чем с винтовкой. Потому что нас двое (2) и, если мы пойдем с винтовкой, тогда нас будет только двое (2). А если пойдем для того, чтобы организовать интер[национальную] Красную Армию, тогда нас будет в скором времени несколько сот тысяч, потому что мы знакомы с людьми там и знаем все места у них, чего и где что имеется.

С этим конечно все наше изложение. Теперь просим тов. Ленина рассудить наш вопрос и просим ответ, чтобы мы знали, в чем и как кончено.

Не имеем чего писать больше.

Поздравляем всех наших товарищей, которые работают в пользу коммунистической идеи.

Желаем всего хорошего всем нашим товарищам.

Прошу читателя разобрать получше, потому что плохо написано, так как я еще не совсем знакомый с русской грамматикой.

Прощайте, дорогие товарищи.

Пока до свидания.

Балог Франц.

Георгий Хоссу¹.

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д. 168, л. 105)

¹ Тридцатого апреля 1919 года Балог и Хоссу писали В. И. Ленину:

«Мы коммунисты-интернационалисты Балог Франц и Хоссу Георгий желаем с Вами поговорить [на] политические и самые важнейшие и секретные вопросы, [о] которых мы можем только налицо переговорить, иначе не можем, потому что не надеемся ни на кого, только лишь на Вас...» (ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д. 168, лл. 8—10).

Восьмого мая Балог и Хоссу из Управления делами Совнаркома был отправлен ответ, в котором им предлагалось в письменном виде изложить то, что они хотели сказать Ленину (Там же, л. 43). Получив такое предложение, Балог и Хоссу тотчас (12 мая) отправили в Москву подробное письмо. А через шесть дней — 18 мая — они в письме к В. И. Ленину вновь излагают суть своей просьбы. 26 мая Управление делами СНК уведомило Валого и Хоссу, что их первое письмо (очевидно, имеется в виду письмо от 12 мая) направлено в Комиссариат по иностранным делам (Там же, л. 114). Однако ни в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, ни в архиве Министерства иностранных дел каких-либо дополнительных документов по этому делу найти не удалось.

21

20 мая 1919 г.

Милый и дорогой товарищ В. И. Ленин!

Будьте так добры — мобилируйте мальчиков, родившихся в 1904 г. Мне так хочется защищать Советскую власть, но самовольно уйти я не могу из дома, потому что родители не пускают. Так вот, прошу Вас — мобилируйте мой год. Если не можете этого сделать по всей России, то хотя только в моем уезде. Я живу в Ливенском уезде, Орловской губ.

Любящий вас до глубины сердца Ваня Иванов.

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д. 168, л. 110)

22

13 июня 1919 г.

Дорогой товарищ Ленин!

Вы, может, прочтете мое письмо, хотя я и знаю, что теперь, когда Республика накануне победы или поражения, Вы заняты круглые сутки. Все же пишу Вам, как старшему хорошему товарищу, которому все мы верим и доверяем.

Теперь я стрелок 1 роты Псковского коммунистического батальона, месяц назад — товарищ председателя Псковского губсовета профсоюзов, три года назад — кончающий гимназист на полном родительском довольствии. Но сие не суть важно. Надо к делу.

Во Пскове в начале мая началась мобилизация на Колчака коммунистов волостей и членов профсоюзов. Последняя не закончилась по сие время. Но благодаря измене комбрига Ритта нас спешно сформировали и бросили почти что с одними кулаками на Псковский фронт...

Через неделю после утомительных переходов, голода, холодных почей батальон чувствовал на своей шее, как штаб 10 дивизии три раза бросал нас между Порховом и Карамышевом, разгружая и выгружая без толку. Перед нашими глазами проходили части 89 и 88 стрелк. полков — свежих, необстрелянных, которые после такой прогонки падали духом и разбегались после первых выстрелов. В штабе шла глухая борьба между коммунистами и черносотенными специалистами.

Наконец, мы попали на передовые линии. Перед батальоном стояла почетная задача: при поддержке броневика взять Псков. И мы были уже в 3-х верстах, обстреливали город, но отошли, ибо были одни: другие части нас не поддержали. Началось отступление. Мы видели роты 89 и 88 полков, командиры коих бежали к врагу, мы ловили белых из этих же полков, мы отступали шаг за шагом, среди населения, в половине ожидавшего прихода беленьких, и, наконец, стали. 10 июня два взвода

(ок. 50 человек) остановили наступление противника, увлекли за собой другие части, отбросили белых за 8 верст, захватив пулеметы и пленных.

Сейчас мы отдыхаем. Белые нас стали бояться и не лезут. Мы духом не пали. Мы победим. Но мы видим кругом измену. И измену в штабе, скрытый, тонкий, но верный саботаж. Это не паника, товарищ Ленин, мы говорим это спокойно и взвесив все. Мы хотим победить, но если жертвовать жизнью -- так за дело, а не за тем, чтобы только обессилить и так поредевшие ряды пролетариата.

Нам в центре, в штабдиве нужна коренная чистка, нужен зоркий глаз, меч рабочего архангела, а его нет.

От нас убирают тов. Фабрициуса, человека почти единственного, которому мы смело можем верить свою жизнь. Его обвиняют в национализме, в придирчивости к командному составу, в сношениях с белыми даже, да и черт знает, в чем его не обвиняют. От имени всего батальона могу сказать, что все это ложь.

Тов. Ленин, оставьте нам Фабрициуса. Только тогда мы сможем спокойно держать винтовку в руке, только тогда мы будем знать, что отдаем жизнь действительно за мировую революцию.

Тов. Фабрициус все время боролся с саботажем, все время отстаивал наши интересы, интересы пролетарской революции, и мы за него можем поручиться головой.

Товарищ Ленин, это не я один так думаю — так думает весь батальон, в этом Вы убедитесь вскоре.

В заключение прошу Вас, как Пред. Сов. Обороны, назначить кого-либо к нам в дивизию, чтобы произвести основательную чистку команд. состава и реабилитировать тов. Фабрициуса.

Крепко жму Вам руку.

Влад. Лаврентьев¹.

(10 стр. дивизия. Псков. Особый
Коммун. батальон, 2 взвод)

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д. 168, лл. 156—159. Публикуется с сокращением)

¹ Автор нескольких книг о Яне Фабрициусе Н. Д. Кондратьев писал о положении под Псковом весной 1919 года: «Вражеская разведка засылала своих агентов в формируемые эстонские части. Так, начальником эстонской стрелковой дивизии при помощи предателей, засевших в 7-й армии, устроился шпион Ритт» (Н. Д. Кондратьев. Ян Фабрициус. Воениздат. М. 1957, стр. 174). По поводу упоминаемых в письме Лаврентьева двух свежих стрелковых полков Н. Д. Кондратьев пишет: «... 88-й и 89-й резервные стрелковые полки подошли лишь 1 июня, но в бой введены не были» (Там же, стр. 182). 10 июня Фабрициус написал Председателю Совета Обороны В. И. Ленину доклад, в котором рассказал о причинах падения Пскова, о разложении частей и изменниках. Неприемимый Фабрициус (он был в то время комиссаром 10-й стрелковой дивизии) оказался негоден некоторым старшим начальникам и был отстранен от должности. Именно в связи с этим Лаврентьев и написал свое письмо В. И. Ленину. Вскоре Фабрициуса вызвали в Москву, сняли с него все необоснованные обвинения и назначили на новую должность. Он участвовал в боях против Деникина и белополяков, а затем вместе с делегатами X съезда партии — в подавлении Кронштадтского мятежа. Он был награжден четырьмя орденами Красного Знамени и почетным оружием. В «Истории гражданской войны в СССР» Ян Фрицевич Фабрициус назван вместе с Фрунзе, Блюхером, Тухачевским и другими в числе выдающихся военных руководителей, которые выросли и закалились в боях с интервентами и белогвардейцами («История гражданской войны в СССР», т. 5. М. 1960, стр. 376).

17 июня 1919 г.

Здравствуйте, товарищ Ленин!

Приветствуем Вас, как вождя всего пролетариата, и нас, юных коммунаров.

Товарищ Ленин, приголубив нас, будьте уверены, что мы отблагодарим и оправдаем Ваши надежды, как коммунисты, тем, что бесповоротно пойдем по Вашему пути к идеалу.

Товарищ Ленин! Еще раз приветствуем, как создателя хорошей жизни и детских домов. Мы на себе узнали, как худо ходить босым и голодным по улицам.

Товарищ Ленин, будьте уверены, что мы эту ошибку поправим, учиненную богачами, и не допустим, чтобы у нас ходили голодные и оборванные товарищи.

Приветствуют Вас юные коммунары коммуны Вашего имени:

Валентина Гузеева	Н. Байкова
Зоя Вендт	А. Козачков
Лида Федорова	И. Дунаевский
М. Ксюнина	В. Проскурнева
Акулина Трофимова	Г. Яковлев
Мария Вендт	П. Резников
Н. Богданова	П. Мацков
В. Малоглазов	Ксюнин Е.
И. Проскурнев	М. Сорокин
Т. Барбашова	В. Дунаевский.

г. Белый, Смоленской губернии¹.

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д. 132, л. 347)

¹ Письмо написано на листке, вырванном из ученической тетради в линейку. Не всем ребятам хватило места расписаться на лицевой стороне листа, и потому шестеро поставили свои подписи на обороте.

Сведения о некоторых авторах этого письма нам помогли добыть заведующая орготделом Бельского райкома партии Калининской области С. А. Кральковская и старожилы города Белого В. К. Ильина, Н. Я. Спицина и А. И. Дунаевская. А вскоре удалось встретиться с одной из коммунарок, которая в числе других подписала письмо к В. И. Ленину.— Зоей Рудольфовной Биржевой (Вендт). Она проживает на станции Шереметьевской, под Москвой.

Однако известно пока немного. В 1924 году наймитом кулаков убит Володя Дунаевский. Он работал тогда в Бельском райкоме комсомола и погиб на боевом посту (во время дежурства в отряде ЧОН). Его брат — Игнат Дунаевский в первые дни Отечественной войны ушел на фронт, и с тех пор никаких сведений о нем нет. Когда Зоя Вендт подписывала это письмо, ей было двенадцать лет. Еще четыре года она была в коммуне воспитанницей, а потом тут же работала захозом. Затем переехала в Москву, окончила курсы дошкольных работников и двадцать два года работала воспитательницей в детских садах. Сейчас она на пенсии. Ее сестра Мария (также одна из авторов письма В. И. Ленину) умерла в 1931 году. Последнее время она работала бухгалтером.

Председатель исполкома Автозаводского района городе Горького Л. В. Соколов сообщил редакции, что его мать (ее подпись под публикуемым письмом — Акулина Трофимова) была учительницей начальных классов, а последние годы жизни — на счетной работе. Она умерла в 1958 году.

24

4 июля 1919 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ТОВ. ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ ЛЕНИНУ

Я, красноармеец 11 инженерного батальона, прожекторной роты Федор Штурмин, по ранению был отправлен в г. Псков, 907 госпиталь 28 апреля и после выздоровления был назначен в свою часть в г. Казань, где части не оказалось, и я приехал в Нижний Новгород и назначен был во 2-й инженерный батальон. И за время моей болезни жалованья я не получал. И в части мне не дают по аттестатам. Отвечают: «Мы не можем дать. Это нужно в своей части».

Где же могу я найти свою часть? Если мы, каждый красноармеец будет искать часть, как отвечает Ниже-Городский уездный комиссариат, тогда у нас много таких найдется, которым только бы время шло. Но я, как поступил в Красную Армию добровольно, не хочу этого делать — разъезжать.

В настоящее время я уволен. Работаю на Сормовском заводе. Но только получу жалование — уеду опять на фронт.

Владимир Ильич, прошу Вас — сделайте распоряжение, чтобы мне уплатили жалование по аттестату, причем прилагаю Вам аттестат за № 96-й и удостоверение, когда был назначен в часть.

Семья моя очень нуждается в получении моего жалования.

Ф Штурмин

Адрес: Сормово, завод фасонно-сталелитейный¹.

(ЦПА ИМЛ)

¹ Восьмого июля 1919 года В. И. Ленин направил замнаркомвоену тов. Склянскому записку следующего содержания:

«Прошу назначить расследование по заявлению товарища Федора Штурмера (или Штурмина), удовлетворить его просьбу, если расследование подтвердит ее законность. Неправильные действия местных властей установить точно и об итоге *меня уведомить*. Предсовобороны *Ленин*» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 51, стр. 8—9).

К этой записке В. И. Ленин приложил письмо Ф. Штурмина, а также присланные им удостоверение, выданное 20 июня 1919 года, и аттестат № 96, выданный 29 апреля 1919 года.

25

14 июля 1919 г.

Дорогой вождь и товарищ!

Скрепя сердце приходится переживать все новые и новые факты несправедливости, чинимой приверженцами старого гнилого строя.

Изложенную на обороте сего телеграмму я хотел передать по телеграфу, но почему-то администрация ст. Езерище М.В.Р. ж. д.¹ сочла ее контрреволюционной, и мало того, что отказалась передавать по телеграфу, но и я сам лично был арестован и препровожден к политическому комиссару, который, просмотрев мои документы, освободил [меня]. И я все-таки решил послать по почте для того, чтобы дорогой вождь и товарищ мог бы убедиться в небывало трудной жизни провинциальных коммунистов.

Всего описать я не могу, ибо не хватит сил привести на бумаге все те факты, которыми буржуазия старается выбивать из рядов рабоче-крестьянской власти видных работников-коммунистов.

Сейчас страдная пора, и необходимо принять решительные меры борьбы с буржуазией и смыть грязь, наложенную за последнее время на невинных работников-коммунистов.

Последняя и окончательная кровавая схватка лишь спасет революцию.

Да здравствует наш вождь, отец товарищ Ленин и все народные комиссары!

Коммунист Матусевич.

МОСКВА, ЛЕНИНУ

КОПИЯ — ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КОММУНИСТОВ²

Небывало трудный момент переживает многострадальная, веками угнетаемая Россия. Буржуазия всех стран старается задушить рабоче-крестьянскую власть. Ей громким хором подпевают мелкие кулаки, спекулянты; разными вымышленными песенками стараются побольше вылить грязи на видных вождей местного пролетариата. Видя свое окончательное поражение, эта свора борзых пустила [в] ход детально, как видно, разработанный план своих действий.

Последнее время мне пришлось побывать [в] Новгородской, Тверской, Псковской, Смоленской, Могилевской, Витебской губерниях, где увидел трудную работу рабочих-коммунистов. Некоторые уже давно очутились [в] тюрьмах, другие ждут той же участи. Из бесед [с] местным пролетариатом пришлось узнать следующее. Последнее время ответственным работникам стали усиленно предъявлять не имеющие основания обвинения во взяточничестве. Необходимо обратить внимание, что обвинения предъявляют торговцы, спекулянты, кулаки и другая, подобная им, сволочь, стараясь этим выбить все лучшие силы [из] рядов рабоче-крестьянской власти. Пролетариат лелеет себе надежду, что скоро вернутся их невинно оклеветанные вожди. Необходимо освободить [их], прекратить все дела ответственных работников-коммунистов, дополнить декрет о взяточничестве, — последняя мера борьбы [с] клеветой, взяточничеством — расстреливать как берущих, так и дающих³. Декрет необходимо распространить срочно и по деревням, ибо время не ждет, а работников на местах совсем стало мало.

Коммунист Кронштадтского комитета, билет 332 — Матусевич.

(ЦГАОР СССР. ф. 130, оп. 3, д. 132, лл. 500 и 500 об.)

¹ М. В. Р. ж. д. — Московско-Виндаво-Рыбинская железная дорога.

² Это — обратная сторона письма: текст телеграммы.

⁴ Декретом о взяточничестве, принятым 8 мая 1918 года, предусматривалось лишение свободы на срок не ниже пяти лет (с принудительными работами на тот же срок и конфискацией всего имущества) лиц, как берущих, так и дающих взятки («Декреты Советской власти», т. II. М. 1959, стр. 241).

Примечательно, что соображения Матусевича о необходимости сурового наказания взяточников были как раз в духе требований, которые высказывал на этот счет В. И. Ленин. В связи с тем, что по одному делу был вынесен слишком мягкий приговор, Ленин писал в ЦК партии 4 мая 1918 года: «Прошу поставить на порядок дня вопрос об исключении из партии тех ее членов, которые, будучи судьями по делу (2.V.1918) о взяточниках, при доказанной и признанной ими взятке, ограничились приговором на 1/2 года тюрьмы.

Вместо расстрела взяточников выносить такие издевательски слабые и мягкие приговоры есть поступок *позорный* для коммуниста и революционера» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 282; впервые опубликовано в 1933 году).

26

31 июля 1919 г.

Глубокоуважаемый Владимир Ильич!

Сообщаю Вам, по приезду моему в г. Козлов я был назначен граждупром при Реввоенсовете в Усть-Медведицкий район, Михайловской слободы, членом райревкома. Я с большой охотой принял на себя возложенные на меня обязанности, что и прибыл в слободу Михайловскую 5 июня 1919 г. и тут же заступил на свою службу, где и начал вести свою работу, в особенности по налаживанию ревкомовских учреждений. Но, к великому моему сожалению, мне пришлось пробыть всего 10—11 дней; все-таки мне удалось устроить ряд митингов на темы: 1) Что такое Советская власть и ее задачи, 2) Октябрьская революция и буржуазия, 3) Гражданская война и с кем мы воюем и за какие идеалы, 4) Кто является врагом Советс[кой] власти и кто не враг.

Дорогой товарищ Владимир Ильич, я должен Вам сказать без преувеличения, что по всем вышеупомянутым вопросам публика была заинтересована и сочувственно отзывалась к Советской власти, а притом же я занимал должность заведующего Совнархоза.

Но митинговать и наладить учреждения, то есть поднять промышленность района и наделить продовольствием умирающих от голода товарищей, т. е. всех жителей Москвы и питерцев, не удалось, так что мои планы рухнули, и тут же 15 июня пришлось эвакуироваться.

По выяснению стратегических положений наступления белых банд на Усть-Медведицк, тут же мною были подняты все члены коллегий Совнархоза и отделегированы по всему району для вывоза различного материала, находящегося в описи Совнархоза.

Частью же были посланы несколько подвод в село Злак, а большая часть отправлена в гор. Елец.

Мною сопровождалось 8 вагонов в г. Елец следующих предметов:

- 1) Антрациту погружено 315 пуд. 11 ф. Принято Елецким Совнархозом
- 2) Различных масляных и сухих красок 141 пуд. 10 ф. Тоже сдано.
- 3) Сырых кож 660 штук. Тоже сдано Райкоже Совнархоза.
- 4) Выделанных овчин 189 шт. Сдано.
- 5) Выделанных разных кож 52 пуда. Сдано.

Все вышеуказанные предметы сданы Совнархозу только лишь потому, как скоропортящийся товар.

6) — а также железа от 1½ дюйма до ¼ дюйма вывезено и находится в Ельце 1342 пуда.

- 7) Стали различной и самокалки 83 пуда.
- 8) Две динамо-машины.
- 9) Медные и железные трубы.
- 10) Три бака красной меди.
- 11) Скобяной товар и канцелярия всех учреждений.
- 12) Часть эвакуированной мастерской.

Указан[ные] тов[ары] ниже 5 № находятся до сих пор в Ельце, по Староспольской улице, в доме Хренникова, [в] кладовой.

Мною было запрошено телеграммами три раза Козлов, и по сих пор, то есть по 31 июля 18 часов, никакого указания мне не дадут — куда деть все это оставшееся имущество, и я вынужден находиться до сих пор в Ельце. Но благодаря моему умению ораторствовать я также не пропускаю ни одной минуты, тем более тогда, когда решается судьба коммунизма — жизни и смерти, — для меня каждая минута дорога, и я помогаю местной партии митинговать, где уже были устроены ряд митингов и концертов в пользу семей красноармейцев. Елецкая публика настроена за Советскую власть. Конечно, есть и антибольшевистские настроения — не без этого, в особенности бывшие торгаши и хозяйчики.

Мною было обрисовано отчаяннейшее положение питерских рабочих, а также и Москвы. Рабочие гор. Ельца отнесли сочувственно, оторвали от своего пайка, получая $\frac{3}{4}$ фунта хлеба в день, — $\frac{1}{4}$ ф. печеного хлеба и отправили уже его в Питер — 2 вагона для детей. Вот результаты елецких рабочих. При том же можно добавить, что мобилизация рабочих в Ельце прошла успешно. Дезертиры идут добровольно в Красную Армию большими партиями¹.

Уважаемый товарищ Владимир Ильич, передайте от имени елецких рабочих привет революционным питерцам. Новый хлеб поспевает, и елецкие рабочие положат все свои усилия к тому, чтобы костлявая рука голода не пожрала революцию, и помогут питерским рабочим хлебом за их святое дело. Вот слова, которые мне переданы, и их я передаю Вам.

Скоро выезжаю в Козлов.

С товарищеским уважением —

известный Вам Георгий Павлович Михайлов².

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д. 133, лл. 18—19)

¹ Это было тогда характерным явлением. В написанной В. И. Лениным в первых числах июля 1919 года работе «Все на борьбу с Деникиным!» говорилось: «В последнее время явно наступил перелом в борьбе с дезертирством. В ряде губерний дезертир стал возвращаться в армию массами, дезертир, без преувеличения, повалил в Красную Армию» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 48).

² «Известный Вам...» В связи с чем Г. П. Михайлов был известен Ленину? К сожалению, установить это не удалось. Можно предположить, что он был одним из тех петроградских или московских рабочих, которых партия в те тяжелые для республики дни направляла в провинцию.

27

25 августа 1919 г.

Товарищ Ленин!

Ответьте, пожалуйста, на один давно волнующий меня вопрос: «Может ли истинный коммунист верить в бога?»

Надеюсь, разрешите этот вопрос в скором времени.

Г. Фрейдин.

Мой адрес: г. Ярцево, Смоленской губ. Партийный клуб. Коммунистический союз молодежи. Фрейдину¹.

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д. 133, л. 86)

¹ В нижней части этого листа сотрудницей секретариата СНК М. А. Володичевой написаны следующие слова, адресованные В. Д. Бонч-Бруевичу: «Вл. Дм. Пересылаю Вам эти два письма, как характерное явление начинают выдвигать религиозн. проблемы. М. А.».

Второе письмо не обнаружено.

28

3 октября 1919 г.

Уважаемый товарищ В. И. Ленин!

Мы обращаемся к Вам, как к великому вождю международного пролетариата и истинному учителю учения К. Маркса, за разъяснением нижеследующего вопроса.

Мы окончили партийную школу Самарского губкома РКП 2-го выпуска, которая нам открыла всю пошлость старого капиталистического мира и истинный свет коммунистического учения. Она влила в нас, бывших еще недавно искалеченными попами и чиновниками людей, дух революционной энергии и правильное историческое миропонимание.

У нас в школе была масса спору между хорошими работниками (по-нашему) о переходном времени (или периоде) от капиталистического строя к коммунистическому, т. е. о том, какое название придать этому периоду. Например, бывший заведующий нашей школы тов. Бройдо, тт. Кузьмин, Стуков (редактор газеты «Коммуна») придавали этому периоду просто — диктатура пролетариата, т. е. первая фаза коммунизма или социализма.

Вопреки этому выходил оппонентом вышепоименованным товарищам тов. Паперный (зав. губернским отделом народного образования). Тов. Паперный «доказывал», что это — эпоха социализма, т. е. как переходная стадия к коммунизму. Даже читал всем курсантам лекцию на тему: «Социализм есть переходная стадия к коммунизму», доказывая, что задача социализма — произвести обобществление средств производства, в то время как задача коммунизма — достигнуть правильного распределения продуктов, т. е. от всякого по способности и всякому по потребности. Тов. Паперный доказывает, что социализм и коммунизм есть разница между собой.

Тов. Паперного, его сторонников, оппоненты, как Бройдо и другие, называют приволжскими «социалистами».

Ввиду разнообразных кривотолков по этому вопросу, что совершенно недопустимо со стороны таких видных старых партработников-коммунистов, которые имеют, кроме продолжительного, как Бройдо, 15 лет партстажа, хорошее образование, у наших курсантов получилось или различное двухстороннее понимание этого вопроса, или совершенно никакого понятия, просто туман (головокружение). Большинство товарищей, в том числе и мы (пославшие настоящее письмо), остались бы при мнении тт. Бройдо, Кузьмина и Стукова и звали бы Паперного приволжским «социалистом». Но когда прибыл к нам красный пароход с членами ВЦИК и ЦК РКП(б)¹, мы спросили тов. Волина, как не волжского социалиста, и что же — тов. Волин категорически подтвердил слова тов. Паперного.

В таком случае мы и просим Вас ответить через газету без всяких уклонений, не ссылаясь на прочтение какой-либо из книг (хотя бы самой лучшей), которыми ставили рекорд друг другу товарищи, державшие дискуссию, например книгой «Государство и революция»: товарищи ссылались то на одну, то [на] другую цитату, стремясь побивать друг друга.

Считаем — получим более обстоятельный, справедливый ответ от Вас².

С коммунистическим приветом к Вам — курсанты 2-го выпуска партийной школы Самарского губкома РКП

Ф. Данилов и Ф. Кичигин.

Адрес: Самарский городской комитет РКП. Кичигину.

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д. 133, л. 181)

¹ Имеется в виду пароход «Красная звезда», который был в Самаре в сентябре 1919 года. Губернская газета «Коммуна» сообщила 12 сентября, что в ночь на 9 сентября на пароходе состоялось объединенное заседание губернского, городского и всех районных комитетов РКП(б) и актива, на котором т. Волин выступил с докладом о состоянии партийной работы в губернии. Возможно, именно на этом собрании авторы письма и попросили его разрешить спор.

² Ответ на свой вопрос о том, является ли социализм переходной стадией от капитализма к коммунизму, Данилов и Кичигин могли получить в кратком газетном отчете о Московской общегородской партийной конференции 20 декабря 1919 года, на которой В. И. Ленин выступил с докладом о субботниках. В нем говорилось:

«Когда мы решили переименовать нашу партию в коммунистическую, нами руководило главным образом желание отмежеваться от соглашательских социал-демократических групп и партий, объединенных Вторым Интернационалом. Но мы понимали всю значительность слова «коммунизм», который ко многому обязывает. Социализм вырос непосредственно из капитализма: это — учет, надзор, контроль... Коммунизм должен вырасти из социализма, — он выше его» («Известия», 21 декабря 1919 года).

Более подробное освещение вопроса авторы письма, несомненно, нашли в последующих выступлениях и статьях В. И. Ленина.

29

Декабрь 1919 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТ 12 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 8 АРМИИ
ЗАЯВЛЕНИЕ

Великий мировой вождь товарищ Ленин!

Я политком батальона 102 полка, малограмотный крестьянин. Разрешите мне в моем заявлении сообщить Вам, так как много мне поступает от красноармейцев [жалоб], что красноармейские семьи не получают никакого денежного пайка. [Красноармейцы] находятся год в Красной Армии. И также красноармейцы не получают письма на фронте. А также семьи красноармейцев не получают.

Поэтому я прошу Вас на 7 Всероссийском съезде Советов выяснить положение вышеупомянутое, дабы приехать [мне] в часть и рассказать красноармейцам.

Еще добавлю, что на 7 Всероссийский съезд Советов съехались [делегаты] со всех краев нашей России и [надо] вложить им в их головы, так как здесь есть представители местных властей, чтобы они озаботились обо всем вышесказанном.

Крихтунов¹.

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 3, д. 133, л. 536)

¹ В отличие от других на этом письме нет регистрационного штампа, что дает повод предположить, что оно попало к Владимиру Ильичу, минуя секретариат. Очевидно, т. Крихтунов был в эти дни в Москве, а может быть, и присутствовал на проходившем тогда VII Всероссийском съезде Советов (хотя в списках делегатов он не значится) и лично либо через кого-нибудь передал это заявление В. И. Ленину. В левом верхнем углу письма такая резолюция: «По поручению т. Ленина переслать в Комиссариат соц. обеспечения. Вричкина».

30

24 декабря 1919 г.

МОСКВА, СМОЛЬНЫЙ. ТОВАРИЩУ ЛЕНИНУ

С новым годом!

С новыми успехами пролетариата!

Артист 1-й прифронтовой труппы 9-й армии Струков¹.

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 4, д. 240, л. 398)

¹ Написано на обороте красочной открытки. Публикуем адрес так, как написал его Струков. «Москва, Смольный», хотя ему, конечно же, следовало написать. «Москва, Кремль». На открытке — штампель почтового отделения Еланское Колоно.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Академик И. М. МАЙСКИЙ

★

ИЗ ЛОНДОНСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ

(1925—1927)

В начале мая 1925 года я приехал в Лондон в качестве советника нашего полпредства, ведающего всеми делами, связанными с печатью.

В Лондоне нас с женой встретили товарищи. Завхоз полпредства, милейший Ешуков, устроил нас в одном из ближайших отелей. Неделю спустя нас переселили во временную квартиру, ближе к центру города. Квартира состояла из двух больших, почти роскошно мебелированных комнат. Хозяин оставил при комнатах слугу. Это был мужчина средних лет, мрачного вида, всегда в черном; притом глухонемой. Когда он входил в нашу квартиру и начинал ее молча и ловко убирать, мне всегда становилось как-то не по себе. Однажды я подумал: «А может быть, наш мрачный слуга — агент Скотланд-Ярда и только разыгрывает глухонемого?» От этого нам не стало уютнее, и мы были рады, когда кончился срок нашего проживания в этой квартире и мы могли с помощью все того же Ешукова устроиться уже более прочно, по-домашнему.

Наше новое жилище было типично английским. Это был двухэтажный коттедж, расположенный в очаровательном предместье столицы, возле знаменитого ботанического сада Кью Гарденс. Адрес его был: Бичвуд-авеню, 13. В те дни здесь было тихо, как в деревне. На нашей улице жили в таких же коттеджах служащие и интеллигенты средней руки, отставные военные и чиновники, владельцы небольших магазинов и мастерских, чьи предприятия находились в центре города. Днем обитатели нашей улицы были заняты разными делами, вечера они обычно проводили дома или в маленьких садиках. Радио еще не вошло в быт, а самолеты не оглашали воздух своим гулом, даже автомобили редко появлялись в нашем предместье. Не верилось, что это уголок семимиллионной столицы.

Наш коттедж был, как все английские коттеджи: гостиная, столовая и кухня внизу, три спальни, ванная и туалет наверху. Для нас этого было слишком много, мы предпочли бы две-три комнаты. Но когда в конце лета 1925 года мы создавали свой лондонский быт, появились соображения, которые заставили нас остановиться на отдельном домике (об этом ниже). Здесь мы прожили до лета 1926 года, когда казалось, что на этом закончится моя работа в Лондоне.

Лондон был мне знаком: я прожил здесь пять лет (1912—1917), когда эмигрировал из царской России; но для жены все тут было ново, она хотела больше увидеть и узнать, а я старался помочь ей в этом. В то время почти все столичные omnibusы были одноэтажные и на их крышах могли сидеть пассажиры; и вот, забравшись на такую крышу, мы с женой любили пересечь гигантский город из конца в конец.

Узкие, грязноватые улицы рабочих окраин с темными, как две капли воды похожими друг на друга жилищами бедняков. Закопченные до черноты фабричные корпуса с высокими, вечно курящимися трубами. Шумные рынки с лавками,

лавчонками, палатками. Роскошные здания банков и контор Сити. Шикарные магазины центральных районов столицы. Величественный собор святого Павла, Национальная картинная галерея, львы Трафальгарской площади и колонна Нельсона, банкетный зал XVII века, Уайт-Холл со зданиями министерств. Десятки мюзик-холлов, сплошь заклеенных яркими, зазывающими афишами. Красивые, легкие мосты через мутно-коричневую Темзу. Зеленые парки с вековыми дубами и широкими бархатными лужайками.

Люди в омнибусе все время меняются: рабочие в синих промасленных комбинезонах, в кепках, с шарфами вместо галстуков на шее; конторские служащие в шляпах и с белыми воротничками; интеллигенты в очках и с маленькими желтыми чемоданчиками в руках вместо портфелей.

Омнибус обгоняет большие роскошные автомобили с разряженными дамами. По тротуарам идут моряки, солдаты в красных мундирах, с желтыми палочками в руках — знак увольнения из казармы...

Часа через два омнибус останавливается на конечной станции, и кондуктор громко объявляет:

— Все выходят!

Подобные путешествия я любил еще в эмигрантские годы. Теперь мне доставляло особенное удовольствие повторять их. Меняя маршруты, мы постепенно все лучше познавали лицо испанского города.

Очень большое удовольствие нам доставлял ботанический сад. Здесь для растений, собранных со всего света, было множество стеклянных домов — высокая двусветная оранжерея для пальм, десятки оранжерей поскромнее для ярких и пестрых обитателей тропиков, специальная оранжерея для знаменитой викторианской регины, где посреди довольно большого озера рос один-единственный царственно-великолепный цветок. Озер, озерков, прудов, водоемов, речек, ручьев тут было множество, а на них и возле них мы видели стаи лебедей, пеликанов, цапель, уток. Здесь были аллеи рододендронов, поля тюльпанов и голубых колокольчиков. А под деревьями и среди цветов Кью Гарденс сидели на скамейках и стульях или бродили лондонцы. В подавляющем большинстве это была либо шумная, громко-голосая детвора, либо старички, ищущие отдыха и покоя...

Мы с женой в свободное время любили гулять в ботаническом саду и каждый раз возвращались из него, вдохнув в себя крепкую порцию жизнерадостности и здоровья.

После установления между СССР и Великобританией дипломатических отношений (1 февраля 1924 года) советское полпредство получило бывшее здание царского посольства. Это был огромный шестиэтажный особняк, выходивший фасадом на Чешем Плэйс. Вход в него, однако, находился на перпендикулярной к Чешем Плэйс улице и вел сначала в небольшой, закрытый со всех сторон двор, в который от главного здания отходило одноэтажное крыло. В этом крыле — я хорошо помню — в апреле 1917 года, сразу после февральской революции, советник царского посольства К. Н. Набоков, выполнявший тогда обязанности поверенного в делах, принимал Г. В. Чичерина и меня, явившихся к нему для переговоров о репатриации политических эмигрантов в Россию. Теперь, восемь лет спустя, «хозяйном» здесь стал я, потому что как раз в этом крыле помещался отдел печати полпредства, руководить которым я был назначен. В самом конце крыла сравнительно небольшой угол был отведен под генеральное консульство, так как при тогдашних англо-советских отношениях дел у него было очень мало.

Главное здание было приспособлено для нужд и вкусов его прежних хозяев. Нижний этаж был занят великолепными приемными комнатами и кабинетами руководящего персонала, во втором этаже находилась роскошная квартира посла, а все остальные этажи, поделенные на маленькие, тесные комнаты, состояли из всякого рода подсобных помещений, включая спальни сорока двух человек прислуги, обслуживавшей последнего царского посла графа Бенкендорфа (он умер в январе 1917 года, и потому советник К. Н. Набоков стал «поверенным в делах»).

Из нижнего этажа во второй вела широкая лестница по обе стороны прохода, который соединял вестибюль с приемными комнатами.

— В сущности, это здание для нас совсем не подходит, — говорил мне Ешуков. — Оно было удобно для Бенкендорфа: он жил здесь один со своими слугами. У нас же в полпредстве живут почти все дипломатические работники — для них не годятся эти маленькие клетушки, а перестраивать дом мы не имеем права... Говорить об этом с владельцем дома нечего: он ненавидит большевиков и отравляет нам жизнь разными кляузками и придирками.

Ешуков подвел меня к одному из окон, выходящих на Чешем Плэйс, и, указывая на маленький садик, расположенный в центре маленькой площадки, с возмущением сказал:

— Подумайте, ограда этого садика закрыта на замок, а ключи имеют только владельцы домов, стоящих на Чешем Плэйс!

Нам приходилось мириться со всеми неудобствами нашего помещения, потому что в тот момент для Советского государства политически было важно выступать в качестве хозяина того самого здания, в котором больше полувека размещалось посольство императорской России. К тому же было сомнительно, чтобы при тогдашних настроениях английской буржуазии мы могли получить другое здание, более пригодное для надобностей советского полпредства...

В те годы численность полпредских работников в любой стране была очень скромна, но среди них попадалось немало любопытных, а подчас и ярких фигур. Лондонское полпредство представляло в этом отношении хороший пример.

Первым советником, фактическим заместителем полпреда, был тогда Ян Антонович Берзин. Берзина я прекрасно знал еще по лондонской эмиграции, и именно в его доме вместе с рядом других товарищей случилось мне провести незабываемую ночь, когда мы узнали о падении царизма. Берзин был человеком чистой души и большой культуры, он принадлежал к той латышской интеллигенции, которая в последние годы царской России сыграла такую большую роль в жизни своего народа и всего социал-демократического движения нашей страны. Я был очень рад, что теперь мне пришлось встретиться с ним на общей работе. Он превосходно знал английскую жизнь и современную английскую политическую обстановку, так как в течение долгого времени был ближайшим помощником Л. Б. Красина, представлявшего СССР в Лондоне на основе торгового соглашения 1921 года. К сожалению, в середине 1925 года Я. А. Берзин был отозван в Москву.

Вместо Берзина приехал новый советник — А. П. Розенгольц, который, однако, по своему характеру мало подходил для дипломатической работы за границей.

Важный пост первого секретаря полпредства занимал Дмитрий Васильевич Богомолов, человек лет тридцати пяти, умный, деловой, умелый администратор. Во время первой мировой войны он был офицером, попал в плен и просидел долгое время в лагере вместе с пленными англичанами. Здесь он хорошо овладел английским языком и приобщился к началам дипломатии. После окончания войны он попал в НКВД и был направлен в Лондон. Богомолов оказался очень удачным дипломатом; после Лондона он занимал посты полпреда в Польше и Китае.

Генеральным консулом был А. А. Языков, очень приятный и неглупый человек несколько романтического склада: он любил деревню и дома, в России, одевшись по-крестьянски, бродил летом по селам, ночуя в крестьянских избах и беседуя с деревенскими стариками. Англия Языкову мало нравилась, но он был хорошим большевиком и добросовестно выполнял свои обязанности.

Кроме перечисленных полпредских работников, в Лондоне было еще немало видных «хозяйственников», то есть работников торгпредства, Московского народного банка, Нефтесиндиката, Страхового общества и др., а также ставшего вскоре всемирно известным «Аркоса» (о нем ниже). Руководящим органом по экономи-

ческой линии было торгпредство, глава которого — торгпред, — а также два его заместителя считались лицами дипломатическими, само торгпредство обладало правами дипломатического иммунитета. Торгпредство снимало в Сити Большой дом по Мооргэт-стрит, 49, и делило его с компанией «Аркос». Торгпред играл большую роль в руководящей верхушке советских учреждений в Англии, тем более что общее число «хозяйственников» далеко превосходило число «дипломатов». Можно сказать, что «хозяйственники» составляли примерно три четверти, а полпредские работники только около четверти всего состава советской колонии в Лондоне. Торгпреды в то время были, так сказать, мало устойчивы: за два года моего тогдашнего пребывания в Англии их сменилось трое.

Когда я приехал, нашим торгпредом был Ф. Я. Рабинович, умный и ловкий торговый работник, сумевший установить хорошие отношения со своими английскими партнерами. Ему было лет под сорок, он любил веселье, песни, пляски и недурно исполнял арии из опер и оперетт. «Хозяйственникам» он очень нравился, они верили в его коммерческие способности и охотно следовали его советам и указаниям. В дипломатических вопросах он разбирался меньше, но, в общем, был грамотным человеком и в этой области. К сожалению, через несколько месяцев после моего прибытия в Лондон он был отозван в Москву.

На смену Ф. Я. Рабиновичу приехал М. И. Хлопьянкин. Он был значительно моложе своего предшественника, имел меньше практического опыта в области торговли, но зато отличался высокой интеллигентностью и начитанностью. У нас с ним установились весьма дружеские отношения, которые сохранились и в дальнейшем, когда мы оба оказались в Советском Союзе. Однако и Хлопьянкин проработал в Лондоне не больше года.

Третьим, уже в самом конце моего пребывания в Англии, был Лев Михайлович Хинчук, несомненно самый крупный из трех торгпредов. Хинчук был деятелем кооперативного движения еще в царские времена, играл затем большую роль в Центросоюзе, немало писал по своей специальности. Это был человек большой культуры. Он с честью представлял, в числе других делегатов, СССР на первой мировой экономической конференции 1927 года, созванной Лигой Наций в Женеве. В тридцатых годах Хинчук был советским послом в Берлине.

Видным лицом среди лондонских «хозяйственников» был С. И. Гермер, член и секретарь торговой делегации в Англии. Старый большевик, Гермер обладал выдающимися деловыми качествами и пользовался большим уважением; когда он устремлял на собеседника взгляд своих слегка близоруких глаз, никто не мог сказать ему неправды. Его высоко ценило центральное правительство, поручая ему вести в Бельгии и Голландии предварительные переговоры об установлении торговых отношений с СССР.

Советскую кооперацию в Англии представлял А. Б. Гуревич. За плечами у него был большой опыт кооперативной деятельности, он отличался живым умом и энергией, поддерживал связи с мощной английской кооперацией, часто бывал в кооперативной столице Англии — Манчестере, завязал отношения с кооперативными организациями различных стран на континенте Европы. Гуревич всегда был в курсе новостей, а сверх того отличался остроумием и веселостью и справедливо считался украшением вечеров самодеятельности и «живых газет», которые устраивались советской колонией в Лондоне.

М. В. Нестеров представлял в Лондоне ВСНХ (Высший Совет Народного Хозяйства). Рыжеволосый приятный человек лет тридцати пяти, он привлекал к себе разумностью речей и доброжелательным отношением к людям. Нестеров кончил торговую школу в Москве, потом работал конторщиком на Прохоровской мануфактуре, потом экстерном сдал экзамены за Коммерческий институт и стал экономистом. В годы между первой и второй революциями Нестеров был социал-демократом, большевиком. После Октября он превратился в одного из строителей социалистической промышленности и, пройдя ряд этапов, попал в Англию, чтобы установить контакт с интересными для нас британскими фирмами и предприятиями. В тогдашней обстановке возможности тут были довольно ограниченные, но

Нестерову все-таки удавалось сделать кое-что полезное. Не последнюю роль в этом играло его умение разговаривать с англичанами. С Нестеровым в Лондон приехала его жена Анна Александровна, смуглая донская казачка, старый член партии, врач по профессии. Она работала в амбулатории советской колонии. Сейчас М. В. Нестеров возглавляет Всесоюзную торговую палату. Это, так сказать, наш «советский Меркурий», исколесивший, выполняя свои функции, чуть не весь мир.

Я мысленно перебираю сейчас имена всех этих людей, составлявших тогда основу советской колонии в Лондоне, восстанавливаю в памяти их образы, слегка затуманенные сорокалетним отдалением, и невольно вспоминаю: «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?»

За редким исключением никто не пережил 1937 года.

Жизнь лондонской советской колонии, насчитывавшей вместе с женами и детьми несколько сот человек, была проникнута бодростью и революционным энтузиазмом. Конечно, мы прекрасно понимали, что и внутреннее и особенно внешнее положение нашей страны трудное. На международной арене СССР был тогда изолирован и лишь с огромным трудом устанавливал нормальные политические и экономические отношения с другими державами. Народное хозяйство проходило у нас еще первые этапы восстановления после десяти лет войн и разрухи. Но мы все были полны горячей веры в будущее, в нашу окончательную победу, которая казалась совсем близкой. Мы чувствовали, что нас несет великая историческая волна. Надо только крепче держаться друг за друга, только смелее отбивать наскоки недругов — и мы победим. Не можем не победить.

Такие мысли и настроения здесь приобретали особенную остроту — ведь враждебный капиталистический мир окружал нас в Англии в самом прямом и непосредственном смысле: он начинался буквально за порогом наших квартир и смотрел нам в глаза на каждом перекрестке. Естественно, и наша реакция на этот враждебный мир была острее, чем у советского человека где-либо в Москве или на Волге.

В общем, мы жили весело и дружно. Работали все с энтузиазмом. Доминировало над всем стремление сделать что-либо полезное для своей страны.

Общественная жизнь в нашей колонии была ключом. Центром ее был наш клуб, и проявлялась она в самых разных формах.

Особенной популярностью пользовались вечера, когда они происходили не в клубе, а в существовавшей еще тогда «Церкви Братства» — той самой «Церкви Братства», где в 1907 году заседал Пятый съезд РСДРП¹. С общиной, которой принадлежала церковь, мы по традиции поддерживали добрые отношения и в более торжественных случаях устраивали в церкви свои собрания или концерты.

Импульсы и настроения молодости навсегда остаются в памяти. А мы были тогда молоды, и полпред, которому было пятьдесят два года, казался нам глубоким стариком.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

В один из первых дней после моего приезда в Лондон я зашел к Яну Антоновичу Берзину, чтобы расспросить его о том, что меня, вполне естественно, особенно интересовало: о состоянии англо-советских отношений.

Когда я изложил Яну Антоновичу свою просьбу, он с доброй улыбкой сказал: — Очень хорошо. Но я чуточку устал — пойдете беседовать под липами. — И он кивнул в сторону садика на Чешем Плэйс.

Берзин вытащил из стола ключ от калитки, и пять минут спустя мы сидели в тени огромного дерева. Никого, кроме нас, здесь не было, и можно было говорить без стеснения.

¹ Подробно об этом см. И. М. Майский. Воспоминания советского посла, кн. 1, М. 1964, стр. 324—331.

— То, что произошло в Лондоне за минувшие полтора года, — начал Ян Антонович, — несколько похоже на сказку, сначала добрую, потом злую, но все-таки сказку. Судите сами...

И Берзин нарисовал мне живую картину политической жизни Англии последних лет, значительно дополнившую мои познания в этой области.

Вкратце смысл сказанного им был таков. Английские рабочие массы настойчиво требовали дипломатического признания СССР. Тут действовали два основных мотива: с одной стороны, стихийное классовое сочувствие Октябрю, и лидеры тред-юнионов и лейбористской партии возглавляли эту волну — одни вполне искренно, другие лишь по необходимости... С другой стороны, английский рабочий — весьма практический человек; английский рабочий класс сильно страдал от послевоенной безработицы, и была надежда, что дипломатические отношения между Лондоном и Москвой откроют перед британской промышленностью большой советский рынок. Часть буржуазии, которая хотела «торговать с Россией», тоже была за признание СССР. В конечном итоге 1 февраля 1924 года лейбористское правительство установило с СССР дипломатические отношения, хотя сам Макдональд и некоторые его ближайшие соратники сделали это без энтузиазма: они хотели «продать» признание за какие-либо уступки с нашей стороны, но это не вышло — напор «снизу» в Англии был слишком силен.

В течение следующих девяти месяцев, вплоть до падения правительства Макдональда, это были вполне полнокровные дипломатические отношения. Наш полпред пользовался полным уважением в правительственных кругах, часто виделся и беседовал и с Макдональдом, и с его заместителем по министерству иностранных дел Аргуром Понсонби, имел свободный доступ ко всем членам правительства. Все требования дипломатического этикета строго соблюдались. Но главное, в течение этих месяцев удалось закончить переговоры об урегулировании старых претензий английской стороны, уходящих корнями еще в царские времена: это урегулирование нас не вполне удовлетворяло, но все-таки оно открывало дорогу для нормализации политических и экономических отношений между обеими странами в будущем.

Для ведения переговоров из Москвы прибыла очень авторитетная делегация, возглавлял ее наш полпред¹. Англию представляли Макдональд и Понсонби. Заседания комиссии открылись 14 апреля и продолжались около четырех месяцев. Напряжение во время переговоров было очень большое, нервов и времени было затрачено много. Главных трудностей, которые надо было одолеть, было две: страх империалистов перед идеями Октября и упорное отставание ими старых претензий. Консерваторы мобилизовали все силы для доказательства, как зловредна «советская пропаганда» в Китае, Афганистане, Персии, Турции, шла шумная кампания в печати, в парламенте, с церковной кафедры. Заявлялось, что Советское правительство и Коминтерн — одно и то же, и что, стало быть, Советское правительство отвечает за каждое действие этой международной организации рабочих. Нам приходилось тратить много сил на борьбу с обвинениями СССР во всех трудностях, которые испытывают сейчас господа британские империалисты в Азии. Утверждалось также, что Советское правительство нарушает обещания, данные при подписании англо-советского торгового соглашения 1921 года о невмешательстве во внутренние дела Великобритании. Что касается второго вопроса — о старых претензиях, — то здесь невольно вспоминается особый «Меморандум банкиров», опубликованный как раз в день начала переговоров, 14 апреля. В этом примечательном документе хозяева Сити требовали, чтобы СССР признал все старые долги царского времени, государственные и частные, вернул иностранцам их национализированные предприятия и гарантировал на будущее полную неприкосновенность частной собственности. Правда, на следующий день в печати появился контрманифест за подписью некоторых виднейших лидеров тред-юнионов — таких, как А. Персель, Б. Тиллет, Уоллхэд, Р. Вильямс, и других, — но

¹ См. «Документы внешней политики СССР», т. VII, М. 1963, стр. 414—415.

их выступление, конечно, не могло уравновесить выпад настоящих хозяев капиталистической Англии.

А правительство Макдональда во время переговоров занимало колеблющуюся, межучуючную позицию. Некоторые левые лейбористы доказывали, что в интересах Англии, да и всей Европы было бы устроить «английское Рапалло», то есть взаимно аннулировать все старые претензии и на новой, свободной от наследия прошлого почве начать строить здание англо-советских отношений, политических и хозяйственных, глядя только в будущее. Однако Макдональд и его коллеги оказались не в состоянии сделать такой смелый шаг, они были слишком связаны с господствующей группой и потому решили вести с СССР переговоры о возмещениях и компенсации за старые претензии. Это чрезвычайно усложнило всю ситуацию. Была еще одна причина лейбористской неустойчивости: в парламенте 1924 года лейбористов было 191, либералов — 159, консерваторов — 258 и независимых — 7. Консерваторы не имели большинства и не могли образовать собственное правительство. В результате длительных переговоров родилось правительство Макдональда, которое поддерживали либералы, но это делало его зависимым от либералов и заставляло вести приемлемую для них линию.

По вопросам политическим — о пропаганде, о невмешательстве в дела друга друга и т. п. — в конце концов удалось найти приемлемые для обеих сторон формулы и заявления, но на вопросе о старых претензиях переговоры споткнулись. После очень длительных дискуссий найден был компромисс: советская сторона заявляла, что она не считает себя морально обязанной платить по царским долгам, однако в целях достижения практического соглашения с английской стороной правительство СССР готово выплатить известную часть этих долгов при условии получения в Лондоне займа для реконструкции своего народного хозяйства... Под сильным давлением с разных сторон Макдональд в последний момент принял советское предложение. Оставался вопрос о национализированной собственности, и тут лейбористы капитулировали перед буржуазией. 5 августа консервативная пресса с восторгом сообщила, что никакого соглашения между Англией и СССР не будет.

Следующие три дня были очень драматичны. Когда рабочие узнали о провале переговоров, по стране пронеслась волна протестов. Массы показали, что не намерены мириться с таким решением. Это давление общественных сил скоро нашло яркое практическое выражение. группа рядовых лейбористских депутатов, сделавших в предшествующие годы много для нормализации англо-советских отношений, взяла на себя посредничество между правительством и советской делегацией. В течение тридцати шести часов за кулисами кипела лихорадочная деятельность; группа при поддержке Понсонби ходила от Макдональда к нашему полпреду и от полпреда к Макдональду, пока наконец за два часа до того, как в парламенте должны были объявить, что переговоры прерываются, не было достигнуто соглашение.

Английское правительство настаивало на формуле, суть которой сводилась к тому, что Советское правительство обязуется возмещать все «имеющие силу претензии» по национализированной собственности, — советская же делегация категорически возражала против слов «имеющие силу», как дающих основание считать, что тем самым отрицается законность акта национализации. Вместо этого она предлагала формулу: «Претензии, имеющие силу и одобренные обоими правительствами». Принятая формула гласила просто — «согласованные претензии». На первый взгляд разница между тремя формулами была как будто бы невелика, а по существу здесь была большая, принципиальная разница — разница двух противоположных принципов в отношении к частной собственности на средства производства.

После того как была найдена общая формула, препятствий к подписанию соглашения уже больше не было. Самая процедура подписания состоялась в здании Форейн оффиса 8 августа. Затем в соответствии с установленным в Англии порядком соглашение было на двадцать один день «положено на стол» палаты общин, после чего могла быть осуществлена его ратификация. Так как в это время

наступили парламентские каникулы, то ратификация, естественно, могла состояться только после возобновления работы палат в октябре месяце.

Однако за два месяца каникул представители господствующего класса пришли к выводу, что пора прекратить игру в демократию. Их не устраивало даже «ручное» и послушное правительство Макдональда. 8 октября, сразу после возобновления работы парламента, либералы, придравшись к одному мелкому поводу, отказались поддержать лейбористов. Правительство Макдональда пало, а премьер на следующий день, 9 октября, распустил палату общин. На 29 октября были назначены новые выборы.

Началась избирательная кампания, которая в течение двух недель шла очень успешно для лейбористов. Можно было ждать их новой и более крупной победы.

— И вот тут-то, — сказал Берзин, — произошло неожиданное, что резко изменило шансы сторон на выборах.

Когда на следующий день мы снова встретились с Берзиным, чтобы продолжить нашу беседу — на этот раз уже в его кабинете, — Ян Антонович с усмешкой сказал:

— Теперь приготовьтесь! Начинается детективный роман! И где? В трезвой и практичной Англии!

Выборы были назначены на вторник, 29 октября, рассказывал он мне, а 25 октября, в пятницу, то есть за четыре дня до выборов, в печати с соответствующими комментариями появилось знаменитое «Письмо», которое в советской литературе известно под именем «Письма Коминтерна», а в западной под именем «Письма Зиновьева». Датированное 14 сентября 1924 года, оно было оформлено как инструкция тогдашнего председателя Коминтерна Центральному комитету компартии Англии сосредоточить свою деятельность на конституционной агитации в пользу ратификации договоров 8 августа и одновременно на создании в английских войсках партийных «ячеек» для подготовки восстания в армии.

Это была явная фальшивка. В тексте документа — заголовке, подписи, названии Коминтерна и т. д. — были грубые ошибки. Тем не менее вечером 24 октября видный чиновник Форейн оффиса Дж. Д. Грегори прислал полпреду ноту протеста по поводу «Письма» с приложением его текста, и одновременно Форейн оффис, не ожидая его ответа, направило «Письмо» в печать. Это противоречило всем дипломатическим правилам.

25 октября утром полпред послал Макдональду ноту, в которой решительно заявлял о подложности «Письма Зиновьева», а 27 октября Советское правительство объявило «Письмо» грубой подделкой и предложило британскому правительству установить этот факт путем «беспристрастного третейского разбирательства»¹. Однако Макдональд не откликнулся на это предложение, а консерваторы тем временем подняли крик, который оказал влияние на рядового избирателя: голосование 29 октября принесло им победу. Число лейбористских депутатов упало с 191 до 151, а либералы были полностью разгромлены: они получили лишь 40 мандатов вместо прежних 159.

Четвертого ноября 1924 года правительство Макдональда вышло в отставку, опубликовав перед своим уходом заявление, что оно не может сделать определенного заключения о подлинности или подложности «Письма Зиновьева», однако считает необходимым сообщить, что подлинник названного «Письма» не был представлен ни одному правительственному органу².

Теперь к власти пришло правительство Болдуина, в котором решающую роль играли крайние консерваторы. Среди них нашими наиболее резкими противниками были министр финансов У. Черчилль, министр внутренних дел Джойнсон Хикс (в просторечии Джикс) и министр по делам Индии лорд Биркенхед. Их поддерживал, но более осторожно, министр иностранных дел Остин Чемберлен. В то время мы считали, что нашим главным врагом в правительстве был Чемберлен, поскольку

¹ «Документы внешней политики СССР», т. VII, М. 1963, стр. 514.

² W.P. and Zeld a Coats. A history of Anglo-Soviet relations. London. 1963, p. 188.

он по своему положению, естественно, должен был чаще всего выступать против СССР. В последующие годы, однако, выяснилось, что Чемберлен лучше других своих коллег понимал сложность международной обстановки и был в вопросе об англо-советских отношениях значительно осторожнее Хикса или Биркенхеда. Конечно, он ненавидел страну социализма не меньше, чем они, но предпочитал до поры, до времени маневрировать, в то время как Джикс, например, стоял за немедленный разрыв с Советской Россией.

Правительство Болдуина сразу же приступило к антисоветским действиям. 21 ноября Остин Чемберлен направил нашему полпреду ноту, в которой сообщал, что новый кабинет, обсудив договоры от 8 августа, не нашел возможным рекомендовать парламенту их ратификацию. А дальше в англо-советских отношениях открылась очень странная и своеобразная, можно сказать, даже уникальная в истории дипломатии эпоха.

— Вы понимаете, что случилось? — рассказывал Берзин. — Нет, вам это трудно понять... Я далек от того, чтобы идеализировать Макдональда, но все-таки при нем была, как я уже говорил, полнокровная дипломатическая жизнь, мы чувствовали, что соглашения с нами действительно ищут. А теперь... — Берзин махнул рукой и пояснил словами: — Я совершенно уверен, что Болдуин и компания хотели бы немедленно разорвать дипломатические отношения, но только не решаются круто это сделать: англичане вообще не любят резких поворотов, и Болдуин осторожничает и выжидает подходящего случая. А пока в отношениях между СССР и Англией существует что-то похожее на неустойчивый вакуум. Вот взгляните...

Берзин вытащил из сейфа папку с документами и, положив ее предо мной, стал комментировать:

— Взгляните: в папке хранятся записи бесед полпреда с министром иностранных дел. Что вы видите? Мы живем при правительстве Болдуина уже полгода. Сколько раз за это время полпред видел Чемберлена? Только два раза — шестого января и первого апреля... Немного! Но, может быть, беседы были столь важного и содержательного характера, что качеством своим перекрывали свое недостаточное количество?.. Ничего подобного! Шестого января наш полпред просил у Чемберлена разъяснений по поводу его речи в парламенте, в которой Чемберлен заявил, что между Англией и СССР не может существовать нормальных дипломатических отношений, и получил от него мало удовлетворительный ответ; далее наш полпред заявил жалобу на враждебные действия Англии в Албании, в результате которых советский полпред в Тиране товарищ Краковецкий вынужден был вернуться в СССР, и что британское правительство пытается создать в Европе анти-советский блок держав; Чемберлен занял тут позицию «я не я и хата не моя»; наконец, по вопросу о торговле Чемберлен подтвердил, что никаких гарантий по кредитованию англо-советской торговли дано быть не может. А когда в разговоре первого апреля наш полпред затронул вопрос о мерах по улучшению англо-советских отношений, Чемберлен прямо заявил, что на эту тему бесполезно вести разговоры, ибо точки зрения обоих правительств настолько расходятся, что нет шансов на соглашение...¹ Вот какова нынешняя ситуация!

— Ну, а вам как заместителю полпреда приходилось за эти полгода бывать в Форейн оффисе по делам? — спросил я.

— Не был ни разу.

— А другим сотрудникам полпредства?

— То же самое. Между Форейн оффисом и полпредством полный разрыв. Мы живем в одном городе, но наши пути почти никогда не пересекаются, если говорить о личных встречах...

Берзин добавил, что Форейн оффис не считает нужным соблюдать даже самые элементарные правила дипломатического этикета. Мы ходим на большие приемы, которые устраивает Форейн оффис или двор, если нас приглашают, хотя и это бывает не всегда; но представители Форейн оффиса на приемах, которые устраи-

¹ Запись этого разговора опубликована в «Документах внешней политики СССР», т. VIII, М. 1963, стр. 207—210.

ваем мы, не появляются никогда. Принято выезжающего из Англии посла на вокзале провожать чиновнику Форейн оффиса, а при приезде в Англию из-за границы его встречают на вокзале. Но советского полпреда не провожают и не встречают. Конечно, все такие протокольные обычаи не имеют первостепенного значения, но как характерно это поведение англичан!

В те дни, когда происходил мой разговор с Берзиным, советская сторона еще не была осведомлена об обстоятельствах, результатом которых было наделение дипломатического представителя СССР в Англии сравнительно скромным титулом поверенного в делах. Только в тридцатых годах, когда я был уже в Лондоне послом, мы о них узнали. Суть состояла в следующем: когда лейбористы договорились с нами об установлении дипломатических отношений, королевский двор категорически заявил, что он не примет посла правительства, которое повинно в гибели Николая II, двоюродного брата английского короля Георга V (посол по рангу вручает свои верительные грамоты королю). Это ставило правительство Макдональда в трудное положение перед СССР. Тогда был придуман выход: оформить — по крайней мере на первых порах — советского посла как поверенного в делах, потому что поверенный в делах вручает свои полномочия не королю, а министру иностранных дел, то есть в данном случае Макдональду, совмещавшему пост премьера с постом министра иностранных дел.

РАБОТА И ЗНАКОМСТВА

Руководство отделом печати, особенно в обстановке такой враждебности, было делом трудным и сложным.

Отдел печати, как я уже писал, помещался в небольшом одноэтажном флигеле во дворе. Когда я приступил к своим обязанностям, в нем работало человек пять. Среди них была одна неожиданная фигура: довольно известный дореволюционный поэт Николай Максимович Минский.

Литературная карьера Минского была пестра и извилиста. В разные периоды своей жизни он прошел через народничество, декадентство, нищезанятие, религиозно-философские искания и, наконец, кокетничанье с большевиками. В 1905 году Горький воспользовался имевшимся у Минского разрешением на выпуск газеты и создал «Новую жизнь», которая в октябре—ноябре 1905 года проводила линию большевиков. Однако очень скоро Минский стал выступать против основного ядра редакции газеты, которую он официально редактировал, и в ноябре 1905 года между ними произошел разрыв. Вслед затем и сама «Новая жизнь» пала под ударами царской цензуры. Буря 1917 года совершенно оглушила Минского, он эмигрировал со своей женой — литературным критиком Зинаидой Афанасьевной Венгеровой. И вот теперь, летом 1925 года, судьба столкнула меня с ним в стенах лондонского полпредства. Минскому было уже лет семьдесят, но он еще сохранял немало живости, дееспособности и интереса к жизни. На голове у него была шапка белых волос, ярко серебрились его густые усы; по вечерам он любил облачаться во фрак, в котором издала походил на Ллойд-Джорджа, чем чрезвычайно гордился. За годы эмиграции он «полевел» и старался возможно более походить на «советского человека». Это выходило не всегда удачно, и я втихомолку улыбался, наблюдая его усилия, хотя не имел оснований сомневаться в его искренности. В отделе печати Минский занимался переводами газетных материалов с английского на русский язык и делал свою работу с таким видом и шумом, как будто бы в этом состояла главная задача отдела печати. В общем, мы все относились к Минскому хорошо, даже с известной нежностью, учитывая его возраст, искренность и стремление «идти в ногу со временем».

Работа отдела печати имела два аспекта — внутренний и внешний. Внутренний аспект состоял в том, что мы ежедневно информировали посла и других работников полпредства, о чем пишут английские газеты и журналы. Делалось это так. Двое моих помощников приходили в отдел раньше всех, часов около восьми утра,

и сразу же знакомились с содержанием сегодняшних газет, которые уже ждали их на столах. Все представлявшее для полпредства какой-либо интерес вырезывалось и наклеивалось в грубо сброшюрованный альбом. Примерно к двенадцати часам дня (а если можно, то и раньше) этот альбом доставлялся полпреду, который, ознакомившись с ним, передавал его затем своим помощникам.

Кроме ежедневного альбома прессы, отдел печати выполнял и некоторые другие функции для обслуживания полпредства: имел справочную библиотеку, готовил сводки и доклады по отдельным вопросам, вел записи разговоров с посетившими его английскими журналистами и т. п. Иногда я получал указания и разъяснения от моего старого друга по эмиграции Ф. А. Ротштейна, который был теперь членом коллегии НКВД и ведал отделом печати комиссариата.

Однако внутрениий аспект работы отдела печати играл второстепенную роль по сравнению с его внешним аспектом. В те дни на страницах огромной и разнообразной английской прессы почти каждый день появлялись самые фантастические выдумки о Советском Союзе, о его политике, о его людях и нравах. Это было время, когда на Западе котировались даже такие сенсации, как «национализация женщин». Отделу печати нужно было отбивать нападения разбойников пера, выискивать среди англичан людей более трезвых, разумных и дальновидных, которые способны были идти против течения и работать над сближением между обоими народами. Это требовало постоянного контакта с журналистским миром, бесконечных разговоров с представителями газет и журналов, разъяснения им самых элементарных фактов из жизни нашей страны. Хорошо, что в молодости я много занимался пропагандистской работой в подпольных рабочих кружках. Должен, однако, сказать, что убеждать английских интеллигентов было куда труднее, чем темных, но стремящихся к свету русских рабочих.

С самого начала я поставил перед собой задачу найти в пестром и, в общем, враждебном нам мире английской печати хоть отдельные органы и отдельных людей, которые относились бы к Советской стране если не дружелюбно, то хотя бы терпимо и объективно.

Из таких органов печати наиболее ценной была помощь еженедельника Независимой рабочей партии, который носил в то время название «Лейбор лидер». Сравнительно объективную позицию занимали либеральные «Дейли ньюс» и «Вестминстер газет», а также «Манчестер гардиан». Официальный орган лейбористской партии «Дейли геральд», казалось бы, должен был последовательно проводить дружественную СССР линию, но на деле не раз преподносил нам неприятные сюрпризы: это объяснялось личными симпатиями и антипатиями различных членов редакции. Вся огромная масса консервативной печати во главе с «Таймс» и «Морнинг пост» вела систематическую травлю Советского Союза. Было только одно исключение, которое для меня оставалось загадкой, а именно консервативная воскресная газета «Обсервер», редактор которой А. Г. Гарвин еще при лейбористах поддерживал дружественные отношения с нашим полпредом и был сторонником договора 8 августа.

Как, однако, ни трудна была обстановка, усилия постепенно давали свой результат, и к началу 1926 года я стал замечать, что полпредству все больше удается публиковать на страницах газет либо опровержения возмутительных «уток», либо «проталкивать» через знакомых журналистов нужную ему информацию.

За два года нам все же удалось найти нескольких крупных журналистов и писателей, которые сыграли важную роль в укреплении англо-советских отношений. Мне хотелось бы здесь вспомнить их добрым словом.

Первым из них был Чарлз Прествик Скотт, владелец и редактор газеты «Манчестер гардиан», в течение более полувека возглавлявший этот орган. Я посетил его в Манчестере в конце 1925 года.

Высокий, худощавый, с пышной седой шевелюрой — ему было тогда под восемьдесят, — Скотт был типичным английским либералом XIX века. Он верил в прогресс, в целительную силу достижений науки, в творческие возможности

британского парламентаризма, который-де обеспечивает британцам возможное совершенствование жизни на земле. Скотт упорно отстаивал свою независимость как главы либерального органа национального масштаба и энергично сопротивлялся попыткам различных газетных монополий превратить «Манчестер гардиан» в обычное капиталистическое предприятие без твердых взглядов или принципов. Отсюда вытекала и его позиция в отношении СССР. Ему, как настоящему английскому либералу, не нравилось, конечно, многое в Советском Союзе, однако он считал, что русский народ вправе устраивать свою жизнь по собственному желанию, и допускал, что в советских порядках, может быть, и есть кое-что полезное и здоровое. Моя длинная беседа со Скоттом, в которой он рассказал мне много интересного, имела целью информировать его о действительных стремлениях Советской страны и тем самым укрепить в нем желание противооборствовать действиям джиков и биркенхедов, направленным к разрыву отношений между нашими странами. Эта беседа имела известный практический эффект: после нее линия газеты в советском вопросе стала более отчетливой. Известную роль тут сыграло и мое сообщение, что Советское правительство планирует (как тогда и было) значительные заказы на текстильное оборудование, которое предполагает разместить на предприятиях его родного Ланкашира.

В конце беседы я задал Скотту вопрос, не были ли в свое время Маркс и Энгельс сотрудниками «Манчестер гардиан». Помнится, я где-то слышал об этом, но точно не знаю.

Скотт слегка склонил набок свою апостольскую голову и на мгновение задумался. Потом начал вспоминать вслух:

— Я начал работать в этой газете в тысяча восемьсот семьдесят первом году... Я стал редактором этой газеты в тысяча восемьсот семьдесят третьем году... С тех пор я не покидал газеты...

Скотт еще раз сдвинул брови и сосредоточился. От напряжения на лбу появились морщины. Наконец он сказал:

— Нет, в мое время этого не было... Если Маркс и Энгельс когда-нибудь и писали в «Манчестер гардиан», то во всяком случае до меня.

Я невольно подумал: «Бог мой, пятьдесят один год быть редактором одной газеты! Как устойчива в Англии жизнь!»

Когда семь лет спустя я снова приехал в Лондон, Скотта уже не было в живых. Он, однако, остался у меня в памяти как яркий деятель старого либерального закала, защищавший идею англо-советского сближения в очень трудные для нас времена.

Мне приходит на память и другой крупный человек, с которым у меня завязались добрые отношения как раз в те годы. Это был Генри Ноэль Брэйлсфорд, тоже человек XIX века (он родился в 1873 году), — блестящий публицист, знаток философии, международной политики и экономики. Он был уже не либерал, а радикал, к началу нового столетия превратившийся в социалиста английского толка. В молодости он, когда греки вели борьбу против турецких угнетателей, участвовал волонтером в различных кампаниях и организациях на Балканах. Перед первой мировой войной Брэйлсфорд был одним из столпов так называемого «Союза демократического контроля», который вел борьбу против тайной дипломатии и требовал перехода к дипломатии открытой. Примерно в то же время он опубликовал, пожалуй, лучшую свою книгу «Война стали и золота», в которой с большой смелостью вскрывал роль капиталистических монополий в подготовке и развязывании войн. Когда мы с ним познакомились, Брэйлсфорд был редактором еженедельника Независимой рабочей партии «Лейбор лидер» и энергично пропагандировал сближение между Англией и СССР. Я посоветовал ему съездить в Москву, чтобы лучше нас узнать. Брэйлсфорд побывал в СССР, собрал интересный материал и в 1927 году выпустил весьма дружественную нам книжку «Как работают Советы».

Мои добрые отношения с Брэйлсфордом сохранились в дальнейшем, когда я был уже послом. В годы испанской войны Брэйлсфорд как-то пришел ко мне взвол-

нованный и встревоженный. Его мучил вопрос: не следует ли ему при его взглядах снова, как в молодости, пойти волонтером на Пиренейский полуостров? Я ответил, что в его шестьдесят пять лет не советовал бы ему записываться в республиканскую армию Испании; иное дело, если он поедет в Испанию как дружественный республиканцам журналист или советник. В Испанию он не поехал лишь потому, что вскоре после нашего разговора заболел. Но зато удвоил свои старания популяризировать Испанскую республику и ее героическую борьбу в английской печати. Умер Брэйлсфорд в 1958 году.

Мне хочется вспомнить еще одного интересного человека, с которым я познакомился в те дни. — Уолтера Лейтона. Меня познакомил с ним англичанин Фрэнк Уайз, бывший тогда советником при «Аркосе» и других наших хозяйственных организациях в Лондоне. Лейтон, воспитанник Кэмбриджа, экономист по специальности, был редактором известного английского журнала «Экономист». Я по образованию тоже экономист, и, возможно, это обстоятельство способствовало установлению между нами добрых отношений. Мы стали встречаться и вести длинные беседы об английской и советской экономике. Лейтон был либерал, но уже не XIX, а XX века, и хорошо понимал взаимозависимость — экономическую и политическую — между современными великими державами. Он сочувствовал развитию торговли между Англией и СССР. На страницах редактируемого им журнала Лейтон старался давать возможно больше объективного материала о Советской стране, а в марте 1927 года, в один из труднейших моментов в англо-советских отношениях, за два месяца до их разрыва, он опубликовал особое «Русское приложение», в составлении которого принимал деятельное участие и я. Это было тогда со стороны Лейтона актом гражданского мужества и политической дальновидности.

В тридцатые годы наши отношения возобновились и укрепились. Он был теперь не только редактором «Экономиста», но и главой издательского концерна либерального толка, выпускавшего «Ньюс кроникл», «Стар» и некоторые другие органы печати. Все они держались дружелюбно в отношении СССР и не, раз оказывали ценные услуги делу сближения между обеими странами. Кроме того, Лейтон играл в тридцатых годах видную роль в Лиге Наций и в разных финансово-экономических учреждениях и организациях, как английских, так и международных. Он был кладезем всевозможных сведений об экономике капиталистического мира. После войны Лейтон стал лордом, но вопреки традиции не сменил при этом своего имени на новое, а сохранил старое. И не без основания: имя Уолтера Лейтона имело заслуженный вес в британских и международных общественных кругах.

В 1965 году я был в Чехословакии и вспомнил здесь о моем старом лондонском знакомом: одна из дочерей Лейтона была замужем за чехословацким деятелем, и на приеме в Праге меня с ней познакомили. Она преподнесла мне в подарок мемуары своего отца, который здравствует по сей день.

И, наконец, мне хочется вспомнить Герберта Уэллса, знаменитого английского писателя, автора «Борьбы миров», «Машины времени», «Человека-невидимки» и других художественных и публицистических произведений. Мое знакомство с Уэллсом произошло так. Зимой 1926/27 года правительство Болдуина явно готовило почву для разрыва отношений с СССР. Со страниц британских газет клевета на СССР изливалась непрерывным потоком. И вот вдруг в одном из январских номеров «Санди экспресс» появилась статья Уэллса о взаимоотношениях между Лондоном и Москвой. Она резко выделялась на фоне тогдашней английской печати. Не во всем можно было согласиться с автором, но главное — его горячий призыв к улучшению англо-советских отношений — вызывало лишь глубокое сочувствие с нашей стороны.

Двадцать шестого января 1927 года я отправил Уэллсу письмо, в котором говорилось, что в создавшейся обстановке его выступление производит «воистину освежающее впечатление». Я не скрыл от Уэллса, что кое-что в его статье кажется мне спорным и заслуживающим обсуждения. Вскоре после этого мы с женой получили от жены писателя любезное приглашение запросто, по-семейному, у них

пообедать. Потом Уэллсы были на обеде у нас. Во время этих встреч мы все больше сближались, хотя далеко не во всем сходились во взглядах.

В конце мая 1927 года между Англией и СССР произошел разрыв дипломатических отношений, который Уэллс резко осуждал. Мы вынуждены были расстаться надолго. Наши первые встречи в Лондоне послужили, однако, исходной точкой все крепнувших отношений в течение последующих шестнадцати лет. Но об этом я писал в другом месте¹ и сейчас не хочу повторяться.

КИТАЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Революция 1911 года в Китае положила конец маньчжурской династии, правившей страной в течение двухсот пятидесяти лет. Китай был объявлен республикой, и первым ее президентом стал Сунь Ят-сен. Крайняя экономическая и социальная отсталость, чрезвычайная сложность политических отношений, наличие большого количества разнообразных противоречий внутри страны, а также постоянное иностранное вмешательство (причем главную роль играл британский, японский и американский империализм) помешали созданию прочной центральной власти в Китайской республике. К двадцатым годам она фактически распалась на ряд военно-феодалных уделов, которыми правили генералы, стоявшие во главе расположенных в их пределах войск. Все они беспощадно грабили население и вели бесконечную междоусобную борьбу, нередко выливавшуюся в форму открытой войны. Иногда группы генералов объединялись и превращались в вассалов той или иной иностранной державы. В двадцатых годах главных группировок подобного типа было три: Мукденская во главе с Чжан Цзо-лином, Аньфуистская во главе с Дуань Ци-жуем и Чжилейская во главе с Цао Кунем и У Пэй-фу. Первые две были тесно связаны с японским милитаризмом, а третья была ставленницей английского и американского империализма. Все они оперировали в Северном Китае.

Исключением была самая южная из китайских провинций — Гуандун со столицей Кантоном, расположенной в двух шагах от британской колонии Гонконг. Этот уголок гигантской страны был более развит экономически, политически и культурно, и здесь существовало гражданское правительство, главой которого был Сунь Ят-сен.

Октябрьская революция в России произвела огромное впечатление на вождя китайской революции. Он стал внимательно изучать ее опыт и принципы и вскоре понял, что если Китай действительно хочет добиться разрешения своих наиболее насущных задач, он должен пойти путем, указанным Лениным, — конечно, с учетом специфических условий своей страны. В 1923 году он произвел реорганизацию руководимой им партии гоминдан, вступив в союз с незадолго перед тем возникшей Коммунистической партией Китая, и пригласил в Кантон советских специалистов в финансовой, экономической и военной областях. Наиболее видными среди них были М. М. Бородин, В. К. Блюхер (известный там как генерал Галин), В. М. Примаков и другие.

В июле 1926 года национально-революционная армия, созданная Сунь Ят-сеном, начала свой знаменитый Северный поход; он закончился занятием крупнейших центров в долине Янцзы — Ухани, Наньчана, Шанхая, Нанкина. Однако в рядах революционных сил вскоре обнаружились серьезные разногласия, которые привели к их внутреннему расколу. Реакционные элементы при поддержке внешних сил оказались победителями, а Чан Кай-ши, изменивший Сунь Ят-сену и перебежавший на их сторону, захватил власть в Шанхае.

Это послужило сигналом. Осмелевшие реакционные силы везде подняли голову и в течение весны и лета 1927 года подавили сопротивление со стороны левых элементов в Кантоне, Нанкине и других городах. В июле 1927 года большинство

¹ См И Майский. Шоу и другие. Воспоминания. «Искусство». М. 1967.

левых гоминдановцев либо бежало, либо капитулировало перед реакцией. Китайская революция 1925—1927 годов потерпела неудачу.

История этого периода Китайской республики очень интересна и сложна, но, к сожалению, я не могу остановиться на ней в этих воспоминаниях достаточно подробно. И все же вкратце напоминаю о ходе некоторых событий, так как они нашли сильный отзвук в сфере англо-советских отношений тех дней. Они оказали заметное влияние и на мою работу в Лондоне.

В двадцатые годы Англия была полной сил империалистической державой. В Китае из шести империалистических государств, эксплуатировавших тогда его, Великобритания была главной (на втором месте стояла Япония, на третьем — Франция, на четвертом — США). Совершенно естественно, что острее антиимпериалистического удара во время революции 1925—1927 годов в первую очередь направлялось против Великобритании, чему в немалой степени способствовала тогдашняя политика Японии: японские империалисты с помощью демагогического маневрирования стремились — и не без успеха — обратить гнев китайских масс против своего английского конкурента. Вполне понятно, что антибританское движение в Китае вызывало крайне болезненную реакцию в Лондоне. Каждая победа национально-революционной армии, каждая рабочая стачка в Шанхае или Тяньцзини, каждая революционная демонстрация в Кантоне или Ханькоу воспринимались с содроганием на берегах Темзы. А отсюда вытекали весьма важные последствия для англо-советских отношений.

СССР, с первых же дней своего существования провозгласивший и осуществивший в своих пределах принцип самоопределения наций, СССР, положивший тот же принцип в основу своих отношений с колониальными и полуколониальными странами, не мог не приветствовать китайскую революцию.

В Лондоне это толковалось как враждебная акция, как дерзкий вызов британскому государству, как прямая помощь «бунтующим» против него. Такое настроение было сильно распространено в довольно широких кругах, вплоть до лейбористов.

Разумеется, мне как заведующему отделом печати приходилось на каждом шагу сталкиваться с «китайским вопросом» — в опровержении различных выдумок лондонской прессы о планах Советского правительства на Дальнем Востоке, в разговорах с английскими журналистами о деятельности «генерала Галина» или о роли «наместника» Бородин в Китае. К счастью, я по тогдашним масштабам был достаточно хорошо подготовлен к таким спорам и дискуссиям. В нашей советской колонии даже слыл «специалистом» по китайским делам.

Судьба сложилась так, что мне тогда пришлось принять участие — правда, очень маленькое и косвенное — в событиях, связанных с китайской революцией. Левые гоминдановцы организовали в Лондоне «Китайское информационное бюро», которое регулярно выпускало бюллетень новостей из Китая, издавало листовки и памфлеты, посылало в английскую прессу статьи и опровержения, поддерживало личный контакт с видными политическими деятелями Англии. Руководителем «Бюро» был полковник Сесиль Эстрэнж Малон.

Это был очень своеобразный человек с интересной и редкостной биографией. Сын священника, он сделал блестящую карьеру морского летчика, которых в то время было очень мало. Во время первой мировой войны Малон проявил большую храбрость, имел ордена и награды, в 1918 году был назначен первым английским воздушным аташе в Париж. Казалось, перед ним открывалась широкая дорога служебного успеха и почестей... И вдруг, вскоре после окончания войны, внимание Малона привлекла великая революция, разворачивавшаяся тогда в России. В дни гражданской войны и интервенции он, преодолевая различные трудности, пробрался в Советскую Россию и, вернувшись домой, опубликовал дружественную нам книжку «Русская Республика». В тогдашней обстановке это было очень смело. Потом Малон заинтересовался китайской революцией и стал руководителем «Китайского информационного бюро». Это также было актом редкого мужества.

Вскоре после моего приезда в Лондон Малон пришел в отдел печати и зая-

вил, что хочет познакомиться со мной. Между нами быстро завязались добрые отношения, и в течение дальнейших двух лет сложилось тесное сотрудничество отдела печати с «Китайским бюро». Мы нередко обменивались материалами, совместно обсуждали планы тех или иных выступлений, оказывали друг другу помощь. В начале 1927 года, когда национально-революционное правительство Китая переехало в Ухань, из Москвы меня просили подыскать в Лондоне англичанина (но не коммуниста), который согласился бы стать редактором большой прогрессивной газеты, проектировавшейся в Ухани. Я рассказал Малону об этой возможности. Он сразу загорелся и вскоре после того уехал в Китай через СССР. С дороги, откуда-то из Сибири, Малон прислал мне маленькую открытку. Текст ее был самый трафаретный, но для меня открытка была сигналом, что он жив-здоров и стремится по-прежнему к своей цели. Потом наступило длительное молчание...

Много позднее я узнал, что Малон прибыл в Китай уже тогда, когда Чан Кай-ши нанес удар в спину революции. Большая левоминдановская газета в Ухани оказалась просто невозможной. Малону пришлось вернуться домой. Он успел, однако, собрать немало интересного материала и несколько позднее выпустил недурную книжку, озаглавленную «Новый Китай».

В конце 1932 года, когда я приехал в Лондон в качестве посла, я вновь встретил Малона. Встретил и... не узнал. В дни «Китайского информационного бюро» мы с полуслова понимали друг друга, хотя мой собеседник не был коммунистом. Теперь передо мной сидел типичный английский консерватор, для которого прежние увлечения были всего лишь безответственными «эскападами юности». Я не знал, что думать. Мы виделись еще раза два-три, но все меньше понимали друг друга. Потом разошлись окончательно, и весь мой двухлетний «роман» с Малоном остался в моей памяти как пример одной из почти фантастических трансформаций человека, какие, мне кажется, бывают лишь в Англии.

ВЦСПС И ГЕНСОВЕТ ТРЕД-ЮНИОНОВ

К 1924 году революционная волна, прокатившаяся по Европе после первой мировой войны, значительно спала. Верхушка буржуазного общества, сначала сильно напуганная, стала постепенно приходить в себя. Капитал все решительнее переходил в наступление, отбирая у рабочих многие завоевания, сделанные ими в дни подъема. Тем острее стоял вопрос об объединении всех сил пролетариата для борьбы с капиталом как в политической, так и в экономической области. А между тем в рядах мирового рабочего класса был глубокий раскол. В сфере политической он находит свое выражение в существовании Коммунистического Интернационала и Второго Интернационала. В сфере экономической наблюдалось то же самое: с одной стороны, Москва была центром Профсоюзного интернационала, обычно именовавшегося «Профинтерном» и объединившего возникшие после войны революционные профсоюзы; с другой стороны, в Амстердаме был центр реформистских профсоюзов, в просгоречии — «Амстердамский интернационал», который объединял старое, возникшее задолго до войны профдвижение главным образом западноевропейских стран. Генеральным секретарем Профинтерна был С. А. Лозовский, генеральным секретарем Амстердамского интернационала был голландец Удегест. Отношения между обеими профсоюзными федерациями оставляли желать многого, и это нередко пагубно отражалось на борьбе различных отрядов международного пролетариата против капитала. Весной 1924 года в Лондон прибыл представитель ВЦСПС, который вел переговоры с лидерами британских тред-юнионов относительно изыскания путей и способов сближения между Профинтерном и Амстердамским интернационалом.

Очень скоро выяснилось, что сделать это в мировом масштабе (то есть между обоими профсоюзными интернационалами) очень трудно, потому что лидеры профсоюзов на континенте Западной Европы, такие, как Жуо во Франции, Лейпарт в Германии, Удегест в Голландии, были настроены слишком антисоветски. Тогда возникла идея: в качестве первого шага попытаться реализовать более

скромное начинание, а именно сблизить по крайней мере профдвижение двух стран — СССР и Англии. Это в тот момент казалось достижимым. ВЦСПС стоял целиком на позиции сотрудничества с британскими тред-юнионами, а верхушка последних, в частности Генеральный совет тред-юнионов, занимала в данном вопросе гораздо более благоприятную позицию, чем профсоюзные лидеры континента. Последнее объяснялось тем, что послевоенная революционная волна в Англии в 1924 году была еще настолько высока, что английская буржуазия в порядке классового маневрирования допустила образование лейбористского правительства Макдональда.

ВЦСПС и английские профсоюзные лидеры выдвинули идею объединенного комитета из представителей обоих профдвижений. Идея нашла благоприятный прием на конгрессе тред-юнионов в Скарборо (сентябрь 1924 года). После того началась практическая подготовка такого комитета. Она проходила не вполне гладко, так как в британских тред-юнионах существовало правое крыло, возражавшее против слишком большой близости с советскими профсоюзами. В верхах лейбористской партии также смотрели с опаской на позицию, занятую Генсоветом. Лидеры тред-юнионов тогда были настроены по отношению к СССР более дружелюбно, чем такие люди, как Макдональд и Сноуден. Руководство Амстердамского интернационала, особенно Удегест, со своей стороны всячески ставило палки в колеса английским профсоюзным лидерам, стремясь сорвать создание англо-советского комитета.

Тем не менее 6—8 апреля 1925 года в Лондоне состоялась англо-советская конференция единства. Конференция постановила предпринять совместные шаги к тому, чтобы побудить Амстердамский интернационал согласиться на немедленный созыв, без всяких предварительных условий, встреч с представителями советских профсоюзов в интересах создания международного единства. Для подготовки и проведения таких встреч и был образован Англо-Русский профсоюзный комитет. Конференция опубликовала также совместную декларацию, в которой подчеркивалась крайняя необходимость единства мирового профдвижения именно теперь, когда создался единый фронт капитала, а рабочие массы теряют свои недавние завоевания, быстро растет безработица и понижается уровень жизни пролетариата, а на горизонте вновь возрождается грозный призрак войны. Единственная сила, способная противодействовать такому ходу событий, говорилось в декларации, это мировой рабочий класс, лозунгами которого должны быть: «Пролетарии всех стран, соединитесь!», «Да здравствует мировая федерация профсоюзов!»

Англо-Русский профсоюзный комитет оформился и приступил к действию.

Я приехал в Лондон после окончания конференции, и Д. В. Богомолов, ближе других работников полпредства стоявший к профсоюзным делам, подробно рассказал мне об относящихся сюда событиях. Кое-что я знал уже в Москве. Руководители ВЦСПС просили меня помочь им в Англии. Я охотно на это согласился и по прибытии в Лондон стал искать конкретные формы для выполнения поручения председателя ВЦСПС. Это оказалось не так-то просто. Никакого опыта в такой работе у меня не было (его мало было тогда и у ВЦСПС), приходилось ощупью искать пути, делая иногда промахи и ошибки. В конечном счете как бы по совместительству с моей основной работой в полпредстве я стал чем-то вроде представителя ВЦСПС при британской части Англо-Русского профсоюзного комитета. Д. В. Богомолов сильно помог мне освоить новую отрасль моей лондонской работы — в частности, он быстро перезнакомил меня с наиболее видными лидерами тред-юнионов, о которых речь пойдет дальше.

ПОСОЛЬСТВО ПРИ «ОППОЗИЦИИ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА»

Бойкот Форейн оффиса в отношении советского полпредства и резко антисоветское настроение правящего класса вообще создавали вокруг нас совершенно особую атмосферу. Точно глубокий ров лежал между нами и буржуазными кру-

гами, ров, через который решались переступить лишь редкие одиночки из среды знатных и богатых. Даже либералы, и даже такие их выдающиеся представители, как Ллойд-Джордж, воздерживались от прямых сношений с полпредством и занимали позицию настроенного нейтралитета.

Напротив, лагерь лейбористской оппозиции продолжал сохранять ту дружелюбность к советским людям, которая возникла в первые годы после Октября и которая особенно укрепилась в дни наших переговоров с правительством Макдональда. Лейбористы, перейдя в оппозицию, политически отставали, как и раньше, договоры от 8 августа 1924 года и с этой точки зрения атаковали при всяком удобном случае политику правительства Болдуина. В случаях необходимости полпредство обращалось к помощи лейбористской фракции парламента. Результатом этого были либо запросы лейбористских депутатов правительству, либо серьезные дебаты в палате общин по стоящим на очереди проблемам.

Личные контакты лейбористов с членами советского полпредства были часты, тесны и разнообразны. Лейбористские парламентарии и тред-юнионисты составляли обычно главную массу гостей на наших больших приемах по случаю Октябрьской годовщины, Первого мая и т. п. В те дни лондонский дипломатический корпус в основном состоял из людей старой школы, которые искали общения с лордами и воротилами Сити и избегали встреч с представителями рабочих организаций. Поэтому лейбористов в посольства буржуазных держав приглашали нечасто. Советское полпредство было единственным, где они считались желанными гостями. Лейбористы это ценили, и я хорошо помню, как один из тред-юнионистских лидеров, Свелс, как-то с особым чувством мне сказал:

— Американский или французский посол меня к себе не приглашает, а советский приглашает — сразу чувствуешь разницу: там правительство капиталистов, а здесь правительство рабочих. Мы этого никогда не забываем!

Слова Свелса были не просто фразой. В те годы не только широкие массы английских рабочих, но и их лидеры, даже расходясь с нами по многим вопросам, как-то стихийно, инстинктивно ощущали симпатию к Советской России. В последующие годы и десятилетия острота этого чувства ослабела, но в то время память о 1920 году, когда британский пролетариат грозил британскому правительству всеобщей стачкой в случае открытого выступления против Советской России, была еще слишком свежа.

Бывали у нас встречи с лейбористами и более личного характера. Работники посольства приглашали их маленькими группами в рестораны на завтраки или обеды, а наши английские друзья в ответ приглашали нас на завтраки и обеды в ресторан парламента, где под саркастическими взглядами консерваторов они как бы подчеркивали свою близость с советскими людьми.

В конечном итоге создавалось впечатление — и оно соответствовало действительности, — что советское полпредство ведет всю свою «дипломатию» с лейбористами и тред-юнионистами. Консервативные остряки называли наше полпредство «посольством при оппозиции его величества», а лондонская печать не раз указывала на ненормальность подобного положения. Однако ответственность за такую ненормальность несла целиком партия Болдуина — Джикса.

Дружественные отношения ВЦСПС с Генсоветом еще больше подчеркивали эту невольную односторонность нашей политической ориентации в Англии. Летом 1925 года руководители ВЦСПС приехали в Париж, туда же прибыли представители Генсовета: руководители Англо-Русского комитета, не желая создавать большого шума, устроили здесь частное совещание для обсуждения некоторых текущих вопросов. Меня и Богомолова тоже вызвали в Париж, и я имел возможность близко наблюдать эти интересные переговоры.

Вот тогда-то и возникла мысль всячески укрепить личные связи с лидерами тред-юнионов. А для этого хорошо было бы кому-нибудь из нас, работников полпредства, поселиться на английский манер — в коттедже — и приглашать к себе почаще в гости тред-юнионистскую верхушку. Вот почему мы с женой и устроились по-домашнему на Бичвуд-авеню 13 (о чем я уже упоминал).

Зима 1925/26 года, проведенная нами в этом коттедже, осталась у меня в памяти как пора дружеского общения с лидерами тред-юнионов. Она часто приходила к нам поужинать и провести за беседой и развлечением время. Моя жена была радушной хозяйкой, в доме царило оживление. Англо-Русский комитет переживал свою весну, и поэтому, хотя в англо-советских правительственных отношениях температура была ниже нуля, тем больше хотелось компенсировать официальную холодность теплотой общественных связей.

Встречи обычно начинались за столом. Так принято в Англии. После ужина, за кофе — опять-таки по-английски, — вспыхивали разговоры на более серьезные темы: о делах Англо-Русского комитета, о последних политических новостях, о мерах борьбы за улучшение отношений между СССР и Англией. Иногда пели песни — англичане свои, мои свои, — играли в различные игры или рассказывали веселые истории. Так мало-помалу в течение нескольких месяцев мы привыкали друг к другу, и лидеры тред-юнионов начинали понимать, что «страшные большевики» — люди, искренно стремящиеся к тому, чтобы улучшить человеческую жизнь.

Я не могу перечислить всех тех англичан, которые в ту зиму перебивали у нас в коттедже. Их было много. Но о некоторых я хотел бы сказать несколько слов.

Джордж Хикс был красивый мужчина лет пятидесяти, его чуть портила преждевременная полнота, нередко появляющаяся у людей, ранее занимавшихся физическим трудом. Хикс начал свою карьеру мальчиком на побегушках в конторе строительных материалов, но затем проявил недюжинные способности и, пройдя длинный ряд ступеней, вырос до положения лидера английских строительных рабочих. Хикс был человек живой и веселый и охотно становился «тамадой» за нашим вечерним столом. Среди других тред-юнионистов он выделялся начитанностью и даже кое-что знал об истории революционного движения в России. По английским понятиям Хикс был хорошим лидером, сделавшим немало полезного для членов своей организации, хотя к массе рядовых строителей он относился несколько свысока.

В тридцатых годах Хикс был избран в парламент и стал совмещать профсоюзную деятельность с политической. В годы второй мировой войны он поднялся до младших министерских постов и постепенно все дальше отходил от тред-юнионизма — явление, довольно частое в английской практике. Однако к чести Хикса надо сказать: он неизменно оставался другом Советского Союза. В дни же наших свиданий на Бичвуд-авеню Хикс занимал в Англо-Русском комитете левую позицию и был там одной из наших главных опор.

Свелс — лидер машиностроителей — был постарше Хикса. Толстяк — у него было большое сердце, — молчаливый, он иногда приходил к нам со своей женой — тоже очень полной, довольно разговорчивой женщиной. Среди тред-юнионистских лидеров он пользовался большим уважением. Он был активным сторонником Англо-Русского комитета и вел постоянную борьбу с критиками справа. ВЦСПС устроил Свелсу поездку в Кисловодск, где советские медики сделали все возможное, чтобы поправить его здоровье. Он вернулся с Кавказа, потеряв десять килограммов, и с восторгом рассказывал о собственном лечении и о том, что в первоклассных санаториях лечатся рабочие. Рассказы Свелса произвели большое впечатление на всех его товарищей.

Артур Кук был лидером горняков. Он несколько отличался от остальных тред-юнионистских лидеров не только возрастом — был моложе их, лет сорока, не больше, — и внешностью, но и всем своим духовным строем. Высокий, подвижный, он говорил быстро, горячо, то и дело ероша свои рыжие волосы. Психологически и идеологически Кук был где-то на грани английски-обычного и английски-необычного. Он занимал крайне левую позицию, сочувствовал социализму, стремился к революционным действиям. Поэтому его увлекал «русский пример», и он с величайшим энтузиазмом поддерживал Англо-Русский комитет, рассматривая его как первый шаг к гораздо более яркому будущему. И вместе с тем, как генеральный секретарь Федерации углекопов, он испытывал на себе мощное давление окружающей его тред-юнионистской среды с ее вековыми традициями, реформист-

скими настроениями, засилием оппортунистов, неспособных смотреть дальше своего носа. Вот почему в Кукс всегда чувствовалось что-то двойственное, внутренне разорванное. Это вскоре с полной ясностью обнаружилось во время великой борьбы горняков 1926 года, когда Кукс неожиданно оказался в центре английского и даже мирового внимания.

Пэт Коатс не был тред-юнионистским лидером, однако благодаря особому стечению обстоятельств был заметным и подчас очень важным звеном в действиях лейбористского мира, когда речь шла об англо-советских отношениях. Ирландец по национальности, транспортник по профессии. Коатс еще в молодые годы заинтересовался революционным движением в России. Этому в немалой степени способствовала его женитьба на еврейской девушке из российских эмигрантских кругов. Зельда Коатс была женщина умная, трудолюбивая и с широкими запросами в области теории. Из нее вышла хорошая марксистка, но ее муж так и остался левым лейбористом с большой симпатией к России, к русской революции, к возникшему после Октября Советскому государству. В 1919 году, когда против нашей революции развертывалась иностранная интервенция, Коатс стал одним из организаторов, а затем секретарем знаменитого комитета «Руки прочь от России!». Роль его в критические дни 1920 года, когда Ллойд-Джордж собирался выступить на стороне Польши в советско-польской войне, была очень велика. С приходом к власти первого лейбористского правительства (1924 год) Коатс хотел было распустить свой комитет, считая, что теперь в нем миновала надобность. Однако события показали ошибочность такого мнения. Комитет «Руки прочь от России!» остался, но изменил свое имя (а отчасти и формы работы) и стал называться теперь Англо-Русским парламентским комитетом. В таком виде я застал его в 1925 году и сразу же установил с ним самый тесный контакт. В состав комитета тогда входили как лейбористы-политики, так и тред-юнионистские лидеры. Комитет был связующим звеном между нашим полпредством и дружественными нам депутатами парламента. Это было очень важно, особенно в обстановке, создавшейся после прихода к власти кабинета Болдуина. Комитет также публиковал бюллетени или брошюры, которые затем распространялись в политических и газетных кругах.

И вот в центре этой кипучей, полезной и необходимой деятельности стояли Пэт Коатс и его жена. Между супругами существовало известное разделение труда: Пэт вел всю «внешнюю» политику комитета — носился целый день по городу, виделся с бесконечным количеством людей, договаривался с депутатами и тред-юнионистскими лидерами, — а Зельда вела почти всю «внутреннюю» политику — читала газеты и книги, составляла бюллетени и писала брошюры, разрабатывала планы будущих выступлений и кампаний. Впрочем, иногда и Пэт прилагал свою руку к публикуемым комитетом произведениям. В общем, работа супругов шла дружно и успешно. Так было в 1925 году, так было и в последующие годы и десятилетия. Это сотрудничество закончилось лишь несколько лет назад, когда умер Пэт. Зельда еще жива, но годы и болезни сильно одолевают ее сейчас.

Вполне естественно, что супруги Коатс были постоянными и желанными гостями в нашем коттедже на Бичвуд-авеню¹.

Но самой яркой фигурой из наших тогдашних гостей был Бен Тиллет.

До середины восьмидесятых годов прошлого столетия английские тред-юнионы представляли собой замкнутые профессионально-цеховые организации квалифицированных рабочих, проникнутые сугубо реформистскими взглядами. Неквалифицированные оставались неорганизованными. Однако к концу восьмидесятых годов по причинам, на которых я сейчас не буду останавливаться, среди этих наиболее обездоленных кругов пролетариата начался подъем, самым ярким проявлением которого была большая стачка лондонских докеров летом 1889 года, кончившаяся их победой. Эта стачка стала важной вехой в истории британского тред-юнионизма. С нею на историческую сцену вышли массы чернорабочих, настроенных гораздо

¹ В 1942 году супруги Коатс опубликовали очень полезную работу по истории англо-советских отношений.

более революционно. С нее начинается развитие так называемого «нового тред-юнионизма», создавшего ряд профсоюзов неквалифицированных рабочих во главе с союзом портовых рабочих. Так вот: на историческом рубеже между старым и новым тред-юнионизмом стоит фигура Бена Тиллета.

Тиллет вместе с Томом Манном — старейшим деятелем рабочего движения Англии — был во главе стачки докеров, Тиллет оказался и во главе созданного в связи с ней союза портовых рабочих, Тиллет был лидером и вдохновителем быстро возникших в девяностых годах «новых тред-юнионов».

На первых порах он был настроен революционно, хотя его взгляды оставались весьма неопределенного толка; позднее вступил в левореформистскую Независимую рабочую партию и дальше этого не пошел. В противоположность Тому Манну, который после русского Октября стал на коммунистические рельсы, Тиллет все больше передвигался вправо.

Впервые я увидел его еще в годы моей эмиграции на конгрессе тред-юнионов в 1913 году. Он поразил меня тогда противоречием между словом и делом. Когда обсуждалось безобразное поведение ирландской полиции во время стачки транспортников в Дублине, Тиллет произнес бурно-революционную речь, в которой требовал предоставления народу права на хранение огнестрельного оружия и использование его для самообороны от полиции. А потом, когда дело дошло до принятия решения, он вместе с другими голосовал за архимузеренную резолюцию.

В дни тред-юнионистских встреч в нашем коттедже Тиллет был на положении ветерана английского рабочего движения. Он по-прежнему считался лидером транспортников и пользовался большим уважением, но непосредственно делами своего союза не занимался. Идея сближения между ВЦСПС и Генсоветом ему очень нравилась, и он энергично поддерживал ее. Тиллет был частым гостем на наших вечеринках и всегда вносил в общество много веселья и оживления. Этот высокий, плечистый, худощавый человек с темными волосами и ярко вспыхивающими глазами был полон внутреннего огня, которым зажигал других. Он крепко пил, но никогда не терял головы, только лицо краснело и глаза разгорались. Тиллет любил петь, и моя жена, которая любила и умела петь, была его постоянной партнершей. Иногда на Тиллета находило озорное настроение, тогда он начинал дразнить гостей, рассказывал смешные истории о своих стычках с другими лидерами рабочего движения.

Однажды он привел с собой голландца Эдо Фимена. Это был высокий, мускулистый человек с румяным лицом, тоже транспортник, как и Тиллет. Они были друзьями, и Тиллету, видимо, хотелось похвастаться своим товарищем. Фимен играл видную роль в Амстердамском интернационале, но в отличие от секретаря последнего, Удегеста, весьма антисоветски настроенного, он занимал чрезвычайно левые для реформиста позиции. За ужином между нашими гостями разгорелся спор. Кто-то из присутствовавших англичан заговорил о мощи британского тред-юнионизма и в доказательство привел тот факт, что как раз летом 1925 года правительство вынуждено было удовлетворить требования горняков. Хикс, несколько подвыпивший, презрительно махнул рукой и воскликнул:

— Что правительство? Мы теперь получим от правительства все, что захотим!

Фимен, молча слушавший происходивший разговор, вдруг оживился и решительно воскликнул:

— Не согласен!

— Как не согласен? — задорно воскликнул Тиллет.

— А так вот, не согласен, — еще решительнее заявил Фимен. — Вы думаете, если Болдуин уступил горнякам, то вы уже стали хозяевами положения? Осторожнее на поворотах! Я не умаляю силы тред-юнионизма — сила, к счастью, есть и служит английскому рабочему. Но взгляните на мировую ситуацию, кто ее определяет? Простите меня, дорогие товарищи, но скажу прямо: мировую ситуацию для нас, рабочих, определяет Советский Союз! Если бы он вдруг исчез, как все сразу перевернулось бы в мире! Те самые предприниматели, которые сейчас вежливо с

нами разговаривают и идут нам на уступки, немедленно же выгнали бы нас из своих приемных. И уступки Болдуина вашим горнякам в последнем счете тоже объясняются наличием на земном шаре Советского Союза. Капиталисты боятся его...

Я умышленно не принимал участия в этом споре, но мне показалось, что тред-юнионистские лидеры уходили с этого нашего вечера настроенными несколько иначе, чем раньше. Впрочем, как показало дальнейшее, слова Фимена задели их не очень глубоко. Но как бы там ни было, в ту зиму наши отношения с тред-юнионистами были близкими, дружественными и теплыми.

Иначе дело обстояло с политическими вождями из лейбористского лагеря. Разумеется, полпредство имело постоянный контакт с лейбористскими депутатами парламента, но это был в основном деловой контакт и осуществлялся он главным образом через Англо-Русский парламентский комитет. Изредка устраивались встречи с отдельными депутатами или группами депутатов и работниками полпредства где-либо в ресторане, они несколько «утепляли» отношения, однако ничего подобного близкому личному общению на Бичвуд-авеню тут не было.

В отношении к полпредству среди лейбористских политиков тоже имелась известная дифференциация: верхушка партии соблюдала большую сдержанность и не всегда появлялась даже на наших официальных дипломатических приемах.

Летом 1925 года я сделал попытку несколько растопить лед. В годы эмиграции Макдональд и Филипп Сноуден были моими близкими личными знакомыми. Апеллируя к прошлому, я написал им дружественные письма и выразил желание с ними повидаться. И что же? Сноуден ответил мне теплым письмом и обещал известить меня о дне встречи, но я тщетно прождал такого извещения два года и покинул Англию, так и не увидев его. Макдональд поступил проще и грубее: его секретарша сообщила мне, что бывший премьер сейчас слишком занят.

Весьма характерно, что в те дни в полпредстве не появлялись такие люди, как Понсонби, который, как заместитель Макдональда по Форейн оффису, вел с советской делегацией в 1924 году все основные переговоры, и что к нам ни разу не заглянули такие люди, как супруги Вебб, которые напишут позднее, в тридцатых годах, свою известную книгу «Советский коммунизм», очень дружественную нам. Из лейбористов-политиков, которые стояли тогда ближе к посольству, я вспоминаю только Артура Гендельсона и Джорджа Ленсбери.

Мне думается, что разница в отношении к СССР между политическим и профсоюзным крылом рабочего движения была связана с событиями 1924 года. Все переговоры с Советским правительством в том году вели лейбористы-политики, в первую очередь Макдональд и другие члены лейбористского кабинета. Переговоры кончились неудачей и даже провалом лейбористского правительства на выборах. Если не официально, то в душе политики-лейбористы обвиняли в этом советскую сторону — ее несговорчивость, ее несдержанность в речах и газетной полемике. И когда разыгралась история с «Письмом Зиновьева», многие лейбористские политики долго не могли решить, верить или не верить в его подлинность.

Напротив, среди лидеров английских тред-юнионов, непосредственно не участвовавших в переговорах 1924 года, не было никаких обид, никаких неприятных воспоминаний, никакого разъединяющего осадка от недавнего прошлого. А развернувшийся к тому времени «роман» между ВЦСПС и Генсоветом рождал в их среде оптимистические ожидания. Вот почему зимой 1925/26 года полпредство было теснее связано с лидерами профсоюзного, а не политического крыла рабочего движения.

(Окончание следует)



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА ЖЕННИ МАРКС

Литературное наследство Женни Маркс до сих пор почти неизвестно русскому читателю. Сосредоточенное в немецких повременных изданиях семидесятых годов прошлого века, оно оставалось доступным лишь немногим исследователям-специалистам. Только в самое последнее время некоторые ее статьи и корреспонденции собраны и вновь опубликованы в Германской Демократической Республике, став доступными всем, кто интересуется биографией Карла Маркса, в чьей жизни Женни Маркс, урожденная фон Вестфален, играла столь большую роль.

Вступая в брак с Марксом в 1843 году, молодая баронесса фон Вестфален порвала с аристократической средой, к которой принадлежала по рождению и в которой минули ее детство и юность. Затем, на протяжении тридцати восьми лет, она прошла через все испытания полицейских преследований, изгнания, нищеты, трудной борьбы. Женни Маркс не только воспитывала детей и занималась хозяйством, мужественно борясь с постоянной нуждой; она своей рукой переписывала набело неразборчивые рукописи Маркса, вела обширную корреспонденцию с деятелями международного рабочего движения, была литературным секретарем мужа и неустанной его помощницей. После ее смерти (в 1881 году) Фридрих Энгельс писал:

«То, что эта женщина, со столь острым критическим умом, с таким политическим тактом, с такой энергией и страстностью характера, с такою преданностью своим товарищам по борьбе, сделала для движения в течение почти сорока лет,— это не стало достоянием общественности, об этом нет ни слова в летописях современной печати. Это каждый должен был пережить лично. Но в одном я уверен: жены изгнанников-коммунаров часто еще будут вспоминать о ней, а наш брат часто будет чувствовать, как недостает нам ее смелого и благоразумного совета — смелого без бахвальства, благоразумного без малейших уступок в вопросах чести».

Из писем самого Маркса и воспоминаний таких людей, как Лафарг, известно, что Маркс придавал огромное значение мнению Женни и ничего не сдавал в печать, не выслушав предварительно суждений и критики жены. Маркс высоко ценил литературные способности Женни, ее стиль. Однако возможность выступить самостоятельно на литературном поприще Женни Маркс получила лишь в последние годы жизни. Это произошло в семидесятых годах, когда секретарские обязанности приняли на себя подросшие дочери и уменьшившиеся заботы о детях, о хозяйстве предоставили ей большой досуг. Тогда-то Женни и проявила себя талантливым, незаурядным публицистом.

Карл и Женни Маркс пристально следили за событиями в России, вели переписку с многочисленными русскими корреспондентами; Маркс анализировал русскую историю и экономику, чтобы лучше ознакомиться с источниками, изучал русский язык. В его архиве сохранились обширные выписки из «Писем без адреса» Чернышевского, из книг Берви-Флеровского, Костомарова, Семевского, Энгельгардта и многих других. Как всег-

да, помогала ему в этой работе Женни. В лондонском доме Марксов побывали Лавров, Лопатин, Дмитриева и многие другие русские революционеры. Плодом изучения многочисленных русских литературных источников явился один из циклов статей Женни Маркс, опубликованный во «Frankfurter Zeitung. Beilage» 17, 19 и 30 сентября 1878 года под заглавием «Russisches» («Русское»).

В этих заметках о России Женни преследовала двоякую цель: разоблачая жестокость, произвол, гнилостный режим царской России, она тем самым пригвождала к позорному столбу и бисмарковскую Германию, которая пошла по ее стопам и в 1878 году приняла драконовский закон против социалистического движения. Кроме русских источников, Женни Маркс использовала в этих статьях также и корреспонденции английских журналистов, посетивших Россию. Следует отметить, что глубокое знание предмета позволяло ей критически подходить к прочитанным корреспонденциям и безошибочно отмечать в них все сомнительные и недостоверные места.

Та же газета в 1875—1877 годах печатала корреспонденции Женни Маркс из Лондона — ее театральные обзоры, основанные уже не на изучении источников, а на собственных живых впечатлениях.

Театром Женни Маркс увлекалась страстно и сама, несомненно, обладала актерским дарованием — она прекрасно читала стихи на рабочих собраниях, о чем упоминалось в партийной прессе. Внимательно следила она за театральной жизнью тех стран, где ей приходилось жить: Германии, Франции, Англии. И даже под конец жизни, уже смертельно больная, она продолжала посещать лондонские театры — это доставляло ей величайшее наслаждение и помогало превозмогать страдания.

За несколько месяцев до смерти Женни Карл Маркс писал старшей дочери: «Что касается Мемхен (мамочки.— *Ред.*), то ты знаешь — нет средства против болезни, которой она страдает, и она действительно слабеет. К счастью, боли не такие, какие большей частью бывают в подобных случаях, лучшим доказательством чему может служить то, что она до сих пор бывает несколько раз в неделю в лондонских театрах»¹.

Общим для всей семьи Марксов было увлечение Шекспиром. Карл Маркс цитировал Шекспира особенно широко и охотно — не только в своих исторических работах, но и в «Капитале» и «К критике политической экономии».

В комнате старшей дочери — Женни — была, по свидетельству матери, устроена «настоящая галерея из шекспировских портретов и книг». Унаследовав от матери влечение к сцене, Женни даже выступала в роли леди Макбет в одном из лондонских театров. А младшая дочь — Элеонора — работала в сотрудничестве с известным шекспироведом Фёрнивеллом над подготовкой переизданий прижизненно изданных шекспировских текстов. Ею переведен на английский язык труд немецкого профессора Делиуса об эпическом элементе у Шекспира.

Свой первый обзор лондонской театральной жизни Женни Маркс посвятила лучшему исполнителю шекспировских ролей, великому актеру своего времени Генри Ирвингу. В ноябре 1875 года ее младшая дочь Элеонора переслала эту статью журналисту и редактору социал-демократических газет Карлу Гиршу, написав при этом в сопроводительном письме:

«Мама хотела бы, чтобы вы, если это возможно, опубликовали ее во франкфуртской газете. Если бы папа был свободен, то он сам написал бы критику — статью о г-не Ирвинге, который нас очень интересует² — (хотя мы с ним лично не знакомы), — во-первых, потому, что это человек редкого таланта, и еще потому, что вся английская пресса из-за подлых интриг ополчилась на него и развернула против г-на Ирвинга настоящую кампанию. И если вы поместите критическую статью мамы во франкфуртской газете, то вы доставите нам огромное удовольствие».

Эта статья Женни Маркс была напечатана Гиршем во «Франкфуртской газете» 21 ноября 1875 года. Вслед за ней в той же газете появились и другие статьи Женни

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 35, стр. 159.

² Из воспоминаний М. Ковалевского мы знаем, что Маркс очень любил слушать Ирвинга в роли Гамлета и ценил его несравненно выше других артистов, даже Сальвини (см. «Воспоминания о Марксе и Энгельсе», М. 1956, стр. 313—314).

«Лондонский сезон», «Изучение Шекспира в Англии», «Ричард III» Шекспира в лондонском театре «Лицеум» и «Из лондонского театра»¹.

Театральные обзоры даны автором на фоне жизни тогдашней Англии. Женни Маркс высмеивает нравы и вкусы Джона Буля, а заодно внутреннюю и внешнюю политику правительства.

Интересно отметить, что в статье «Из лондонского театра», анализируя заметки Ирвинга о Шекспире, Женни Маркс вдруг, уклонившись в сторону от темы, переходит к России, к вопросу о жертвах царского режима, выступая при этом с резкой критикой английского журналиста Ролстона.

Дело было в том, что в этом же номере журнала рядом со статьями Ирвинга соседствовала статья Ролстона «Русская революционная литература». В ней он весьма непочтительно отзывался о революционной литературе России, а заодно и о русских революционерах, поскольку касался печально известного «процесса 50-ти», происходившего в феврале — марте 1877 года.

Женни Маркс, обрушиваясь на Ролстона и выступая против допущенных им искажений и клеветы, указывает на Чернышевского как на властителя дум прогрессивной молодежи и наставника революционеров. Она называет его «крупнейшим революционным писателем современности» и недоумевает по поводу того, что Ролстон его даже не упомянул в своей статье.

Как известно, Маркс в послесловии ко второму немецкому изданию «Капитала» говорит о Чернышевском как о «великом русском ученом и критике». Женни также была хорошо знакома с философскими, экономическими, публицистическими и художественными произведениями Чернышевского. В своей отповеди Ролстону она ссылается на них, обнаружив такое знание предмета, что Ролстон был уверен: критика эта принадлежит перу русского, и непременно социалиста.

В письме Маркса к Энгельсу мы читаем по этому поводу: «Наш толстяк Ковалевский снова встретил в Швейцарии Ролстона; тот сразу спросил его, не знает ли он того русского социалиста, который изобразил его (Ролстона) в отделе фельетона «Frankfurter Zeitung» обманщиком, трусом и т. д.? (Статья была написана моей женой.) Ковалевский почувал, откуда дует ветер, но ответил, не погрешая против истины, что он такого русского не знает. С тех пор Ролстон (который здесь опять приставал к нему) стал, однако, гораздо менее доверчив. (Эта помещенная в отделе фельетона статья была вызвана подлой выходкой Ролстона в отношении «Русской революционной литературы».)»².

Статьи Женни Маркс во «Франкфуртской газете» свидетельствуют о ее несомненных литературных способностях. Сама Женни со свойственным ей юмором писала Гиршу, что ей странно в ее пожилом возрасте выступать как заправскому литератору и выделывать «антраша и пируэты в фельетонном жанре».

То были годы, когда Женни, как уже было сказано, начала одолевать смертельная болезнь. В одном из писем к Либкнехту она признавалась: «На основании более чем 30-летнего опыта могу сказать, что не так-то легко терять мужество»³. Женни Маркс намеревалась лечить свою больную печень в Карлсбаде. Ей ответили: «Экс-баронесса фон Вестфален не может ехать, так как она жена Маркса»⁴. Три года спустя, 2 декабря 1881 года, Женни Маркс умерла.

Ниже мы предлагаем вниманию читателей нашего журнала три из написанных ею статей об английском театре (в переводе Н. и Е. Вильмонт), они, думается, сохраняют ценность для всех, кто интересуется историей театра, наследием Шекспира, а также духовной атмосферой дома Марксов.

Полина Виноградская.

¹ Все эти пять статей теперь собраны воедино и опубликованы Бруно Кайзером в ГДР в журнале «Beiträge zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung», № 6, 1966, стр. 1031—1045.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 34, стр. 69.

³ Там же, т. 33, стр. 570.

⁴ Erwin Kisch. Karl Marx in Karlsbad. Berlin. 1953, S. 45.

1

Из лондонского театрального мира

Лондон. Ноябрь [1875].

Джон Буль очень кичится своей прославленной конституцией, своим Мильтоном, которого он не знает, своей свиной отбивной, которую очень хорошо знает, и наконец — своим Вильямом Шекспиром. Но все это пустое. Всерьез он принимает только отбивную. Национального высокомерия и ханжества хватает, когда речь идет о том, чтобы воздвигнуть памятник «Эвонскому лебедю», величайшему из всех поэтов, но только низшие слои народа своими пожертвованиями осуществляют это на деле. Вокруг маленького дубка, посаженного на Примроуз-Хилл одиннадцать лет назад в трехсотлетнюю годовщину со дня рождения драматурга, собираются только актеры, влюбленные в своего Шекспира, да рабочие, которые основательно его знают по дешевым изданиям в один шиллинг и которые носят своего «Вилли» глубоко в сердце. Более двадцати лет тому назад Фелпсу — артисту маленького театра на восточной окраине Лондона — удавалось в течение длительного времени будить и поддерживать в рабочих интерес к Шекспиру. А в это время в западной части города так называемые образованные слои устремлялись на шекспировские драмы, даваемые Чарльзом Кином в порядке «возрождения Шекспира». Но в театр они шли не для того, чтобы услышать изумительно прекрасный язык Шекспира, им хотелось поглядеть на роскошное, расшитое золотом платье красивой, златокудрой Анны Болейн, им хотелось полюбоваться пиром и торжественным выходом Генриха Восьмого, которого Кин изображал с соблюдением исторической достоверности, к тому же освещенной электрическим светом.

Несколько лет назад талантливый ирландский актер Барри Саливен попытался спасти Шекспира от забвения. Вместе с ним выступала лучшая, или, вернее сказать, единственная, замечательная исполнительница лучших шекспировских образов — миссис Герман Везин. Но все было напрасно! Отелло и Дездемона, Гамлет и Офелия, король Лир и Корнелия появлялись перед пустующим залом. После того как Саливен пожертвовал все свое состояние, приобретенное в Австралии шекспировскими спектаклями, ему пришлось окончательно отказаться от этой затеи. Тогда театр «Олд-Друри-Лейн» попытался заполнить эту брешь. «Олд-Друри» был еще освящен памятью о Кембле, Кине, Сиддонсе и Макреди. Но театр пустовал, и директор вынужден был по прошествии нескольких недель разъяснить, что «Шекспир равнозначен банкротству». И так Шекспир начал забыт. Только иногда и кое-где в рабочих районах появлялся Гамлет или Макбет, чтобы так же скоро исчезнуть. Но вот год назад молодой актер Генри Ирвинг, известный до этого лишь в провинции, — в Лондон он проложил себе путь только исполнением мелодраматических ролей — отважился снова поставить «Гамлета». Он решил пренебречь общепринятой старинной традицией и вместо прежнего, привычного, Гамлета самостоятельно создать правдивый и оригинальный шекспировский образ. Тут ополчились на него критики. Они начали ворчать, брюзжать, придирались, один считал, что в нем мало от принца, другому не нравилась его походка, третий находил его слишком манерным. И все же, несмотря на это, публика продолжала посещать театр. Тогда вдруг ветер подул в другую сторону. Журналисты прекратили свою критику и начали его хвалить, чуть ли не превозносить до небес, и тут произошло нечто невероятное. В течение двухсот вечеров на его спектакли стекалась огромная толпа, которая слушала его благоговейно и воодушевленно. Стало модным смотреть Ирвинга в роли Гамлета. Хорошим тоном считалось восторгаться Шекспиром!

К чести молодого артиста надо сказать, что он не дал ослепить себя этими овациями, наоборот, с величайшей добросовестностью и огромным усердием продолжал углубленно работать над своей ролью и поэтому охотно принимал разумные советы и прислушивался к серьезной критике. Постепенно ему удалось преодолеть некоторые недостатки и слабости, которые все же отчасти были присущи его Гамлету, и — создать наконец действительно объемный, богатый, законченный

и монолитный образ, который уж никаких упреков вызвать не может. И вот в двухсотый вечер мы попрощались с идеальным принцем Гамлетом.

Миновал уже месяц с тех пор, как Ирвинг играет Макбета. И снова повторилось то же самое брюзжание и ругань прессы, как это было при первой постановке «Гамлета», с той только разницей, что теперь это делалось в более ядовитой и резкой форме. Лишь «Таймс» поддержала молодого, ищущего артиста справедливыми и ободряющими словами. Остальные крупные ежедневные газеты были заполнены длинными противоречивыми критическими статьями, повторяющими одна другую; ни одна из них не попыталась глубже вникнуть в Шекспира, все свое внимание они сосредоточили на поверхностных и второстепенных вещах. Мелкая же пресса опустила до ничтожных, чисто личных нападок, которые свидетельствуют лишь о бессильной злобе, кознях и зависти. Несмотря на это, театр ежедневно полон и билеты надо заказывать за неделю вперед. В зрительном зале царит, однако, гробовая тишина. Лишь изредка раздаются робкие хлопки. Не слышно оваций, способных воодушевить художника, все сидят застывшие, замороженные. Чем объяснить это оцепенение публики? Быть может, английский средний класс уже устал от цепей, которыми хороший тон приковал его к Шекспиру, быть может, высшее общество захотело уже от истинных творений искусства вернуться к мелодраматическим спектаклям с горящими кораблями, рушащимися скалами, настоящими фиакрами, лошадьми, верблюдами и козами? Или, может быть, тайное вождение утонченных дам — плохо переведенные пьески Сарду с двусмысленными фразами и щекотливыми положениями? Или, может быть, публика запугана и подавлена критикой? Английский филистер редко берет на себя смелость иметь свое суждение. Он любит грозить кулаком в кармане. Ему лень думать, каждое утро к завтраку наряду с обязательной яичницей с ветчиной он имеет наготове своего газетного писаку, который думает за него.

Как это удобно: вместе с готовыми газетными фразами в кармане садиться в омнибус, ехать в Сити или в клуб или же вечером расположиться в театральной ложе. Ведь еще утром «Дейли ньюс» его наставляла, что Ирвинг неточно исполняет Макбета, что Макбет, дескать, является искренним, отважным и смелым полководцем, а Ирвинг представляет его свирепым и трусливым убийцей и лишь к концу жизни снова делает его могучим и храбрым. «Какая противоречивая постановка», — заявляет «Дейли ньюс», а наш буржуа верит своей «Дейли ньюс». Но рядом с ним сидит филистер с газетой «Стандарт» или даже поклонник с «Сатердей ревью»; для всех них припасены твердые и готовые мнения. Рабочая публика имеет здесь огромное преимущество. Пресса не может рабочего сбить с толку. Когда он приходит в театр, то верит своему слуху и зрению, аплодирует и улюлюкает по своему вкусу и своему усмотрению, и при этом именно там, где следует. Вот почему для хорошего актера равно важны и партер и галерка. Вот почему, когда на представлении «Ричарда III» весь партер встал, как один человек, Эдмунд Кин восторженно воскликнул: «The pit rose at me»¹.

Мы надеемся, что Ирвинг не даст себя обмануть воплями прессы и кажущимся холодом публики, не отступит от дальнейшего изучения Шекспира и не вернется к мелодраме, мастером которой его считают.

Его Макбет еще не завершено произведение искусства. В первом акте манера игры Ирвинга местами выглядит неровной, неустойчивой и поэтому не может полностью удовлетворить нас. Робея, он иной раз сбивается с верной интонации, в ряде мест его дикция несовершенно. Но во втором и третьем актах игра Ирвинга уже непревзойденно прекрасна. Сцена с призраками сделана мастерски, а пир оставляет глубочайшее впечатление. До глубины души потрясает его надломленность, его искаженное, постаревшее от ужаса лицо, глухая боль при известии о смерти леди Макбет. Огромное воздействие на зрителя оказывает его бешеная ярость, когда, презрев смерть, он бросается в битву, его безумный, отчаянный поединок с Макдуффом и, наконец, его смерть.

¹ Партер поднялся навстречу мне! (англ.)

Мы глубоко убеждены, что Ирвингу, при его добросовестности и готовности воспринять серьезную критику, удастся преодолеть известные слабости и недостатки своего Макбета. Постепенно он создаст законченное произведение искусства, которое будет достойно того, чтобы стоять рядом с его Гамлетом. Внешние данные и духовная одаренность Ирвинга, его прекрасный, мягкий, звучный, хотя и не очень сильный голос, его благородное, выразительное лицо и необычная, исключительно подвижная, красивая мимика помогут молодому художнику в его серьезных и добросовестных исканиях.

Нам хочется пожелать артисту встретить такую немецкую публику, которая знает и любит Шекспира и с благожелательным интересом отнесется к ищущему художнику, мы хотели бы также пожелать ему большей поддержки со стороны актеров, играющих вместе с ним, и, наконец, справедливой критики вместо той, враждебной, которая вводит в заблуждение публику.

«Frankfurter Zeitung und Handelsblatt», № 325, 21/XI-1875.

4

«Ричард III» Шекспира в лондонском театре «Лицеум»

Лондон. 1 февраля [1877].

После провала конференции¹ в Eastern Question² наступила пауза. Никто больше не бросается читать телеграммы из Константинополя, Вены и Берлина; никто с жадностью не проглатывает пространные сообщения специальных и неспециальных корреспондентов, Галленгаса в Пера и Абея в Берлине. «Военные фанфары умолкли», и политиканствующему и философствующему филистеру остается только безмятежно баюкать свою боязливую душу, сладко дремать и тешить себя радужными снами о мире и процветании.

Благодаря этому политическому затишью крупнейшее событие недели, постановка шекспировского «Ричарда III» в театре «Лицеум», привлекает к себе всеобщее и безраздельное внимание. Неслыханным и невероятным покажется немецким почитателям Шекспира, что «Ричард III», шедший при жизни великого драматурга в театрах «Глобус» и «Блэк фрайерс» в его собственной постановке, в понедельник, в первые с тех пор, игрался точно по тексту оригинала. После смерти Шекспира эта пьеса не ставилась в течение полувека. В 1700 году возникла компиляция Колли Киббера, изуродованная, искромсанная переделка «Ричарда III», дополненная высокопарными нелепостями и мелодраматическими эффектами. В 1821 году появилась еще более слабая обработка и тоже не удержалась на сцене.

Попытки поставить драму в первоначальном виде предпринимались неоднократно, но каждый раз терпели неудачу. Гаррик, Кук, Эдмунд Кин и Макреди, все они шли привычным путем. В течение 177 лет эта поделка безраздельно властвовала на сцене, а несколько месяцев назад Ричард в старых кибберовских одеяниях ступил на подмостки театра «Олд-Друри». Любое начинание, любой обычай, любая привычка, идея костенеет, каменеет, покрывается ржавчиной в этой стране, становится религией, «историческим наследием», и горе тому, кто посягнет на эту запыленную, обветшалую традицию. Г[енри] Ирвинг обладал достаточно смелой мыслью, мужеством и энергией, чтобы воспротивиться этому глубоко укоренившемуся предрассудку, он отважился показать публике Шекспира в чистом, неподдельном, первоначальном виде.

Насколько удался этот рискованный эксперимент, можно судить по несметным толпам, осаждавшим в понедельник двери «Лицеума». Амфитеатр и галерку брали с бою. В ложах и в партере высший свет, а может, и полусвет блистали красотой, молодостью и элегантностью. В этом ярком цветнике все вперемежку: молодая актриса в чепчике на белокурой завитой головке (нечто вроде крестьянского чеп-

¹ Из-за отказа Турции предоставить автономию Герцеговине, Болгарии и т. д. международная конференция, проходившая в Константинополе, потерпела фиаско.

² Восточный вопрос (англ.).

чика, какие носят в Шварцвальде), рядом со старой герцогиней в шитой золотом мантии соседствует густо напудренная, с ястребиным носом чистопородная аристократка — отпрыск древнейшего рода, а возле них — прекрасное смуглое дитя, дочь Израила. В первых рядах у самого оркестра — священное судилище, журналисты покрупнее и помельче. Они сидели, эти рыцари духа, а вернее, пера и чернил, в торжественных черных фраках и маленьких муслиновых галстуках, дабы на следующий день вынести свой приговор — жизнь или смерть!!!

Разумеется, время, место и сценические условия потребовали кое-каких купюр, сжатия текста и смысловых сдвигов. Но то, как вдумчиво, свободно и тактично это было сделано и в сколь полную гармонию с современной сценой была приведена эта старая превосходная драма, сказалось в магическом эффекте, который она произвела на битком набитый зал.

Сразу после первого монолога Глостера:

Здесь нынче солнце Йорка злую зиму
В ликующее лето превратило ¹,—

в зале наступила мертвая тишина, и даже шумливые боги райка притихли, завороченные.

Ирвинг своей трактовкой Ричарда опрокинул все старые традиции. Это не ковыляющий по сцене «злодей» с густыми бровями и стереотипной мефистофельской ухмылкой. Его уродство не бросается в глаза как, что могло бы показаться гротеском. Высоко вздернутое левое плечо и прихрамывающая походка — вот, пожалуй, и все. Но как умеет Ирвинг тонкими штрихами, почти неприметной мимикой, легким подергиванием сжатых губ, внезапной хитрой и саркастической улыбкой, движениями рук, оттенками голоса показать этого пронырливого ханжу, законченного мастера в искусстве притворяться, преступную натуру, подвластную своему честолюбию, низость, скрытую тонкой завесой лжи, лести и притворства. Прежде всего Ирвинг не переигрывает. даже в состоянии наивысшего аффекта он сохраняет достоинство и никогда не впадает в вульгарный тон неистового мелодраматического злодея. В тесных рамках газетной статьи невозможно отметить все блистательные моменты его игры от тонкого изящного изображения деталей характера до живописной, полной великолепной энергии сцены поединка с Ричмондом, которой заканчивается пьеса. Мы остановимся лишь на некоторых, особенно удачных сценах. Такова сцена с леди Анной в конце первого акта, которую едва ли можно вполне постичь при чтении. Бессилие становится понятным, когда видишь перед собой изысканного, галантного, остроумного льстеца со скользкими словами покаяния на изворотливом языке. Очень характерной была и его игра в сцене с обоими юными принцами, роли которых умно и тактично исполняли две молодые девушки, — его приветливая, мягкая вкрадчивость; дети буквально льнули к доброму дядюшке Глостеру, и невольно вспоминались слова его матери, престарелой герцогини Йоркской:

Младенчество твое мне тяжким было,
И школьником ты бешен был и дик,
И юношей неукротим и дерзок,
А возмужав, ты стал хитер, коварен,
Высокомерен и кровав — опасен
Тем, что под простотой ты злобу скрыл.

Пристального внимания заслуживает и сцена на галерее с двумя архиепископами, когда этот законченный лицемер, подняв глаза от молитвенника, обращает к небу взор свой, исполненный «доброты и благочестивого смирения».

Великий актер не часто находит равноценных себе партнеров. Всяческих похвал заслуживает мисс Бэтмен в роли Маргариты — удивительно трогательный и печальный образ: неподвижный взгляд, черты, искаженные горем, дикая, буйная вспышка и в безумном отчаянии исторгнутое проклятие.

¹ Стихи здесь и далее даны в переводе А. Радловой.

Ее младшая сестра Изабел играла леди Анну с обворожительной грацией и подкупающей мягкостью. На редкость вдохновенно произносит она слова призрака леди Анны в Ричардовом шатре, который, как и все другие декорации, костюмы и т. д., был сделан превосходно — скромно, живописно и необычно, — в душе зрителя как бы оживали давние времена. Прекрасно сыграны были все небольшие роли: Елизавета, герцогиня Йоркская, Кларенс, Ричмонд, Бекингем. Великолепное исполнение даже самых крошечных ролей — Гетсби, Риверса, убийц and last not least ¹ юных принцев — тоже немало способствовало успеху гениальной драмы.

Невозможно описать бесконечные овации и вызовы Ирвинга, картину буйного восторга, охватившего весь театр. Великое создание старого мастера явилось новым открытием для англичан; зрители сидели наэлектризованные, восхищенные гармонией целого, ясностью и определенностью мотивов, постепенным развитием сюжета, законченностью характеров, но прежде всего бьющим ключом, неиссякаемым чудом поэзии и страсти. С их глаз упала пелена. Они увидели, что их Шекспир более велик, чем их Киббер. Только один немецкий театральный критик, сидевший рядом с нами, на ломаном английском языке заявил: «А все-таки у Киббера больше stamina ², чем у Шекспира». О ты, единственный среди немцев!

(«Frankfurter Zeitung und Handelsblatt», № 39, 8/II-1877)

5

Из лондонского театра

Лондон. 22 мая [1877].

В театре «Лицеум» снова «first night» ³, а это значит, что многочисленная и все продолжающая возрастать театральная публика в состоянии «qui vive» ⁴, чтобы не пропустить новую пьесу на своей любимой сцене. В течение трех лет мисс Бэтмен удавалось почти непрерывно ставить Шекспира благодаря оригинальной и мастерской игре Генри Ирвинга. Приходилось преодолевать невероятные трудности: бороться с придирчиво-недоброжелательной, пристрастной кликой рецензентов, с равнодушной, невосприимчивой публикой, за долгие годы отвыкшей от Шекспира, которую надо было заново наставлять и воспитывать, с полным безразличием верхушки общества, считающей хорошим тоном кидаться на обнаженных, прикрытых английскими фиговыми листками красоток Сарду и Дюма-сына; считаться с отсутствием поддержки королевской семьи, которая после смерти принца Альберта форменным образом боится Шекспира, взыскав своей милостью сомнительную продукцию вроде «Розового домино» в театре «Критериен».

Желая дать Ирвингу возможность отдохнуть после его физических и умственных усилий, а также угодить той части публики, которая алчет мелодрамы, как олень — студеной воды, дирекция «Лицеума» решила сменить шекспировский репертуар и какое-то время потчевать публику привычным блюдом — мелодрамой. О том, как удачно выбрала мисс Бэтмен новую драму, свидетельствовали бурные, восторженные овации, которыми в субботу была встречена «Lyon's Mail» ⁵.

Пьеса, впервые поставленная парижским театром «Гетэ» в 1850 году, построена на материале известного процесса, проходившего во Франции в 1794 году при Директории. Из-за сходства столь разительного, что оно сбilo с толку судей и свидетелей, невинный человек был осужден за преступление, совершенное негодяем.

В деревне Льерсан, по пути из Парижа в Лион, шайка разбойников напала на лионскую почту. Дюбоск, беглый каторжник и предводитель шайки, убил почталь-

¹ Хотя и последних, но не менее важных (англ.).

² Сплетения, сюжетные сцепления (лат.).

³ Премьера (англ.).

⁴ Настороже (франц.).

⁵ «Лионская почта» (англ.).

она и похитил сумму в 75 000 фр. Преступление было совершено у самого дома старика Лесюрка, сын которого Жозеф Лесюрк в это время находился поблизости. Настоящий преступник Дюбоск скрылся, нескольких разбойников с частью похищенных денег удалось схватить, и по роковому стечению обстоятельств Жозефа Лесюрка обвинили в преступлении, осудили и обезглавили, тогда как его двойник исчез. В последний момент Лесюрк еще мог бы доказать свое алиби, но приговор суда был вынесен и ничего уже нельзя было сделать. Потомки злосчастной жертвы этого судебного убийства выразили горячую признательность автору пьесы и дирекции театра, поставившего ее, с настойчивым пожеланием, чтобы в ней было названо настоящее имя их деда Жозефа Лесюрка, дабы будущие поколения таким образом убеждались в его невиновности. Интересен еще и тот факт, что во время Третьей империи потомки жертвы возбудили ходатайство перед государством о возмещении конфискованных денег, поручив ведение дела Жюлю Фавру. Из-за допущенной формальной ошибки суд вынес решение не в пользу семьи.

В 1854 году эта драма, имевшая в Париже шумный успех главным образом благодаря прекрасной игре актера Лакрезоньера, в театре «Принсес» была поставлена Шарлем Бо, исполнявшим главную роль.

Пьеса исполнена простой и трогательной патетики, насыщена волнующими сценами и острыми ситуациями, скомпонована автором со свойственным французам умением; каждый акт завершается эффектной *tableau*¹ с непрменным мелодраматическим музыкальным сопровождением.

Генри Ирвинг играет две роли — достойного, мягкого, уверенного в своей невиновности, нежного отца семейства и профессионального бандита, головореза и пропойцу. А с каким тонким тактом, с каким совершенным мастерством умеет он посредством метаморфоз, почти волшебных, удивительно точно и разнообразно показать обе эти индивидуальности, выписывая мельчайшие детали и при этом всегда сохраняя разительное сходство, обманувшее всех свидетелей и даже отца; все вместе — прекраснейшее, законченное произведение искусства, которое производит потрясающее, подчас мучительно-страшное впечатление. Роль отца Жозефа [Лесюрка] попала в хорошие руки и была сыграна Ридом с энергией и достоинством, в значительной мере способствуя успеху лучших сцен пьесы.

Особых похвал заслуживают сестры Изабел и Вирджиния Бэтимен. Вирджиния играет маленькую и малозначительную роль Юлии, дочери Лесюрка, из которой она извлекла все, что только возможно. Непривычный, своеобразный костюм той эпохи — короткая талия, узкая, облегающая юбка, высоко зачесанные кудрявые белокурые волосы — все это очень шло к ней, подчеркивая ее юную красоту. В сцене, где оглашают смертный приговор ее отцу и она с криком ужаса бросается в его объятия и громко рыдает, повиснув на его шее, она произвела такое потрясающее впечатление, что у многих глаза наполнились слезами. Изабел Бэтимен досталась более трудная роль Жанетты, одной из соблазненных и брошенных Дюбоском девушек, ввергнутых в беду и отчаяние. В сцене, где она обвиняет Дюбоска, актриса проявила силу, которую никто в ней не предполагал, страстность и подлинно драматический пыл. Когда под конец она падает, раненная Дюбоском, вновь поднимается и, шатаясь, идет по сцене, можно с полным правом сказать, что ее игра достигает истинно трагического величия.

Костюмы, декорации, реквизит в этом театре всегда превосходны, более того, даже обе серые лошади, везущие почтовую карету, хорошо сыграли свои роли, приумножив живописный эффект этой захватывающей сцены.

В последнее время Генри Ирвинг явился перед английской публикой еще в двойной роли — актера и автора. Ему и на этом поприще нельзя отказать в признании.

Во втором номере ежемесячника «The Nineteenth Century», в котором сотрудничают наиболее видные литераторы и ученые Англии, Ирвинг поместил «Notes on Shakespeare by an actor»² — две статьи, где тонко и детально анализирует Шекс-

¹ Картина (франц.).

² «Заметки актера о Шекспире» (англ.).

пира. Первая статья — о третьем убийце в «Макбете», вторая — о любви Гамлета к Офелии, статьи снабжены практическими советами и указаниями для актеров и театральных дирекций.

В этом же номере напечатано стихотворение Теннисона, поэта-лауреата, и статья Гладстона; в стихотворении, как и в статье, речь идет о героическом народе Черногории. Далее — труд архиепископа Мэннинга «Правдивая история Ватикана». И еще статейка Хаксли, предназначенная для симпозиума, в основу коего положена теза «the influence upon morality of a decline in religions belief»¹. В дебатах об этом предмете ранее участвовали атеисты, контлисты и пиеисты. Уже одно то, что Ирвинг сумел отстоять свое место среди этих литературных грандов, — немалая заслуга.

Более того, он выделяется среди них оригинальностью формы и изумительной чистотой языка. То, что так радует в непритязательных работах Ирвинга — это полнейшая свобода от репортерства и от литературщины. Ирвинг пишет не для того, чтоб писать, он заботится о деле, которому предан всей душой, и лишь скромно облакает в слова эту свою заботу.

Его литературный сосед по упомянутому журналу, напротив, явно принадлежит к разряду литературных шарлатанов и ловкачей. Сей господин Ролстон только на том основании, что пробыл некоторое время в России, вещает о ней на собраниях и в периодической печати. В последнем номере «Девятнадцатого столетия» он поместил статью о современной революционной литературе в России и о недавних революционных вспышках, в которой говорит, что может, конечно, понять людей, жертвующих собой во имя религии и лояльности, но не во имя других незрелых идей. Поэтому не удивительно, что у него не нашлось ничего, кроме насмешки, иронии и презрения, для несчастных жертв последнего революционного мятежа, для тех, кто пожертвовал собой во имя свободы, пусть даже неверно понятой. Горе тем бедным молодым девушкам, которые, примкнув к этому движению, уже во время п р е д в а р и т е л ь н о г о следствия подорвали свое здоровье, а теперь пятнадцатилетняя каторга в Сибири будет их медленно убивать.

Как же случилось, что господин Ролстон в своей статье даже не упомянул о крупнейшем революционном писателе современности Н. Чернышевском? Разве он не знает основной его работы, «Политической экономии»², написанной в форме критического исследования «Principles of Political Economy» Дж[она] Ст[юарта] Милля? Неужели Ролстону неизвестно, что собрание сочинений Чернышевского, состоящее в основном из критических работ в области истории, эстетики, философии, литературы и политики, насчитывает двадцать толстых томов (не говоря уже о романе под названием «Что делать?»). И неужели Ролстону незнаком журнал Чернышевского «С о в р е м е н н и к», в котором тот призывал русское правительство к раскрепощению крестьян (правда, в другой форме, чем оно было осуществлено на самом деле) и с саркастической беспощадностью бичевал тогдашний мнимый либерализм петербургской прессы, так что у ее главарей словно камень с души свалился, когда правительство сослало его в Сибирь, ибо критик и ученый впервые стал в России общественной силой? Почему наш литератор, не принесящий себя в жертву какой-либо идее, умалчивает об этом человеке, столь красноречиво распространяясь о нигилизме и фиктивных браках?

После этого отступления в «Девятнадцатое столетие» вернемся все же к нашей отправной точке — к театру. Мы надеемся скоро вновь приветствовать Ирвинга как автора и видеть его в родной его сфере — новой шекспировской роли.

(«Frankfurter Zeitung und Handelsblatt», № 145, 25/V-1877)

¹ Упадок веры и его влияние на нравственность (англ.).

² Н. Г. Чернышевский. «Очерки из политической экономии (по Миллю)»; «Дополнения и примечания на первую книгу политической экономии Дж.-Ст. Милля».

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СИМОН МАРКИШ

★

АНТИЧНОСТЬ И СОВРЕМЕННОСТЬ

(Заметки переводчика)

Лет двадцать назад в не очень густых рядах «классиков» — то есть специалистов (и будущих специалистов) по античной древности — были волнения. Не слишком заметные, но все же волнения. Наиболее горячие и нетерпеливые, устыженные тем, что все вокруг ищет связей с животрепещущей современностью, принялись атаковать устои своей науки, такой безнадежно старомодной и по материалу и по методам. Большинство, как это и всегда бывает, соглашалось с критикой, признавая необходимость обновления и «связей», но все же пытались оправдывать свое существование. Особенно популярны были при этом ссылки на то, что латынь способна служить ступенью к глубоким и основательным познаниям в новых языках (упор делался на молдавский и румынский), напоминания о горячей любви, которую испытывали к древним русские революционные демократы, об античном способе производства, о пресловутой «революции рабов и колонов», погубившей древний мир, и т. п. Но были и упорные ретрограды, полагавшие, что нет ничего слаще, как отыскивать условносравнительные союзы у какого-нибудь Валерия Флакка или ковыряться в крохотных и никак не связывающихся один с другим фрагментах какого-нибудь Вакхилида. В этом упорстве было разное: и искренний, бескорыстный интерес к своему делу, и осуждение тех, кто, «устанавливая живые связи с современностью», жертвовал истиной, а порою даже и наивное стремление укрыться от этой самой «современности», как будто от нее можно было укрыться...

Двадцать протекших лет многое переменили. «Классикам» не угрожают более ни бдительные проверки их преданности злобе

дня, ни взвинченный радикализм собственных новаторов. Их существование надежно оправдано искренним и глубоким вниманием общества к тому, что они делают: переводы древних поэтов и прозаиков, любых, всех подряд, исчезают с книжных прилавков с непонятно быстротой; за ними хоть и менее резво, но все же достаточно быстро следуют популярные сочинения, а иной раз и специальные работы по древней истории, истории древней литературы, искусства, обыденной жизни.

В первые послевоенные годы все «новинки» античной литературы на русском языке исчерпывались двумя названиями — «Записками» Цезаря и поэмой Лукреция (тираж каждой из этих книг не выходил за пределы пяти тысяч экземпляров). За последние десять лет один только Апулей издавался не то четыре, не то пять раз, в общей сложности — более чем в трехстах тысячах экземпляров. Но то Апулей, возразят маловеры. Отлично, возьмем не игривого Апулея, а мудрейшего и чистейшего Платона. После долгого перерыва избранные его диалоги вновь увидели свет в 1965 году. Напечатано было 50 тысяч экземпляров; не знаю, как в других городах, но ни в Москве, ни в Ленинграде уже через неделю книгу нельзя было сыскать ни в одном из магазинов. Театры охотно ставят спектакли на античные сюжеты — и самих древних, и западные «реплики», вроде «Антигоны» Ануя, и даже своих драматургов, соблазненных древностью, — а зрители с не меньшею охотой ходят...

Что же произошло?

Вообще говоря — ничего сверхобычного, исключительного. Просто отношения современности и античной древности стали вхо-

дить, наконец, в свою нормальную колею, приобретать тот естественный и закономерный характер, каким отличались они всегда, на протяжении веков,— в том числе и у нас в последние довоенные годы — ибо живой интерес к античности всегда был нормальной, неременной чертой развития мировой культуры. Выпадали, конечно, и полосы равнодушия, заброшенности, забывости (когда «классики» ощущали себя почти что «лишними людьми»), но они проходили, и довольно скоро.

В России принудительная античность классической гимназии, ответом на которую были чеховские насмешки и «пластический грек» Козьмы Пруtkова, сменилась после-революционным ликованием по случаю ее отмены. Конец бессмысленной зубрежке, напыщенным банальностям, затхлой мудрости, которой давным-давно пора на свалку, конец восхищению перед мертвым в ущерб живому! Забудем все это раз и навсегда!.. Но, избавляясь от вкуса принудительности, античная старина вопреки прогнозам слишком ретивых борцов с «рутиной» всегда только выигрывала — она снова приобретала обаяние и притягательную силу неизданного, отвоевывала свое законное право на живое внимание общества. И в этом нет ничего удивительного: ни одержимые поборники классицизма, ни вполне оправданная реакция на их тупую одержимость не способны восстановить современность против античности. Это было бы так же противоестественно, как ненависть сына к матери, потому что мир античности — один из тех китов, на которых стоит духовная культура любого европейского народа, а стало быть, и русская культура. Европейская литература, поэзия, театр, скульптура, архитектура были бы совсем иными, если бы не античное наследие, влияющее на них то непосредственно, то косвенно, то скрыто, то явно, то очень сильно, то совсем слабо, но непрерывно вот уже более тысячелетия. Вся европейская философия — все ее школы и системы, не исключая и философии марксизма, — невозможна без трудов великих греческих мыслителей. И даже стертые банальности, вроде «жизнь коротка, труд творца долговечен», — не просто ходячие истины, но доподлинные основания нашей жизни и общества.

Итак, все снова на своих местах, все ладно, и «классикам», стало быть, беспокоиться не о чем?

Однако вопрос о «живых связях с современностью» — не из тех, что утрачивают свою остроту, освобождаясь от искусственной взвинченности. И подлинная, не конъюнктурно-минутная причина давнего бунта «классиков» не только не устранена нынешним благоволением общества к их работе, но, в сущности, и не может, не должна быть устранена никогда. В самом общем виде она была сформулирована еще двадцать одно столетие назад в Палестине мудрым Гиллелем, чьи слова так любил повторять Горький: «Если не я для себя, то кто же для меня? Но если я только для себя, то зачем я? И если не теперь, то когда же?» Человек всегда испытывает потребность, нет, больше — нужду определить свое отношение к главному занятию своей жизни, именно свое собственное, не вычитанное из книг и газет, не выдуманное под воздействием скоротечной моды, не приспособленное к жестокой подчас ситуации, но единственно для себя возможное, глубоко личное, измена которому — смертный грех.

Я могу твердо знать, что Монтень или декабристы боготворили Плутарха и что русские революционные демократы очень одобряли греческую трагедию, а Гёте — буколик, но для меня из этого еще ничего не следует, точно так же как я не полюблю Эсхила или Расина по той лишь причине, что они были великие мастера мировой драматургии, и их высоко ценили во все времена, и про это написано во всех учебниках. «Если не я для себя... И если не теперь...»

Но сама потребность, сама необходимость такого самоопределения как раз тогда только и возникает, когда человек сознает свою сопричастность времени, веку и дорожит ею, чувствует свою за них ответственность. И если «классик» (ученый, преподаватель, переводчик) — не машина, не бесчувственная мельница, если он хочет строить свои отношения со своим ремеслом (мастерством, творчеством — как угодно!) на четком и строгом понимании того, что он делает и чего от своей работы ждет, — то он должен определить прежде всего свое место в живой жизни своего времени. Об этом с настойчивостью напоминает ему именно сам характер его профессии.

Вот два примера. В последнее время литературные журналы, систематически рецензирующие книги по античности, столь же систематически нападают на классическую

филологию за ее эстетическую неразборчивость, за чрезмерное благоговение ее перед любым словом, если это слово было сказано или написано кем-либо из великих древних. Справедливы эти нападки? Бесспорно. Конечно, все, что сохранилось от Пиндара или Эврипида, имеет историческую ценность и подлежит изучению. Но, изучив, надо оценить, и тут филолог должен стать критиком — не только вправе, но и должен. Если мы судим по-живому, по-современному о Пушкине, Шекспире или Сервантесе, чему-то отдавая предпочтение, что-то полагая менее удачным, а что-то и вовсе неудавшимся, так же точно следует относиться и к Гомеру, и к Вергилию, и к Аристофану. Если классическая филология хочет быть живой наукой, то ей неминуемо придется расстаться со многими своими привычками, утратить самодовлеющий, замкнутый, преимущественно эзотерический характер науки для немногих знатоков: Только приняв в себя злободневность, критическую мысль, она может доподлинно встретиться с современностью.

Но ведь чтобы встреча эта произошла, как раз и важно прежде всего отдать себе ясный отчет в том, чего же ищет наша современность в античности, что это значит — судить о древности по-современному...

Или возьмите художественный перевод. В противоположность равнодушному и безликому филологическому переводу (или, точнее, подстрочнику) он всегда предполагает живую, личную заинтересованность. Заинтересованность переводчика обнаруживается в том образе переводного автора, который он для себя создает и который во многом определяет фактуру и окраску словесной ткани перевода, сообщает ей необходимое единство и цельность. В сегодняшнем мире главный посол древности — переводчик. «Цивилизация, — пишет профессор Эрик Бентли, — существует переводами... Если древние литературы продолжают жить, так только в переводе». Лестно переводчику читать такую рекомендацию, когда она сделана не своим же собратом-переводчиком, а известным ученым. Лестно знать, что отношения двух эпох завяжут и от тебя, что ты их если и не устанавливаешь, то, во всяком случае, улучшаешь, укрепляешь, расширяешь. Но ты можешь и испортить их — по бесталанности, по невежеству, потому что превратно понимаешь свои задачи и полномочия. И мы снова воз-

вращаемся к тому же — к неизбежной и настоящей потребности строгого «самоопределения», к необходимости ясно отдавать себе отчет в том, каков характер взаимоотношений античной старины с сегодняшним днем...

* * *

«Удивительное дело! Две тысячи лет прошло, а люди ничуть не переменились: так же чувствуют, так же думают!» Подобные речи приходится слышать часто и по разным поводам — полистали «Сравнительные жизнеописания» Плутарха, посмотрели на сцене «Медю» или «Электру», услышали на лекции отрывок из Фукидида. Бытовало и по сей час бытует представление, будто в иных социально-экономических формациях все было по-иному. По-иному любили детей, ласкали жен, любовались красотой моря и неба, оценивали храбрость и трусость, ненавидели врагов, боялись смерти...

Но за свое историческое существование, еще такое недолгое, род человеческий не так уж сильно изменился — в отличие от окружающих его материальных условий жизни. Человек, стиснувший рукоять меча, и человек, держащий палец на кнопке с надписью «Пуск», отличаются друг от друга несравненно меньше, нежели меч от ракеты с ядерной боеголовкой. Разумеется, многое в них несхоже, но очень во многом они легко поняли бы друг друга. Во многом дурном и во многом хорошем.

Поражающее нас сходство современности с античной древностью — первое, что привлекает внимание, когда берешься за греческого или латинского писателя; это первый и, конечно, самый поверхностный слой в старинном литературном произведении, прочитанном глазами нашего современника. Но, при всей своей поверхностности, он гораздо глубже, чем кажется любителю злободневных, острых аналогий. Аналогичное стечение обстоятельств, аналогичная ситуация — по большей части дело случая. Сходство же, о котором идет речь, закономерно, оно вырастает из стойкого, не скорого на перемены человеческого «нутра».

Вот две совершенно разные, даже как бы прямо противоположные по духу и характеру выдержки из авторов, живших в одно время (I — начало II века н. э.), но писавших на разных языках: один — по-ла-

тыни, другой — по-гречески. Первая принадлежит Корнелию Тациту, который пережил деспотическое правление Домициана, последнего императора из династии Флавиев, все время находясь рядом с тираном, в столице, видя, как гибнут близкие и друзья, и страшась гибели сам. Итак, после убийства Домициана Тацит пишет: «Поистине, мы дали великий пример долготерпения! И как прошлое узнало крайние рубежи свободы, так мы — крайние пределы рабства. Через донощиков у нас отняли даже возможность говорить и слушать. Мы потеряли бы вместе с голосом и самое память, если бы забвение было в нашей власти в той же мере, что и молчание. Лишь теперь мы оживаем... Но природа человеческой слабости такова, что лекарства медлительнее недугов: подобно тому как тела наши растут не скоро, а гибнут быстро, так подавить дарования и усердие легче, чем вернуть их к жизни. Само бездействие становится сладко, и праздность, ненавистная вначале, под конец внушает любовь. Пятнадцать лет минуло, большой отрезок человеческого века, — и многие ушли по воле случая, а самых решительных, всех до последнего, убил принцепс. Мы, немногие, пережили не только прочих, но, можно сказать, и самих себя: ведь из средины жизни вырвано столько лет, что мужчины состарились в молчании, а старики дошли почти до могилы».

И примерно в те же годы Плутарх, живший в далекой провинции, в маленьком и тихом городишке, где, скорее всего, и не догадывались, что император — преступник, кровожадный безумец, чудовище, как были убеждены сенаторы-оппозиционеры в Риме, — Плутарх, излагая биографию римского полководца II века до нашей эры Эмилия Павла, приводит такой анекдот: «Он был женат на Папирии, дочери бывшего консула Мазона, но после многих лет брака развелся, хотя супруга родила ему замечательных детей — знаменитого Сципиона и Фабия Максима. Причина развода нам неизвестна (о ней не говорит ни один писатель), но, пожалуй, верней всего будет вспомнить, как чехий римлянин, разводясь с женой и слыша порицания друзей, которые твердили ему: «Разве она не целомудренна? Или нехороша собою? Или бесплодна?» — выставил вперед ногу, обутую в башмак, и сказал: «Разве он нехорош? Или стоптан? Но кто из вас знает, где он жмет

мне ногу?» В самом деле, по большей части незначительные или получившие огласку проступки жены лишают ее мужа, но мелкие, частые столкновения, прорисованные из неуступчивости или просто от несходства нравов, даже если они скрыты от посторонних глаз, вызывают непоправимое отчуждение, которое делает совместную жизнь невозможной».

Действительно, отрывки совсем разные — и по содержанию, и по самой интонации, и по характеру мировосприятия. Четкая, лаконичная, до жестокости жесткая мысль политика — и округлое, неторопливое, уснащенное анекдотическим примером рассуждение нравовисателя. Страстность — и невозмутимая отстраненность наблюдателя. Горечь, сдержанная ярость, презрение и жалость к тем, кто все-таки выжил, зависть к «самым решительным» — и легкая, добродушная насмешливость. Подлинная, драгоценная мудрость — и обыденный здравый смысл...

Но, поистине, и та и другая, они совершенно живы для нас, эти две цитаты! Их сходство — именно в отсутствии временного барьера, в поразительной психологической убедительности, в непосредственной понятности того, что думалось и переживалось двадцать веков назад. Решится ли кто утверждать, что думы и чувства этих рабовладельцев (по главной социальной примете, по классовой принадлежности) чужды человеку предкосмической эры и кануна бесклассового общества? Живость нашего отклика вызвана тем, что психологически человечество имеет много общего не только в пространстве, но и во времени. Потому и Лев Толстой плакал всякий раз, как перечитывал ветхозаветную историю Иосифа, потому и сегодня пробегает по коже озноб, когда читаешь, как сын царя Давида Аммон умирал от любви к девице Фамари, как хитростью и силою овладел ею и как мгновенно «потом возненавидел ее Аммон величайшею ненавистью, так что ненависть, которую возненавидел он ее, была сильнее любви, какую имел к ней». Во всех этих случаях дело не только в искусстве, в силе и прелести слова, но и в постоянстве многих коренных черт духовного облика человека.

Ахилл — главное действующее лицо «Илиады» Гомера, самого великого поэтического творения древности. Гневаясь на своих соратников, он отказывается принимать уча-

стие в боях, но разрешает другу, Патроклу, сразиться с врагами в его доспехах, чтобы все решило, будто Ахилл снова взялся за оружие. Пагрокл гибнет, и Ахилл, забывший гнев, мстит за друга, твердо зная заранее, что эта месть — первый шаг к собственной гибели. И пусть он несравненный герой, полубог, живое воплощение древнего «кодекса чести» — не такого, как в средние века или в наши дни, — но слезы, которыми он оплакивает убитого друга и скорую свою смерть, горе, которым он горюет о непрочности, ненадежности человеческого счастья, понятны без всяких комментариев. И так же точно понятны, так же не нуждаются в комментариях подлость доносчиков или наглость временщиков у Тациита, великодушие, самоотверженность, бесстрашие героев Плутарха, маниакальная подозрительность «героев» Светония. Потому что подлец — всегда подлец, во всех обстоятельствах, и никакая формация, ни одна, как бы она ни старалась, не превратит предательство в доблесть. Оттого именно и возникает ощущение общности, родства современности с древностью, что протекшие два тысячелетия неопровержимо подтвердили неизменность некоторых важнейших критериев: общими, неизменившимися оказались многие из нравственных основ нашего существования — элементарных, оттого неприметных, как бы само собою разумеющихся, однако жизненно необходимых.

Есть ценностей незыблемая скала
Над скучными ошибками веков,—

писал Осип Манделштам в 1914 году.

Вот эта «незыблемость скалы ценностей» и подтверждается опытом общения с древностью. И опыт этот несет в себе радость и ободрение. Он утверждает неискоренимость добра и честности перед лицом злобы и предательства. Вечность тяги к прекрасному вопреки соблазнам безобразного. Долговечность афоризмов и заповедей, которые иным кажутся родившимися только сегодня. «Не трудящийся да не ест» — это было сказано по малой мере два тысячелетия назад. «Миру — мир» — и того ранее, «Человек человеку брат» — гораздо раньше, чем «Человек человеку волк».

Не удивительно, что на эту «вечность и незыблемость» нравственной природы человечества, способную возбудить отзыв в любую эпоху, у любой современности, наш

сегодняшний отзыв — особый. Концентрационным лагерям и газовым камерам, геноциду и мерзкому глумлению над жизнью, смертью, справедливостью и разумом, безудержной лжи и лицемерию — одним словом, всему нравственному одичанию, которое узнал XX век и которое мы называем фашизмом, предшествовала на рубеже двух столетий — нашего и предыдущего — такая переоценка ценностей в философии, искусстве, публицистике, которая поставила под сомнение все нравственные принципы, не усматривая в них ничего, кроме пустых, обветшалых, потерявших всякий смысл словес. И что же? Началось с ницшеанских мотивов «любви к дальнему», кончилось «хикурою совести» и истощными проклятиями милосердию, доброте, человечности. Вот почему похвала кротости, приветливости и правде у Гомера, который и любимцу своему Ахиллу не прощает «львиной свирепости», то есть зверства и бесчеловечности, — для нас, сегодняшних, не прописная похвала прописной добродетели, а живой опыт, за который человечество на протяжении своей истории платило так много и всякий раз сызнова.

В сложном и все более усложняющемся мире простота не может не привлекать. И мы теперь более, чем когда-либо раньше, понимаем, что античная простота — это вовсе не первобытная примитивность житейских условий и образа жизни, которую восхищались вольнодумцы и просветители в конце XVIII века и которая была такою же точно неблизией, как нежные пейзажи и чувствительные бергеры королевских балетов в Версале, а серьезность и строгая однозначность в отношении к жизни. Не только Саллюстий (I век до н. э.), отчаянно скорбящий о сгнувшей староримской доблести и о нравственном упадке своих сограждан, но и Апулей, ироничный наблюдатель жизни, не знает двух правд, не делает попытки понять кровожадность, чтобы оправдать или хотя бы простить ее. И это не самодовольная ограниченность, которой не понятно, что такое сомнение, а органическая уверенность в себе здорового интеллекта, здорового чувства, уверенность в своем праве (и в своей обязанности) решать и судить. Сложность и пестрота, как видно, неотъемлемые качества бытия во все времена и потому никогда не могут служить оправданием безответственности, бес-

принципности обывателя и потребителя — никогда, ни теперь, ни в прошлом.

Вспоминая о замечательных работах итальянского кинорежиссера Федерико Феллини, я всегда вспоминаю древность. Чудовищная запутанность мира часто разрешается у него предельною простотою, совершенно неоспоримую и неотразимую: слезы Дзампанó («Дорога»), свежесть и покой утра, окружающего Джульетту, которая разогнала духов («Джульетта и духи»). Ведь они все-таки всего-навсего духи, нежить, надо только собраться с мужеством, не дать себя запугать, сказать им твердо: «Нет, нет и нет», «Прочь!» Никаких компромиссов с нежитью, никаких двусмысленностей, никаких иронических подмигиваний. В бескомпромиссной этой определенности я вижу отзвук античной традиции.

Но определенность суждений сочеталась у древних с терпимостью к чужому мнению, даже если оно представлялось неверным. Да, да, мы помним и не забудем: древняя терпимость была особого рода, не совсем то, что терпимость нового времени. Корни были иные. Но что из этого? Фанатизм средних и более поздних веков, скрывающийся порою под разными благозвучными именами, не ближе ли к нам по времени, а иногда, к сожалению, и по мотивам, но кто предпочтет его терпимости, хотя бы и «не совсем такой»? Лукиан, великий рационалист древности, ненавидел суеверия, но ему и в голову бы не могло прийти посадить суевера за решетку или отправить на казнь...

Пусть сказанное не будет понято превратно: Я вовсе не хочу твердить с маниакальной назойливостью человека в футляре, что в эллинизме вся мудрость человеческая или что греки знали все, — ничего подобного! Но древние действительно умели ставить такие вопросы, которые и сейчас настоятельно требуют ответа, несмотря на историческую ограниченность «полисной» (то есть присущей только полису — древнегреческому городу-государству) идеологии тех, кто их поставил впервые.

Откройте диалог Платона «Горгий», или, как гласит старинный, но уже Платону не принадлежащий подзаголовок, «О красноречии». Сократ, учитель Платона, встречается со знаменитым оратором Горгием и расспрашивает его, в чем суть и сила красноречия. Как и следовало ожидать, Горгий

оказывается беспомощен перед Сократовой диалектикой и не может дать дельного определения. В разговор вмешивается другой ритор, Пол. Он упрекает Сократа в том, что тот нарочно запутал Горгия. Но Сократ, с готовностью возобновив исследование с самого начала, легко показывает, что красноречие — не искусство, а навык, точнее — листовое угодничество, ничем по сути вещей не отличающееся от кулинарии, только кулинария угождает телу, а красноречие — душе. Здесь нить беседы подхватывает молодой афинянин Калликл, ученик Горгия, оратор-политик. Красноречие необходимо, утверждает он, потому что оно — дорога к власти и силе, а политика — единственное занятие, достойное мужчины. Спор продолжается...

Казалось бы, какое имеет все это отношение к заботам сегодняшнего дня? Что нам до красноречия, давно потерявшего всю свою силу и влияние не только в политике или в судах, но и во всех прочих областях человеческой деятельности, не включая и литературы? И не все ли нам равно, было ли древнее красноречие «искусством» или «навыком»? Нам вполне понятно, что все это живо занимало современников Платона, граждан города-государства, где умение говорить с народом нередко решало, кому вести за собою народ, быть вожаком народа -- демагогом, если вспомнить греческое слово в первоначальном его значении. Проблема, по-видимому, специфически полисная и к нашему веку касательства не имеющая.

Однако прочитайте в этот диалог — и очень скоро вы почувствуете, как этот далекий и специфический предмет вдруг начинает волновать и задевать вас. Потому что не в красноречии здесь суть, не столько о нем идет здесь речь, сколько о том, как надо жить, в чем долг человека перед жизнью и перед собою самим. Иными словами Платон говорит о самом главном, насущном и неотложном. Чтобы показать, насколько остра и увлекательна мысль Платона, я приведу часть монолога Калликла, в котором он излагает свое *sredo*. Отвечая на возражение Сократа, что власть, приобретенная с помощью красноречия, мнима (ибо красноречие — это по сути вещей обман), а стало быть, несправедлива, а если несправедлива, то непричастна благу и, значит, не способна дать

счастье своему обладателю, Калликл, этот древний имморалист, говорит:

«...По-моему, законы... устанавливают бессильные, а их большинство... Стараясь запугать более сильных, тех, кто способен возвыситься, боясь, как бы те и вправду не возвысились над ними, они утверждают, что быть выше остальных постыдно и несправедливо, что в этом как раз и состоит несправедливость — в стремлении подняться выше прочих...

Но сама природа, я думаю, вещает, что это справедливо — когда лучший выше худшего и сильный выше слабого. Что это так, видно во всем и повсюду, и у животных и у людей — если взглянуть на государства и племена, — видно, что признак справедливости такой: сильный повелевает слабым и стоит выше слабого. По какому праву Ксеркс двинулся походом на Грецию, а его отец — на скифов?.. Подобные люди, думаю я, действуют в согласии с самою природою права и — клянусь Зевсом! — в согласии с законом самой природы, хотя он может и не совпадать с тем законом, какой устанавливаем мы и по какому стараемся вылепить самых лучших и решительных среди нас. Мы берем их в детстве, словно львят, и усмиряем наговорами и вожбою, внушая, что все должны быть равны и что именно это прекрасно и справедливо. Но если появится человек, достаточно одаренный природою, чтобы разбить и стряхнуть с себя все оковы, я уверен — он освободится, втопчет в грязь наши писания, и волшебство, и чародейство, и все противные природе законы и явится перед нами владыкою, бывший наш раб, — вот тогда-то и просияет справедливость природы!»

Калликл последователен и отважен, он не боится самых крайних выводов из «права сильного», которое провозглашает. Именно потому так сокрушительна и полна Сократова критика этого «права» (не смотря на упорство Калликла, не скрывающего своего презрения к Сократу, которого он считает либо лицемером, либо, скорее, прекраснодушным болтуном). Сократ легко «сбивает» Калликла, который даже не способен объяснить толком, что понимает под «силою» и «сильным». Обнаруживается, что знаток практической политики, будущий государственный муж не умеет отличить добро от зла. Мало того, выясняется, что не только юный Калликл,

но и великие государственные деятели великого афинского прошлого, такие, как Фемистокл или Перикл, не исполнили единственную свою задачу — сделать сограждан как можно лучше, но лишь потакали желаниям сограждан (или собственным желаниям), не заботясь о том, насколько эти желания здравы и справедливы. И нет ничего удивительного, что афиняне отличались своим вожакам черной неблагодарностью — присуждали их под конец карьеры к громадным штрафам, к изгнанию и даже к смерти. Будь они действительно хорошими политиками, «никогда бы не случилось с ними ничего подобного. Так не бывает, чтобы хороший возникший сперва не падал с колесницы, а потом, когда выходит и выезжает коней и сам станет опытнее, тогда бы вдруг начал падать. Не бывает так ни в управлении колесницей, ни в любом ином деле».

Платон отстаивает необходимость твердых нравственных основ человеческого общежития, без которых — смерть обществу, категорически отвергает тактику минутных выгод, предающую капитальные, вечные принципы. Его позиция отлично сформулирована новейшим издателем «Горгия» оксфордским профессором Доддсом:

«Большую часть жизни Платона исчезнувший мир Перикловой демократии был для его воображения не менее реален, чем тот мир, в котором он жил и работал... Сперва он, вероятно, оглядывался назад с тем же простым чувством сожаления, что испытывали люди двадцатых годов нашего века, вспоминая мир, каким они его знали до 1914 года... Но к тому времени, когда восстановленная демократия справила свое десятилетие, сентиментальная грусть у многих афинян начала перерождаться в прямое честолюбие. Экономически Афины опять твердо стояли на ногах. Длинные стены были отстроены заново, и Конон, словно другой Фемистокл, создал новый афинский флот. Не доживем ли мы до того дня, когда увидим воскресшей Периклову «архэ»¹..

Такие вопросы заставляли Платона более глубоко, чем прежде, размышлять о причинах, вызвавших материальное и духовное крушение Перикловых Афин... Он отказывается возложить всю вину на поколение

¹ Державу (грек.).

Алкивиада¹ или промахи и просчеты одной из политических партий. Главная ответственность, по мнению Платона, лежит на самом Перикле и на тех его предшественниках, которые подготовили Периклово общество, практически — на всем V веке в целом, создавшем свое представление о задачах государственного деятеля... То, на что нападает в «Горгии» Платон,—это все жизненное устройство общества, измеряющего свою «мощь» числом кораблей в гаванях и долларов в казне, а свое «благоденствие» — уровнем жизни граждан. Таким обществом, утверждает Платон, были Перикловы Афины: извращенность основных его принципов привела к гибели все учреждения этого общества — не только социальные и политические, но и музыкальные и театральные...

История доказала правоту Платона. Теперь мы видим достаточно ясно, что 404 год (год окончания Пелопоннесской войны.— С. М.) был концом века и что перевести часы назад было невозможно... Вдобавок мы убедились на опыте: по мере того, как расшатываются традиционные моральные нормы, все более ненадежными становятся и устои демократии; в отличие даже от наших отцов мы сегодня в состоянии подтвердить Платонов анализ процесса, в котором разложение демократии открывает путь к тирании»:

Особенно примечательна прямая связь инвектив Калликла против «морали рабов» с проповедью Ницше. Конечно, прямолинейно выводить Ницше из Платона было бы такой же фальсификацией и глупостью, как выводить германский национал-социализм из Ницше. Однако верно говорит профессор Доддс: «По странной иронии истории, изложение идей, которые Платон надеялся разрушить, способствовало возрождению тех же самых идей в наши дни; в некоторых аспектах своей мысли Ницше был незаконным и нежеланным отпрыском Платона, точно так же, как нацистам предстояло стать незаконными и нежеланными отпрысками Ницше». И иные термино-

логические совпадения до крайности любопытны. Например, знаменитая «белокуроя бестия» — один из расхожих символов ницшеанского иррационализма. На самом деле это вовсе не «бестия», а «зверь», и в родстве она вовсе не с тевтонами, как хотелось бы нацистам, а с Калликловым львенком, которого общество старается приручить и выдрессировать.

Существует мнение, будто «Горгии» — самый «современный» из диалогов Платона. Мне кажется, это не совсем справедливо по отношению к остальному его творчеству. Не менее современно, к примеру, звучит разговор Сократа с Законами в диалоге «Критон» — о долге гражданина подчиняться сознательно принятым на себя гражданским обязательствам.

Банальность, прописная истина полисной морали?

Но прочитайте этот разговор с Законами: здесь и не пахнет примитивностью, слепой, нерассуждающей верностью заветам предков. Здесь речь идет об индивидуальном договоре гражданина с государством и, стало быть, о свободе выбора, на основе которой закон только и обретает право требовать от гражданина подлинной ответственности за свои поступки. А это ли не одна из самых мучительных и тревожных проблем нашего века?

Или проблема ценности слова и его инфляции. В диалоге «Федон», повествующем о последних часах жизни Сократа, когда искомое доказательство, по-видимому, уже найдено (Сократ убеждает своих друзей, что ему нечего страшиться смерти, потому что душа не умирает, а душу истинного философа ждет за гробом блаженство), вдруг выдвигаются новые доводы в пользу утверждения, что душа смертна, на первый взгляд — очень сильные. Участники беседы удручены: «...прежние доводы полностью нас убедили, а тут мы снова испытывали замешательство и были полны недоверия не только к сказанному прежде, но и к тому, что нам еще предстояло услышать». И вот, подметив это, Сократ произносит свое знаменитое предупреждение против «мисологии» — «словоненавистничества», сравнивая его с человеконенавистничеством и утверждая, что нет большей беды, чем ненависть ко всякому слову и рассуждению. Как и ненависть к людям, она бывает следствием чрезмерной доверчивости и последующих разочарований, но повинна в этом

¹ Алкивиад — государственный деятель и полководец времен Пелопоннесской войны (431—404 гг. до н. э.), положившей конец могуществу Афин. На протяжении войны Алкивиад несколько раз переходил от одной враждующей стороны к другой и вину за эти измены афиняне возлагали на Сократа (как и Платон, Алкивиад был его учеником), якобы оказывавшего тлетворное влияние на молодежь.

наша собственная неопытность, то, что мы приступаем к словам (или к людям), не владея искусством их распознавать, и было бы печально, если бы, «узнав истинное, надежное и доступное для мысли доказательство, а затем, встретившись с доводами такого рода, что иной раз они представляются истинными, а иной раз ложными, мы стали бы винить не себя самих и не свою неискренность, но от досады охотно свалили бы собственную вину на доказательство в целом и впрямь, до конца дней, упорно ненавидели бы и поносили всякое рассуждение, лишив себя истинного знания о вещах».

Разве только к афинянам, сбитым с толку хитроумием и беспринципностью лже-мудрецов и уже всякую мудрость полагающим за шарлатанство, обращен этот призыв хранить мужество и здравомыслие? Новая «мисология» — или, выражаясь более современно, «идеологический вакуум» — так же опасна для своего общества, как древняя для своего. Всегда находятся Калликлы, которые умеют ею воспользоваться, в особенности если они не так прямолинейны и откровенны, как платоновский герой, а иногда и напротив — благодаря грубой прямолинейности. Поле для их деятельности открыто, и нива щедро удобрена: бедствия последней войны, ошеломляющая, сбивающая с толку запутанность послевоенного развития основательно подорвали в современном мире доверие к разуму, веру в силу всякой мысли, кроме естественнонаучной и практически приложимой, — все остальное кажется уже только словами, пустым умствованием или своекорыстной демагогией. Сократовы поучения способствуют ясному пониманию природы болезни, а ясное понимание — уже пробойна в пакостной скорлупе воинствующего антиинтеллектуализма.

Труднее всего, разумеется, описывать то, что воспринимаешь непосредственно, интуитивно — радость эстетического переживания. И здесь, на мой взгляд, не менее, чем ассоциации по сходству, существенны и ассоциации по контрасту. К числу последних принадлежит и различие в отношении художника — античного и современного — к изображаемому объекту.

Современный писатель, как правило, противостоит своему материалу, организует и подчиняет его, постоянно чувствует и преодолевает его сопротивление. И чем резче это противостояние, тем отчетливее, замет-

нее эта борьба, тем меньше старается художник скрыть ее от чужих глаз, а нередко и демонстративно выставляет это сопротивление материала на всеобщий обзор. Античный писатель (тоже, как правило) еще не знает, не чувствует такого «сопротивления». На самой ранней стадии, у Гомера, субъект еще не противопоставлен объекту, человек — ни обществу, ни даже природе: так ребенок долго не сознает противоположности «Я» и «не-Я». В дальнейшем органическое ощущение единства слабеет, но никогда до самого конца античной традиции не исчезает вовсе (не в этом ли грань или, вернее, одна из граней, разделяющая сосуществующие хронологически позднеантичную и раннехристианскую литературы?). Это придает античному произведению неповторимую целостность, которую ни с чем не спутаешь и которая влечет нас и радует — по контрасту. Хочется верить, что наше чувство хотя бы отдаленно напоминает то, какое испытывал древний художник, радуясь своей работе и своему успеху:

Проходя по залам Национального музея древностей в Афинах и глядя на каменных «курсов» (так искусствоведы называют изваяния юношей в рост, относящиеся к VII и VI векам до н. э.) или на поразительного бронзового «Курса из Пирея», на их сдержанную, скованную мощь и незабываемую улыбку, — уж верно, она казалась «диавольской» юному христианству, — а потом, поднявшись во второй этаж и останавливаясь у каждой вазы, у каждой статуэтки, думаешь о том, с какой свободой и беззаботностью, с каким мудрым забвением повседневных тягот и тревог, с каким юным доверием к будущему и уверенностью в нем воспринимал мир древний художник. Потому-то и улыбаются губы, потому так широко открыты глаза — с любопытством ко всему на свете, с достоинством и спокойствием, которые чудесным образом сочетаются с экспрессией, смелою выразительностью движений в вереницах людей и животных.

Другой контраст можно было бы назвать контрастом произвольной симметрии и нарочитой асимметричности. Новое время зачастую избегает равновесия, строгой согласованности частей, симметрии, тяготеет к угловатости, умышленно резким поворотам, сдвигам. У многих древних писателей ученые, как известно, открыли так назы-

ваемый геометрический стиль композиции: произведение членится на части, симметричные относительно некоторых осей, образуются сложные структурные единства, зеркально отражающие друг друга, и т. д. Подобная композиция у Гомера или Эсхила, конечно, результат не сложного расчета, а врожденного чувства меры: вернее всего, авторы и не подозревали о собственном геометризме. Обратимся снова к «Федону». (Платон, один из крупнейших мыслителей Древней Греции, первый из философов, чьи труды сохранились и дошли до нас в цельном виде, несравненный мастер диалектики в первоначальном значении этого слова, то есть искусства вести рассуждение, вскрывая противоречия и в доводах собеседника, и в собственных доводах, и в самом предмете исследования,— Платон был вместе с тем великим писателем, и его сочинения столько же принадлежат истории литературы, сколько истории философии.) Нельзя не заметить благородного изящества, с которым «сконструирован» диалог: разделение беседы на завершённые внутренне и взаимно уравновешенные отрезки; «интерлюдия» посредине (уже упоминавшийся выше разговор о ненависти к слову), позволяющая отдохнуть, чтобы со свежими силами и обостренным вниманием приступить к самой трудной и сложной части доказательства — опровержению новых контрдоводов; точная постановка мифа о загробной участи душ, который венчает целое и вместе с тем доставляет второй отдых — перед трагической развязкой (описанием кончины Сократа). Тут симметрию не надо открывать, как у Гомера и Эсхила, — она открыта и видна всякому. И любопытно, что современный вкус не мешает ощутить прелесть «Федона» и насладиться ею.

Та же прелесть природной, непридуманной соразмерности — и в архаической керамике, и в облике новых Афин. Когда смотришь на город сверху, с бельведера на Акрополе, с холмов Филопаппа или Ликавита, приходят на память слова комедиографа Лисиппа — младшего современника Перикла, старшего современника Аристофана, — известного нам лишь по имени да по нескольким совсем кратким фрагментам:

Чурбан ты, брат, коли Афин не видывал;
Осел, конь, увидав, остался холоден.
Верблюду, коли увидел — и умчался прочь.

(Перевел С. Аверинцев)

Но мы-то смотрим не на древние храмы, портики и лестницы, которыми так темпераментно призывает любоваться древний поэт, мы смотрим на город, который еще сто лет назад был жалкой деревушкой у подножья знаменитых развалин. Едва ли кто назовет архитектуру нынешних Афин несвоевременной, отсталой, провинциальной, скучной. Напротив, бывалые путешественники, объездившие чуть не полмира, восхищаются ею без каких бы то ни было скидок и оговорок. А если так, то, быть может, и вообще античные эстетические традиции совместимы с современностью не только как контрастное противопоставление, но и как живой стимул творчества? Однако это уже иная тема.

В узкой улочке, заставленной старыми домами, лежит одна из многих «древностей» Афин — так называемая Библиотека Адриана. Это сооружение времен римского владычества в Греции и потому оберегается куда менее тщательно, чем собственно греческая старина: вход бесплатный от восхода до заката, у ворот нет киоска с билетером, контролером и сплошными рядами памятных открыток и буклетов. Просторный двор метра на полтора ниже уровня улицы: «древность» хошь и римская, но за тысячу девятьсот лет успела уйти глубоко в землю. Колонны, обломки колонн, ряды каменной кладки. Я сижу на какой-то стертой ступени. Девятый час утра. Первое октября 1965 года — последний мой день в Греции и первый день школьных занятий. В двери, выходящей прямо на Библиотеку, появляется мальчишка лет одиннадцати и бегом пересекает двор, не замечая ни меня, ни тем более ветхих желтых камней, тысячу раз виденных и таких же привычных, как старый стол в кухне. Что ему до туриста, примостившегося на каменной ступени, до его восхищения этими камнями и этой страной, до самих камней, которых здесь так много, почти без числа? У мальчишки свои заботы — школа, свидание с приятелями после долгой летней разлуки, несколько менее приятное, надо полагать, свидание с учителями. Он не думает о древней земле, на которой живет, он просто живет на ней, наследник и преемник всего, что было здесь создано и совершено. Но разве мой сын, бегущий в школу Большим Харитоньевским переулком, не

сонаследник ему, не сопреемник? Быть может, ни тот, ни другой за целую жизнь ни разу не задумается всерьез о том, что значат для него — не для мира, не для истории, а именно и только для него — Гомер, или архаическая скульптура, или Сократ. или рыночная площадь древнего Коринфа

с ораторским возвышением, откуда, как гласит предание, говорил с коринфянами апостол Павел. Вполне возможно. Но наследники — оба, потому что для обоих эта старина родная и живая, и оба вправе притязать на нее как на свое законное достояние.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Соколов. Горизонты правды.— **Ст. Рассадин.** «Своих стихов миндальный торт».— **Ю. Манн.** Живорожденная мысль.— **А. Сидоров.** Мастерство штриха.— **И. Варламова.** В поисках утраченной души

ПОЛИТИКА И НАУКА

Ю. Кирьянов, С. Тютюкин. Рождение новой морали.— **Л. Баженов, М. Слуцкий.** Философия и современное естествознание.— **В. Борнычева.** Наш семейный бюджет.— **Виктор Афанасьев.** Первый шаг.— **И. Пешкин.** Наблюдения, побуждающие к действию.

Литература и искусство

ГОРИЗОНТЫ ПРАВДЫ

Григорий Бакланов. Военные повести. «Советский писатель». М. 1967. 582 стр.

Большой том военных повестей Григория Бакланова художник проиллюстрировал неожиданно и необычно — прямо в текст, разрывая повествование, он вложил тетрадки фронтовых, репортажных снимков тех лет. Фотографии безыскусные, снятые наспех, часто смазанные, но зато абсолютно достоверные: так, именно так летела граната из окопа и именно так, увязая в грязи, тащили на себе орудия по фронтовым дорогам, а в тылу такая зот мать долгими вечерами за вязанием ожидала писем с фронта... На первом титуле — степа Брестской крепости с первым завещанием героя в июле 41-го года: «Умираю, но не сдаюсь». На последнем — стена рейхстага с надписями тех, кто дошел до Берлина в мае 45-го. Факты, только факты военных лет, схваченные и зафиксированные фотокамерой. А рядом с ними — сочинения писателя, роман, три повести и рассказ о войне. Сравняйте, проверьте, вспоминайте...

«Когда кончится война и люди будут вспоминать о ней, наверное, вспомнят великие сражения, в которых решался исход войны, решались судьбы человечества. Войны всегда остаются в памяти великими сра-

жениями. И среди них не будет места нашему плацдарму. Судьба его — как судьба одного человека, когда решаются судьбы миллионов. Но, между прочим, нередко судьбы и трагедии миллионов начинаются судьбой одного человека. Только об этом забывают почему-то» (повесть «Пядь земли»).

Интерес к «судьбе одного человека», одной батарее, одного выстрела, цена которому целая жизнь, — такого интереса Бакланов начинал свой путь в литературе — первыми повестями о войне — и остается верен ему сегодня. И дело тут не в «ремаркизме» и не в «окопной правде», которую, дескать, писатель противопоставляет масштабам и правде всей войны, — ничего он не противопоставляет, наоборот: последовательно и настойчиво движется к осмыслению этих масштабов, всей этой правды. Но к мысли — «все начинается с одного», — к этой мысли Бакланов будет возвращаться снова и снова, это его «болевой порог», и не в силу какой-то гиперболизированной чувствительности. Вовсе нет! Просто главным условием «работы на войне», ее каждого дня, первого и последнего, условием храб-

рости, справедливости и конечной победы писатель считает одно: святую обязанность всех в каждую минуту и при каждом решении помнить о каждом, об одном, о единственном. И каждого — о всех.

Бакланов любит выбирать для своих сюжетов ситуацию, в которой действие развивается как бы не «по плану», вопреки ожиданиям. Его первые военные повести («Южнее главного удара» и «Пядь земли») рисуют эпизоды яростных, отчаянных немецких контратак уже в ту пору конца войны, когда по всему фронту шло победоносное наступление. Его недавний роман «Июль 41 года» из тягостных событий начала войны выбирает как раз на редкость счастливый эпизод наступательного прорыва одного из корпусов, лучше других подготовившегося и выдержавшего натиск врага. Армия Лапшина отступает, «где немцы — никто не знает, ждут, вот-вот к штабу прорвутся», а корпус Щербатова запрашивает разрешение наступать, видя в этом вполне реальную возможность не только приостановить движение врага, но и спасти самих себя, оказавшихся в тылу у фашистов. То, что так ясно и логично для Щербатова, его офицеров и солдат, с точки зрения Лапшина лишено всякой логики и здравого смысла. «Отступая, он не мог поверить, что нужно наступать. Он нанес корпусом удар во фланг и, не ощутив сразу перелома, видя только, что немцы продолжают наступать, испугался потерять и этот корпус. И приказал самое бессмысленное: остановиться и ждать. Развязал руки немцам».

Генерал Лапшин испугался за корпус? Нет, он испугался за себя, испугался ответственности. Он не поверил другим. Думать о других, помнить о всех и каждом — значит не думать о себе. Это негласный закон войны, и за всякое нарушение этих взаимных обязательств наступает расплата кровью и жизнью.

Г. Бакланов неоднократно варьирует эту тему. Ведь нетрудно, скажем, заметить, что и прямое предательство капитана Ищенко («Мертвые сраму не имут»), и более «хитрая», хоть и не менее подлая философия Мезенцева («Пядь земли») произрастают по сути дела из того же корня, что и трусливая бездарность не по заслугам возвеличенного в канун войны генерала Лапшина. Сначала — от бездарности к повышенному себялюбию, отсюда — к готовности лишиться себя пожалеть себя. «Никто не верит в свою не-

одаренность. А если кто и поверит временно, так ничего нет легче, чем убедить человека в том, что сам он и умен (во всяком случае, не глупее других), и способностями бог не обидел его, да только обстоятельства против него сложились... Во что, во что, а уж в это каждый готов поверить без принуждения. Потому, быть может, что потребности пользоваться благами жизни и способности создавать их даны людям чаще всего в обратной пропорции».

В самую трудную, критическую минуту полдец Ищенко решит эту «обратную пропорцию» в свою пользу, спасая собственную шкуру и бросая на произвол судьбы остальных, а другой любитель «пользоваться благами жизни» — увиливающий с передовой трубач Мезенцев — подведет под это целую философию.

«Не могу я, оставаясь честным, сказать, что жизнь вот этого Коханюка, — он кивнул на дверь, — дороже мне, чем моя жизнь. Да он и не может ценить ее так. Что он видел? Мы сейчас все вместе здесь. И едим вместе, и спим, и когда нас обстреливают, так тоже всех вместе. И от этого возникает ложное чувство, что мы всегда будем вместе. И ложный страх: «Как бы обо мне не подумали плохо!» Кончится война, и жизнь всех нас разведет по разным дорогам. Да и сейчас тоже... Что говорить, товарищ лейтенант, обстреливают нас всех вместе, а умираем мы все же врозь, и никому не хочется первым. Я только хочу сказать, что человек должен управляться разумом, а не ложными чувствами».

Мезенцев не умирает ни первым, ни последним, вместо него (и по его вине) погибает Шумилин, умирает от ран Маклецов, а потом, когда и бой-то кончился, от последнего шального снаряда гибнет никогда не жалевший себя Бабин. Когда хоронили Бабина, Мотовилов увидел на одном из чудом уцелевших деревьев довоенную дощечку: «Из одного дерева можно сделать миллионы спичек. Одна спичка может сжечь миллион деревьев. Берегите лес от огня!»

Проследить, как от вредной спички начинается пожар, легче, чем увидеть, как растут в лесу деревья. И тем не менее главная устремленность дарования Бакланова направлена именно к этому — к будням «военного леса», к ежедневному, незаметному и решающему подвигу тех, кто сумел себя подчинить ответственности всех перед каждым и каждого перед всеми. Полнее всего

эту взаимозависимость миллионов людей на войне отражает в повестях Г. Бакланова судьба тех, с кем он прошагал все свои фронтовые дороги, судьба комбата — командира батареи или командира батальона, лейтенанта или капитана. Эта судьба не просто знакома и близка писателю — она известна ему до мельчайших подробностей, на ней он может проверить любую ситуацию, и потому именно они, комбаты, неизменно оказывались в центре его повестей, будь то Беличенко из «Южнее главного удара», или Ушаков и Васич в «Мертвые сраму не имут», или Мотовилов и Бабин в «Пяди земли». (Особняком стоит главный герой романа «Июль 41 года» генерал Щербатов — фигура особая и новая для Бакланова.)

Любой из его молодых офицеров мог бы повторить вслед за Мотовиловым: «Я один из многих тысяч лейтенантов, воюющих сейчас на всех фронтах. Одинаково одетых, одинаково обученных, одинаково вооруженных ваших сыновей».

И дело не только в войне, уравнившей всех их в звании и обмундировании, — их довоенные биографии тоже во многом схожи между собой. В них жило ощущение значительности происходящих событий: «Через Спартака и все восстания рабов, через баррикады Парижской коммуны, соединенные единым током крови, они чувствовали себя наследниками всей истории человечества, которую их народ с новой страницы начал в семнадцатом году».

Свеженькими выпускниками военных училищ с двумя кубиками в петлицах примут они свой первый бой и на всю жизнь запомнят его. Комбат Гончаров запомнит зеленый луг и речку, возле которой накрыли врага его первые снаряды: «Среди неглубоких пятен воронок на нем вразброс лежали двое немцев, белые в зеленой траве. Один был совершенно голый и в сапогах». Почти такой же луг возле речки после первого боя запомнит и комбат Беличенко, только лежать на нем будут не фашисты, а его друзья-батареи: «И вот все они мертвы. Голые по пояс, без рубашек лежат в луговой траве, а в реке купаются немцы. И луг и река теперь ихние».

Пройдет четыре года войны, и те из них, кто уцелеет, потеряют счет таким воспоминаниям: «Многое отвердело в душе Беличенко. Он уже не сможет сказать, как бывало, комсоргом: «Если родина потребует, мы

все умрем за родину». Он даже почувствует себя неловко, если при нем скажут это. О таких вещах не говорят вслух. На фронте это делается просто, тысячи людей делают это».

Но и теперь, в конце войны, когда на батарею Беличенко придут два молоденьких лейтенанта из училища — «мальчики с хорошими, честными лицами», — он узнает в них себя, своих младших братьев: «Завтра на окраине незнакомого венгерского города, очень далеко от своего дома, им предстояло встретить свой первый бой. И все, что было прожито ими до сих пор, и пережито, и прочтено, все, чему их учили, о чем мечтали они, — все это было подготовкой к завтрашнему утру. Беличенко не знал, как сложится их судьба. Но, как бы она ни сложилась, какой бы короткой и трудной она ни была, он верил: пройдут войны, отшумят сражения, и люди еще позавидуют их судьбе».

Гордое сознание честно и до конца исполненного «долга лейтенантов» — той смертельной работы, в которой хотя бы раз от твоего именно мужества, и способностей, и самопожертвования зависела жизнь тысяч и общая победа, — это счастливое сознание объединит их всех, от самого знаменитого до самого скромного и рядового, в одно поколение. Как никто до них, ощутят они свою прямую причастность к истории, к судьбам мира и человечества. «Понимаешь ли ты, мой ровесник, что это и за тебя война идет, за твоих будущих детей? — обращается мысленно лейтенант Мотовилов к далекой от всякой войны Австралии. — Бывали и раньше войны, начались, и все оставалось по-прежнему. Эта война не между государствами. Это идет война с фашизмом за жизнь на земле, чтобы не быть тысячелетнему рабству, поименованному тысячелетним рейхом. По-разному коснулось нас это время. Ты еще учился в школе, когда мы взяли в руки оружие. Сегодня наш окоп преградил путь фашизма к тебе».

Таков коллективный портрет излюбленного, главного героя всех баклановских повестей. Ему, «одному из тысячи комбатов», автор готов присягать снова и снова, не скрывая своего пристрастия и лишь упорно подчеркивая одновременно и типичность и индивидуальность его фронтовой судьбы.

Впрочем, Бакланов порой внимательно прослеживает наиболее общие «переходящие» черты своего типичного комбата. Образы, созданные писателем, нельзя назвать

схематичными, они наполнены множеством живых подробностей, особенностей, деталей, и все же совпадение отдельных судеб в главных точках биографии создает прежде и больше всего обобщенный портрет поколения, внутри которого герои выглядят порою лишь вариациями одной судьбы.

Может быть, дело тут в том, что Бакланов неохотно выходит за рамки чисто военного существования своих героев, держится только за этот «плацдарм» их биографии. Кое-что мы узнаем о их связях с внешним миром, об их довоенной жизни, о судьбе их близких, но все дано в авторских описаниях и справках — сами «комбаты» в тех, других условиях не действуют, не чувствуют, не существуют. Батарея, дивизион, боевой эпизод — вот строго ограниченный круг не только места действия, но и — интересов, мыслей, переживаний. Круг, несомненно, интересный и важный, вполне вмещающий в себя многие проблемы человеческой жизни на войне и освоенный Баклановым глубже, чем это делали до него многие (к тому же освоенный в самом трудном, сугубо бытовом и будничном своем выявлении). Все это так, но когда из повести в повесть герой принципиально не выходит за рамки этого круга, словно отказываясь от своей биографии, которая была до этого круга, вот тогда-то он и превращается из Мотовилова, Беличенко, Бабина, Ушакова в обобщенного «комбата», то есть в фигуру, которую отлично запоминаешь по общим чертам и подробностям характера, но с трудом по фамилии.

В этом смысле больше других повезло комбату Гончарову из романа «Июль 41 года» — его судьба, особая и во многом исключительная даже для его поколения, изображена писателем щедрее, подробнее других. Да и все это произведение, по размерам ничуть не больше любой из повестей, изменяет той строгой замкнутости «одного военного эпизода», той «пяди земли», которой придерживался до сих пор Бакланов, — здесь писатель решается на более глубокий, исторически обобщенный анализ и происходящих событий, и характеров. Ради этого, видимо, и центральный герой романа — генерал Щербатов — шагнул вперед от «комбатов» и в воинском звании, и в масштабах своей биографии, своих наблюдений и размышлений над жизнью — не только своей и не только на фронте.

За всем тем, что произошло с его корпу-

сом и с ним самим в первый месяц войны, Щербатов увидел и вспомнил многое — такое, о чем его сын Андрей, вместе с будущими комбатами кончивший военное училище, или просто не знал, или не любил вспоминать...

Щербатов победил свой страх. Последний рубеж его совести и решительности оказался первым и лучшим рубежом для корпуса — он встретил ворвавшегося врага в боевой готовности, не дрогнул и сохранил силы для ответного удара. Он готов был ударить сам — перейдя в наступление, — но тут уже Лапшин не поверил и не доверил Щербатову осуществить это единственно разумное решение.

Многое разглядев и обдумав до войны, Щербатов и на войне в самые страшные, первые ее недели живет и действует шире служебных параграфов. Освободив от немцев первую деревеньку, подполковник Прищемихин решает помочь крестьянам управиться с хлебом — он еще не знает того, что знает командир корпуса: враг уже оправился от неожиданного удара и разворачивает контрнаступление. Наивная инициатива Прищемихина граничит в этой обстановке с преступлением, и Щербатов исполнен справедливого гнева — но Бакланову удается в запоминающихся страницах этого эпизода передать не только первый и понятный гнев генерала, но и всю сложную гамму чувств, охвативших Щербатова: и его минутный восторг перед неожиданной картиной вдохновенного массового покоса («Это была радость несбывшегося, того, что должно и могло быть»), и его невольное сочувствие Прищемихину, тому «крестьянскому, что не так замечалось в нем, одетом в полную форму, при знаках различия и ремнях» и что «отчетливо проступало теперь, когда он под ярким солнцем в белой нательной рубашке и пыльных сапогах стоял в пшенице, загорелый дотемна тем особым загаром, каким загорают только работающие в поле крестьяне и солдаты», и, наконец, его злую горечь перед этой наивностью и беззаботностью вчерашних, еще мирных представлений о жизни.

В числе немногих, уцелевших из корпуса, Прищемихин в конце романа возьмет на себя тяжелую долю прикрывать отступающих. Попрошаться с ним последним подойдет Щербатов.

«Не знаю, увидимся ли, — сказал он, держа руку Прищемихина в своей руке. — На

великое дело остаешься. Хочу, чтоб знал: достойнее тебя оставить мне было некого».

В каждой из «Военных повестей» Григория Бакланова есть несколько героев-офицеров, любому из которых генерал Щербатов мог с не меньшим основанием сказать в июле сорок первого года: «Достойнее тебя оставить мне было некого». Главная заслуга книги в том и состоит, что Бакланову удалось в сумме будничных, проходных эпизодов войны показать и доказать, какой силой, какой мужественной красотой обладали эти на фронте раскрывшиеся люди, ничем не выдающиеся и не примечательные в обычной жизни. Доказать галереей своих однополчан: имя этой силе — легион!

Тогдашние комбаты и лейтенанты сегодня ходят в генералах. Трудный и бесценный опыт войны они соединяют ныне с таким же трудным и бесценным опытом послевоенных лет, всего того нового и разнообразного, что мы узнали и узнаем чуть ли не ежедневно об открытиях науки, о тревожном мире, о себе. Лейтенанты, пришедшие в литературу, тоже сделали за эти годы немало: военная проза последних лет, раздвигая масштабы исследования исторических событий и характеров, заметно обогатилась накоплением и углублением художественной правды о войне.

В. СОКОЛОВ.



«СВОИХ СТИХОВ МИНДАЛЬНЫЙ ТОРТ»

Юрий Панкратов. Светлояр. Книга лирики. «Молодая гвардия». М. 1967. 80 стр.

Вероятно, многим запомнился этот курьез. Не так давно «Литературная газета» напечатала реплику, осмивающую одну поэму о Лермонтове. Анонимный автор реплики возмущался убожеством и косноязычием речей, которыми изъясняется в поэме Лермонтов, и приводил наиболее вопиющий образец косноязычия:

Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побить.
На свете мало, говорят,
Мне остается жить.

Помнится, читатели долго веселились.

Однако, мне кажется, в этом курьезе выразилось не только невежество или небрежность.

Сейчас как-то утвердился взгляд на поэзис, согласно которому эти гениальные строки Лермонтова, лишённые эффектной изощренности, в самом деле должны казаться слабыми или, как принято говорить, «несовременными». Одни рифмы чего стоят: «брат» — «говорят». И того пуше: «побить» — «жить». Срам!

Те стихотворцы и их поклонники, которые считают двигателем поэзии формальный изыск, постепенно свели понятие формы до понятия техники. Достоинство стихотворения стало измеряться изобретательностью рифмы и количеством броских аллитераций. Поэзию стали путать с версификаторской виртуозностью.

Конечно, никто не осмеливается прямо

посягать на имя Лермонтова, но вот строки его безымянными вошли в чужую поэму и, лишившись охранной грамоты, оказались беспомощными, были осмеяны.

Думаю, что автор реплики стал бы куда менее строгим, если бы на месте лермонтовской «бедности» были, скажем, такие «современные», «крепко сделанные» строчки:

Крыли крышу, забивали молотком.
Ели кашу, заливали молоком.
На отчаянной брочке прикатил
измочаленный, небритый бригадир.

Еще бы — строчки чуть не целиком рифмуются. Это вам не «побить» — «жить».

Строки эти написаны Юрием Панкратовым, чье недавнее появление в литературе сопровождалось некоторым шумом, возбуждаемым частью его собственными «новаторскими» заявлениями, но частью и людьми, которые возлагали на него надежды, — от Николая Асеева до Николая Грибачева.

Сейчас вышла его новая книга.

В ней тоже немало строк, старательно аллитерированных, снабженных так называемыми «корневыми рифмами» — всем, чем полагается. Таковы, например, стихи о барсе, которого везут в клетке через озеро:

У барса зрачки дерзновенны
и метки,
как взор Пугачева,
сидящего в клетке.

Как пьяный,
ночной.
обезумевший бар,
качается в ярости
раненый барс.

Это озадачивает.

Попробуем даже опустить вопрос о тактичности сравнения барса, которого везут в зоопарк, с Пугачевым, которого везут на эшафот. Но как же это — трагическое! — сравнение спокойно соединено со следующим? Что общего у пугачевского страдания с пьяной гулянкой, с кабаком, который тут же, в другом стихотворении той же книги живописуется следующим изящным манером: «а в туалете рвет ее у крана и пипафаксом губы трет она»?

Но дальше про барса:

И зверь выгрებაет,
шатаясь.
на берег.
седой,
красномордый
и пьяный, как
Беринг.

По правде сказать, я не настолько накопке с морской историей, чтобы знать, был ли Витус Беринг «красномордым» и славился ли он пристрастием к спиртному. Мне он вообще почему-то запомнился иными своими качествами. И, наверное, не мне одному.

Откуда же эта фамильярность? Откуда кричащая разнородность ассоциаций? Где авторский слух? Где зрение? Где вкус?

Впрочем, оставим этот участливый врачебный тон. Успокоимся: автор не оглох и не ослеп, и совмещение несовмещаемого в стихах не вызвано катастрофическим нарушением работы его органов чувств. Дело куда проще.

Для Панкратова содержания этих ассоциаций — с Пугачевым ли, с баром ли — попросту не существует. Это мы, доверчивые читатели, жаждем сопереживать. А сопереживать не с чем: нет переживания.

За этими сравнениями — ни трагедии, ни комедии, ни горя, ни веселья. Стихи сроботаны на холодной технике, на элементарном подборании рифм к слову «барс» вплоть до «Брамса» и «брасса» (представляете — барс, плывущий брассом?).

Это кажется Юрию Панкратову поэзией. И не ему одному. Его книга — быть может, крашнее, но далеко не единственное воплощение подобного отношения к поэзии.

Панкратов может сказать о любимой женщине: «Как родниковую луну, тебя я нежно обнимаю», не заметив, что луну, хотя бы и родниковую, обнять довольно затруднительно. Любовь, страсть подменяются в его стихах хладнокровной имитацией чувственности:

...Вужу.
на руки поднимаю,
как поднимают
целину.

Задумаемся, что тут происходит. Человек обнимает любимую и тем не менее отнюдь не поглощен этим занятием; он даже успевает обдумать возможность игры значениями глагола «поднимать», игры умственной, не подсказанной настроением мгновения. Даже в эту минуту наш влюбленный заполнен своими словесными упражнениями. Само любовное объятие принимает у него такой литературно-извращенный вид:

И бьются у моей груди
два полушария
Земли —
две круглых половинки мира!..

Нет вкуса? Конечно. Но главное, чувства нет.

Самоцельность, то есть бесцельность, всех этих сравнений, порою внешне броских и даже способных кого-то привлечь (привлекли же они издательство «Молодая гвардия»), свидетельствует, что Юрию Панкратову просто нечего сказать читателю.

Иногда, кажется, он и сам это понимает. И тогда пишет: «И хочется с места сорваться, в карьер, без царя в голове...»

Но вероятнее, что Панкратов здесь случайно оговорился. Или — проговорился. Потому что обычное состояние его лирического героя, напротив, состояние самодовольства.

Одно стихотворение, которое по замыслу должно свидетельствовать о внутренней зрелости автора, начинается так:

Давно уже не трогает меня
все модное,
крикливое,
скандальное...
Мне нравится все то,
что нестандартно
и рождено
не на потребу дня.

Правда, это программное заявление становится слегка комичным, едва мы узнаем,

что именно автору нравится. А нравятся ему «монетка, пуговка солдатская, оставшаяся со времен Петра».

Уж что-что, а монеты и пуговицы всегда рождались «на потребу дня».

Но в конце концов это частность.

Главное же в том, что странная борьба панкратовского героя со стандартом оборачивается высокомерной брюзгливостью:

Есть что-то однотипное
в значках,
в покрое
одинаковых юбочнок.
Есть что-то однозначное
в зрачках
по улицам гарцующих девчонок.

Поэт оттого и поэт, что за внешностью ищет суть. За будничной похлесткой спешащих людей, за общим покроем платья стремится увидеть неповторимую душу. Панкратову не до того. Он слишком занят собой. И вот в чем видит он свой гордый вклад в борьбу с шаблоном: «Я медленно по городу брожу, копаюсь в магазинах антикварных и сокрушаюсь, если нахожу один предмет другому адекватным». Однако завсегдатая антикварных лавок отличает от прочих людей скорее избыток свободного времени, а не гражданская доблесть.

Выдавать свое невинное хобби за принципиальную позицию, равнодушно презирать «гарцующих» девчонок, платья которых куплены в универмаге, а не сшиты у дорогого портного, сознавать свою избранность у прилавка антиквариата — какой уличный снобизм! Какая суетная игра в несуетность!

Лирическому герою Панкратова очень немного надо для того, чтобы нравиться себе, гордиться собой. Он может сказать:

Творю я,
верую,
пою,
со мной души моей безбрежность...

И еще — о себе же:

...дарящий доброту и нежность...

Это он женщине дарит. И напоминает: чтоб знала, чтоб чувствовала!

Или даже:

Поникнут крылья за моим плечом...

Заметим: крылья — за плечом. За одним плечом! По-видимому, герой ощущает себя не меньше как шестикрылым серафимом.

Невозможность поведать читателю нечто существенное, соединенное с грандиозным самоуважением, рождает многозначительные банальности.

Банальность — это подлог. Это позавчерашний, остывший штамп, подсунутый вместо живого, сиюминутного чувства.

В книге Панкратова множество таких остывших штампов: «А любимая только одна. Молодое и нежное солнышко, золотое Ярило мое, бесконечная сказка вселенной!»

Кстати, «золотое Ярило» — это то же самое, что коварное Яго и ревнивое Отелло.

Или: «Солнце только одно, и на части его не разделишь, не разрубишь его на куски, как лиловую тушу барана, как туркменскую спелую дыню, или крупную сизую рыбу, или круглую сонную тыкву...»

Это любопытный пример особой формы банальности. Банальности полемической.

Берется нечто бесспорное. Дважды два — четыре или «солнце только одно». Если произнести это спокойно, никто и внимания не обратит. И вот Панкратов, самовозбуждаясь, горячо отстаивает эти истины, словно кто-то на них и в самом деле покушается. Эффект очевиден: бесспорное не оспоришь (дважды два, как ни крути, четыре), зато кто-нибудь может принять самовозбуждение за боевой темперамент.

У Панкратова много таких гипертрофированных банальностей.

В одной довольно плохонькой пародии, преувеличенно имитирующей звуковое однообразие, были такие строчки: «Портальные краны, порталные краны, я выполню с вами кварталные планы!» Панкратов всерьез повторил эти пародийные созвучия:

Составляют кварталные планы...
не смолкают порталные краны...

Маршак сказал однажды, что в настоящих стихах аллитерации — музыкальные подтверждения истинности чувства. Панкратовские механические аллитерации — доказательства отсутствия чувства.

Так же пародийно монотонен он в эпитетах. Выбрав или позаимствовав эпитет, он использует его на полный износ. Есть, скажем, такое — когда-то осмысленное, но, пройдя через десятки стихотворений, ставшее штампом выражение, высокая простота. Панкратов, разумеется, его не обошел.

Но у него еще и чувство высокое, и весна высокая, и сердце высокое, и путь высокий.

Еще он любит слово «звонкий». Все в его книге звонкое — яблоки, град, клад, изумруд, чувство, вера, вечность, весна, тишина...

Дальше: «трепетный». Тут и полет, и лотосы, и звезды, и рука, и, конечно, сердце.

Между прочим, эти эпитеты дают представление не только о скудости словаря, но и о стилистических пристрастиях. Панкратов обожает высокопарность, вычурность, пышную красоту.

Даже кондитерскую сладость:

Я принесу тебе к обеду
своих стихов
миндальный торт...

Когда-то Николай Асеев, по словам Панкратова, говорил ему следующее:

«Я не скажу вам
ничего хорошего,
чтоб не дразнить
в традициях заросшего,
я не скажу вам
ничего похвального,
чтоб не гневить
сторонников банального...»

Вероятно, стихотворное качество этого отзыва придется оставить на совести Панкратова. Как и то, что банальность смешана с традицией. Но Асеев, помнится, действительно видел в Панкратове свежую силу.

Не знаю, как прежде, а теперь этот «миндальный торт», разукрашенный, как розанчиками, модными рифмами, уже не раздражает любителей банального. А тем, кто традицию предпочитает банальности,— тем давно приелась эта приторность, к тому же ж синтетическая. Хочется честного хлеба.

Ст. РАССАДИН.



ЖИВОРОЖДЕННАЯ МЫСЛЬ

Аполлон Григорьев. Литературная критика. «Художественная литература». М. 1967. 632 стр.

Вышли избранные статьи Аполлона Григорьева — в сущности, первое советское издание его критических работ. Читатель получил объемистый, шестисотстраничный том. Книга снабжена обстоятельной вводной статьей и комментарием, написанными Б. Ф. Егоровым.

Переиздание Аполлона Григорьева отвечает потребностям литературы. Критик, который долгое время находился среди полузабытых литераторов, теперь и упоминается и цитируется. Упоминание его имени становится признаком хорошего тона, модой. А мода, как известно, имеет и теневые стороны, когда из литературного факта выхолщивается живой смысл и он превращается в годный на все случаи трафарет. Кто знает, может быть, придет и такое время, когда цитаты из Аполлона Григорьева уснастят формализованные школьные характеристики персонажей — так называемые «образы». Ведь уже и сегодня можно услышать, как кто-нибудь из специалистов по «мастерству» советует: «Учиться мастерству критики у Белинского, Чернышевского, Добролюбова... (и где-нибудь во второй половине перечня) Аполлона Григорьева».

Прекрасно! Но давайте подумаем, какому мастерству.

У Григорьева трудно обнаружить те качества, которые привычно связываются с понятием «мастерства». В его статьях вы не увидите ни продуманности плана, ни стройности композиции. Речь его прерывиста, порой туманна, порой витиевата, с множеством повторов и неожиданных скачков, с обрывками логической нити. Но в сумбурном течении григорьевской речи скрыто свое, неотразимое обаяние.

К Аполлону Григорьеву применимы его собственные слова, сказанные по поводу «Дворянского гнезда». Если смотреть на роман Тургенева «математически холодно», то постройка его «представится безобразно недоделанною»: «оборванные нити, оборванные связи безобразно висят на виду зрителей». Далее Григорьев пишет: «Я думаю, что хуже того, что я говорю о произведении одного из любимых моих современных писателей сказать нельзя, и между тем это только справедливо, равно как, с другой стороны, справедливо и то, что безобразно недоконченное «Дворянское гнездо», как слишком смело и сжато набросанная «Вос-

питанница», неизмеримо выше всего, что являлось в литературе настоящего и прошлого года; ибо эти произведения хотя и недоделанные или набросанные, но зато неделимые и живые, живорожденные».

(Кстати, обратите внимание на сложность конструкции последней фразы, с четырьмя «что», — чуткий слух современного литератора едва ли допустит столкновения хотя бы двух омонимических слов. На этом примере видно, как далеко ушла вперед внешняя культура литературной речи. Вероятно, мы в отношении стиля критики, публицистики и т. д. близки к положению поэзии в тридцатые—сороковые годы прошлого века, когда внешняя стиховая культура разработалась, отшлифовалась и стала достоянием почти каждого пишущего.)

Григорьев замыкает свою характеристику «Дворянского гнезда» определением «живорожденный» — и в этом излюбленном его неологизме тоже отразились черты собственной манеры критика.

Давно известно, что писатель начинается с того «нового слова», которое он призван сказать людям и которое никто до него еще не сказал. К критикам это применимо в такой же мере, как к прозаикам или поэтам.

Когда я говорю о новом слове критика, я имею в виду не новую оценку им какого-либо произведения и даже не новое решение им какой-либо проблемы (хотя и то и другое — очень важно), а то, что стоит над ними, пронизывая всю его мыслительную деятельность. Это — склад мироощущения и сознания критика; если хотите — его метод.

Склад мысли Аполлона Григорьева я определил предварительно так: уклонение от решений, которые легко напрашиваются и приняты современниками, и вследствие этого — какая-то деликатность мысли. Кажется бы, деликатность — неподходящее свойство для мысли, которая по природе своей должна быть категоричной и ясной. Но не будем спешить с оценками.

Почему Григорьев так тонко чувствует и так проникновенно пишет о тургеневских пейзажах? Потому что ему открыто в них еле заметное, чуждающееся резких очертаний и ярких красок, родное в своей обыкновенности: в манере Тургенева «нам слышится голос сочувствия столь нежного и тонкого, что оно становится порою чем-то болезненным, страстно, подчинением. Кроме того, поэзия этой манеры отличается не яркостью, но тонкостью, прозрачностью кра-

сок. Эта поэзия не ловит в природе ярких оттенков, крупных явлений: напротив, она как будто с умыслом избегает их и ловит оттенки тонкие, следит природу в тонких, неуловимых ее явлениях, с привязанностью ребенка к няньке, с каким-то суеверным обожанием. Это — поэзия так называемой великорусской Украины, страны чернозема, потового труда земледельца, страны, которой самая песня, потерявши размашистость и заунывную или разгульную широкость великорусской песни, — еще не с таким коротеньким мотивом, как песня малороссийская, но уже стремится к сей последней — к песне страны, где человек почти совсем поглощен природою. Это — поэзия особенной полосы, местности, ее живой голос».

Почему любимым поэтом Григорьева был Огарев, о котором он писал лучше других современников? Потому что в Огареве его привлекали все те же внутренние сомнения и категоричность выводов. «...Его тоска — тоска сердца, бесконечно нежного, бесконечно способного любить и верить — и разбитого противоречиями действительности, сердца, которое даже не решило дела так, что оно одно — право, а действительность во всем виновата». (Разрядка моя. — Ю. М.) Тут, кажется, необходимо маленькое разъяснение.

То, что виновата во всем «действительность», было провозглашено писателями натуральной школы. Григорьев социальную «действительность» ни на йоту не оправдывал, но он одним из первых почувствовал опасность той нивелировки моральных критериев, которая позднее была определена иронической формулой «среда заела». Теоретически Григорьев подготовил здесь искания Достоевского. (Напомню ироническую фразу Григорьева о пресловутой среде: «...Заела она, собака, избранные личности...») Ведь нельзя же, в самом деле, все валить на стечение и гнет обстоятельств. И от личности что-то зависит. Таким образом, в нежелании Огарева «порешить дело», категорически ответить, в чем причина бед, Григорьев улавливал рост моральной ответственности личности.

В борьбе различных течений современности Григорьев направлял удары своей критики и вправо и влево. Теорию «искусства для искусства» он считал простой фикцией. «Критики отрешенно-художественной, чисто технической, никогда и не было в от-

ношении к произведениям слова». «Дилетантов», то есть людей без своего, выношенного взгляда, Григорьев презирал: «С теоретиками можно спорить: с дилетантами нельзя, да и не надобно. Теоретики режут жизнь для своих идоложертвенных треб, но это им, может быть, многого стоит. Дилетанты тешат только плоть свою...» Но и в революционно-демократической критике шестидесятников Григорьева отпугивала «узость теории» и, как ему казалось, невниманье к фактам живой жизни. Уязвимость собственной позиции Григорьева (вроде его упований на «почву», на патриархальные устои русской жизни) очевидна, но его полемические заметки интересны.

В целом же позиция Григорьева достаточно сложна и драматична. Тот, кто разочаровался в «теориях», обычно все надежды переносит на искусство. В познавательную силу искусства Григорьев верил свято, безусловно. Ему принадлежат замечательные слова: «Искусство заранее чувствует приближающееся будущее, как птицы заранее чувствуют грозу или ведро; все, что есть в воздухе эпохи, свое или наносное, постоянное или преходящее, отразится в фокусе искусства и отразится так, что всякий почувствует правду отражения...»

Но, как большой критик, Григорьев убежден еще и в том, что толкование литературных фактов неизбежно «углубляется в самый жизненный вопрос», выходит за рамки чисто художественных проблем, разъясняет житейские и социальные отношения. А как тут обойдешься без «теории»?

Григорьев ищет выхода из противоречия в том, что стремится подкрепить теоретический вывод все большим и большим количеством фактов, и, оспаривая общие выводы своего оппонента, одновременно не щадит и свои собственные.

На это могут возразить, что Григорьев известен как создатель целого ряда общих понятий, таких, как «хищный тип», «смирный тип», «белкинский тип» и т. д. Но посмотритесь к этим самым общим понятиям Григорьева.

Вначале критик выделяет в пушкинском Белкине «простой здравый толк и простое здоровое чувство» и подразумевает под «белкинским процессом» своего рода сближение с действительностью и родной почвой. Потом он оговаривает, что это сближение — еще не все; дай ему волю, и оно, пожалуй, перейдет «в застой, мертвящую лень, кам-

ство Фамусова и добродушное взяточничество Юсова». Затем уточняется, что Белкин по отношению к описываемой им среде сложен: «он ведь тоже разобой кой-каким образованием — ну хоть «Письмовником» Курганова, а главное, он уже смотрит на нее с высоты кой-какого образования». Выходит, что и сам Белкин, давший имя всему типу, — это не совсем Белкин!

Жалобы на то, что действительность ускользает от определения, нередко можно слышать от Григорьева. Конечно, он это говорил не из простого пренебрежения к логике. «...Я не люблю логической последовательности в художественном изображении, по той простой причине, что не вижу ее нигде в жизни», — признался как-то Григорьев. Вероятно, поэтому он так глубоко чувствовал Гоголя.

Составителя этого сборника, лимитированного жесткими рамками издания, трудно упрекать в том, что им опущена та или другая работа. И все же мне жаль, что в книгу не включена какая-нибудь статья Григорьева с характеристикой гротеска у Гоголя. Ибо надо сказать прямо: о Гоголе много замечательных страниц было написано и Белинским, и Чернышевским, и другими критиками; но первым, кто сумел понять и почувствовать значение гоголевского гротеска, был Аполлон Григорьев. Конечно, он сделал это в силу своего острейшего восприятия алогизма русской жизни.

Приведу хотя бы один пример, чтобы не быть голословным. Воспроизводя мир «петербургских повестей» и «Ревизора», Григорьев писал: «Форма без содержания, движение без цели, внешность интересов и, стало быть, пустота их, — узкие цели деятельности, поглощающей в бесплодном формализме... все это горящее чем-то, к чему-то неугомонно стремящееся, толкающее по пути другое, толкающее без сердца и без жалости... Страшная, мрачная картина...» «Углубляясь в свой анализ пошлости пошлого человека, поддерживаемой и питаемой миражной жизнью — он (Гоголь. — Ю. М.) додумался до Хлестакова, этого не выполнимого никаким великим актером типа... потому, что тип есть нечто собирательное и фантастическое, как нос майора Ковалева...».

Характером мысли Григорьева объясняется и то, что и сам он так труден для «определения». Не раз в продолжении своей жиз-

ни и после смерти случалось ему быть численным к тем, с которыми он сам спорил. В научных изданиях пятнадцатилетней давности вы даже встретите утверждение, что Аполлон Григорьев — защитник... «чистого искусства». Будто не Григорьев писал: «Жизнь требует порешений своих жгучих вопросов, кричит разными своими головами, голосами почв, местностей, народностей, настроений нравственных в созданиях искусства, а они себе тянут вечную песенку про белого бычка, про искусство для искусства...» С другой стороны, велик соблазн (он дает себя знать и сегодня) «подтянуть» Аполлона Григорьева к линии революционно-демократической критики и судить о нем по тому, насколько приближается или отдаляется он от нее.

В позиции и складе мысли Григорьева отчасти скрыта причина и его сравнительно малой популярности. Властителем дум поколения он никогда не был. Критик, который выдвигает положение, а потом — в целях точности — вносит в него одну поправку за другой, и так почти до беско-

нечности, не может рассчитывать, чтобы оно было принято многими. В статье о Некрасове Аполлон Григорьев приводит мысль Ренана: только узкие мнения, способные быть доведенными до «соблазнительной ясности», правят миром. Литературным сознанием тоже, мог бы прибавить он.

Думается, что и сегодня, несмотря на растущую популярность, непосредственных применений из наследия Григорьева будет сделано немного. Но это к лучшему. Когда речь идет о старом критике, непосредственные применения готовых высказываний и цитат к злобе дня всегда неразлучны с приближенностью и неточностью. Это справедливо даже по отношению к критикам и другой манеры письма и более близких к нам по времени и обстоятельствам. Но в таком случае гораздо важнее — и наследие Аполлона Григорьева это прекрасно подтверждает — сам ход поисков литератора, его страстная приверженность к истине, жажда «порешения вопросов», его живородящая мысль.

Ю. МАНН.



МАСТЕРСТВО ШТРИХА

Н. Кузьмин. Штрих и слово. «Художник РСФСР». Л. 1967. 170 стр.

Зарисовка карандашом, кистью художника, пером писателя может быть верной и четкой, но может быть и субъективно-капризной, в цель не попавшей, лишь окружившей ее некой, порою достаточно элегантною, спиралью. Словесная зарисовка, как и набросок портретиста (по памяти или с натуры), — особое умение, и мастерство словесных и штриховых фиксаций, зарисовок, портретов радует, когда оно руководится зорким глазом, верной «хваткой» — и сердцем хорошего человека. Таким представляется «Штрих и слово» Николая Васильевича Кузьмина, давно ценимого читателем художника-иллюстратора, представителя совсем особой школы нашей графики и приобретшего себе уже многих друзей в качестве писателя, мемуариста, автора чудесного «Круга царя Соломона»...

В книге Н. Кузьмина о «штрихе и слове», о художниках и о литературе, о книжной графике и о жизни помещены его небольшие «очерки»: слово «очерки» хочется понять буквально и точно. «Очерк» это то, что «очерчивает», дает «очертание» — бег-

ло, быстро, но правильно. Обычно под писательским очерком разумеют или досконально солидный рассказ о чем-либо нужном, но только рассказ, лишенный художественных приемов выражения; есть и другой, иногда блистательный, очерк — газетный или журнальный, написанный так, что ему прощаешь эту «нехудожественность»; такой очерк — своеобразнейшее литературное достижение нашего времени, искусства репортажа, ничуть не менее ценного, нежели творчество повествователя-«беллетриста». Но «очерки» Кузьмина — труд художника в первую очередь. В послесловии к очень хорошо изданной книге, о коей здесь идет речь, Е. Дорош говорит подробно о деятельности Н. Кузьмина как рисовальщика-иллюстратора. Книга обильно иллюстрирована примерами его книжной графики, в ней говорится о мастерах искусства, о Дорé и о Билибине, о художниках старых и новых; повествуется о прошлом и настоящем; речь идет о Пушкине и о Лескове; о самом художнике и о его друзьях; очень просто и ясно, без особых претен-

зий, какие порою делают неудобоваримыми мемуары, вспоминает художник свою молодость и с очень привлекательной искренностью говорит о своей собственной работе, не только о своем методе, но и о приемах своего «святого ремесла» (последними двумя словами еще Каролина Павлова определила свой — и всякий — творческий труд поэта и художника).

Книгою Н. Кузьмина можно просто любоваться, как иллюстрированным изданием, перелистать ее, как альбом рисунков. Можно и посоветовать на автора за то, что он дал недостаточно примеров своего творчества, за то, что все иллюстрации черно-белые, без цвета или подцветки, что текст в книге кое о чем молчит, тогда как сказать напрашивалось бы о многом (укажем, например, на то, что художник-автор признается в своих горестных несогласиях с покойным Ю. Тыняновым, который однажды довольно резко высказал свое отрицательное отношение ко всякому иллюстрированию художественной литературы; Н. Кузьмин примечательно «отомстил» Ю. Тынянову своими прекрасными иллюстрациями к «Малолетному Витушишникову», но о самой проблеме хотелось бы узнать поподробнее).

Нельзя ждать от таких своеобразных книг, какие выпускает Н. Кузьмин, чтобы они все были похожи и одна на другую, и на те, какие написаны другими авторами, в том числе на многие «автомонографии» наших живописцев. Творчество Н. Кузьмина в нашем советском искусстве стоит «само по себе», будучи прочно связано в то же время и с нашею графикой в ее целостности, и с нашим прошлым, и с литературоведением, и с искусствознанием.

Читатель и зритель «Штриха и слова», взявший книгу в первый раз в руки, будет очарован мелькающими на ее страницах рисунками. Напоминает это чередование рисунков некий маскарадный хорэвод, в котором Тартарен из Тараскона подает руку Никслау Первому, этот последний — Козьме Пруткову, тот — лесковскому Левше, а Левша — гоголевскому Поприщину. Дирижирует же всей этой вереницей образов, полных иронии, скепсиса и порою даже грусти (например, плачущий сумасшедший на 91-й странице) и лирики (пейзажи Сердобска из «Круга царя Соломона»), — ведет их не кто иной, как Пушкин. Пушкин-рисовальщик, — но и не только

как мастер быстрейших, хорошо известных набросков пером на полях своих рукописей, а Пушкин, как мастер набросанного в двух-трех стихотворных строчках пейзажа, намек целой сцены, драмы в самых немногих словах...

Н. Кузьмин — один из самых проникательных читателей Пушкина (и не только Пушкина) в наши дни. Он умеет проникнуть в живую плоть литературы через самую плотную кожу солидного переплета традиции, учености или того, что называют «устоявшимся мнением». И он, кроме того, один из самых оригинальных читателей нашей и мировой литературы. Поднять брошенный невзначай писателем намек, выявить, подчеркнуть какую-либо деталь прозы, сделать ее неожиданно значительной — это все надо уметь и все это обогащает нас.

Пусть даже кое-что в интерпретации Н. Кузьмина оказывается для иных не до конца убедительным. Так, пишущий эти строки, отдавший всю почти свою жизнь книге, графике, рисунку, бесконечно, как и Н. Кузьмин, любящий «чабросок», — не согласен, в частности, с художником в том, что рисунок «законченный», доведенный до последней степени моделирования, не обладает совершенно особым смыслом и высоким качеством. Здесь можно было бы — для примера — назвать рисунки с моделей Александра Иванова; стоящий на полдороге к живописной картине акварельный портрет первой половины XIX века (П. Ф. Соколов) или полупейзажные-полужанровые композиции второй половины прошлого столетия хотя бы П. П. Соколова; или — из классики — цветного дюреровского «Зайца», у которого можно пересчитать чуть ли не каждую шерстинку; наконец — все мировое искусство миниатюры. Можно было бы даже защищать тезис, что как раз искусство «наброска пером» более однообразно, нежели «законченность», которая может быть и скучной, академической, как говорили раньше, но и живописно-радующей. Только защищать этого мы не будем, потому что донныне в защите нуждается другое, «незаконченное», непривычное по своему языку, языку намека, то, что культивирует в своей практике и теории Н. Кузьмин и что горячо в свое время поддерживал Репин.

В известной статье-воспоминаниях о Валентине Серове Репин написал: «Да, мило-

стивый государь, и какое счастье, что это не окончено; по-вашему, «не окончено», г. зритель, а по мнению автора — окончено; и за это его надо особо благодарить. Сколько надо иметь мужества художнику, чтобы настоять на своем вкусе и не испортить картины по указаниям досужих критиков-знатоков, повелителей, покупателей и заказчиков! А иногда и самих авторов...»

Искусство Н. Кузьмина — художника, графика, иллюстратора — как раз такое. набросок-намеки — но он меток, цель свою поражает остро и тонко; к чему еще разработка, доработка, которая может же превратиться и в переработку?

Когда он рисует пустыньскую и хорошенькую барышню гоголевского времени, он сливает ее зрачок, веко, глаз и бровь в единую узорную спираль, и получается прелестно. Рисунки Н. Кузьмина именно прелестны — и вместе с тем внутренне серьезные. Он доводит свой «штрих» до минимально легкого, единого прикосновения пера к бумаге; и так как не произвол, а бережность руководит умной рукой мастера, нас удовлетворяет, как убедительная правда о прошлом — пустом или очень содержательном, — когда одною точкой обозначается глаз и взгляд поэта или героя повествования. Ведь надо же точку эту поставить именно там и тогда, где и когда они нежны!

Н. Кузьмин потому и имеет право рисовать так, как рисует, что в его штрихах есть попадание в центр поставленной им себе цели. Его штрихи и точки — подлинное мастерство снайпера. Умный немецкий художник конца XIX века, Макс Либберманн определял рисунок как умение опустить все несущественное. Н. Кузьмин, как мастер графики, показывает, как можно это сделать, как можно «опустить» из процесса графического преобразования видимого мира почти все. Оставить как раз то «чуть-чуть», без чего и искусства нет: об этом «чуть-чуть» говорили и великий классик Карл Брюллов, и великий реалист Лев Толстой. Избрано это оставленное художником «чуть» так, что оно выявляет «суть».

«Формалистом» художника назвать никак нельзя, потому что, заменяя прочные объемы форм намеками на них, он не формы разрушает, он именно с формалистической воюет. И он заменяет их не субъективными намеками — поэтому не годится в

применении к Кузьмину и определение его приема как «импрессионистского». Не впечатление, зыбкое и индивидуально-субъективное, а точное и определенное по смыслу выявление красноречивейшего в образах литературы (и действительности, отраженной литературой) оказывается задачей художника.

Необходимо остановиться и на другой грани творчества художника — литературной. Особенности книги Н. Кузьмина, о которой здесь идет речь, в том, что его рисунки вплетены в текст, рассказывающий о многом и интересном, рассказывающий умно, искренне — и точно. Любимец художника — и наш общий — Козьма Прутков на портфелях своих повелевал оттиснуть французское «*à paschevé*» — «неоконченность», возводя ее в степень некоей категории. Но о «неоконченном», наброске-намек можно говорить только про рисунки Н. Кузьмина. Совсем другое впечатление получит читатель от Н. Кузьмина-писателя, в данном случае искусствоведа.

Небольшие главы книги Н. Кузьмина по виду — типичные «эссе», получившие такое блестящее развитие в XIX веке, в художественной (в первую очередь французской) критике. Они отточены, изящны по форме. Вместе с тем они всякий раз глубже и острее, чем то французское и всегда субъективное «эссе», о каком мы знаем из прошлого.

Н. Кузьмин говорит о книге и иллюстраторе, о писателях, которых он любит, — о Пушкине и Гоголе, о Лескове и о своих сотоварищах по «группе 13-ти» (о В. Милашевском, покойном Д. Даране) очень пронизательно. Страницы воспоминаний Н. Кузьмина драгоценны для историка русской художественной культуры предреволюционных и ранних революционных лет. В иных отношениях его книга о «штрихе и слове» нужна и для литературоведа — так внимательно выбирает Н. Кузьмин отдельные слова Пушкина и Лескова, заставляет над ними задуматься. А для ценителя искусства графики не менее драгоценно и все то, что выявляет культурный опыт талантливого художника в практике его предшественников и его самого.

В начале своей книги Н. Кузьмин говорит о разнице между понятиями «графики» и «рисунка пером». В те времена, когда их разделяли, речь шла об особой «каллиграф-

фической», или декоративно-узорной, графике, с одной стороны, и о более свободном, набросочно-быстром «штриховании» — с другой. Сам Н. Кузьмин и в рисунках своих, и в словах последней своей книги показывает, что он одинаково мастер свободного рисунка штрихом и очень убедительной графики. Самое понятное последней происходит же от глагола греческого «графо», что одинаково означало и «рисую», и «черчу», и «пишу». Вся суть в том, что рисовать и писать надо — метко. «Штрих и слово» Н. Кузьмина — книга,

прельщающая своею сжатостью, своим «немногословием». Чтобы быть снайпером пера, надо найти одно слово и единственно убедительный штрих. Художнику и писателю Н. Кузьмину в его чудесной книге была суждена редкая удача безошибочного попадания в центр мишени. Он очень наглядно, просто, искренне сказал нам о себе и о том, что мы вместе с художником любим.

А. СИДОРОВ,
член-корреспондент
Академии наук СССР.



В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ ДУШИ

Симона де Бовуар. Прелестные картинки. Повесть. Перевод с французского Л. Зониной. «Иностранная литература», № 7, 1967.

В маленькой повести Симоны де Бовуар есть одно весьма важное для понимания главной героини лицо, которое остается как бы за сценой, но голос его — несколько, как нам представляется, скрипучий и даже неприятно надтреснутый — нет-нет да слышен из-за кулис. Это голос давно умершей от рака старой школьной учительницы, мадемуазель Уше.

Время от времени Лоранс бегло вспоминает то, чему ее некогда, в детстве, учила мадемуазель. И ее слова, чуть-чуть менторские, назидательные, поначалу даже раздражающие нас старомодной своей прямолинейностью, постепенно начинают действовать на читателя — именно в силу их поразительного несообразия с той жизнью, которую вынужденно ведет героиня и окружающие ее люди.

Чем дальше, тем мы все с большим уважением прислушиваемся к голосу старой мадемуазель и ловим явственно звучащие в нем нотки благородной бескомпромиссности. Мы просто уже не можем обойтись без этого голоса: ведь то, что он произносит, — это единственно верное и прочное в зыбком, расползающемся мире, в котором живет героиня.

Да, только скрипучий голос мадемуазель Уше оставляет нам веру в спасение несчастной Лоранс, болезнь которой состоит в тоске о чем-то — хотя бы только о чем-то! — подлинном. Пока сквозь годы, сквозь завалившие Лоранс обломки рухнувших нравственных устоев этот голос глухо до-

носится до нее, есть еще некая, пусть эфемерная, надежда на возможность борьбы: Если уж не за самое себя, как считает Лоранс, так хоть за детей. «Дети еще могут на что-то рассчитывать. На что? Если б знать». Так кончается эта повесть, грустно и саркастически названная «Прелестные картинки».

Страна детства для Лоранс — чистая страна, в которой еще задаются серьезными вопросами, еще страдают, и плачут, и по-настоящему любят, и пытаются что-то понять... Лоранс постоянно обращается к своему детству, а также к детству десятилетней дочери Катрин и сверяет по нему, как по эталону, свои нынешние представления с утраченными.

Не бог весть какие открытия в педагогике делала старая добрая мадемуазель! Ну, скажем: «Не говорите о том, чего не знаете». Всего-навсего. Но в мире, где каждый фальшивит и все, «выставляясь» друг перед другом, пересказывают только что прочитанные журнальные статьи, и такое замечание немаловажно. «Говорите, что думаете», «составляйте обо всем собственное мнение» — это все из ее прекраснородных прописей. Но «прекраснородны» они не по существу, а лишь потому, что среди окружения Лоранс их решительно невозможно применить. И Лоранс мечется, тоскует..

А вот это уже серьезнее: в 1945 году, после войны и гитлеровских лагерей уничтожения, после Хиросимы, мадемуазель Уше говорила плачущей Лоранс: «От нас будет»

зависеть, чтоб эти люди умерли не напрасно». Ах, мадемуазель, мадемуазель! Пожалуйста, скажите что-нибудь еще! Ведь через несколько страниц Лоранс подумает обреченно: «Против всех не пойдешь». Однако мадемуазель на посту, и в ушах Лоранс звучат имена Галилея, Пастера и других, которые приводила ей в пример учительница. И тогда, несмотря на охватившую Лоранс тяжелую депрессию, несмотря на странную болезнь, заключающуюся в том, что ее то и дело тошнит от разочарования, от испакощенной жизни,— несмотря на это, Лоранс, слыша голос мадемуазель, голос совести и чести, идет в конце концов против всех: против мужа, любовника, сестры, матери и даже любимого отца, против самой себя — за детей, за Катрин, за будущее.

«Катрин я не уступлю...— заявляет мужу Лоранс.— Не зови врача, я не спятила. Просто говорю, что думаю... Воспитать ребенка не значит сделать из него престелстную картинку...»

Но что, собственно, происходит? Чего не хватает Лоранс? Ее муж — красивый, здоровый, любящий ее человек, по профессии архитектор, так сказать — интеллигент. А раз у нее есть муж, она не «социальный нуль», как выражается ее мать Доминика. У Лоранс есть двое детей — две хорошие, умненькие девочки. У нее есть работа, которая ее занимает. На наш взгляд, это довольно странное занятие, а в общем, оно, наверное, не хуже всякого другого. Лоранс служит в бюро художественной рекламы самых разнообразных товаров, начиная от деревянных настенных панелей и кончая томатным соком. Дело Лоранс в этом бюро — подбор броских, запоминающихся подписей под рекламным рисунком или фото. Здесь требуется оригинальность, известная тонкость и такт... Есть у Лоранс и роман с красивым, страстно влюбленным в нее Люсьеном, что вносит в ее размеренную жизнь некую острую приправу.

Если коснуться материальной стороны жизни, то уровень обеспеченности ее и мужа таков, что хотя им и не по карману поехать, скажем, в фешенебельный Баальбек отмечать рождество или купить стереорадиолу «Хи-Фи», стоимость которой, вместе с многокаскадным усилителем, исчисляется в миллион франков, то все же забежавшая в гости художница Мона, осмотревшись в квартире Лоранс, задумчиво

произносит: «Скажи-ка, роскошно ты живешь». Даже роскошно!

Но не единым хлебом жив человек, и Лоранс глубоко несчастна. Ее несчастье настолько искренне, неподдельно, что, право, ей может посочувствовать и тот, кто лишен всего, что есть у Лоранс, но у кого осталось утраченное было ею свойство — очарованность души. Речь идет вовсе не о бессмысленно-розовом взгляде на жизнь, не о том, чтобы воспринимать жизнь как прелестную и потому лживую, рекламную картинку. Скорей наоборот. То очарование, о котором я говорю, это сдиранье с жизни яркой лживой этикетки и взгляд на нее — со всеми ее бедами и радостями, страстями и болезнями — трезвый, мудрый, терпимый, знающий всему цену. Чем дается такой взгляд? Опытот? Отчасти. А отчасти и тем, что кое-кому удастся пронести сквозь все лишения и муки маленький измерительный приборчик, заложенный в вас кем-то давным-давно, еще в детстве (может быть, своей мадемуазель Уше?). А если он остается незаржавленным, невредимым, то там, внутри, он все и вся неутомимо сверяет, взвешивает, отсеивает и в конце концов определяет главное.

Повесть Симоны де Бовуар — это точное, скрупулезное, дотошное исследование того, как некая симпатичная молодая женщина постепенно разочаровывается в жизни. До последней строки повести происходит это разочарование. Пока еще очистительное и плодотворное, но уже и таящее в себе опасность омертвения души — если заглухнет голос мадемуазель и станет «все равно».

Вот муж. «Идеальный», — как определяет его Лоранс, старающаяся быть объективной. Жан-Шарль ведет автомобиль, и вместе с Лоранс мы кидаем на него взгляд сбоку. Лицо умное, энергичное, но — «как бы это сказать? — остановившееся, как все лица». Сцена в супружеской постели венчается жестокой фразой: «Любовь тоже гладка, гигиенична, обыденна». Становится жутковато. Или вот Жан-Шарль воспитывает свою дочь Катрин. Девочка, видите ли, задает неуместные вопросы (Катрин попал на глаза плакат: «Две трети мира голодают», и она хочет знать, «зачем мы существуем» и «как можно уничтожить несчастья»). Лоранс неловко от тона Жан-Шарля. Не то чтоб ироничного или снисходительного — патерналистского. Потом он произносит речь, очень ясную и убедитель-

ную: «Этот плакат — доказательство того, что мы хотим все изменить». У него тоже возникали вопросы, когда он был маленьким, но он не помнит какие. Жан-Шарль читает по вечерам. Что? Оказывается, он «обожает книги, которые не говорят ни о чем». Жан-Шарлю повезло: он работает с гениальным архитектором Вернем, с ним интересно. Но Монно лучше платит, и вот Верня — побоку, хотя он столько для Жан-Шарля сделал. Лоранс напоминает мужу: «Ты говорил, что у вас замечательный коллектив, что вы работаете вдохновенно». У Жан-Шарля уже готов ответ: «Вдохновение не кормит. Я стою больше, чем зарабатываю у Верня». Да и «нельзя быть великим архитектором, не умея приспосабливаться».

А вот Жан-Шарль на уик-энде, за городом, ворошит в камине дрова, глаза его блестят. От его лица исходит аромат детства, и Лоранс ощущает к нему нежность. «Если б обрести ее вновь, навсегда». Но пора возвращаться в Париж, супруги едут домой в машине, ведет Лоранс, и случается непредвиденное. Навстречу — группа велосипедистов, и один из них, рыжий, внезапно выскакивает с тропинки на шоссе. Лоранс резко поворачивает руль, и машина опрокидывается в кювет. Машина разбита. Что чувствует Лоранс? Прекрасное посетил ее. Лоранс любит этого кретина — велосипедиста, потому что не убила его, любит его товарищей и незнакомых людей, предлагавших довезти ее и мужа до Парижа. А что чувствует Жан-Шарль? Он озлоблен: «По нашей страховке оплачивается только ущерб, нанесенный третьему лицу». Он решительно не может переварить, что потерял восемьсот тысяч франков. Уж не считает ли он, что следовало убить велосипедиста? Кажется, да.

А дома вновь возникает разговор о дочери, который кончается ссорой: «Я хочу, чтоб моя дочь преуспела в жизни», — и выпад против Лоранс: «Ах, не устраивай мне, пожалуйста, снова приступа больной совести». Впрочем, он не любит, когда прелестная картинка его семейной жизни приобретает вид содранной и скомканной этикетки, и к Новому году Жан-Шарль дарит Лоранс дорогое кольцо. Это компенсация за ссору — символ, эрзац. Чего? Чего-то уже давно не существующего между ними — внутренней связи, тепла. Он покупает семейный мир, согласие, любовь и гордость собой.

И как же он ошарашен, бедняга, когда Лоранс, наконец, находит в себе силы заявить ему, что не позволит сделать с Катрин того, что сделали с ней, с Лоранс. В замешательстве перед ее напором Жан-Шарль уступает на время.

Такова история отношений Лоранс и Жан-Шарля. Снаружи, для всех — прелестная картинка. Внутри, под этикеткой, — эрзац-любовь, эрзац-семья, эрзац-мир.

Возлюбленный Лоранс — Люсьен, «лучший мотиватор фирмы», сначала кажется ей прямой противоположностью Жан-Шарлю: вода и огонь. Но художнице Моне со стороны, вероятно, виднее. Она говорит: «Смешно, до чего гвой муж похож на Люсьена... Оба они мужики с хорошими манерами и белыми зубами, умеют поговорить и протирают кожу после бритья афтер-шейвом». Лоранс возмущена, но лишь потому, что хочет убедить самое себя. Она давно чувствует то же самое. Трезво глядя на своего возлюбленного, Лоранс признается себе: «В сущности, Люсьен тоже живет внешней жизнью, хотя и по-иному, чем Жан-Шарль. Из всех, кого я знаю, только папа другой. Он верен чему-то, что в нем, а не в вещах». Запомним эту ее мысль об отце, мы еще вернемся к ней. А пока — Лоранс решительно идет на разрыв с Люсьеном.

Что же остается? Ах, да — ее работа. Над Лоранс посмеиваются, когда видят ее задумчивой: «Опять в поисках формулировки?» Действительно, она много думает об этом. Ищет, отбрасывает варианты. «Деревянные панели помогут вам сочетать урбанистическую элегантность с поэзией леса». Однако Лоранс понимает: разве она продает людям панели? Что людям нужно? Они хотят «нового — без риска, забавного — с гарантией солидности, достоинств — по лешевке... Перед ней всегда одна проблема: завлечь, удивлять, успокаивая; вот магический предмет, он потрясет вашу жизнь, ничего в ней не сдвинув с места». Создавая рекламу, она вроде бы стремится дать людям «надежность, счастье, радость бытия». Но ведь Лоранс слишком хорошо знает, что это обман и сколько человек их фирмы, она в том числе, работают над тем, чтобы сделать этот обман посъедобнее.

Некоторое время Лоранс принимает близко к сердцу дела своей матери. У Доминики трагедия: ее бросает богатый друг Жильбер, который вдруг решил жениться на мо-

лоденькой «индюшке», дочери своей давней любовницы. Лоранс пытается утешить мать, но та в бешенстве. «По-твоему, это не унижительно — быть выброшенной на свалку, как старая калоша? — говорит она. — Ах, так и слышу, как они хихикают». Кто — они? Оказывается, их светские знакомые. Так что же это? Боль и страх одиночества или уязвленное самолюбие светской дамы? Увы, дальнейшие события убеждают Лоранс в последнем. «Лучше быть отвратительной, чем смешной», — решает для себя Доминика и пишет двадцатилетней невесте Жильбера ужасное письмо: в самых непристойных выражениях открывает девушке тайну отношений ее жениха с ее матерью. И вот уже Лоранс чувствует, что к ее жалости примешивается гадливость, точно она жалеет раненую жабу, не решаясь к ней прикоснуться.

Но есть еще отец, некогда оставленный матерью, добрый, милый, ни на кого другого не похожий отец... Лоранс в свои самые трудные, самые мутные минуты бросалась к нему, как к роднику — «воды животворной напиться». В самом деле, он, кажется, очень хороший. Он живет в квартире, заваленной книгами, пропахшей табаком. Слова, которые он произносит, имеют свой истинный смысл: Он пытается согласовать свою жизнь со своими принципами. Он не способен на интриги, равнодушен к деньгам. У него нет стереорадиолы «Хи-Фи», но он любит музыку. Когда он ее слушает, на его лице «отблеск вечности». Лоранс советуется с отцом по поводу Катрин, и тотчас он весь внимание — чуткий, не знающий готовых ответов. Он один способен находить радость в уединенной суровой жизни. Как бы хотелось Лоранс владеть его секретом!

И вот она отправляется с отцом в поездку. Они избрали Грецию. Лоранс надеется, что общение с отцом поможет ей обрести равновесие, найти утраченное... Но — странно! — ничего подобного не происходит. Наоборот, Лоранс начинает понимать, что и он, ее неподкупный отец, дает обманывать себя. Любуясь красотами древности, суровым пейзажем и развалинами храмов, отец отворачивается от живой жизни, от людей, от их повседневных забот и печалей. Вдруг оказалось, что он равнодушен к ним. Все эти умершие столетия, которыми так восхищается отец, подавляют Лоранс, но зато

она видит нужду местных крестьян. «Суровое счастье», к которому, бывало, так любил призывать отец, — где оно? Лоранс читает совсем иное в лицах, покрасневших от холода...

И поэтому, когда отец и Доминика решили сойтись, чтобы доживать старость вместе (для матери такое решение предопределено тем, что свет, возможно, будет изумлен, но подсмеиваться не станут — это так респектабельно!), Лоранс, пожалуй, не слишком удивлена. Она даже сумела выдать из себя: «Я считаю, что это хорошая мысль». Но вечером, после ужина, ее опять стошнило. «Значит, это не было правдой, что он владеет мудростью, радостью, что ему хватает внутреннего света».

А был ли у него секрет? Может, никакого секрета и не было?

Если уж он, отец, познавший тщету всего и обретший душевный покой по ту сторону отчаяния, если уж он, отец, такой непримиримый, будет выступать по тому самому радио (это устроила Доминика!), которое всегда обвинял в лживости и холуйстве, если уж он, принадлежавший к другой породе, — мог... Значит, думает Лоранс, ничего не осталось в мире святого, кроме детей, пока еще задающих вопросы...

И Лоранс понимает — она обязана защитить хотя бы детей: свою Катрин, которую вот уже с помощью психолога отучают дружить, отучают думать; ее подругу Брижитт, еврейскую девочку, сироту, подкальывающую подол юбки булавкой, но видящую то, что разучились видеть взрослые — страдания людей, и ту крошку из Дельф, которая, как маленькая менада, так самозабвенно танцевала под оркестр в кафе. Пусть никогда не уйдет их искренность, их умение просто и естественно отдаваться чувству, их радость, их боль, их вопросы, их пытливость. Лоранс не желает, чтобы их заживо убили, как убили ее.

Эта повесть Симоны де Бовуар, принадлежащей к старшему поколению современных французских писателей и известной на родине многими романами («Приглашенная», «Все люди смертны», «Мандарины», «В расцвете сил», «Сила вещей» и другие), находит свое, особое место среди книг других авторов, написанных на тему о деформации личности, мистифицированной господствующей идеологией. Художники Франции протестуют, они обеспокоены тем, что

процесс омещанивания буржуазной интеллигенции, стандартизации ее сознания заходит все дальше.

И если Жорж Перек в романе «Вещи» показывает, как «цивилизация изобилия» поглощает в своих мутных волнах двух молодых людей, так что на поверхности от них даже кругов не остается, то Симона де Бовуар заставляет свою героиню плыть,

барахтаться и не лишает ее надежды на то, что она все же выберется на берег: Лоранс еще сохраняет потребность в действии, мысль ее активна и не укладывается, как стандартная деталь, в конструкцию духовного моделирования, которую воздвигает в целях самосохранения буржуазное общество.

И. ВАРЛАМОВА.

★

Политика и наука

РОЖДЕНИЕ НОВОЙ МОРАЛИ

В. Ф. Шишкин. Так складывалась революционная мораль. Исторический очерк. «Мысль». М. 1967. 360 стр.

Эта книга относится к числу работ, чье появление диктовалось самой логикой развития исторической науки. И дело здесь не только в том, что до нее у нас не было специальных исследований на эту тему (а история, как известно, не терпит «пустоты»). Сейчас все острее ощущается — и не только историками-специалистами, но и всеми, кто хочет осмыслить «русское чудо» 1917 года, — необходимость глубокого и всестороннего изучения идеологии, психологии и морали российского пролетариата, то есть всего комплекса субъективных моментов рабочего движения в дооктябрьский период.

За последние двадцать—тридцать лет опубликованы сотни книг и статей, посвященных жизни и борьбе рабочего класса нашей страны. Но за сухими колонками цифр, говорящих о заработной плате или количестве забастовок, трудно подчас уловить живой образ рабочего-борца, рабочего-труженика, рабочего-человека. Его заменил некий абстрактный монумент, нередко теряющий реальные черты своего времени, страны, народа. Социальный портрет многомиллионного класса порой подменяется характеристикой отдельных личностей или групп рабочих. Наши историки часто пишут о том, что пролетариат мужал и закалялся в борьбе. Но, к сожалению, они очень мало сделали для того, чтобы показать самый процесс нравственного очищения и совершенствования пролетарской массы.

В своей книге В. Ф. Шишкин рисует нравственный облик пролетариата России в конце XIX — начале XX века, показывает его этические идеалы, раскрывает то

содержание, которое вкладывали сознательные рабочие в такие понятия, как «личное и общественное», «товарищество», «честь», «долг», «героизм», «счастье», «гуманизм», «патриотизм». Специальный раздел книги посвящен вопросу о моральных требованиях, предъявляемых к пролетарскому революционеру ленинского типа.

В. Ф. Шишкин правильно подчеркивает, что формирование пролетарской морали не следует понимать упрощенно, как восходящую прямую, что «моральные ценности могут поддаваться разрушению под воздействием тех или иных факторов». Возникновение революционной морали предстает в книге как нелегкий и далеко не простой процесс смены «пьяного богомольного быта» первых рабочих-полукрестьян новой жизнью сознательных пролетариев, наполненной самоотверженной борьбой за демократию и социализм. При этом автор показывает в действительности не только те социальные силы, которые помогали нравственному развитию пролетариата, но и то, что тормозило этот процесс, в частности влияние на рабочих религиозной и буржуазной морали. Говоря о преодолении религиозных предрассудков как одной из предпосылок формирования революционной морали, В. Ф. Шишкин вместе с тем не замалчивает того факта, что многие рабочие-революционеры прошли через «мучительную полосу исканий и искреннего увлечения религией».

В своей работе В. Ф. Шишкин использовал некоторые достижения советской исторической науки последнего десятилетия. Так, он ярко показал нравственную красоту и благородство революционеров-народ-

ников, оказавших большое влияние на формирование морального облика многих поколений русских революционеров. Отнюдь не идеализируя революционное народничество, автор совершенно справедливо указывает на то, что деятельность народников в рабочей среде имела важное значение для пробуждения классового сознания пролетариата. Ведя решительную борьбу с народнической идеологией, русские марксисты вместе с тем стали преемниками революционной морали, берущей свое начало от Радищева и декабристов и развитой революционерами-демократами сороковых—шестидесятых годов и героями-семидесятниками, приняв из их рук знамя борьбы с самодержавием.

Целенаправленная деятельность революционной социал-демократии во главе с В. И. Лениным значительно ускорила процесс формирования личности рабочего. На многочисленных примерах В. Ф. Шишкин показывает, как под влиянием социал-демократической агитации крепили пролетарская солидарность, сознание исторической справедливости борьбы рабочего класса за лучшую жизнь, чувство нравственного долга перед всеми трудящимися и эксплуатируемыми, ответственность за судьбу всей страны. Сильное впечатление оставляют страницы книги, посвященные массовым политическим демонстрациям начала девятисотых годов, убедительно доказавшим моральное превосходство революционного пролетариата над царскими сатрапами и его способность к самопожертвованию во имя высоких идеалов движения. По образному выражению Ю. М. Стеклова, «перспектива грандиозных социальных преобразований, в которых им предстояло принимать непосредственное участие и даже играть решающую роль, увлекала рабочих и возвышала их в собственных глазах...».

Свежо и интересно дан автором социально-психологический анализ событий 9 января 1905 года, морально развенчавших царизм. Впервые в нашей исторической литературе в книге сделана попытка рассмотреть весь комплекс морально-этических проблем, связанных с осуществлением гегемонии пролетариата в освободительном движении, в частности роль массовой политической стачки и вооруженного восстания в цементировании и воспитании самого пролетариата и широких масс трудящихся. Революция, ставшая временем «пионеров,

борцов, героев», показала миру моральную красоту, выдержку, стойкость, организованность и высокую культуру поведения авангарда пролетариата.

В своей работе В. Ф. Шишкин использовал поистине огромный материал — мемуары, документальные публикации, многочисленные архивные источники. Книга обладает также несомненными литературными достоинствами. Это тем более отраднее, что как раз литературная сторона большинства наших исторических работ все еще оставляет желать лучшего.

Итак, достоинства книги бесспорны. Но закрывая ее, испытываешь известную неудовлетворенность. Естественно, что почти в каждом исследовании могут быть отдельные пробелы и недочеты, почти каждый автор что-то оставляет для самостоятельных размышлений читателю, о чем-то говорит скороговоркой, мимоходом. И если бы речь шла только о подобных мелочах, то, право же, не стоило бы обращать на это внимание. Однако в данном случае некоторые слабости книги носят более общий характер и восходят, как нам кажется, к устаревшим взглядам и концепциям.

Очень жаль, что в рецензируемой книге отсутствует теоретическое введение, ибо вопросы теории морали отнюдь не являются такими простыми и ясными, как может показаться на первый взгляд. Автору следовало бы более полно раскрыть содержание самого понятия «революционная мораль», показать основные этапы ее развития, вскрыть то новое, что появляется в ней с выходом на историческую арену рабочего класса. Без ответа остается в работе и вопрос о том, в каких пределах можно проводить разграничительные линии между моральными воззрениями и нормами различных классов общества и насколько велик в них удельный вес непреходящих, общечеловеческих элементов. Нам представляется, что в области морали (как и в сфере культуры) любые слишком «жесткие» схемы являются малопродуктивными.

В. Ф. Шишкин не только постоянно отождествляет революционную и пролетарскую мораль (это нашло отражение и в заглавии книги), но и далеко не всегда проводит ясное различие между моральными взглядами авангарда пролетариата и всей рабочей массы. В морали рабочего класса можно выделить, на наш взгляд, несколько «слоев»: общечеловеческие нравственные

нормы; моральные нормы, присущие всем людям труда; нравственное самосознание рабочих, возникающее в процессе коллективной работы на крупном предприятии и в ходе экономической борьбы с классом капиталистов; наконец, революционную мораль в собственном смысле этого слова, то есть мораль, связанную с сознательной борьбой за демократию и социализм. Кроме того, в ней есть своего рода «шлаки», порожденные влиянием на пролетариат морали господствующих классов, религии и т. д. Исходя из этого, автору книги, может быть, стоило либо ограничиться исследованием революционной морали пролетариата как таковой, либо рассмотреть мораль рабочего класса в целом как большой и сложный идеологический комплекс. Между тем он занял компромиссную (и потому весьма уязвимую) позицию.

Некоторые возражения вызывает и предложенная автором периодизация процесса формирования пролетарской морали. Трудно согласиться с тезисом В. Ф. Шишкина о том, что 1895 год — год создания «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», положившего начало соединению рабочего движения с социализмом, — является одновременно и годом, открывшим период «коренного перелома» в нравственной жизни рабочего класса. Думается, что такой гранью явился скорее 1905 год, действительно ознаменовавшийся колоссальным сдвигом в самосознании пролетариата.

Большое внимание уделяется в монографии тем факторам, которые оказывали влияние на формирование пролетарской морали (нравственные воззрения и привычки крестьянства, от которого ведет свою генеалогию российский пролетариат; материальные условия жизни рабочих; мораль господствующих классов; революционная практика пролетариата; деятельность большевистской партии по воспитанию рабочего класса в духе принципов и норм революционной морали). Указанные факторы автор называет «наиболее важными». Тем самым молчаливо признается, что существовали и другие, менее важные. Однако В. Ф. Шишкин почему-то не называет их. Отметив, например, положительное влияние революционных народников на формирование нравственных воззрений пролетариата, он не уделяет, однако, должного внимания деятельности революционно-демократической и просто демократической интеллиген-

ции, в частности студенчества, в рабочей среде.

В своей монографии В. Ф. Шишкин затрагивает и вопрос о влиянии на рабочих России пролетариата Западной Европы, накопившего к началу XX века огромный опыт классовой борьбы. Тем не менее он даже не ставит такой важной проблемы, как общие и специфические черты пролетарской морали в странах с разным уровнем развития капитализма. Вряд ли основательно и брошенное автором замечание о том, что английские рабочие проявляли меньшую тягу к знаниям, чем рабочие России. Дело в том, что английские рабочие в начале XX века в большинстве своем уже имели тот уровень знаний, который еще оставался далеким идеалом для широких масс российского пролетариата.

Важное место занимает в книге вопрос о связи и взаимоотношениях между пролетарской и крестьянской моралью. Однако здесь автор, судя по всему, оказался в плену представлений, проявлением которых является традиционная антитеза: «отсталый» крестьянин и передовой (всегда и во всем) пролетарий. Обращаясь к сопоставлению морали пролетариата и крестьянства, В. Ф. Шишкин фактически сводит весь вопрос к иллюстрации тезиса о нравственном превосходстве рабочих над крестьянами. Однако он слишком сдержан, когда говорит о том, что пролетариат унаследовал целый ряд нравственных начал, выработанных крестьянством в процессе его многовековой борьбы за землю и волю. Между тем, как отмечено в Программе КПСС, коммунистическая мораль «включает основные общечеловеческие моральные нормы, которые выработаны народными массами на протяжении тысячелетий в борьбе с социальным гнетом и нравственными пороками».

Бесспорно, что крестьянское происхождение и длительное сохранение самых тесных связей рабочих с деревней приводили к тому, что пролетариат не мог не испытывать на себе сильного влияния идеологии, психологии и нравственных норм крестьянства. В. Ф. Шишкин правильно отмечает, что «в морали, вырабатываемой в крестьянской среде, много противоречивого, обусловленного двойственным положением крестьянина как собственника и как труженика. Вследствие этого в ней имеются черты, сближающие ее с пролетарской моралью и

противоположные ей». К первым автор относит вековую ненависть крестьянства к эксплуататорскому строю, трудолюбие, элементы коллективизма, ко вторым — «заскользящую трусливость хозяйственного мужика», эгоизм и корыстолюбие, пережитки патриархальных и крепостнических отношений в семейном быту, обилие предрассудков и суеверий и т. д. Все это, разумеется, верно, как верно в общей форме и то, что мораль пролетариата представляет собой исторически более высокий по сравнению с крестьянской тип нравственности. Однако нам кажется, что В. Ф. Шишкин в известной мере все же преувеличивает отрицательное воздействие некоторых черт крестьянской морали на рабочих, а с другой стороны, несколько идеализирует мораль рабочего класса, особенно на начальной стадии его формирования. Он пишет, например, о том, что капитализм строил пролетарскую семью «на гораздо более человеческих, несравнимо более нравственных отношениях, нежели семья буржуазная и даже крестьянская». Мы далеки от затушевывания внутренних антагонизмов старой русской деревни, но думается, что в области морали (если, конечно, не смешивать ее с политической идеологией) связи с крестьянством не столько «тормозили» нравственное развитие пролетариата, сколько нейтрализовали разлагающее влияние мещанства и буржуазии.

Автор ярко показывает вредное воздействие капиталистического строя на мораль пролетариата (унижение человеческого достоинства, разрушение рабочей семьи, пьянство, проституция и т. д.), но излишне торопится, на наш взгляд, в своем желании доказать превосходство рабочей семьи над семьей крестьянской. В. Ф. Шишкин хорошо знает, что в реальной жизни уход в город

нередко сопровождался на первых порах определенным падением нравов. В признании этого факта, характерного, кстати говоря, и для других стран¹, нет ничего «обидного» для рабочего класса. Ведь автор сам пишет о том, что разношерстный по своему социальному и этническому составу, взглядам на жизнь и привычкам пролетариат первых пореформенных десятилетий находился в состоянии известного «нравственного кризиса», когда старые нормы поведения уже утратили свою былую неизбежность, а новые еще не успели сложиться и войти в быт рабочей семьи.

Есть в книге В. Ф. Шишкина и некоторые другие недостатки и упущения. Жаль, например, что автор не затронул в своем исследовании морально-этическую сторону таких острых проблем, как революционное насилие, взаимоотношения вождей и массы и т. п. Иные страницы книги дают повод думать, будто к моменту социалистической революции в России процесс формирования революционной морали рабочего класса в основном завершился. Между тем вряд ли нужно доказывать, что это был не итог, а этап в нравственном развитии трудящихся масс. Новые времена, новые условия жизни рабочего класса принесли с собой и новые нравственные коллизии, задачи, проблемы, многие из которых и сегодня стоят перед нашим обществом.

...Книга В. Ф. Шишкина — это, разумеется, всего лишь «первый шаг» в разработке важной и актуальной темы. Но хорошо уже то, что такой шаг сделан. За ним, надо надеяться, последуют другие.

**Ю. КИРЬЯНОВ,
С. ТЮТЮКИН,**

кандидаты исторических наук.

★

ФИЛОСОФИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

Структура и формы материи. Ответственный редактор М. Э. Омеляновский. «Наука». М. 1967. 648 стр.

Диалектико-материалистическая философия является важным инструментом в поступательном развитии естествознания. Сотрудничество философов и естествовников приносит несомненную пользу обеим «заинтересованным сторонам». Одним из реальных выражений этого союза является сборник «Структура и формы материи»,

написанный авторским коллективом, в котором мы находим имена академиков В. А. Амбарцумяна, Н. В. Белова, М. Э. Омеляновского, В. Н. Сукачева, В. Г. Фесенкова, В. А. Фока и других крупных ученых.

Известно, что в мире нет ничего, кроме движущейся материи. Следующая отсюда

идея материального единства мира отнюдь не исключает его бесконечного многообразия. Познающее мышление открывает нам все новые предметы, процессы, все более сложные формы и системы, в которых проявляется неисчерпаемость материи. Это одна из сторон — бесконечность, так сказать, в ширь. Другая — бесконечность вглубь, неисчерпаемость материальных образований в плане их строения, свойств, взаимодействий. Этому второму аспекту — движению познания от простого к сложному, от неживой природы к живым структурам и их собственному развитию — и посвящено рецензируемое коллективное исследование.

Сборник состоит из двух основных разделов: «Строение неживого» и «Строение живого», которым предшествует вводный раздел «Общие проблемы», имеющий теоретико-методологический, философский характер.

Когда говорят о развитии естественных наук, все понимают, о чем идет речь. А когда вспоминают философию, всегда вопрос: в чем, собственно, заключается ее прогресс? В том, в частности, что по мере развития естественных наук уточняются и уточняются понятия, обогащается содержание философских категорий.

Одним из таких общих понятий, обогащенных развитием современной науки и в свою очередь имеющих большое значение для осмысления новых данных естествознания, является структура.

Н. Ф. Овчинников, чья статья «Категория структуры в науках о природе» открывает сборник, не вливает, как это часто делают, «новое вино в старые мехи», — не пытается выразить категорию структуры через традиционную категорию формы. «...Современное научное знание, — пишет он, — в такой мере обогащает содержание категории структуры, что категория формы отступает на задний план». Авторы сборника подтверждают ту истину, что познание идет от весьма приблизительного, описательного уровня ко все более точному, совершенному структурному уровню, несущему наиболее полные и достоверные сведения о материальных объектах.

Итогом интересного и содержательного исследования является статья Ю. В. Сачкова, связывающая категорию структуры и верности. Заслуживают внимания оригинальные статьи И. А. Акчурина и И. Б. Но-

вика, где с точки зрения категории структуры рассматривается предмет кибернетики. И. А. Акчурина убедительно показывает, что кибернетике можно рассматривать и как учение об особом рода структурах, предлагает классификацию этих структур и прослеживает их взаимосвязь. Интересна попытка И. А. Акчурина трактовать иерархию структур и их движение в свете развитого К. Марксом метода восхождения от абстрактного к конкретному.

Во втором разделе «Строение неживого» рассматриваются основные структуры неорганической природы. Здесь мы хотели бы высказать одно критическое замечание. Все статьи этого раздела (как, впрочем, и следующего) весьма ценны сами по себе, но, к сожалению, не все здесь «вписывается» в издание, идущее под рубрикой «Диалектический материализм и современное естествознание». На наш взгляд, это произошло потому, что далеко не каждый вопрос, связанный с изучением структуры тех или иных форм материи, является философским. Очевидно, философская проблематика возникает в связи с анализом структуры на фундаментальных уровнях: квантовая физика и элементарные частицы, космология, жизнь. Поэтому внимание читателя, интересующегося философией, прежде всего привлекут статьи В. А. Фока «Квантовая физика и строение материи», М. Э. Омеляновского «Проблема элементарного и сложного в квантовой теории», В. А. Амбарцумяна и В. В. Казютинского «Метагалактика и Вселенная». Картина проникновения человеческого разума в глубины материи, возникающая при чтении этих статей, производит сильное впечатление.

В свое время Валерий Брюсов, пораженный успехами науки, писал в стихотворении «Мир электрона»:

Быть может, эти электроны —
Миры, где пять материков,
Искусства, зная, войны, троны
И память сорока веков!

Сегодня наука рисует еще более диковинную и сложную, чем бросовская, картину микромира. Здесь можно вспомнить шутку известного математика Гильберта, который на вопрос, куда девался один из его учеников, ответил: «Стал поэтом; для того, чтобы быть математиком, у него не хватило воображения».

И вместе с тем эта сложная картина благодаря стройности и упорядоченности научных систем приобретает подлинное изящество и красоту. Современная физика может быть с полным правом названа интеллектуальным собором, воздвигаемым во славу могущества человеческого разума. В связи с этим хочется отметить блестящую статью Ю. В. Новожилова «Элементарные частицы», умело вводящую читателя-непрофессионала внутрь этого собора. И хотя ее автор не разбирает никаких философских проблем, самый предмет статьи — строение материи на наиболее фундаментальном из известных уровней, а также тонкий анализ сложнейших взаимодействий микрочастиц — дает ей несомненно философское содержание.

Обстоятельно рассмотрен и следующий — высший структурный уровень (раздел «Строение живого»). И здесь привлекает добротность материала, строгая научность. Испытываешь удовлетворение и оттого, что все узнаешь «из первых рук», от непосредственных участников необычайно бурного прогресса биологических наук. Вместе с этим начинаешь понимать: в изучении живого, в познании сложнейших биологических структур, и в частности мозга, главные трудности (но и успехи!) еще впереди.

Богато и собственно философское содержание раздела. В статьях И. Б. Збарского «Молекулярно-биологические структуры», В. Л. Рыжкова «Строение доклеточных организмов», А. С. Трошина и Е. М. Хейсина «Строение и ультраструктура клетки» четко поставлены методологические вопросы, чувствуется широкий обиход кругозор и высокая философская культура.

В статье И. Б. Збарского специально рассматривается проблема эволюции молекулярных структур и дается анализ материальных процессов, которые составляют основу живого. В этой связи нельзя не сказать о новом духе, господствующем ныне

в биологии. Избавившись от недооценки физико-химических методов, которые отвергались из-за своей якобы простоты и неспособности понять «специфику живого», биология достигла подлинной глубины познания.

Многие страницы книги написаны не очень просто и не слишком доступно. Но это та почти неизбежная сложность, которая возникает не из желания отстранить «непосвященных», а порождена стремлением изложить научную проблему без обедняющего упрощения. Читая эти статьи, становишься причастным к умным поискам, движению к неизведанному.

Книга хороша и поучительна еще в двух своих особенностях.

Здесь не декларируется связь с практикой. Более того, она не всегда очевидна. Но это — настоящая теория, которая предупреждает практику, порой отрывается от нее, чтобы затем поднять практику до высшего завтрашнего этапа, а потом снова уйти вперед и снова достигнуть единства на еще более высоком уровне.

И второе. В сборнике много спорного. Здесь буквально соседствуют различные точки зрения. Но стиль этих споров в научном смысле корректный, то есть аргументированный. Такой стиль научных дискуссий воспитывает.

Наверное, многие читатели обратятся голько к некоторым разделам в связи со своей профессией и научными интересами. Но если неторопливо и обстоятельно прочесть весь сборник, можно увидеть живой облик современной науки — мыслящей, творящей, ищущей. На этом фоне отдельные недостатки и погрешности, неизбежные в столь «многоликом» издании, как-то утрачивают свою значимость и кажутся несущественными.

Л. БАЖЕНОВ, М. СЛУЦКИЙ,
кандидаты философских наук.

НАШ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

- И. Я. М а т ю х а.** Статистика бюджетов населения. «Статистика». М. 1967. 248 стр.
Г. С. Саркисян, Н. П. Кузнецова. Потребности и доход семьи. «Экономика». М. 1967. 176 стр.
В. А. Васильева. Бюджеты рабочих прежде и теперь. «Экономика». М. 1965. 111 стр.

С конца пятидесятых годов, после многолетнего перерыва, снова начали появляться работы, посвященные исследованию бюджетов трудящихся. Этому делу в нашей стране уделялось большое внимание с первых лет советской власти, когда собирались и широко публиковались данные, дающие представление об уровне жизни различных общественных слоев. Изучение семейных бюджетов приобретает особое значение в наши дни, когда на первом плане — задача повышения благосостояния трудящихся. Литература по этому вопросу постепенно увеличивается. С 1964 года в ежегодники ЦСУ включаются сведения о среднемесячной зарплате в различных отраслях народного хозяйства; с 1965 года — о растущем потреблении на душу населения основных продуктов питания и важнейших непродовольственных товаров. В брошюрах и статьях стали сопоставляться не только средние цифры, характеризующие положение трудящихся до революции и теперь, у нас и за рубежом, но и конкретные семейные бюджеты¹.

Книга В. А. Васильевой «Бюджеты рабочих прежде и теперь» построена по тому же типу: в ней сравнивается уровень жизни рабочих в наше время и до революции; однако если большая часть упомянутых брошюр построена на единичном примере, то здесь использован обширный материал специальных бюджетных обследований рабочих семей Павлово-Посадского камвольного комбината, проведенных в 1909 и 1961 годах, и много других цифровых данных.

Автор аргументированно доказывает увеличение заработков, уменьшение разницы в оплате труда по профессиям и квалификации, повышение уровня образования, улучшение условий труда, медицинского

обслуживания, увеличение потребления продуктов и промышленных товаров. Если в 1913 году средняя продолжительность рабочего дня составляла 9,9 часа, то в 1962 году — 6,93 часа. Оплачиваемых отпусков на комбинате до революции не было, в 1962 году они составляли в среднем 17,6 дня. В 1913 году 36 процентов рабочих были неграмотны, к 1962 году неграмотных на комбинате не осталось. Эти данные убедительно свидетельствуют о коренных социальных переменах, происшедших за годы советской власти: о росте благосостояния и о повышении культурного уровня трудящихся. При этом — в отличие от иных популярных брошюр, где нередко сообщается не целостный комплекс бюджетных данных, а лишь отдельные, разрозненные, наиболее «выигрышные» факты (например, назван совокупный заработок семьи, но не сказано, сколько в ней членов), — сведения, которые приводит В. А. Васильева, гораздо больше могут претендовать на репрезентативность и научную ценность.

Центральное место в работе занимает бюджет рабочей семьи на комбинате в 1960 году, ее доходы, расходы, потребление. В этом среднем бюджете (средний состав семьи — 3,9 человека, совокупная месячная зарплата — 164,6 рубля, поступления из общественных фондов — 28,1 рубля, прочие поступления — 32,4 рубля) подробно расшифровано, что представляют собой как денежные поступления из общественных фондов (премии, пособия, пенсии, стипендии, отпускные), так и безналичные (дотации на путевки, содержание детей в детских учреждениях). Среди безналичных поступлений наиболее весомыми оказываются дотации на содержание детей: «Общая сумма дотации государства на содержание детей работников комбината в детских садах и яслях составила в 1963 году примерно 146 тыс. руб». Дотации на путевки сравнительно невелики. В 1963 году работники комбината получили семьсот путевок в дома отдыха и санатории, одну десятую из них бесплатно, семь десятых — за 30 процентов стоимости. При таком положении с путевками — а оно было несколь-

¹ См., например: В. Я. Лион. Бюджет советской семьи. «Знание». М. 1965; П. П. Маслов. Доход советской семьи. «Статистика». М. 1965; А. М. Читахан. Давайте подсчитаем. Ростовское книжное издательство. 1964; К. Семенов. Иван Иванов и его семья. «Московский рабочий». М. 1962; И. Г. Епифанов. В моей семье. Владимирское книжное издательство. 1961.

ко лучше среднего — каждый работающий (на комбинате работает около пяти с половиной тысяч человек) имеет возможность получить путевку приблизительно раз в восемь, а льготную раз в десять лет.

Книга не свободна и от недостатков. Сообщая, что было обследовано 73 семьи, автор, однако, ничего не говорит о том, по какому признаку отбирались эти семьи, в какой мере представляет сделанная выборка соотношение на комбинате высоко- и низкооплачиваемых работников, численный состав семей и т. д. Приводя сравнительные данные, автор часто не дает их абсолютных значений, а ограничивается процентными отношениями, что уменьшает ценность такого рода информации. Впрочем, этот распространенный в нашей литературе недостаток сказывается в данном случае все же меньше, чем у большинства других авторов. Нельзя не отметить с сожалением также и того, что книга построена в основном на материалах обследования 1961 года, имевших в 1965 году, когда она появилась, уже не столько актуальный, сколько исторический интерес. И все же большой фактический материал, представленный в книге, позволяет отнести ее к тому типу работ, использующих положительный опыт советской статистики двадцатых годов и — в приемлемой мере — земской статистики, которых хотелось бы видеть побольше.

Теоретические проблемы статистики семейных бюджетов разрабатываются преимущественно в статьях по отдельным методологическим вопросам, большей частью сугубо специальным. Но стали появляться и книги. Книга Г. С. Саркисяна и Н. П. Кузнецовой «Потребности и доход семьи» посвящена нормативным бюджетам. Сделав экскурс в историю, авторы рассматривают практику применения таких бюджетов в первые годы советской власти, когда с их помощью не только исследовался жизненный уровень, но и устанавливался минимум платы за труд. Статья 58-я Кодекса законов о труде, принятого в 1918 году, гласила: «Размер определяемого тарифным положением вознаграждения во всяком случае не может быть ниже прожиточного минимума, устанавливаемого Народным комиссариатом труда для населения каждой местности РСФСР». В книге поставлен ряд актуальных практических вопросов, в частности, обосновывается необходимость дифференциации заработной платы по райо-

нам, что, как известно, в некоторой мере уже осуществляется.

Авторы приводят нормативный потребительский бюджет «минимума материальной обеспеченности», который, как они сообщают, был рассчитан в 1965 году сектором уровня жизни Института труда применительно к настоящему периоду. Понятием «минимум материальной обеспеченности» Г. С. Саркисян и Н. П. Кузнецова заменяют понятие «прожиточный минимум», которое употребляется другими советскими экономистами, бытует в официальных документах и в законодательстве. Однако их аргументация этой замены едва ли может убедить в силу крайней своей противоречивости. В доказательство неприемлемости понятия «прожиточный минимум» в условиях социализма они приводят соображение, что при социализме «материальная обеспеченность не мыслится вне удовлетворения определенного круга духовных, социальных потребностей», но тут же сами сообщают, что «даже для капитализма падение заработной платы до уровня «прожиточного» (физиологического) минимума является практически случаем исключительным».

Другой аргумент состоит в том, что «при капитализме «прожиточный минимум» непосредственно связан со стоимостью товара рабочая сила», при социализме же «рабочая сила перестала быть товаром и стоимости не имеет». Однако тут же наши авторы утверждают, в сущности, обратное: «Отрицать связь заработной платы при социализме, особенно минимальной, с объективными потребностями воспроизводства рабочей силы, со стоимостью необходимых для этого средств существования — ...неправомерно... Как нам представляется, такая позиция не имела бы ничего общего ни с марксистской теорией, ни с объективным анализом реальной жизненной практики».

Трудно сказать, какое из этих столь резко противоречащих друг другу суждений более полно выражает точку зрения Г. С. Саркисяна и Н. П. Кузнецовой, но после всего этого остается впечатление, что различие между «прожиточным минимумом» и «минимумом материальной обеспеченности», на котором они так настаивают, носит скорее стилистический характер.

Но, как говорится, не станем спорить о словах. Какой же «минимум материальной обеспеченности» при социализме предла-

гают Г. С. Саркисян и Н. П. Кузнецова? Согласно приведенному расчету, денежный доход семьи из четырех человек, где двое взрослых и двое детей-школьников, для жизни на уровне такого «минимума» должен составлять 205,6 рубля в месяц, или 51,4 рубля на человека. В основу расчета положены определенные наборы продуктов питания, одежды, белья и обуви, мебели и т. д. С некоторыми из них можно, в общем, согласиться, другие вызывают известные сомнения. В годовом наборе продуктов на одного члена семьи представляется несколько завышенным количество хлеба — 145 кг. в переводе на муку — и картофеля — 137 кг. Сахара набор содержит 30 кг., рыбы — 23 кг., зато животного масла лишь — 4,2 кг., мяса — 44 кг., яиц — 124 штуки. Следовательно, в тот день, когда семья из четырех человек, живущая на уровне «минимума материальной обеспеченности», ест суп с куском мяса в полкилограмма, у нее не будет уже ничего мясного ни на второе, ни к завтраку или ужину; яйца же — по одному на человека — она может позволить себе раз в три дня при условии, что они не пойдут ни в какие блюда. Однако и при такой умеренности расходы на питание составляют здесь 55,9 процента всех расходов семьи.

Расходы семьи на жилище и коммунальные услуги (центральное отопление, газ, горячая вода, электричество и т. п.) в нормативном бюджете «минимума» определяются суммой 11 рублей в месяц. По словам Г. С. Саркисяна и Н. П. Кузнецовой, в основу расчета положена санитарная норма жилплощади 9 квадратных метров на человека. Но тогда непонятно, как производился расчет. Плата за один квадратный метр в нем принята в размере 13 копеек. Следовательно, только месячная квартплата и плата за отопление составит 6,5 рубля в месяц. Горячее, холодное водоснабжение и очистка, например, в условиях Москвы обходятся около рубля с человека. $6,5 + 4 = 10,5$ рублей. Если сюда прибавить плату за радиотрансляцию — 50 копеек, — то 11 рублей будут исчерпаны. А где же плата за газ, электричество, коллективную телеантенну, приемник, средства на текущий ремонт, зимнее утепление окон и т. п.? Но если благоустроенное жилище вряд ли может обойтись семье из четырех человек в 11 рублей в месяц, то без удобств (с печным отоплением, керосином) оно обходится

еще дороже. По данным В. А. Васильевой, средний месячный расход рабочей семьи Павлово-Посадского комбината на жилье в благоустроенных домах составляет 11,4 рубля, а в собственных — 16,7 рубля. Можно ли безоговорочно принять подобные нормы даже в качестве современного «минимума материальной обеспеченности»?

Но все-таки какие-то нормы выведены, появилась возможность оценки фактических бюджетов. Правда, сами Г. С. Саркисян и Н. П. Кузнецова используют эту возможность несколько неожиданным образом. Вместо того, например, чтобы сравнить свои теоретические минимальные нормы потребления с фактическим потреблением в нашей стране в настоящее время¹, они сравнивают эти нормы с реальным потреблением в капиталистическом мире. «Данные бюджетного набора питания, рассчитанного на минимум материальной обеспеченности, — пишут авторы, — вполне убедительно свидетельствуют об огромных успехах социалистического общества на пути роста народного благосостояния».

Вывод о наших успехах в этой области неоспорим, но способ его доказательства более чем сомнителен. Ведь фактические успехи можно доказывать только фактическими же данными, а никак не условными цифрами нормативов.

Но если Г. С. Саркисян и Н. П. Кузнецова и не воспользовались сами своим нормативным минимумом для оценки реальных семейных бюджетов трудящихся нашей страны, это может теперь самостоятельно проделать любой читатель, который положит рядом с их книгой, например, ту же книгу В. А. Васильевой. В месячном семейном бюджете рабочих Павлово-Посадского комбината в 1960 году зарплата в расчете на одного члена семьи составляла 42,2 рубля; доход вместе с поступлениями из общественных фондов потребления и прочими поступлениями — 57,7 рубля, значит, он был на 6,3 рубля больше, чем требуется для жизни на уровне «минимума материальной

¹ Между тем, как уже было сказано, такие данные существуют. В том же 1965 году годовое потребление основных пищевых продуктов на душу населения выразилось у нас в следующих цифрах: хлебные продукты — 156 кг, картофель — 141 кг, яйца — 124 шт., мясо и сало — 41 кг, рыба и рыбопродукты — 12,6 кг («Народное хозяйство СССР в 1965 г. Статистический ежегодник». «Статистика». М. 1966, стр. 597).

обеспеченности». Правда, нормативный бюджет разработан для такой семьи, где нет ни дошкольников, ни пенсионеров, ни студентов, а в доходы средней рабочей семьи комбината включены и пенсия, и стипендия и дотации на содержание детей в дошкольных учреждениях, но все же приблизительное сопоставление возможно.

Нормативные бюджеты дают возможность не на глаз, не произвольно оценивать, сравнивать как единичные семейные бюджеты, так и бюджеты, характеризующие жизненный уровень различных слоев и групп населения. Однако приходится заметить, что таких данных публикуется недостаточно; хотя, по свидетельству ряда авторов, в нашей стране систематически обследуются бюджеты более 51 тысячи семей рабочих, служащих и колхозников. Читатель, к сожалению, оказывается более подробно и полно осведомленным о бюджете трудящихся первых лет советской власти и капиталистических стран, чем о нашем современном семейном бюджете. Нельзя особо не отметить отставание в деле бюджетных публикаций журнала «Вестник статистики», где трудно найти данные о семейных бюджетах даже на самом непритязательном уровне единичных примеров. Не больше внимания уделяет бюджетам населения и журнал «Вопросы экономики». Между тем потребность в подобных публикациях так велика, что они появляются даже в общей прессе. В частности, в «Известиях» от 2 декабря прошлого года опубликован средний годовой бюджет рабочих семей завода имени Носенко в городе Николаеве по данным обследования 1966—1967 годов.

Попробуем сравнить с нормативным этот бюджет. В нормативном бюджете «минимума материальной обеспеченности» на питание отводится около 29 рублей в месяц на человека, а рабочая семья завода имени Носенко (тоже в среднем четыре человека) тратит на питание в год 1481 рубль, или около 31 рубль на человека в месяц, то есть на два рубля больше. Ее затраты на одежду также несколько превышают «минимальные» (в нормативном бюджете около 11 рублей на человека в месяц, а по бюджету в «Известиях» — 12 рублей). Расходы на отдых несопоставимы, так как в нормативном бюджете они объединены с расходами на лечение, а в бюджете, опубликованном в «Известиях», — с расходами на

детские учреждения. Расходы на жилище и коммунальные услуги на заводе имени Носенко составляют 4,5 рубля в месяц на семью. Эта цифра более чем сомнительна. Если признать ее достоверной, оказалось бы, что жилищные условия рабочих семей на заводе имени Носенко примерно вдвое хуже предусмотренных нормативным бюджетом. Вряд ли даже общежитие обойдется с коммунальными услугами в эту сумму семье из четырех человек.

Не вполне понятны и некоторые другие статьи этого бюджета. Например, откуда у современной рабочей семьи, помимо зарплаты, премий, одновременных вознаграждений и поступлений из общественных фондов, дополнительный доход в размере почти одной пятой всех доходов. Не ясно также, по каким соображениям было решено внести в бюджет сумму таких безразличных поступлений из общественных фондов потребления, как дотации на содержание детей в детских учреждениях и в лагерях, на путевки в дома отдыха, санатории, а стоимость лечения, обучения, подготовки кадров оставить, как это специально оговорено, неучтенными в бюджете. Казалось бы, у тех и других сумм совершенно равные основания быть включенными — или не включенными — в бюджет: как те, так и другие безразличны, как те, так и другие ничего не меняют в балансе, потому что, являясь доходо-расходами (доходами, которые образуются в расход, не поступив в семью), они должны, если уж вносятся в бюджет, включаться одновременно и в доходную и в расходную его часть.

Если вернуться к работе В. А. Васильевой, то окажется, что расходную часть приведенного в ней бюджета нельзя сравнить с расходами нормативного «минимума», так как у В. А. Васильевой даны лишь процентные соотношения, а кроме того, расходы на питание объединены с расходами на одежду...

В работе Г. С. Саркисяна и Н. П. Кузнецовой приведен расчет и «рационального бюджета», то есть, по их определению, характеризующего уже не «минимум материальной обеспеченности», а «благополучие более высокое, чем достаток», — потребление в первой фазе коммунистического способа производства и предшествующее «потреблению в условиях коммунизма». Согласно этому расчету, сумма, не-

обходимая, чтобы жить на таком уровне, составит около 147,2 рубля в месяц на человека. «Рациональный бюджет» красноречиво свидетельствует, какие задачи стоят перед нашей экономикой, какие огромные усилия еще потребуются, чтобы обеспечить указанный жизненный уровень для всех трудящихся. Доходы рабочих семей как завода имени Носенко, так и Павлово-Посадского комбината пока еще в два с лишним раза меньше суммы, необходимой для потребления на таком уровне. Между тем это осредненные бюджеты, тогда как на обоих предприятиях есть, конечно, и высоко- и низкооплачиваемые работники. Нужно помнить указание В. И. Ленина: «...«средние» бюджетные данные почти всегда... изображают действительность в лучшем свете, чем она есть»¹.

Заработная плата в нашей стране постоянно растет. Как известно, лишь за последние годы ее минимальный уровень несколько раз повышался. Недавним постановлением правительства он с января 1968 года увеличен до шестидесяти рублей. Следовательно, минимальный денежный доход семьи с двумя работающими в настоящее время не может быть меньше ста двадцати рублей. Причем таких семей, по данным Г. С. Саркисяна и Н. П. Кузнецовой, всего один процент. Однако они все-таки есть, как и семьи с одним сравнительно высокооплачиваемым кормильцем (120—150—180 рублей), но с тремя-четырьмя, а то и более иждивенцами.

Правда, по мнению Г. С. Саркисяна и Н. П. Кузнецовой, «в качестве минимального... уровня оплаты труда в современных условиях» может быть принята совокупная месячная зарплата на семью из четырех человек не в 206 рублей, необходимых для «минимума материальной обеспеченности», а в 150 и даже 120 рублей, так как разрыв между заработной платой и средними, необходимыми, чтобы прожить на уровне «минимума материальной обеспеченности», может восполняться за счет общественных фондов потребления и личного подсобного хозяйства. Личное подсобное хозяйство — это действительно пока еще распространенный источник добавления к зарплате. По данным авторов книги, в 1962 году его имели две пятых семей рабочих и служащих. Од-

нако не сводят ли Г. С. Саркисян и Н. П. Кузнецова на нет весь смысл собственной работы, рекомендуя ввести такое добавление в норму? Сначала они берутся определять, сколько общество должно минимально платить работнику за его труд, и всячески убеждают, что эта плата не может быть ниже средств, необходимых для того, чтобы «обеспечить нормальное воспроизводство рабочей силы», а в итоге приходят к выводу, что и такая оплата вовсе не обязательна: работник может добывать недостающие средства, вкладывая дополнительное количество труда где-то на стороне.

Не более убедительными кажутся и некоторые другие практические рекомендации соавторов. Заработную плату они предлагают устанавливать с помощью коэффициентов, отражающих «стоимость материального обеспечения жизни различных категорий работников». Но что такое эта стоимость? Если в основном — стоимость возмещения потраченных в процессе труда калорий и одежды, то наибольшую плату должны получать грузчик и землекоп, а профессор наименьшую. Если же исходить из того, что неквалифицированный работник обойдется и серым хлебом, а инженеру надо побелей, то получится нечто вроде сословных привилегий, а не оплата труда, ибо при такой системе совершенно выпадает оценка его результатов, они принимаются заведомо равными у работников одинаковой квалификации.

Оплата труда не по его продуктивности, а по разрядам, собственно, не является новостью. Тарифные сетки, в основу которых положен прожиточный минимум с определенной поправкой для различных категорий работников, широко применялись в период военного коммунизма 1918—1921 годов. Как известно, в числе мер, которые помогли вывести страну из разрухи, был отказ от подобной регламентации зарплаток. Применяются тарифные сетки и теперь. Слесарь пятого разряда получает больше, чем слесарь третьего, если даже выполняет одинаковую с ним работу. Библиотекари получают разную плату за равный труд в зависимости от образования и разряда библиотеки. Научный работник, имеющий ученую степень, получает больше, чем не имеющий, вне всякой зависимости от результатов труда. Надо полагать, что в ходе экономической реформы придется все более отказываться от такой системы оп-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 3 стр. 141.

латы, стимулирующей что угодно: получение разряда, диплома, ученой степени, но только не продуктивности — «количество и качество труда». Не говоря уже о том, что разницей в оплате труда — одна из главных причин текучести рабочей силы.

Вряд ли можно согласиться и с тем, что, как считают Г. С. Саркисян и Н. П. Кузнецова, нормативные бюджеты в условиях социализма являются средством не только исследования уровня жизни, но и «повышения научного уровня планирования производства предметов народного потребления», «обоснования оптимального объема розничного товарооборота», «определения не только необходимого уровня доходов, но и наиболее эффективных методов и путей их достижения» и т. д. и т. п. — то есть превращаются в едва ли не универсальное средство решения всех экономических проблем. Думается, работа Г. С. Саркисяна и Н. П. Кузнецовой выиграла бы, если бы те усилили и ту полезную площадь книги, которые затрачены на подобные рекомендации, выходящие из компетенции бюджетной статистики, они употребили на разработку нормативных бюджетов для семей разного поло-возрастного и численного состава, что позволило бы более объективно оценивать фактические данные.

Появилась и работа, в которой делается весьма нужная и своевременная попытка систематизировать, обобщить опыт и методологию советской бюджетной статистики, — «Статистика бюджетов населения» И. Я. Матюхи. В этой книге излагаются задачи и методы статистики семейных бюджетов, наиболее подробно — выборочный метод; даны образцы форм, применяемых при сборе и обработке сведений; приведены примеры расчетов, формулы, по которым они производятся; затрагиваются вопросы разработки бюджетных нормативов; изложена история бюджетных исследований в нашей стране и за рубежом. Работа эта могла бы не только сделаться ценным пособием и практическим руководством

для специалистов, но и представлять немалый интерес для широкого читателя: ее многочисленные таблицы могли бы вместить большое количество самых разнообразных сведений о потреблении, доходах, расходах различных слоев населения. Но, к сожалению, в них, как правило, приводятся вымышленные, условные цифры. Рецензия «Вестника статистики» (№ 8, 1967), с которой можно в основном согласиться, уже отмечала в числе прочих недостатков книги и этот.

Отмечен в рецензии и уход автора от решенных, спорных вопросов статистики бюджетов населения. Действительно, он безоговорочно принимает в нашей бюджетной статистике все как есть, начиная с программы выборочного обследования семей, которая для рабочих и служащих содержит 2 тысячи вопросов, а для крестьян — 3 тысячи, что представляется несколько громоздким, кончая довольно неясным ответом на насущный вопрос: какие именно отступления из общественных фондов потребления — дотации, льготы, услуги — следует включать в семейный бюджет? По словам И. Я. Матюхи, если «до 1922 года... статистикам не удалось решить в полной мере все стоящие перед ними методологические вопросы выборочных обследований», то «они были решены... в последующие годы», и в результате «в СССР впервые в мировой практике создана научная статистика семейных бюджетов... отличающаяся достоверностью и репрезентативностью статистической информации».

Однако, как мы видели, отмечая оживление в нашей статистике бюджетов населения, различные направления бюджетных исследований и те шаги, которые сделаны в каждом из этих направлений, приходится констатировать и существенные недостатки в этой области. Вряд ли их стоит замалчивать, если мы хотим, чтобы наша статистика семейных бюджетов в полной мере встала на уровень требований времени.

В. БОРНЫЧЕВА.

ПЕРВЫЙ ШАГ

Церковь в истории России (IX в.— 1917 г.). Критические очерки. «Наука». М. 1967. 336 стр.

Церковь в истории России с IX века до 1917 года — вот тема книги. События церковной истории излагаются в очерках-главах в строго хронологической последовательности. Византийская церковь, принятие христианства на Руси, история церкви в период монголо-татарского ига, Стоглавый собор, учреждение патриаршества и его упразднение, раскол, церковь и русский абсолютизм XVIII века, реформа 1861 года и церковь, церковь в годы первой русской революции, церковь и Временное правительство — обо всем этом и о многом другом рассказывается в книге. Именно широким охватом материала она и интересна. Мы видим, что это все-таки не «очерки», а систематическое изложение истории церкви, более или менее подробное. Конечно, книга невелика по объему, и какой-то, не перво-степенной важности, материал опущен, что-то рассказано по необходимости бегло — словом, сделан некоторый отбор. Но хочется понять, каково направление этого отбора, каковы его принципы.

Главу «Церковь в период монголо-татарского ига...» написал А. М. Сахаров. О церковных деятелях той поры он говорит очень кратко, меньше, чем сказано о них в любой энциклопедии. Но вот уж о ком нужно было рассказать не скупясь — это о Сергии Радонежском, выдающемся деятеле русской церкви и русского государства. О нем упоминается лишь вскользь. Зато подробно рассказано о приключениях некоего авантюриста Митяя, фаворита Дмитрия Донского. Митяй оказался фигурой более заметной в истории, чем Сергей. Между тем стоило вспомнить, что Сергей Радонежский ввел в России общинно-житийный монастырский устав, что ему часто удавалось примирить враждующих князей, говорить их подчиниться московскому князю (ростовского — в 1356 году, нижегородского — в 1365 году и других), что не без его влияния Дмитрию Донскому подчинились почти все русские князья, что перед походом на Мамая князь Дмитрий со всей многочисленной свитой приехал к Сергию, и Сергей ободрил его, вдохновил, предрекли победу, и отпустил с ним двух иноков — Пересвета и Ослябю. Тот же Митяй и подобные ему вытеснили

из книги этих монахов-героев, заслуживших вечную народную память. Их имена вообще не упоминаются в книге.

Я думаю о Сергии Радонежском и его окружении, и мне вспоминаются недавно прочитанные слова Ефима Дороша: «Не требуется ни особенного ума, ни знаний, чтобы отнестись к этим людям с высокомерием человека, которому случилось родиться лет на пятьсот позже, высмеять их за то, что они думали не так, как думаем мы. Однако не одной только справедливости ради, хотя и этого достаточно, а для лучшего понимания жизни, мне кажется, следует знать то хорошее, что было в людях Сергиева круга» («Новый мир», № 5, 1967).

И Андрей Рублев и Епифаний Премудрый вышли из «Сергиева круга». Но и о них и о Феофане Греке, как и о самом Сергии, сказано всего по несколько скупых строк. Столь же бегло говорится об Илларионе — авторе слова «О законе и благодати», о Кирилле Туровском, о владимирском епископе Серапионе — авторе поучений, изображающих «томление и муку» от нашествия иноплемennых, о Кирилле Белозерском, Ниле Сорском, Пахомии Логофете. Общие слова о том, что они играли «определенную роль в развитии культуры на Руси в XIV—XV вв.», не спасают положения. Вообще представляется странной в научном труде крайняя скудость сведений из истории церковной литературы и церковного искусства. История церкви, скажут мне, не история литературы. Но разве история церковной литературы не есть одна из наиболее важных частей церковной истории? Проповеди, «слова», церковные службы, молитвы, беседы, поучения, жития — всюду и всегда церковь прибегала к слову, и, в частности, к слову художественному как наиболее яркому и убедительному. Так называемое церковное искусство, при всем своем утилитарном назначении, воспитывало чувство прекрасного, участвовало в создании русского национального характера.

История церкви, написанная с марксистских позиций, не может не быть критической. Однако такой подход не исключает объективности, которой мы, естественно, ждем от всякой научной работы. В рецен-

зируемой книге выпячиванием неблагоприятного, умолчаниями и беглостью там, где они неоправданны, авторы стремятся повлиять на чувства читателя: не дай бог он подумает о русской церкви с симпатией... Между тем перед нами не антирелигиозная брошюра, а серьезный труд для читателей подготовленных, начитанных в русской истории, за которых едва ли можно опасаться, что, прочитавши о Рублеве или о Сергии, они пойдут в церковь класть поклоны.

Да, вымогательство и эксплуатация трудящихся масс, доносы и застенки, многовековая борьба против всяческого свободо-мыслия — это тоже история русской церкви, в этой своей части она также смыкается с историей государства. Там и здесь подвизалось немало карьеристов, всеми правдами и неправдами стремившихся удержаться у власти. Много было средн церковных иерархов лицемеров и мракобесов, хотя упрощенным кажется утверждение об их полном неверии. «Богатство превращало духовные власти в земных владык, обращало их заботы на управление вотчинами и населением, вводило их в мирские дела, в споры и пререкания самого разнообразного, только не церковного, характера, отклоняло от религиозных занятий и церковных дел, давало средства к праздности, роскоши, излишествам и даже неблагопристойной жизни». Это написано русским историком М. Горчаковым еще в конце прошлого века.

В. И. Корецкий в главе VIII пишет: «Упорно отказываясь поступиться для борьбы с голодом своими огромными богатствами, церковь в то же время стремилась усилить свое идеологическое воздействие на массы». Действительно, безобразно выглядит такой факт, как закупка монахами Волоколамского монастыря в голодный 1602 год рождественских яств: «двестя осетров осенних», «двестя осетров астрахан-

ских», «десять бочек сига», «три кошеви икры, а в них сорок девять пуд», «две бочки потрохов», «пятьсот пучков вязиги» и т. д. Но нужно объективности ради сказать и о том, что, например, Кирилло-Белозерский монастырь содержал в голодный год шестьсот, а Пафнутьев — тысячу душ, что Псково-Печерский, Соловецкий, Калязин, Тихвинский, Троице-Сергиевский и другие монастыри, кроме такой помощи, защищали за своими стенами население во время вои́н, создавали огромные библиотеки, были проводниками европейской культуры, распространителями культуры отечественной. Первыми школами для народа были школы церковные и монастырские. Монастыри осваивали пустошные и залежные земли, распространяли в народе передовые методы ведения сельского хозяйства. Ничего не сказано в книге и о заштатных монастырях, живших исключительно своими трудами или владевших одним или двумя крестьянами. Действительно о бо́льш а ю щ и й труд должен рассматривать весь материал, все относящиеся к делу факты.

Такого труда не получилось. Может быть, это произошло и потому, что книга написана очень разнородной «бригадой» (как назван в предисловии авторский коллектив), с разных позиций, то есть с большим или меньшим уклоном то в историческую объективность, то в научно-популярную пропаганду атеизма.

Со всем тем я никак не хочу закончить свою рецензию «заупокойной» нотой. Ведь перед нами, по сути дела, первая книга такого рода (вышедшая в 1930 году «История русской церкви» Н. М. Никольского в раннем своем варианте была напечатана еще до революции), первый шаг, сделанный не совсем уверенно, но в нужном направлении.

Виктор АФАНАСЬЕВ.

★

НАБЛЮДЕНИЯ, ПОБУЖДАЮЩИЕ К ДЕЙСТВИЮ

Н. С м е л я н о в. Деловая Америна (Записки инженера). Политиздат. М. 1967. 303 стр.

Перед нами книга человека, умеющего наблюдать. Согласитесь, это не так уж мало. Особенно если учесть, что поле наблюдения было обширное (все США), а возможности наблюдать, даже при установ-

ленных властями ограничениях, у автора были довольно широкими.

Книга мозаична. Автор ее (видный советский хозяйственник, в прошлом — директор одного из крупнейших в стране заводов,

а ныне заместитель министра внешней торговли) не старался разложить все по полочкам. Иной раз переход с одной темы на другую выглядит случайным. И все же главная мысль ясна: посмотрите вокруг себя— и вы найдете самые неожиданные источники экономии труда, средств, материалов, лучшего использования природных ресурсов. Не обольщайтесь вашими успехами, вас завтра обгонит тот, кто рациональнее, то есть разумнее вас. Тренируйте свой глаз. Выполняя обязательные для вас директивы вышестоящих органов, не забудьте прислушаться к мнению нижестоящих, рядовых, простых людей... Всеми этому нужно учиться неустанно, всегда и везде, не пренебрегая никаким — ни своим, ни чужим — положительным опытом.

Сколько уже было написано книг, статей, диссертаций, сколько было принято постановлений о специализации! Где еще такие возможности для специализации, как у нас! И тем не менее еще многие предприятия строят работу по типу натурального хозяйства. Логика такая — поставщик может подвести, и тогда... загремишь с планом. А потому завод сам делает не только специальный, но даже и нормальный, стандартный инструмент (пусть он обходится в десятки раз дороже, но зато уж дело верное!). На заводах сохраняются крохотные, допотопные литейные мастерские, чтобы делать свои отливочки. Скажите директору, что он может получить такие отливки, притом гораздо лучшего качества, из соседнего Центролита, что обойдутся они вчетверо, впятеро дешевле, — он покачает головой и скажет: «Знаем. А ну вовремя не поставят? Что я, судится буду с вашим Центролитом? Уплатит он мне неустойку, а план у меня будет сорван». И он за свою древнюю литейку или кузницу держится руками и ногами.

А в США производством трубогибочных работ, изготовлением фитингов, фланцев и т. п. занимаются всего четыре-пять фирм. Разработаны, изданы и разосланы потребителям справочники, таблицы, каталоги. Значительную экономическую эффективность получают от специализации ремонта — количество рабочих, занятых на ремонте на машиностроительных заводах, составляет всего около 3 процентов общей численности рабочих, то есть в несколько раз меньше, чем у нас.

Что же касается поставщиков, которые

могут подвести, то в Америке поставщики не подводят. Автор книги не скучится на весьма резкие слова, когда говорит об алчности американского предпринимателя, о том, какими путями он выколачивает прибыль. Но он высоко отзывается о других качествах делового человека. «Если не считать буржуазных политических деятелей и всего того, что непосредственно связано с политикой, то сила устного слова, данного деловым американцем вместо подписанной бумаги, и по сей день велика.

Если какой-либо представитель фирмы или любой другой деловой человек дал слово, этого вполне достаточно для полной надежности исполнения. Невыполнение обещания — редчайшее явление. Нарушение слова кем-либо из деловых людей влечет за собой исключение его из этой среды...

Сила данного слова упрощает дело, ускоряет проведение любых, особенно деловых, операций и, я бы сказал, возвышает человека».

Этот вывод, сделанный человеком, многократно сталкивавшимся с деловой Америкой, заслуживает того, чтобы о нем задумались наши хозяйственники, особенно теперь, когда непосредственные, прямые связи предприятий будут все более расширяться.

В последнее время у нас усиленное внимание привлечено к НОТУ — научной организации труда. В этой связи особенно полезно оглянуться на американский опыт.

Автор вспоминает, что примерно около трех десятков лет назад Федерация обществ американских инженеров произвела исследование источников расточительства в промышленности. Было перечислено четырнадцать таких источников, и на первом месте — «плохое обеспечение материалами — рабочие сидят и ждут материалов». Автор поинтересовался, что изменилось. На основе своих наблюдений (а также по статистическим данным) он пришел к выводу: «Таких помех производству, как простой рабочих из-за отсутствия материалов... теперь уже не существует или почти не существует».

«Американец, — пишет Н. Смеляков, — экономит труд на всем. Распространение мохнатых полотенец, салфеток и тому подобное в известной мере объясняется тем, что их не надо гладить, хотя в московских прачечных их все равно гладят». «Починка нижнего и постельного белья, скатертей, рабочей одежды и пр. производится с помощью

наклеивания заплаток вместо их пришивания».

Главное, нам кажется, чему надо учиться у американцев — это уменню калькулировать, сопоставлять, что выгоднее. При этом на выгоду они смотрят широко и дальновидно — сегодня они могут перетратить, но они возьмут свое завтра. Это прежде всего относится к сервису, к тому, как человека встречают в магазине, в отеле. Существует даже выражение: «Покупатель всегда прав». «Продавец должен радоваться, если его беспокоят покупатели. Он благодарен в любом случае, сделали вы покупку или нет, важно, что вы посетили магазин: ведь это первая стадия всякой будущей покупки. В равной степени это относится к любому клиенту прачечной, починочной мастерской, библиотеки и пр.». Почти во всех американских гостиницах вы найдете максимум удобств, сервиса. На аэродромах, если самолет прибыл в дождливую погоду, пассажиру дается зонт, чтобы дойти до вокзала. В банке оказывается такая же услуга, чтобы дойти до автомобиля.

Деловой американец считает, что традиция в своей основе консервативна, следовательно, как правило, вредна. Предприниматели часто используют опыт других отраслей промышленности, в том числе и не смежных. Автор приводит слова Бернарда

Шоу: «Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся этими идеями, то у каждого из нас будет по две идеи». Американские деловые люди хорошо усвоили этот афоризм. «Информация,— пишет автор,— рассматривается в США как важнейший составной элемент ресурсов страны, таких, как сырье, источники энергии, рзбочая сила, оборудование».

Н. Смеляков отнюдь не склонен восторгаться всем, что ему привелось увидеть в США. Он далек от этого, он дорожит репутацией Советского Союза, гордится его достижениями. Но он убежден, что силы наши «еще больше увеличатся, если будем полнее и глубже, творчески» использовать жизненный опыт других наций и государств, в том числе Соединенных Штатов... «Американский образ жизни» нам ни к чему. А вот передовая техника, деловой стиль, сноровка, организация, все то положительное, что успел создать капитализм на американской земле, может и должно найти свое применение и распространение на новой, расширенной основе в условиях нашего социалистического общества».

С этим выводом нельзя не согласиться.

И. ПЕШКИН.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

И. ИОНЕНКО и И. ТАГИРОВ. Октябрь в Казани. Таткиноиздат. 1967. 271 стр.

Глубокое изучение многочисленных архивных документов и периодических изданий всех направлений позволило авторам этой книги расширить представление читателя о том, как протекали в Среднем Поволжье — крае, весьма пестром по национальному составу населения, — революционные процессы 1917 года. И. Ионенко и И. Тагиров показывают, как буржуазия и националистически настроенная интеллигенция обманывали надежды масс. Вместе с тем в несколько ином свете представлена деятельность таких национальных организаций, как Харби шуру, Харби комитет, которые раньше характеризовались в литературе лишь как контрреволюционные: освещается участие в них демократических элементов, подчас вынуждавших контрреволюционных руководителей этих организаций делать те или иные прогрессивные шаги. Значительное место в рецензируемой книге уделено и проблеме взаимоотношений большевиков края с мелкобуржуазными партиями. Исследуя процесс вовлечения в борьбу за советскую власть революционных элементов мелкобуржуазной, в частности национальной, демократии, авторы показывают, что социалистическая революция была немислима без объединения вокруг пролетариата гигантского большинства народа. Большевистские организации на местах, выступавшие в тесном контакте с революционно-демократическими национальными организациями и группами, пользовались доверием трудящихся. Следствие этого — интернациональный состав бойцов в октябрьских боях, происходивших в Казани.

Интересно рассказано в монографии о начале вооруженного восстания. Авторы доказывают, что оно «не было связано с получением сигнала из Москвы или Петрограда», и, опираясь на фактический материал, подкрепляют им ленинский вывод: при определенных условиях революционное движение может протекать успешнее в провинции, чем в столице.

Книга не свободна и от некоторых недостатков, однако они не отменяют того факта, что историография Великого Октября пополнена серьезным исследованием.

А. Бурганов,
кандидат исторических наук.

А. ГОЗЕНПУД. Центральный детский театр. 1936—1961. «Наука». М. 1967. 305 стр.

В вечер 5 марта 1936 года нарядно украшенное старинное театральное здание на площади Свердлова осаждала толпа школьников. Звучала веселая музыка, у входа ребят встречали герои их любимых сказок — царь Салтан, Гайавата, Добрая Негра, — радостно и торжественно открывался Центральный детский театр.

Создать полноценный репертуар, привлечь к работе талантливых писателей — не только детских, но и пишущих для взрослых, — самых интересных художников, композиторов — так определяли свою задачу руководители театра. «Простота, ясность, правдивость» провозглашались необходимым условием «для правильного роста искусства для детей» (Н. Сац). За три десятилетия своего существования Центральный детский театр прошел сложный и не всегда ровный путь, на котором, по разным причинам, удачи чередовались с достижениями весьма средними, счастливые находки соседствовали с обидными потерями. Серьезная попытка исследовать многогранную, противоречивую жизнь коллектива сделана в книге А. Гозенпуд «Центральный детский театр».

Советское театроведение обладает чрезвычайно малым количеством работ по детскому театру, и потому ценность книги А. Гозенпуд прежде всего в том, что в ней подробно и полно излагается творческая история Центрального детского театра, разбирается около шестидесяти спектаклей, причем в каждом случае — и когда театр одержал победу, и когда его постигла неудача — ищется то положительное, что может быть использовано в дальнейшей работе.

Разбирая творческий опыт Центрального детского театра (и привлекая также материалы работы других театров для детей и юношества), автор утверждает, что специфика детского театра заключена в неразрывном сочетании, во взаимонепосредственном взаимодействии элементов художественных и воспитательных; что в детском театре должны объединиться «художники сцены, умеющие мыслить, как педагоги, с педагогами, способными чувствовать, как художники» (А. Брянцев). В книге приводится рассказ о том, как Н. К. Крупскую однажды спросили, в

чем, по ее мнению, главная задача детского театра.

— Да в том же, в чем главная задача воспитания: учить думать,— ответила Надежда Константиновна.

Произведениям, которые «учат думать», ведут с юным зрителем серьезный, открытый разговор о жизни, не пытаясь скрыть трудностей и противоречий, не обходя острых углов и не замалчивая сложных вопросов, посвящены лучшие страницы книги. Это прежде всего пьесы, написанные С. Маршаком, А. Толстым, В. Розовым, который как драматург родился на сцене Центрального детского театра, пьесы А. Хмелика, Н. Ивантер, С. Михалкова, спектакли, поставленные Л. Волковым, О. Пыжовой, М. Кнебель, Г. Товстоноговым, А. Эфросом. Много теплых слов сказано о работах основателя и первого руководителя театра Н. И. Сац, о замечательных актерах, создавших целую галерею ярких образов,— В. Сперантовой, Л. Чернышевой, К. Корнеевой, И. Вороновс, М. Неймане, З. Сажине, Е. Перове, В. Заливине, О. Ефремове, также начинавшем свой путь в стенах Центрального детского театра.

Создана история Центрального детского театра. И закончить заметку хочется словами, которыми кончается книга: «Театр сражается... за людей будущего. Он всегда должен быть на переловой».

Л. Кафанова.

★

И. СОЛОВЬЕВА, В. ШИТОВА. Жан Габен. Мастера зарубежного киноискусства. «Искусство». М. 1967. 244 стр.

Монография И. Соловьевой и В. Шитовой о замечательном актере Франции интересна и своим подходом к предмету исследования, и тем, что это исследование проводится без оглядки на авторитет героя книги, что столь часто превращает серьезного критика в сладкоголосого барда, а его размышления — в художественную рекламу. Книга о Жане Габене, который уже четвертое десятилетие выступает на экране, значительно расширяет возможности жанра. Оказывается, в небольшую книжку можно вместить не только творческую биографию актера, но и его человеческий, социальный портрет; можно рассказать о создателях фильмов, где снимался Габен, не «постольку-поскольку», но развернув широкий философско-эстетический анализ их произведений и тем самым представив довольно целостную картину важнейших процессов современного киноискусства, современной культуры.

Такой «контекст» заставляет по-новому взглянуть на прославленного артиста и понять не только секрет его профессионального успеха — «предельная достоверность телесного существования», правдивость каждой секунды экранной жизни,— но и причину столь широкой популярности у зрителя героя габеновских фильмов с его «энер-

гией действий. С его способностью объединить всех. С его надежностью. С его пролетарским бескорытием. С прочностью его товарищества. С его всегдашним бесстрашием». Авторы здесь точно находят прямые связи героев Габена с героями национальной художественной культуры.

Анализируя фильмы Габена, критики убедительно показывают, благодаря чему возникал живой контакт экранного героя с зрительным залом (даже и в тех случаях, когда актер имел дело с второсортной драматургией). Если, например, в дни тридцати шестого года независимость, цельность, чувство солидарности габеновских героев соответствовали духу Народного фронта, то накануне войны зритель уловит в Габене ту тревогу, что носилась в воздухе.

Тем не менее, подчеркивают И. Соловьева и В. Шитова, Габен никогда не был художником-философом, собственных художнических взглядов и гражданских убеждений не высказывал, подчиняя свой талант философским концепциям режиссеров. Именно поэтому оказалось возможным в его творчестве столь парадоксальное сосуществование, казалось бы, взаимоисключающих произведений — истинно высоких образцов искусства и ремесленнических поделок.

Этот объективный взгляд на творчество актера, чье мастерство продолжает восхищать критиков, отдающих должное мощному таланту Габена, его умению создавать образ из «волшебства правды десятков предельно точных физических задач и физических действий», диктуется из «собственным взглядом на искусство, который чужд компромиссам, требует мужественной ясности и идейной последовательности».

Книга И. Соловьевой и В. Шитовой вышла в массовой серии, следовательно, адресуется к широкому читательским кругам. Однако издание массовое авторы справедливо не принимают за упрощенное, поэтому вовсе не пытаются ориентироваться на некоего «среднего читателя», а стремятся понять своего невидимого собеседника на уровне современного понимания искусства. Книга написана с доверием к интеллектуальным способностям и художественной чуткости нынешней читательской аудитории. Думается, читатели «Жана Габена» это доверие оценят, как оценят, помимо всего прочего, и увлекательность самого повествования, отмеченного несомненным литературным даром авторов.

Н. Игнатьева.

★

Г. РЕНАР. В тени Альгамбры. Путешествие по Испании. Перевод с немецкого. «Мысль». М. 1967. 142 стр.

Вместе с журналистом Гастоном Ренаром и его спутником, испанским антифашистом Хосе, читателю предоставляется возможность совершить автомобильное путешествие по южным и центральным районам Ис-

пани. В своей книге, снабженной хорошими фотографиями, автор знакомит нас с известной мадридской магистралью Гран-Виа, дает возможность пройтись мысленно по живописному барселонскому бульвару Рамбла; перед нами как бы наяву возникают очертания выполненного в розовом камне прославленного гранадского дворца и крепости Альгамбра—чуда мавританской архитектуры.

Но более всего интересуют Г. Ренара не традиционные достопримечательности, а то, что находится «в тени Альгамбры». Основной объект его внимания — рядовой испанец. Все симпатии его отданы простым труженикам, тем, кто за скудную заработную плату «работает больше, чем кто-либо в Европе».

В своей весьма продолжительной поездке автор встречался со множеством людей, стоящих на самых различных ступенях социальной лестницы. Среди них банкир, пламенно восторгающийся франкистскими порядками; преуспевающий промышленник; помещик средней руки, сам нанимающий батраков; фалангистский активист, торгующий паспортами для выезда за границу. Однако чаще всего автор посещает густонаселенные кварталы больших и малых городов, рыбацкие поселки, пещерные поселения цыган, андалузские деревни.

О повседневной жизни и быте их обитателей, их заботах и тревогах, их неистребимой жизнеспособности, удивительном радушии и гостеприимстве Г. Ренар повествует с сердечностью и теплотой. Он умеет передать их жажду свободы и справедливости, рассказать о растущей ненависти к диктатуре и убедительно показать, что страсть к корриде и футболу ничуть не мешает полигическим раздумьям. В этом сильная сторона книги Г. Ренара.

Но есть и просчеты, неточности. Делая много безусловно достоверных зарисовок, автор вместе с тем не в достаточной мере владеет искусством правильно определять соотношение детали и целого, эпизода с общей картиной. Это приводит к явным смещениям. Создается, например, впечатление, что, путешествуя по Испании летом 1962 года, автор тем не менее рисует картину экономической и социальной жизни, более соответствующую уровню развития страны в середине пятидесятых годов. Статистические данные, используемые Г. Ренаром, также не всегда точны.

Так, если верить автору, то в пору его путешествия около 55 процентов трудоспособного населения Испании было занято в сельском хозяйстве, в общем производстве страны продукция деревни преобладала, составляя и большую часть экспорта. На самом деле уже за два года до этого в сельском хозяйстве Испании работало 41,3 процента трудоспособного населения, доля его продукции в производстве страны не превышала 25 процентов, а в национальном экспорте равнялась 40 процентам. Если принять во внимание, что в наши дни (по данным на 1966 год) в Испании число людей,

работающих в сельском хозяйстве, снизилось до 28,9 процента (и продолжает снижаться), а сельскохозяйственная продукция составляет всего 24 процента экспорта страны, то нетрудно понять, что картина, нарисованная Г. Ренаром, значительно отстает от современности. Впрочем, это упрек не столько автору, сколько издательству. Нельзя признать нормальным, что книга, вышедшая в ГДР в 1963 году, переводится и издается у нас только четыре года спустя.

Е. Тепер,

кандидат исторических наук.

★

Р. БЕНЬЯШ. Пелагея Стрепетова. «Искусство». Л. 1967. 254 стр.

Когда Пелагея (по сцене — Полина) Стрепетова умирала в больнице у Калинкина моста, одна из ее подруг, желая утешить актрису, сказала, что Стрепетова славно послужила театру. Ответ последовал сухой и гордый:

— Театру Савины служат. Я служила народу...

В этих словах, возможно и после придуманных, — как многие предсмертные изречения, — краткая, но верная формула целой артистической жизни, да и всей судьбы замечательной женщины, о которой рассказано в книге Раисы Беньяш. «Все в жизни Пелагеи Стрепетовой, словно нарочно, сочинено для романа», — предупреждает автор, начиная свое повествование. Но роман этот надо было написать. А как трудно было его написать — видно хотя бы из сопоставления первой книжки Р. Беньяш о Стрепетовой, изданной двадцать лет тому назад, и книги, только что выпущенной. Та, первая, книга была обстоятельным, вдумчивым, кропотливым и серьезным театроведческим исследованием. Многочисленные примечания указывали читателю тропки, вперые проторенные автором, — тропки эти вели в неопубликованные архивы петербургских актрис и актеров, к неизданным рукописям их мемуаров, к переписке, к газетам и журналам тех лет. Монография 1947 года выглядит сейчас как прочный научный фундамент биографического романа, интересного уже не только историкам театра или культуры, но — всякому читателю, которого занимает прошлое, его драмы и его уроки.

Беньяш пишет не об актрисе и ее ролях, — она пишет о русском художнике трудного и жестокого времени, о судьбе таланта, отмеченного печатью подлинной и сильной народности, о мытарствах человека, дарование которого — резкое, напоенное болью, мучительное — было несомненно ни с казенной атмосферой официального Петербурга, ни с благородным духом императорской столицы, где властвовала первая актриса столицы знаменитая М. Г. Савина. Внешность Стрепетовой, замечали театральные обозреватели, «не допускает сколько-нибудь представительных ролей»... Благожелательная современница рассказывает, что Стре-

петова смущала изысканных ценителей искусства тем же, чем смущали репинские «Бурлаки»: «Ее бабы, как и бурлаки, какие-то троглодиты, скифы... она... выхватывала кусок из жизни, не заботясь об эстетичности».

Стрепетова играла «Горькую судьбину» Писемского, «Грозу» Островского, «Власть тьмы» Толстого, но в салонных комедиях выступать не могла. «Ее среда, — писал Островский, — женщины низшего и среднего классов общества; ее пафос — простые, сильные страсти». Талант Стрепетовой, сказал он, «явление редкое, феноменальное...».

Когда человеку дан от рождения такой талант, когда человек этот наделен к тому же нравом гордым и твердым, тогда жизнь его неизбежно становится трагической и выглядит впоследствии «сочиненной для романа». Заслуга Р. Беньяш не только в том, что ее книга правдива и увлекательна. Важнее другое: сквозь судьбу Стрепетовой она дала почувствовать героическую драму всего русского искусства, отчаянно воевавшего тогда за право говорить неприглядную правду.

К. Рудницкий.

★

М. ГАРДНЕР. Этот правый, левый мир. Перевод с английского. «Мир». М. 1967. 265 стр.

Существует древняя притча о Буридановом осле. Перед ним, слева и справа, положили две совершенно одинаковые охапки сена, и он умер от голода, не зная, которой из них отдать предпочтение. Проблема симметрии, проблема «левого и правого» в этом мире уже давно занимала и продолжает занимать умы.

В 1957 году два американских физика (китайского происхождения) Ли Чжэн-дао и Ян Жэнь-нин получили Нобелевскую премию по физике за работу «Вопрос о сохранении четности в слабых взаимодействиях». Новая книга Мартина Гарднера, знакомого советским читателям по превосходной научно-популярной «Теории относительности для миллионов», разъяснит непосвященным смысл понятий «четность» и «слабые взаимодействия». Она подведет их к кульминационному пункту развития современных представлений о симметрии, которые как бы сфокусировались в работах Ли и Яна.

Далекий путь к этой цели читатель начинает с рассмотрения свойств обычных зеркальных отражений. Прочтя первые четыре главы книги, приходишь к выводу, что длительное созерцание своего собственного отражения в зеркале — занятие, обычно считающееся легкомысленным, на самом деле может привести к постановке целого ряда неожиданных и важных вопросов.

С чем связана внешняя симметрия человеческого тела и в чем причина отступлений от симметрии в его внутреннем строении? Чем вызвано предпочтение, которое мы отдаем правой руке и как себя чувствует левша в мире «правшей»? Как понять наличие сферической симметрии у простейших мор-

ских животных и ее отсутствие у обитателей суши — растений и животных? Симметрия и целесообразность в природе, обсуждение вопроса о том, как должны выглядеть обитатели планет других звездных систем, и о неизбежности некоего подобия между ними и нами — все эти проблемы, разбираемые на страницах книги Гарднера, несомненно, привлекут внимание читателя. Автор увлекательно рассказывает о работах Луи Пастера с винной кислотой, в которых впервые была открыта и изучена асимметрия на молекулярном уровне.

Автор прекрасно знает историю описываемых им вопросов, причем сведения он черпает не только из научных журналов, но и из газет, из писем и мемуаров выдающихся ученых. Здесь вообще будет уместно отметить общую эрудицию Гарднера, которая сказывается и в широком охвате всей проблемы симметрии, и в свободном привлечении к изложению самого разнообразного материала — от остроумных реплик известного американского комика К. Крэнделла до глубоких наблюдений Платона и сложных рассуждений Канта, переведенных на более простой современный язык. Но эрудиция автора книги не подавляет читателя, как это иногда случается, а в высокой степени оживляет чтение. Гарднер как бы сплетает красочный узор из умело и со вкусом подобранных высказываний «умных мира сего».

В заключение следует специально отметить прекрасно выполненный перевод книги. Дополнительным плюсом русского издания являются интересные комментарии, написанные редактором книги профессором Я. А. Смородинским. Они выполнены в том же ключе, что и сама книга: остроумны, содержательны (и иногда корректируют увлекательность автора).

В. Френкель.

★

герман Занадворов. Ветер мужества. Главы романа, рассказы, дневник, письма. Пермское книжное издательство. 1967. 234 стр.

Владислав Занадворов. Ветер мужества. Стихи, рассказы, письма. Пермское книжное издательство. 1967. 184 стр.

«Товарищ! Этот сверток — из немецкого тыла. В нем рукописи — совесть журналиста, находящегося на оккупированной территории. Самая горячая, убедительная просьба: не задерживая ни на час, найти способ передать их в редакцию газеты «Красная Армия»...» Нет, не дошел до адресата сверток, доверенный воздушному шару, пущенному по ветру на восток, «к нашим». Большая часть произведений Германа Занадворова так и не найдена — об их существовании лишь свидетельствуют очевидцы. Все, чем мы располагаем, — несколько рассказов, фрагменты из начатого романа, дневниковые записи.

Трагична судьба уральцев — Германа и Владислава Занадворовых. Литература с

молодых лет стала страстью обоих братьев: Германа — журналиста, секретаря редакции, Владислава — инженера-геолога. Творчество обоих приходится в основном на годы Отечественной войны. Оба брата погибли.

И хорошо, что Пермское книжное издательство выпустило произведения Германа и Владислава Занадворовых в двух книгах, вложенных в общую папку и объединенных одним названием — «Ветер мужества».

Короткие, написанные скупыми штрихами, но емкие рассказы Германа Занадворова, дошедшие до нас из немецкого тыла, — своеобразная летопись того страшного для Украины времени. Автор описывает только факты, избегая комментариев, пояснений. Вот старуха, у которой угнали в неволю четырнадцатилетнюю внучку, молится горячо о большевиках — а ведь она всю жизнь ругала колхозы и сокрушалась о закрытых церквях (рассказ «Молитва»). Вот старый фельдшер, не боец и не герой, спасает незнакомых партизан. «Боялся ли он, помогая им? Да, боялся. Но нечто более сильное, чем страх, заставляло его делать именно то, чего он боялся» (рассказ «Была весна»). Душевная стойкость непокоренных людей, их вера в победу раскрываются в «Думе о Калашникове» — легенде о лихом партизанском командире, народном мстителе.

Эти рассказы, так же как и письма, обладают силой документа.

Главы из незаконченного автобиографического романа правдиво рассказывают о первых боях, отступлении, фашистских лагерях смерти.

Владислав Занадворов, прозаик и поэт, — геолог, исходивший много дорог. Он писал стихи и рассказы о шахтерах, зимовщиках, сплавщиках леса, землепроходцах, людях первых пятилеток. Но особенно привлекает читателя его фронтовая поэзия, лирические стихи, «что написаны криво, на ложе винтовок», в окопе, в минуты, «вырванные у сна и отдыха». Лучшее из них — «Последнее письмо» — создано между двумя атаками, в бою, из которого поэту не суждено было выйти живым. Слова этого стихотворения стали последними его словами.

Пермское книжное издательство любовно и бережно издало книги писателей-воинов Занадворовых. К книгам приложена брошюра с рассказом Н. Воронова о судьбе и творчестве каждого из братьев. Кстати, благодаря стараниям Н. Воронова, по сути «открывшего» Занадворовых, читатели и получили их произведения.

Хочется думать, что со временем найдутся утерянные во время войны рукописи и эти книги выйдут новым, дополненным изданием.

К. Бродер.

ЛЕВ ГУМИЛЕВСКИЙ. Вернадский. «Молодая гвардия». Серия «Жизнь замечательных людей». М. 1967. 256 стр.

В первых частях книги, посвященной великому геологу, автор рассказывает о многогранной научной деятельности Владимира Ивановича Вернадского в дореволюционные годы, о его хлопотах по организации радио-геологической лаборатории, о создании им геохимии.

После Октября Вернадский с еще большей увлеченностью занимается научно-организаторской работой. Под его руководством создается Радиевый институт, а также отдел живого вещества при Комиссии по изучению естественных производительных сил. В двадцатые годы Вернадский и второе поколение его учеников начинают развивать новое, биогеохимическое направление в геохимии.

В тридцатые годы, когда Вернадскому шел уже восьмой десяток, его интенсивная научная деятельность продолжалась. На XVII Международном геологическом конгрессе он делает доклад «О значении радио-геологии для современной геологии», в котором высказывает предположение, что «все химические элементы находятся в радиоактивном распаде». В тот же период он начинает заниматься вопросами космической химии, указывая на то, что геохимия является лишь ее составной частью, и, как всегда, не ограничивается теоретическими построениями, а проводит большую организаторскую работу, чтобы наладить исследование в этом новом направлении.

Как показывает автор, Вернадский был человеком принципиальным, мужественным. В свое время он не только выступил в защиту своего беззащитно репрессированного ученика А. М. Симорина, обратившись в Президиум Верховного Совета с письмом о его освобождении, но и вел с Симориным постоянную переписку, до конца своей жизни категорически отказываясь подписать приказ об его увольнении.

Со страниц книги Л. Гумилевского Вернадский встает перед нами не только как ученый, работающий в определенной области науки, но и как мыслитель с собственным, оригинальным мировоззрением. С этой стороны Вернадского почти не знали до недавнего времени даже геологи.

Весьма справедливо сечение автора на то, что известность имени основателя крупнейших научных школ и направлений никак не соответствует его научным заслугам. Хочется надеяться, что книга Л. Гумилевского поможет популяризации огромного вклада Вернадского в науку и привлечет внимание читателей, особенно молодежи, к его личности.

А. Галин.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ

Соображения, которыми я хочу поделиться с читателями «Нового мира», относительно этой большой области современного интеллектуального труда отнюдь не результат каких-то глубоких исследований, да я и не специалист по этой части. Просто изобретениями и их применением я занимаюсь, как хозяйственный руководитель, а это и положено любому инженеру, независимо от должности.

Я бы сказал, что правильно оценить изобретателя, еще не имеющего признания,— нелегкая задача. Это так же не просто, как увидеть дарование начинающего писателя или артиста. А может, и труднее. Ведь чтобы оценить значение нового изобретения, нужно иметь колоссальную эрудицию, нужны знания смежных отраслей техники и промышленности; кроме этого, нужна инженерная интуиция. А эти качества присущи далеко не всем руководителям, и потому у нас появился довольно распространенный тип «хозяйственника-новатора», который, как мне кажется, прошел не замеченным нашей художественной литературой, театром и кино,— это хозяйственник, который легко идет на осуществление любой еще сырой, плохо продуманной, прожекторской идейки; он расходует десятки и сотни тысяч рублей, лишь бы его не вносили в «список» консерваторов, зажимщиков изобретательства. Людей, помогающих «реализации» ничего не изобретенного, и людей, предложивших действительно большое и разумное изобретение, очень много: и те и другие часто ищут поддержки общественности, особенно через печать.

Мне вспоминается такой эпизод. Я зашел в редакцию большой центральной газеты и спросил у редактора отдела:

— Кто у вас занимается энергетикой?

Встретил он меня сумрачным взглядом и охотно спровадил в соседнюю комнату, но там указанного товарища на месте не оказалось. Хотя меня смутил неприятливый, сердитый вид редактора, но я улетал в этот день из Москвы и мне ничего не оставалось делать, как снова зайти к нему в кабинет. На этот раз называю свою должность, вижу мгновенную перемену в лице и добрую улыбку. Редактор встает из-за стола, приветливо протягивает руку и извиняющимся тоном говорит:

— А я думал, изобретатель пришел.

Верно, заполнили изобретатели все отделы газет, которые занимаются техникой или промышленностью. Но не газеты же и не общественность должны решать судьбу изобретений, а органы, на которые это возложено. Только вот органы эти по какой-то причине работают часто на холостом ходу.

Уж если говорить, то по экономическим правилам и законам не изобретатель должен обивать пороги учреждений и редакций газет, а хозяйственники должны «выискивать» и гоняться за изобретателями. Так и делают монополисты в США. Они привозят изобретателей даже из Европы и считают это выгодным. Изобретателя легче «купить», чем «вырастить», ведь эта «специальность» приобретается не учебой — она в какой-то степени врожденная, так же как одаренность и талант в других областях — в литературе, науке, искусстве.

У нас, в Советском Союзе, важным делом изобретательства занимаются два крупнейших учреждения, два комитета Совета Министров СССР, деятельность которых в области изобретательства иногда трудно разграничить,— Государственный комитет по науке и технике и Государственный комитет по делам изобретений и открытий.

Любая научная идея и работа, любое научное открытие в области техники могут быть полезны для народного хозяйства и для общества, для людей только в том случае, если они будут осуществлены материально через изобретения. В самом деле, в аэродинамике, в изучении свойств летательных аппаратов много сделали такие ученые, как Жуковский и Циолковский, но только через самолеты, ракеты и другие летательные аппараты их научные открытия получили материальные осуществления и стали работать на благо людей. Давно известно, скажем, что расплавленный металл имеет поверхностное натяжение, но только благодаря изобретению физика — профессора А. В. Степанова — стало возможным изготавливать алюминиевые изделия из расплава, используя эффект поверхностного натяжения, и получить от изобретения большую экономическую выгоду. Так открытие обрело свое материальное осуществление. Это значит, что научные открытия в технике и изобретения неотделимы друг от друга, — научный процесс в области техники кончается материальным эффектом только через изобретение.

Вместе с тем есть немало изобретений, в основе которых не лежат новые научные открытия, но они тем не менее вносят значительные улучшения в сферу производства, обслуживания, в жизненные удобства людей. Есть также и открытия, которые пока еще не принесли людям материальной пользы, и над применением их эффекта изобретатели еще трудятся. Общество крайне заинтересовано в том, чтобы путь от открытия до его осуществления в виде изобретения был короче. Но и само по себе изобретение — это всего лишь этап для получения материальных результатов открытия.

В наше время изобретательство заняло в мировой экономике такое место, что становится важным фактором в подъеме производительности труда общества.

Советский Союз стоит впереди всех стран мира по численности инженеров и рабочих. При таких объективных предпосылках и при нашей передовой социальной системе вполне естественно, что число изобретателей и рационализаторов достигает почти трех миллионов человек. Изобретатели и рационализаторы только в одном 1965 году внесли 3380 тысяч предложений, из них внедрено более 2841 тысячи, а условная экономия от их внедрения составила огромную сумму — почти два миллиарда рублей.

Изобретательство и рационализация — это все же понятия разные. Рационализация — это прежде всего дело промышленных министерств, ведомств и хозяйственных организаций. Кстати, теперь трудно найти хозяйственника, отказывающегося от экономически выгодного предложения рационализатора. Но в этом деле вряд ли сколько-нибудь заметную роль играет Комитет по делам изобретений и открытий. Многие рационализаторы никогда и не помышляли обращаться в этот комитет. Ведь далеко не каждое рационализаторское предложение может быть изобретением. В 1965 году, например, было признано изобретениями всего 16 628 предложений — лишь ничтожная доля всех тех предложений, которые были направлены на рационализацию производства и изделий.

Сколько же эти предложения дали экономии народному хозяйству? Таких данных, к сожалению, Комитет по делам изобретений и открытий не публикует и, видимо, ими не располагает.

Если бы учесть все расходы на содержание научно-исследовательских институтов и сопоставить с экономическим эффектом внедренных и запатентованных ими предложений, то существование многих из них просто коммерчески было бы не оправдано. К тому же и многие открытия, сделанные институтами, не нашли своего дальнейшего развития в виде изобретения и остались как бы незаконченной работой. Я, разумеется, не претендую на какое-то первооткрытие, говоря, что внедрение сложных изобретений у нас необоснованно долго задерживается и часто предложения с огромным экономическим эффектом залеживаются или внедряются в непростительно ограниченных размерах. Капиталистические монополии, как известно, завладев крупным изобретением, переключают целые отраслевые институты на изыскание сфер применения этого изобретения, чтобы извлечь возможно больше и быстрее прибыли. И само расширение сферы применения изобретения, то есть новая его функция, может в свою очередь патентоваться. Недаром быстрая и гибкая оценка изобретения, а следовательно, оценка интеллектуального труда, породила в США особый интерес промышленных фирм к

изобретательству, и они из этого сделали «большой бизнес». Социологические исследования в этой области у нас, безусловно, будут интересны.

В нашей технической литературе, в том числе и в той, которую издает Комитет по делам изобретений и открытий, нет глубокого анализа и сравнений наших изобретательских дел с заграничной. Она обычно отделяется стандартной фразой: «В США число выдаваемых патентов значительно больше», умалчивая при этом, насколько именно больше. Такая «стыдливость» при сравнении дел только укрывает от общественной критики тех людей, которым «ведать надлежит», и наносит вред нашему народному хозяйству.

По нашим инструкциям к изобретению предъявляется два жестких требования — «существенной новизны» и «полезности». При требовании «существенной новизны» возникает много споров и сама формула изобретения как бы теряет материальный смысл. Да и нет возможности установить эту границу между существенной и несущественной новизной. Но и другое, что тоже очень важно: если продукт, товар, изделие, лекарство, процесс не улучшается в малом, что инструкцией Комитета по делам изобретений и открытий признается «несущественной новизной», то он не усовершенствуется, не прогрессирует. Кому на руку, если мы отпугнем такого изобретателя, а чья-то продукция останется в старом исполнении? Причем часто в бытовых предметах, изготавливаемых миллионами штук, небольшое улучшение дает большой народно-хозяйственный эффект. Ведь изобретатель, как всякий человек, от простого приходит к сложному; стремление к творчеству у него такая же потребность, как у писателя, художника или архитектора, и обвинять его в том, что он не изобрел ракету, а изобрел хорошую шариковую ручку, никак нельзя. Кто ракету, а кто и ручку! В жизни нам необходим очень широкий круг вещей, которые нуждаются в постоянном улучшении.

Как рассуждает рядовой изобретатель и что порождает у него творчество? Пришли машину, скажем — турбину, у нее ненадежно работает регулятор скорости, и изобретатель стремится его улучшить и сравнивает вещь с вещью, регулятор с регулятором, а не ищет «существенную новизну» и не проверяет патенты. (Кстати, действительно лет десять назад почти на всех гидроэлектростанциях возникало множество предложений по усовершенствованию регуляторов скорости турбин, пока не был изобретен надежный регулятор, и я убежден, что почти никто из тех, кто работал над ним, не заглядывал в патентную библиотеку.) Поэтому нужно требовать отличия изобретенного от существующего, сравнивать вещь с вещью, процесс с процессом, выбирать лучшее и на это отличие выдавать авторские свидетельства и производить новую вещь, хотя бы не существенным было это отличие. Это никак не может помешать изобретать и принципиально новое, и «существенно» новое.

Примеров этого в нашей практике множество.

Всем строителям и работникам промышленности стройматериалов давно известно, что тонкодисперсная зола — продукт сгорания каменноугольной пыли — давно применяется как добавка в бетон или раствор, как частичный заменитель цемента.

Десять лет назад на строительстве Новосибирской ГЭС, когда бетонировали крупные блоки, в них обнаружили трещины. Выяснилось, что для необходимой степени их водонепроницаемости требовался бетон большой плотности. Это достигалось повышением расхода цемента, хотя для получения заданной проектом механической прочности бетона в этом не было необходимости. Но именно добавка цемента увеличивала экзотермию (выделение тепла), и в больших блоках бетон трескался. Это вызывало трудности в технологии укладки бетонной смеси. Необходимо было уменьшить объем блоков, а это увеличивало опалубочную площадь и замедляло ход строительства. Тогда специалисты предложили заменить часть цемента тонкодисперсной золой. Водонепроницаемость повысилась в несколько раз, значительно уменьшился расход цемента, увеличился размер блоков и т. д. Положительный эффект использования этого предложения был очевиден. Подали заявку в министерство и получили ответ: «В предложении нет существенной новизны». При этом была ссылка на учебник стройматериалов профессора Скроттаева, изданный в 1935 году (нарочито взято старое издание, чтобы показать несостоятельность заявки). Открываем книгу и обнаруживаем, что ни

о какой тонкодисперсной золе тут и речи нет,— говорится о том, что добавлялся топочный шлак как наполнитель. Вот что на деле означает требование «существенной новизны»!

Или же другой пример. Ленинградский металлический завод имени XXII съезда КПСС изготовил и поставил Братской ГЭС вполне современные турбины с высоким кпд, но некоторые узлы оказались недоработанными и далекими от совершенства. Вот, например, дефлектор. Это довольно простая деталь — листы железа, приваренные к крышке рабочего колеса и имеющие ребра жесткости. Однако расчет конструкторов завода на прочность оказался неточным, пульсирующий поток воды, видимо, создавал разнозначные напряжения, и дефлекторы, даже усиленные, ломались. Мы, энергетики, считаем дефлектор на больших турбинах очень важным узлом. Если бы его усовершенствование до работоспособного состояния давало бы право на патент или авторское свидетельство и материально вознаграждалось, дефлектор безусловно бы «довели». Но в изменении конструкции, в ее доработке нет «существенной новизны».

В США же такое изменение давало бы право на патент. Там сравнили бы старый и новый дефлекторы и выдали бы патент по признакам эффективности, и фирма купила бы у изобретателя этот патент. У нас же завод просто отказался от этого узла, хотя, с точки зрения энергетиков, это означало, что важный конструктивный узел потерян. К сожалению, можно высказать уверенность, что он будет доработан не скоро.

Мне кажется, что требование «существенной новизны», предъявляемое к авторскому свидетельству, следовало бы исключить. При всей внешней строгой взыскательности и прогрессивности, это требование способствует только консервации изделия, но отнюдь не прогрессу.

Также, мне кажется, следует исключить требование «полезности» изобретения. Много изобретается такого, что «не полезно» сегодня, но может быть полезно завтра. В случае, когда изобретение признается полезным для нынешнего уровня развития техники, это следует оговаривать в авторском свидетельстве. Вспомним, что многие изобретения Циолковского не были полезны и не могли быть осуществлены при его жизни. Важно сохранить за изобретателем и за страной приоритет. Я думаю, никто не будет утверждать, что лет двадцать пять назад искусственный спутник Земли не мог быть признан полезным, раз он был неосуществим при тогдашнем уровне техники. А по принципу «неполезности» это изобретение не могло быть запатентовано в СССР, хотя в любой другой стране автор его мог получить патент. Значит, и этот признак для признания изобретения, как и «существенная новизна», тормозит изобретательское дело.

К тому же определение «полезности» не под силу одному эксперту и даже ведомству. Установить «полезность» и, как следствие, экономический эффект — дело чрезвычайно трудное. Серьезное заключение о «полезности» может дать не эксперт, порой еще пока далеко не всегда достаточно опытный инженер, а лишь ряд научных учреждений. Порядок отзывов, принятый у нас, невероятно затягивает заключение о «полезности», и нередко чей-то необоснованный отказ приводит к тому, что автор уже не может работать над внедрением предложения, так как двери всех ведомств после отрицательного отзыва оказываются закрытыми.

В самом деле, почему бы не выдать патент на изобретение, хотя бы оно в данный момент и не имело бы практического значения? Кто терпит убыток оттого, что изобретатель, затратив много времени и способностей, нашел нечто новое, хотя, по мнению определенного круга экспертов, оно сегодня не представляет особой необходимости государству. Ведь сколько уже было случаев, когда у нас отказывали изобретателям в патенте, а их изобретения впоследствии были использованы или у нас, или же за границей.

Размышляя о делах изобретательских, мне хочется сопоставить некоторые данные и выводы, к которым пришли компетентные авторы двух разных статей, посвященных этой проблеме. Первая — статья члена Комитета по делам изобретений и открытий И. Митракова в «Экономической газете» (№ 7 за 1967 год). Автор ее сетует на то, что в 1966 году внедрялось много изобретений, имевших приоритет до 1961 года, а были даже и такие, которые до 1957 года десять и больше лет пролежали, прежде

чем были запущены в производство. Речь идет об уже апробированных, полезных предложениях. Тут невольно возникает вопрос: почему же во многих странах, чтобы найти новую сферу применения изобретения, переключают целые институты, а у нас советские фирмы, государственные предприятия часто отказываются от практически бесплатного авторского свидетельства? В самом деле — почему? Ведь таких руководителей критикуют в газетах, но практика их живуча.

О патентовании наших изобретений за границей и о продаже лицензий также хочется сказать несколько слов. Просто удивительно, что наша гигантская страна с такой развитой сетью научно-исследовательских институтов, лабораторий, конструкторских бюро, с таким высоким промышленным потенциалом продает лицензий куда меньше, чем некоторые малые государства. Об этом писал в «Известиях» (№ 181 от 3 августа 1967 года) заместитель председателя Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР Е. Артемьев. Но мне кажется, что меры, о которых он сообщал, не сыграют большой роли в коренном изменении этого дела в масштабах государства. Ведь заграничные фирмы непрерывно интересуются, где еще, кроме СССР, запатентовано изобретение и где на основе патента уже производится продукция. Поэтому прежде всего должна быть предельно ускорена процедура оформления выдачи патента или авторского свидетельства внутри СССР.

Так же оперативно должно быть налажено производство товаров на основе новых патентов. Безусловно, как это считает и Е. Артемьев, в этой области нужны знающие, инициативные и предприимчивые люди. Эти люди найдутся сразу же, как только здесь будет введена настоящая материальная заинтересованность. Одними только директивами трудно внедрять новое, тем более если оно идет вразрез с материальными стимулами старого производства. Тут необходима серьезно продуманная система мер материального поощрения, которая сделает внедрение нового выгодным для предприятия, для людей, занимающихся этим внедрением.

Но вернемся к проблеме патентования наших изобретений за рубежом. Естественно, что патентные учреждения, например, США не заинтересованы патентовать у себя наши ценные изобретения, наоборот, они заинтересованы всячески уйти от этого, а мы еще до сих пор не научились отстаивать свои права и не умеем еще защищать наши заявки за границей.

Возникает еще один вопрос: стоит ли нам сохранять название «авторское свидетельство»? Оно появилось в первые годы существования Советского государства, и тогда это был необходимый и мудрый шаг. В ту пору важно было отличать право автора использовать и продать патент другому государству или частному лицу от права автора передать свое изобретение своему государству, которое по нашим законам берет на себя заботу о реализации изобретения и вознаграждении автора. Но ныне по нашим законам граждане СССР не могут самолично продать свой патент за границу или частному лицу, и никто из них поэтому не берет патентов — это им просто ни к чему. А поскольку во всем мире существует только один термин — «патент», наше законодательство может установить любой приемлемый нашему государству статус патентодержателя для граждан СССР и иностранцев и отказаться от термина «авторское свидетельство», как утратившего свое первоначальное значение. Тем более что патент подтверждает авторство.

Итак, как нам кажется, пришло время коренным образом пересмотреть систему организации изобретательского дела: изменить инструкции, исключив в первую очередь требования «существенной новизны» и «полезности» изобретения, а также изменить шкалу и длительность срока выплаты вознаграждения. Эти изменения дадут возможность увеличить число изобретений и улучшить многие изделия и процессы без больших капиталовложений. Чтобы повысить материальный стимул изобретательства, вместе с выдачей авторского свидетельства следовало бы выплачивать автору за изобретение, независимо от его нынешней полезности, определенную сумму из особого фонда, образуемого из взносов от реализованных предложений. В настоящее время, кроме незначительных отчислений на Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов, выражающихся долями процента, предприятия никаких взносов не делают. Если же

обязать их делать начисления на изобретения от изделий, примененных предприятием, в более весомых процентах — скажем, два-три — на счет Комитета по делам изобретений и открытий, то это создаст внушительный фонд для поощрений изобретательства, а главное — создаст защиту авторских интересов и интересов комитета. Они будут едины.

Чтобы быстрее определять ценность изобретений, следовало бы, мне кажется, создать обширную комиссию с широкими полномочиями. Вот тогда, на мой взгляд, можно будет быстрее и выдавать патенты, и внедрять изобретения, и патентовать их за границей. А вся эта сумма мер даст возможность и продавать лицензии с выгодой для нашего государства.

Изобретательское дело — дело, важное для всех. Хорошо поставленное, оно будет способствовать росту производительности труда и благосостояния народа. В Советском Союзе его размах и уровень должны быть выше, чем в любой другой стране, в том числе и США.

Братск. Октябрь 1967.

*Инженер К. Князев,
директор Братской ГЭС.*

ПОВЕСТЬ МОЕГО ДРУГА

Я получил № 11 журнала «Новый мир» 1967 года, который содержит исключительно интересное произведение Д. Набокова «Детские годы в Супруновке. Из семейной хроники».

Дмитрий Петрович Набоков — мой старый товарищ и земляк из города Белгорода, имеет такой же возраст, что и я, — ему семьдесят восемь лет. В Белгородской классической гимназии он был старше меня на один класс, а в 1907 году мы оба попали в Петербург. Он в этом году поступил по конкурсу в Электротехнический институт, а я первый год провел на естественном факультете Петербургского университета, а затем в 1908 году поступил также в Электротехнический институт. Мы прожили с Д. П. Набоковым совместно в одной комнате с 1907 по конец 1910 года. Во время студенческих волнений 1910 года, связанных со смертью Льва Толстого и с последующими событиями, мы оба были арестованы вместе с другими четырьмя студентами Электротехнического института, исключены из института и высланы из Петербурга. Дмитрий Петрович был выслан на родину в г. Белгород на один год под надзор полиции, а я был выслан в Чердынский уезд Пермской губернии, где пробыл в ссылке до февраля 1913 года. Вернуться для окончания образования в Электротехнический институт, находившийся в ведении министерства внутренних дел, мы оба не смогли за отсутствием так называемой «политической благонадежности». Однако мы были приняты вольнослушателями в Петербургский политехнический институт и жили снова вместе в одной комнате в 1913—1914 годах. В 1913 и в 1915 годах я был на студенческой практике на кораблестроительном заводе «Наваль» в г. Николаеве, а Дмитрий Петрович начал работать в судостроительном отделе этого завода, где и оставался вплоть до начала Октябрьской революции. Мне удалось окончить электромеханическое отделение Политехнического института в 1918 году, а Дмитрий Петрович окончил Харьковский политехнический институт, где и получил звание инженера-электрика. В 1935 году я встретился снова с Дмитрием Петровичем в г. Харькове, где он занимал руководящую должность по электроэнергетике.

После начала Отечественной войны я оказался в эвакуации в г. Ташкенте и потерял из виду Дмитрия Петровича. Его произведение «Детские годы в Супруновке. Из семейной хроники» вызвало во мне много воспоминаний нашей юности, особенно связанных с г. Белгородом, так как Супруновка и Пушкарная являются предместьями этого города.

Дмитрий Петрович отличался большим галантом, потрясающей памятью, поэтому исключительно быстро и легко работал, хотя ему приходилось гратить время на заработки и помощь своей матери, которую он очень любил.

Дмитрий Петрович имел большой литературный вкус, хорошо знал и любил не только русскую, но и зарубежную литературу. Я вполне согласен с оценкой его произведения, которую дал в своем предисловии Е. Дорош, и радуюсь успеху своего друга. Если вы сможете сообщить мне адрес Дмитрия Петровича, я буду вам исключительно признателен.

Мой отец был железнодорожным врачом на ст. Белгород Южных железных дорог. Дмитрий Петрович часто бывал в нашей семье и пользовался общей любовью. Мой старший брат корабельный инженер Владимир Полиевктович Костенко заведовал судостроительным отделом завода «Наваль» в Николаеве, в отделе которого работал и Дмитрий Петрович. В. П. Костенко вместе с Новиковым-Прибоем проделал цусимский поход, попал в японский плен после цусимского боя и свои воспоминания запечатлел в специальной книге «На «Орле» в Цусиме» (изд. Судпромгиза), начало которой, между прочим, было напечатано в журнале «Новый мир» под названием «Последняя ставка» (1936, №№ 6 и 7). Второе, посмертное издание (В. П. Костенко скончался в 1956 году) должно выйти в скором времени.

Академик М. Костенко.

Ленинград.

«АВРОРА СТОЯЛА У ПЛЕТНЯ...»

У де Мисезона сказано: «Аврора стояла у плетня, озаренная лучами пылающего солнца». У переводчиков читаем: «Она лежала на кровати, озаренная лучами потухающего (!) камина».

А. Архангельский. «О переводах».

Трудное дело — перевод. Трудное и тонкое. И, конечно же, гораздо легче раскритиковать перевод дурной, чем сделать хороший. И все же не заслуживает ни сочувствия, ни снисхождения ремесленник, портящий своим плохим переводом книгу хорошего писателя. Такой переводчик может убить книгу для многих поколений читателей; счастье еще, что есть возможность воскресения из мертвых.

Плохой перевод — беспощадный обвинитель. Он все расскажет о переводчике: чего он не знает, в чем грубо ошибается, что пытается скрыть второпях. Ведь иной переводчик работает небрежно, кое-как, лишь бы его кто-нибудь не обогнал. Торопится, спешит — и забывает старую пословицу: что написано пером, того не вырубишь топором.

К разряду таких недобросовестных переводов относится, к сожалению, перевод пьесы Ф. Дюрренматта «Метеор», сделанный Н. Оттенем («Иностранная литература», № 2, 1967).

В оригинале пьеса Ф. Дюрренматта (F. Dürrenmatt, „Der Meteor“. Zürich. 1967) — гротескная трагикомедия с фантастической фабулой и глубоко реалистическим содержанием. И если от трагического до смешного — один шаг, то в комедии такого рода от смешного до пошлого и того меньше. Малейшее смещение оттенков и нюансов, легкий крен в сторону вульгарности — и перед вами уже не та пьеса. Так и получилось у Н. Оттена. В оригинале

язвительная ирония — в переводе плоская пошлость. В оригинале насмешка — в переводе грубость. И погибла пьеса для русского читателя — и для русского зрителя, если она будет поставлена в том же переводе.

Где же, однако, доказательства? — спросит читатель. Увы, за ними дело не станет.

Пьеса Дюрренматта начинается с того, что главный герой ее, писатель Швиттер, лежит при смерти в ателье художника Ниффеншwandера, где когда-то жил и работал. Ситуация эта повторяется в пьесе с нарастающим эффектом: герой измучен, он стремится к смерти, изнемогает, произносит трагические монологи, но не умирает. Напряжение нарастает постепенно, от сцены к сцене. Возникают сложные коллизии, все больший круг действующих лиц оказывается вовлеченным в эту фантастическую ситуацию. Под конец звучат патетические ноты, вопли ужаса. В переводе Оттена все гораздо проще и, если угодно, даже еще интереснее. С первых слов Швиттер ошеломляет читателя — он хрипит; Ниффеншwandер в ужасе восклицает: «Господин Швиттер!» А тот ему загадочно в ответ: «Е х а т ь б ы л о т а к д а л е к о...» Ну, думает читатель, чего не бывает в современных пьесах. Может, это он в переносном смысле: дескать, далеко было ехать через всю жизнь до смерти. Или, может, из клиники далеко было добираться до этого самого далекого — он же из клиники перед смертью сбежал. На самом деле все

гораздо проще: переводчик передал фразеологическое единство «Es ist so weit», что значит: «Конец, все кончено!», буквально: «Это так далеко», прибавив для «ясности»: «Е х а т ь б ы л о...» (стр. 135/10¹).

Дальше в лес — больше дров. На следующей странице журнала читаем: «Ш в и т т е р. Смерть — дикость, вам, Ниффеншвандер, это тоже придется когда-нибудь испытать. Воспоминания, которые к вам приходят, преграды, которые рушатся, благодарзумие, которое больше не нужно...» В оригинале: «Послушайте, Ниффеншвандер, смерть — великолепная штука, вам тоже надо как-нибудь попробовать. Что за мысли приходят в голову, преграды рушатся, раскрываются такие перспективы... Просто великолепно». «Sterben ist toll» переведено, исходя из значения слова «toll», вне данного словосочетания, типичного для разговорной немецкой речи: раз, вообще говоря, «toll» — дикий, безумный, следовательно, смерть — дикость (стр. 136/11).

Далее Швиттер у Оттена говорит о себе как о бездарном художнике, который «с ж и г а е т свои кисти». В оригинале же художник швыряет кисти в угол (стр. 136/11). Казалось бы, мелочь, придирка рецензента: велика ли разница? Но глагол «feuern» переведен как «сжечь» только потому, что его основа «feuer» известна переводчику, очевидно, только по слову «Feuer» («огонь»), тогда как контекст не оставляет никаких сомнений в том, что имеет в виду автор: «in die Ecke feuern». С ж е ч ь можно во всяком случае только где-то, но никак уж не куда-то, а винительный падеж «in die Ecke» отчетливо указывает всякому, хоть немного знающему немецкий язык, что имеется в виду направление, а не место. Кроме того, в любом другом контексте глагол «feuern» может быть употреблен только в смысле «вести огонь», «стрелять». Так что мелочь оказывается весьма существенной для оценки работы переводчика: если он чего-нибудь не понял, то пишет наугад, что в голову придет.

Перед смертью Швиттер, наживший большое состояние литературной деятельностью, решает сжечь свои миллионы. Он швыряет деньги в печь, приговаривая: «Хорошо горит». Пастор Лютц, присутствующий при этом, вытирает пот со словами: «Становит-

ся жарко» («wird heiß»). Это в оригинале. А в переводе мы читаем: «Будет жарко!» (138/15). Однако глагол «werden» служит не только для выражения будущего времени, как, очевидно, полагает переводчик. Тут же Швиттер вдруг восклицает: «Медленно горят». Как? Только что прекрасно горели, даже жарко стало — и рецензенту и, надо надеяться, переводчику! Не удивляйтесь: это просто очередная вольность: в оригинале Швиттер говорит: «Сгорели» («Verglüht»).

Пастор Лютц поражен тем, что Швиттер не умер: «Снова жив. Вы восстали из мертвых. Этого не может предвидеть никакая наука». В оригинале: «Это научно установленный факт» (139/17). Снова полная несуразность: из контекста совершенно ясно, что речь идет о совершившемся факте, в котором не может быть никаких сомнений, но поскольку оборот речи „Daran gibt es wissenschaftlich nichts zu rütteln“ не понят переводчиком, он предлагает читателю фразу, просто не имеющую смысла в данной ситуации.

Стр. 141/20. «Ш в и т т е р. ...Наш брак был пыткой — мне нужны были ее деньги, и я не хочу жаловаться задним числом. Она сделала дикую глупость...» В оригинале: «Она была способна довести человека до иступления».

Покойная жена Швиттера приняла сновторное, и переводчик запомнил этот факт. А то, что в обороте «...sie machte einen rasend» невозможно усмотреть какой-либо иной смысл, кроме указанного нами, совершенно ускользает от его внимания.

Стр. 147/31. «Ольга. Я боялась себя. Ш в и т т е р. Я тоже боялся себя». В оригинале: «Я боялась». — «Я тоже боялся» («Ich fürchtete mich»). Трудно не согласиться с тем, что бояться и бояться себя — вещи разные: трудно предположить, что переводчику неизвестны особенности глаголов с местоимением «sich», но иначе объяснить ошибку невозможно: если бы автор желал сказать: «Я испугал себя», — то он, как всякий немец, сказал бы: «Ich fürchtete mich selbst» — именно во избежание печального недоразумения.

Стр. 148/33. «Ш в и т т е р. ...А я в это время выбивался из сил, чтобы окончательно стать классиком. Нобелевская премия дала все остальное...» В оригинале:

¹ Здесь и далее первой указывается страница перевода, второй — оригинала.

«Нобелевская премия доконала меня». Выражение «dep Rest geben» снова понято буквально: «дать остаток». Автор же развивает ту мысль, что писатель, имеющий успех в буржуазном обществе, неминуемо гибнет, становится продажным писакой. В переводе этот монолог Швиттера, как и многие другие места пьесы, выглядит нелепо. Если читатели, незнакомые с оригиналом, этого не заметили, то, очевидно, лишь потому, что отнесли нелепости за счет автора, которому и следовало бы поблагодарить переводчика.

Стр. 151/41. «Георген. ...Только тот, кто верит в светлый смысл темных явлений жизни, познает несправедливость, которая существует в нашем мире, как нечто неизбежное, вступает с ней в бессмысленную борьбу и в конце концов с нею примиряется». В оригинале: «...Прекращает бессмысленную борьбу» — то есть как раз наоборот («stellt den sinnlosen Kampf ein»).

Стр. 156/49. Швиттер выбрасывает за дверь погребальные венки, приговаривая: «От бургомистра. От комитета по Нобелевским премиям...» Мюгейм помогает ему и, когда все кончено, говорит: «Веселенькая история» («Aufgeräumt»). Переводчик, очевидно, иногда все-таки смотрит в словарь, но словарем надо уметь пользоваться — тогда можно выяснить, что, кроме слова «aufgeräumt» («веселый»), существует еще слово «aufräumen» — «убирать». Следовательно, загадочная реплика Мюгейма означает: «Все! Убрали!»

На страницах 160—163 журнала (50—62 оригинала) умирающего Швиттера осматривает профессор Шлаттер, произнося при этом те или иные фразы. Почти каждая из них переведена чуть ли не диаметрально противоположно. Вот несколько примеров: «Не дышите» — в оригинале: «Помолчите» («Klappe halten»). «Не напрягайтесь» — в оригинале: «Разденьтесь» («Freimachen»). «Вы в полном сознании» — в оригинале: «Вы с ума сошли» («Sie sind wohl von Sinnen»).

Далее Швиттер просит сделать ему укол, желая отправиться на тот свет: «Это будет гуманно». В оригинале: «Слишком уж все это противно» («Es wird erbärmlich»). Профессор говорит: «...И каждого врача, который считал, что у вас нет никаких шансов выжить, я выгонял из больницы».

В оригинале: «Я собственноручно вышвырнул бы из клиники любого из моих ассистентов, который посмел бы утверждать, что у вас есть хоть малейший шанс остаться в живых», — «Aber jeder Assistenzarzt, der Ihrem Leben auch nur die leiseste Chance gegeben hätte, wäre von mir eigenhändig aus der Klinik geworfen worden». Он же: «Я разберу вас клинически на части, так что зрение и слух больше не будут вам служить». В оригинале: «У себя в клинике я разберу вас на части, так что вы и ахнуть не успеете» («Daß Ihnen Hören und Sehen vergeht»).

И, наконец, Швиттер выгоняет профессора. Вот как это выглядит у Оттена: «Шлаттер. Вы не имеете права загонять меня в тупик. Швиттер. А вы попробуйте из него выйти».

В оригинале: «Вы не имеете права меня прогонять». — «Убирайтесь» («Sie dürfen mich nicht davonjagen. — Machen Sie, daß Sie hinauskommen»).

На страницах 166—167, там, где действие пьесы достигает высшего драматического развития, большинство монологов Швиттера имеет в подлиннике смысл, прямо обратный тому, который вытекает из перевода. Для доказательства пришлось бы привести параллельно тексты строку за строкой, на что просто уже нет места.

Не могу, впрочем, удержаться от весьма, на мой взгляд, красноречивого примера:

Стр. 167—168. «Швиттер. Мне казалось, жизнь начинается с того, что человек жрет, и кончается тем, что он погружается в вечный сон». В оригинале нечто совсем иное: «За едой я обдумывал композицию какой-нибудь сцены, а в постели — развязку» («Ich dachte beim Essen einem Auftritt nach und beim Beischlaf einem Abgang»).

Кроме грубых ошибок, перевод пестрит неточностями, пропусками, отступлениями от оригинала, которые не вызваны никакой необходимостью. Пропусков в общей сложности пятнадцать (см. стр. 139/16, 140/18, 143/24, 143/25, 146/30, 147/31, 147/32, 148/34, 153/44, 154/45, 156/48, 158/53, 163/62, 165/65, 168/70). Пропущены отдельные слова, некоторые реплики — отчасти просто по недопустимой небрежности, отчасти и потому, что переводчик предпочел опустить некоторые мелочи, над которыми пришлось бы подумать.

Перечислить хотя бы бегло все неточности и ненужные отступления от оригинала нет никакой возможности: для этого пришлось бы разбирать перевод слово за словом, страницу за страницей. Каждая такая неточность портит авторский текст, создавая иногда комический эффект, только не в том смысле, как думал автор: «Ниффеншвандер (*задумчиво*). Вы спали с моей женой». В оригинале художник выкрикивает эту реплику отчаянным голосом («Verzweifelt»).

В общей сложности перевод содержит по крайней мере семьдесят грубых ошибок.

Перевод не только не передает специфики оригинала, но стирает все тонкости, все переходы, с самого начала делает речь и мысль героев пьесы ненужно грубой и в силу этого безличной и однообразной.

В начале пьесы, например, Швиттер говорит языком человека вполне интеллигентного, потом напивается и становится все грубее, а переводчику ничего уже не остается, кроме как продолжать раз принятый вульгарный тон. Поэтому оттенков не хватает.

Йохен, сын Швиттера, разговаривает с отцом наглым тоном, на блатном жаргоне, а узнав, что денег у отца уже нет, сразу затихает; речь его изменяется, но это никак не отражено в языке перевода (стр. 148/34, 149/35, 149/36). Языковая характеристика Ольги также испорчена в переводе (стр. 147/31): «Швиттер. Я не верю, что какой-нибудь мой друг из ложного уважения

ко мне тобой не воспользуется». «Ольга. Я никому не давала собой пользоваться». Следовало бы: «Швиттер. Я, конечно, не питаю надежды на то, что ты не снизошла ни к кому из моих друзей из ложного уважения по отношению ко мне». «Ольга. Я ни к кому не снизошла». Швиттер здесь вежливо ироничен; Ольга выдерживает тот же тон, насмешливо изысканный, а в переводе вместо злобной иронии звучит плоская грубость, не говоря о том, что и смысл фразы опять перевран: в переводе получается, что друзья будут обманывать Швиттера, питая ложное уважение к нему, а в оригинале вся эта ситуация относится к прошлому.

Итак, соотносительность разных речевых стилей в переводе нарушена, оттенки стерты, персонажи обезличены. Вульгаризируя речевые характеристики героев, переводчик заставляет читателя заранее определить свое отношение к ним и тем самым предугадать взаимоотношения и самую развязку, что отнюдь не входило в намерения автора.

Вызывает огорчение, что журнал «Иностранная литература», единственный наш журнал, постоянно знакомящий читателя с лучшими произведениями зарубежной литературы и делающий это, как правило, хорошо, не проявил в данном случае необходимой требовательности к переводчику.

О. Михеева,
старший преподаватель
филологического факультета МГУ.

НЕОБХОДИМЫЕ УТОЧНЕНИЯ

(Два письма на одну тему)

С января прошлого года я начал выписывать «Новый мир», и мне хочется сказать вам, что многое в вашем журнале мне очень нравится. Из прозы надолго запомнятся мне главы из романа К. Федина «Костер» в № 2 журнала, повесть Владимира Войновича «Два товарища» и «Три рассказа» Вас. Шукшина (особенно «Волки» и «Начальник») в № 1. Из книжного обозрения очень понравились статьи «На карусели» Л. Вольнского в № 2, «Детский дом в Краесветске» Ф. Левина в № 6 и многие, многие другие.

К сожалению, в книжном обозрении, особенно в разделе «Коротко о книгах», встре-

чаются рецензии, авторы которых лишь хвалят рассматриваемые ими книги, совершенно не отмечая их недостатки. К таким рецензиям я отношу короткий отзыв М. Слуцкого на книгу кандидата исторических наук Г. М. Уткина «Штурм «Восточного вала». Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра», помещенный в № 5 «Нового мира».

Из рецензии следует, что книга «привлекает правдивостью, научной объективностью».

На самом же деле книга очень неудачна. Чувствуется, что автор, соглашаясь писать ее, прочитал громаднейший материал, в ко-

тором буквально захлебнулся. Не сумев выбрать из этого материала самое главное, он не смог нарисовать широкими мазками общую картину грандиозного сражения за Левобережную Украину, закончившегося форсированием Днепра и освобождением Киева. Каков был замысел всей операции, каковы были задачи фронтов, какие соединения действовали на направлении главного удара и где этот удар наносился, как удалось осуществить эти замыслы — все это тонет в бесчисленных и многословных описаниях отдельных боев.

Очень небрежно составлена помещенная на странице 277 «Схема 5. Положение войск Юго-Западного фронта на запорожском направлении в середине октября 1943 г.», которая должна, видимо, облегчить понимание многословного описания сражения за город Запорожье. Однако эта схема лишь мешает понимать читаемое. В самом деле, из шестнадцати упоминаемых в тексте населенных пунктов на схеме указаны только шесть, причем названия некоторых из них перевраны («Царево» в тексте, «Царевый» на схеме). Эти шесть пунктов с большим трудом находишь на схеме среди множества указанных на ней других населенных пунктов, в тексте совсем не упоминаемых.

В начале 1967 года Воениздатом издана книга кандидата исторических наук Г. М. Уткина «Штурм «Восточного вала» о боях за освобождение Левобережной Украины от немецко-фашистских захватчиков и форсировании Днепра. Книга ценная и нужная. В журнале «Новый мир» № 5 за 1967 год дан о ней положительный отзыв. Однако ряд неточностей в изложении эпизодов боев за Чернигов снижает ее достоинства.

На 54-й странице читаем: «Над освобожденным городом реял красный флаг, установленный на Доме Советов парторгом 3-го стрелкового батальона 241-го полка 181-й стрелковой дивизии офицером Д. И. Доможировым».

271-й полк превратился здесь в 241-й (допустим, что это небрежность наборщика), а комсорг Доможиров в парторга. Да и не одному Доможирову принадлежит честь установления флага: ее делит с ним замполит того же батальона капитан Эвентов.

Много в книге всякого рода неточностей и опечаток. Единицей измерения площади—км², что значит квадратный километр,— кандидат исторических наук Уткин измеряет длину дорог (стр. 59), ширину прорыва фронта противника (стр. 253) и протяженность рейда конно-механизированной группы по тылам противника (стр. 339), то есть такие величины, которые должны измеряться линейными километрами, обозначаемыми сокращенно км.

На странице 23 искажена фамилия покойного маршала танковых войск С. М. Богданова. Гвардии полковник М. С. Новохатко, геройски погибший в боях за освобождение Правобережной Украины, в которых мне довелось участвовать под его командованием, назван на странице 117 командиром 51-й мотострелковой бригады 6-го гвардейского танкового корпуса. Между тем 51-я бригада была не мотострелковой, а танковой.

Все это не делает чести ни автору книги, ни Воениздату с его многочисленным аппаратом редакторов, консультантов, корректоров и пр.

Так и нужно было написать М. Слуцкому.

Гвардии майор в отставке В. Богомазов.
Ленинград.

Начальник политотдела 181-й СД в донесении от 22 сентября 1943 года по этому поводу писал: «...Лично капитан Эвентов при выполнении боевой задачи действовал умело и решительно. Капитан Эвентов первым водрузил красный флаг над городом Черниговом на здании областного Совета. Характерно, что 1 метр красной материи Эвентову был принесен гражданкой города Чернигова Сергеевой Полиной Григорьевной, которая благословила флаг принесенной ею же иконой и просила этот флаг вновь водрузить над Черниговом» (Архив Министерства обороны, ф. 181 СД, оп. 70846, д. 1, стр. 463).

Не совсем точно изложен в книге и факт боя за деревянный мост через р. Десна, имеются ошибки в цифровых данных о захваченных в городе трофеях.

История требует точности и достоверности в изложении фактов.

Чернигов. Майор Б. Заславский.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

К. Е. Ворошилов. Рассказы о жизни (Воспоминания). Книга 1. 368 стр. Цена 92 к.

В. Либнехт. Из воспоминаний о Марксе. 80 стр. Цена 11 к.

К. Славская. Мысль в действии (Психология мышления). 208 стр. Цена 20 к.

Д. Ульянов. Воспоминания о Владимире Ильиче. Издание 3-е, дополненное. 128 стр. Цена 23 к.

«МЫСЛЬ»

Э. Андрес, Л. Галкин. Экономические отношения государственных предприятий в период строительства коммунизма. 278 стр. Цена 1 р. 1 к.

Б. Носик. По Руси Ярославской. 236 стр. Цена 62 к.

Очерки рабочего движения во Франции (1917—1967). 438 стр. Цена 1 р. 60 к.

«ЭКОНОМИКА»

И. Дризе, Г. Егиазарян, Д. Карпунин. Фонд материального поощрения. 118 стр. Цена 35 к.

Л. Лопатников. Экономические эксперименты в промышленности. 104 стр. Цена 33 к.

Г. Саноян. Методы учета работоспособности. 64 стр. Цена 16 к.

В. Язев. Хозяйственная реформа и взаимоотношения торговли с промышленностью. 56 стр. Цена 15 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Белов. За тремя волоками. Повесть «Привычное дело» и рассказы. 392 стр. Цена 56 к.

А. Горелов. Очерки о русских писателях. 700 стр. Цена 1 р. 68 к.

И. Гуссейнов. Звук свирели. Повести и рассказы. Перевод с азербайджанского. 248 стр. Цена 42 к.

Н. Давыдова. Вся жизнь плюс еще два часа. Роман и рассказы. 288 стр. Цена 57 к.

А. Розен. Осколок в груди. Повести и рассказы. 264 стр. Цена 56 к.

Р. Сирге. Иссеченные ветрами. Рассказы. Перевод с эстонского. 307 стр. Цена 44 к.

К. Симонов. 25 стихотворений и одна поэма («Пять страниц»). 119 стр. Цена 33 к.

А. Шаров. Дети и взрослые. Маленькие повести и очерки. 264 стр. Цена 45 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Л. Борисов. Избранные произведения. В 2-х томах. Том 1 — «Ход конем», «Жесткий воспитатель» 484 стр. Цена 85 к. Том 2 — «Волшебник из Гель-Гью» и рассказы. 388 стр. Цена 79 к.

С. Воронин. В ожидании чуда. Рассказы. 307 стр. Цена 64 к.

М. Джумагулов. Орлы гибнут в вышине. Роман. Вступительная статья И. Борисовой. 447 стр. Цена 89 к.

М. Мамакаев. И камни говорят. Стихи Перевод с чеченского. 183 стр. Цена 68 к.

Т. Фиррет. Белый парус. Стихи. Перевод с турецкого. 159 стр. Цена 20 к.

К. Хови. Львенок. Джон Рид, каким я его знал. Перевод с английского. 343 стр. Цена 92 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Алексик. Ты меня слышишь? Повести и рассказы. 239 стр. Цена 47 к.

Е. Мальцев. Войди в каждый дом. Роман. Книга 2-я. 399 стр. Цена 69 к.

В. Мора. Далеко на юг от Берингова пролива. Рассказы Перевод с испанского и предислвие Н. Трауберг. 96 стр. Цена 21 к.

М. Сергеев. Души прекрасные порывы... 112 стр. Цена 15 к.

«ИСКУССТВО»

А. Адамов. Весна семьдесят первого. Пьеса. Перевод с французского Е. Ауэрбах. 143 стр. Цена 33 к.

Е. Гершуни. Рассказываю об эстраде. 254 стр. Цена 1 р. 8 к.

И. Золотусский. Фауст и физики. Книга о старом докторе Фаусте и новых физиках — о человеке науки в искусстве. 120 стр. Цена 33 к.

М. Кнебель. Вся жизнь. Рисунки Ю. Пименова. 585 стр. Цена 3 р. 50 к.

Критика основных направлений современной буржуазной эстетики. Сборник статей. 359 стр. Цена 1 р. 53 к.

П. Николаев. Эстетика и литературные теории Г. В. Плеханова. 243 стр. Цена 1 р. 14 к.

А. Соколов. Теория стиля. 223 стр. Цена 83 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Жизнь и творчество Виталия Бианки. 348 стр. Цена 91 к.

Л. Линьков. Мыс Доброй Надежды. Рассказы и повести. 238 стр. Цена 50 к.

Солдатский подвиг. 1918—1968. Рассказы о Советской Армии. 366 стр. Цена 80 к.

З. Шишова. Год вступления 1918. Повесть. 413 стр. Цена 71 к.

«ПРОГРЕСС»

М. Бунге. Интуиция и наука. Перевод с английского. 188 стр. Цена 62 к.

С. Датт. Люцифер. Сатирическая поэма и стихи. Перевод с английского. 110 стр. Цена 53 к.

Б. Клавель. Великое терпение. Трилогия. Книга третья. Сердца живых. Роман. Перевод с французского. 270 стр. Цена 91 к.

М. Лалич. Лелейская гора. Роман. Перевод с сербохорватского. 584 стр. Цена 1 р. 72 к.

Д. Притт. Автобиография. Перевод с английского. 468 стр. Цена 1 р. 84 к.

Ж. Руа. Штурман. Повесть. Перевод с французского. 112 стр. Цена 27 к.

М. Отеро Сильва. Город в саване. Роман. Перевод с испанского. 168 стр. Цена 42 к.

А. Стилль. Последние четверть часа. Роман. Перевод с французского. 184 стр. Цена 45 к.

«НАУКА»

Л. Евстигнеева. Журнал «Сатирикон» и поэты-сатириконцы. 454 стр. Цена 1 р. 43 к.

История Сибири с древнейших времен до наших дней. В 5-ти томах. Том 1. Древняя Сибирь. 454 стр. Цена 3 р. 50 к.

Песни, собранные писателями. Новые материалы из архива П. В. Киреевского («Литературное наследство», т. 79). 679 стр. Цена 3 р. 60 к.

Советско-чехословацкие отношения между двумя войнами (1918—1939). 228 стр. Цена 1 р. 18 к.

Страницы боевого прошлого. Очерки военной истории России. 383 стр. Цена 1 р. 79 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Ю. Арбат. Звонкое чудо (Сборник сказов). 167 стр. Цена 41 к.

В. Боборынин. Александр Фадеев. Литературный портрет. 128 стр. Цена 15 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

И. Авижюс. В стеклянную гору. Роман. Вильнюс. «Вага». 464 стр. Цена 78 к.

П. Дариенно. Красным то белому. Поэмы. Перевод с молдавского. Кишинев. «Карта молдовеняскэ». 114 стр. Цена 38 к.

И. Есенберлин. Схватка. Роман. Перевод с казахского Ю. Домбровского. Алма-Ата. «Жазушы». 196 стр. Цена 47 к.

И. Зиедонис. Дневник поэта. Перевод с латышского. Рига. «Лиссма». 183 стр. Цена 15 к.

П. Куприяновский. Испания. борьба, творчество (Путь Д. А. Фурманова). Ярославль. Верхне-Волжское книжное издательство. 480 стр. Цена 1 р. 23 к.

Литва литературная. Год 1967. Вильнюс. «Вага». 169 стр. Цена 1 р.

Г. Петников. Утренний свет (1915—1967). Вступительная статья Н. Тихонова. Симферополь. «Крым». 304 стр. Цена 87 к.

А. Плитченко. Облака, деревья, травы. Предисловие В. Шефнера. Владивосток. Дальневосточное книжное издательство. 79 стр. Цена 19 к.

Я. Хелемский. Ключ. Страницы белорусской лирики. Новые переводы. Минск. «Беларусь». 184 стр. Цена 67 к.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 27/II 1968 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 8/V 1968 г.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. 28,14 уч.-изд. л. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)
А 05247. Зак. 680. Тираж 127.050 экз.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636